

В. Шенталинский • Донос на Сократа

Виталий Шенталинский

4/ШМ/.

Агентурно-осведомительная сводка

6-го от-ния СПО № 26 Ма 1935 г.

РАЗРЕШЕНО

Булгаков М. болел какими то нервным расстройством, говорит, что не может даже ходить один, не может даже в театр, днем. Работает для кино, "Резиэора" для Сатиры. Подпись

Малом ордера № 2287 от 7 мая 1926 г. Начальнику внутренней тюрьмы в. г. п. у.

Выход сопроводку Оперативного Отдела ОГПУ на профзадание

по адресу: Саутов мкр. 2. 2. 4.

РАСПИСКА К ОРДЕРУ № 2287

1926 году. Справка

Я ежал с женой

Донос на Сократа

- ТОЛСТОЙ
- КОРОЛЕНКО
- САВИНКОВ
- БЕРДЯЕВ
- КАРСАВИН
- БЕЛЫЙ
- ВОЛОШИН
- БУЛГАКОВ
- ЦВЕТАЕВА
- КОЛЬЦОВ
- ПЛАТОНОВ
- ШОЛОХОВ
- ЭРДМАН
- ПАСТЕРНАК

Виталий Шенталинский

ДОНОС НА СОКРАТА

**«Формика-С»
Москва · 2001**

В. Шенталинский

Донос на Сократа. — М.: Формика-С, 2001. — 461 с.: ил.

Книга посвящена репрессированной русской литературе, судьбам выдающихся писателей, гонимых или погубленных советским тоталитаризмом. Повествование состоит из глав-досье, построенных на документах и включающих в себя наиболее яркие отрывки из рукописей, обнаруженных автором в спецхранах.

Издание иллюстрировано редкими архивными фотографиями и документами.

Для широкого круга читателей.

ISBN 5-8463-0081-2

© В. А. Шенталинский, 2001

© Формика-С, 2001

Содержание

Вместо предисловия	5
<i>Глава первая</i>	
Дело с двойным дном	7
Рождественский детектив	10
«Я дал жизнь Ленину...»	19
Лубянка, до востребования	25
<i>Глава вторая</i>	
Донос на Сократа	29
Комиссар Ясной Поляны	32
«Свобода — внутри меня»	43
Сократы из Газетного переулка	53
«Не признаю... никакой власти»	59
Письмо в прошлое	68
Перед судом истории	71
Свобода без предрассудков	81
Пророк в своем отечестве	87
<i>Глава третья</i>	
Свой среди своих	97
Человек-театр	99
«Крот»	103
«Синдикат-2»	108
Западня	116
Номер пятьдесят пятый	123
Номер шестидесятый	126
Номер пятьдесят пятый	128
Номер шестидесятый	129
Свидание	130
Ультиматум	134

Под взглядом «нуды»	135
Суд	141
Последняя роль	148
Черная тетрадь	157
Ропшин	164
Знаки судьбы	168
Конь Бледный	180
<i>Глава четвертая</i>	
Осколки серебряного века	189
Философский пароход	192
Тайная эпитафия	212
Дробь человека	222
«Молосья за тех и за других...»	235
<i>Глава пятая</i>	
Мастер глазами ГПУ	261
<i>За кулисами жизни Михаила Булгакова</i>	
«Выявить физиономию»	263
«Пишу по чистой совести...»	274
«За эту пьесу следовало бы расстрелять...»	285
«Бег» с препятствиями	295
По намыленному столбу	300
Голос друга	321
<i>Глава шестая</i>	
Марина, Ариадна, Сергей	325
«Муха в паутине»	328
«Исправьте, пока не поздно»	346
«И лучшего человека не встретила»	363
«Ты — уцелеешь на скрижалях»	379
<i>Глава седьмая</i>	
Охота в Ревзаповеднике	383
<i>Избранные страницы и сцены советской литературы</i>	
Журналист номер один	385
«За гибель Сталина!»	396
Трудная любовь	411
Веселые ребята	427
«Настоящие местности — душа и совесть»	442
<i>Указатель имен</i>	452

Вместо предисловия

Скрипят перьями писатели Земли Русской. И в такт им, с не меньшим рвением, скребут перья писателей доносов, стукачей. Тех и других читает Лубянка и тоже неумоимо марает бумагу, — к штыку приравняв перо...

Миновала целая эпоха. Ни писателей тех, ни тех доносчиков уже нет. А мы, разбирая кровавые анналы, не успевая и впадая в отчаяние, тоже хватаемся за перо, как за якорь спасения, чтобы понять, кто мы и откуда и что же с нами случилось.

Услышат ли стремительно-суетливые современники? Поймут ли недосыгаемые потомки? Мы тоже грешные дети своего времени. А оно беспощадно. И земля горит у нас под ногами.

Глава первая

**ДЕЛО
С ДВОЙНЫМ
ДНОМ**

Судьба столкнула их случайно, всего на несколько минут, на холодной и темной, заваленной снегом московской улице. Был канун Рождества, сочельник, когда ведьмы скрадывают месяц и звезды, люди рядятся в личины и на земле происходят всякие чудеса.

Один выехал в черном «роллс-ройсе» из кремлевских ворот — навестить больную жену, жившую, по совету врачей, за городом. Другой — с воровской малины, крепко выпив и закусив, отправился со своей братвой на очередное дело.

В Сокольниках пути их пересеклись.

— В чем дело? Я Ленин! — возмутился первый, когда второй бесцеремонно вытащил его из машины на снег.

— Черт с тобой, что ты Леви н, а я Кошельков, хозяин города ночью!

Что за невероятный сюжет! Плод воображения лихого сочинителя? Эпизод крутого боевика?

Нет, действительность, самая что ни на есть правда, которая фантастичней любой выдумки. Ибо взят этот сюжет из досье, более полувека погребенного в бездонных архивах Лубянки и только сейчас вызволенного на свет.

«Дело о вооруженном нападении бандитов на В. И. Ленина 6 января 1919 года». Двадцать три пухлых тома с пожелтевшими страницами. Увлекательная криминальная история из жизни московских уголовников, полная живописных и душераздирающих подробностей, — готовая литература! В одной из папок — записки чекиста Мартынова, начальника особой ударной группы по борьбе с бандитизмом. Главные герои здесь — доблестные рыцари Чека и отвратительные разбойники.

И самым неожиданным образом вся эта злодейская история связалась с именами наших корифеев пера: рукописи Мар-

тынова, как явствует из дела, были литературно обработаны и подготовлены к печати... Исааком Бабелем и Михаилом Булгаковым. Дело оказалось как бы с двойным дном. Ищешь Индию — найдешь Америку! Наш многолетний литературный поиск в лубяньских архивах высветил имена Бабеля и Булгакова в уголовном досье Н-215...

Скажем сразу, что труд чекиста, отшлифованный мастерами, так и не дошел до читателя.

Кошмарному происшествию с Ильичем в этом сочинении уделено весьма скромное место, что и понятно: случай в Сокольниках никак не красил вождя и плохо укладывался в его каноническое житие. Всего дела Н-215 знаменитые литобработчики, конечно, не видели, а потому и самый острый его сюжет не попал в руки остросюжетных писателей... А жаль!

Теперь же нельзя упустить случай, чтобы не рассказать об этой предрождественской чертовщине, происшедшей с самым знаменитым персонажем XX века. Ведь в том, что сообщалось об этом случае раньше, столько тумана, путаницы, неточностей, благодстных приукрашиваний! Даже со временем действия — неразбериха, вечная чехарда в датах «старого» и «нового» стиля. Хоть и известно, что все произошло в канун Рождества, в сочельник (то есть по старому стилю это было 24 декабря 1918-го, а по новому — 6 января уже следующего года), многие, даже весьма уважаемые исследователи, указывая дату 19 января 1919 года, умудрились прибавить нужные тринадцать дней уже к «новому» Рождеству, по-видимому от небрежения к самому церковному празднику... И их черт путал!

Так как же все было на самом деле?

Рождественский детектив

Ильичу в тот год везло на дикие приключения.

Однажды его автомобиль попал в засаду, пули сыпались, как горох, — спасло чудо в лице оказавшегося рядом немецкого коммуниста Фрица Платтена: вовремя пригнул драгоценную голову и подставил под выстрел свою руку. Несколько раз открывали стрельбу милиционеры, не разобравшись сразу, кто едет, пытаясь остановить машину.

В августе пуля все-таки достала Ильича — о том, чьей жер-твой он стал, историки спорят до сих пор. Схватили и спеш-но расстреляли, едва допросив, эсерку Фанни Каплан. В эту официальную версию сейчас мало кто верит. Вновь открыв-шиеся документы позволяют думать, что покушавшихся было несколько и что след их ведет не куда-нибудь, а в Чека... Что же до Фанни Каплан, то она просто стала удобной мишенью, чтобы продемонстрировать возмездие и закрыть дело. Оче-редная мистификация большевиков, эпизод борьбы за власть в Кремле? Темна эта история, всей правды о ней мы, возможно, уже не узнаем.

Парадокс, но ранение Ильича пришлось как нельзя более кстати. Как говорят в таких случаях, если бы этого не было, это надо было придумать. Положение большевиков в тот мо-мент — критическое, на грани безнадежного. Три четверти территории страны они уже потеряли. Мертвая петля войны. А внутри — голод, саботаж, разруха. Только жесточайший тер-рор мог спасти новую власть от поражения. Выстрел в вождя стал хорошим предлогом. Уже через шесть дней после покуше-ния был издан тот самый декрет о красном терроре, развязав-ший руки для невиданных по своим масштабам массовых каз-ней. По инициативе Ленина широко практиковалось залож-ничество — классический прием мирового бандитизма. Тоталь-ная палаческая система возведена в принцип.

Патриарх Тихон устами всех верующих вопиет к безбожной власти: «Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, рас-стрела... По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, ме-бель, одежду... Да, мы переживаем ужасное время вашего вла-дычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя...»

Власть оказалась в руках политической мафии, революци-онных экстремистов, чинивших расправу без всяких законов, а одной лишь наглой силой и не брезговавших ничем.

В этот момент и шагнул навстречу Ленину, на арену исто-рии, из темной преисподней уголовного мира король мос-ковских бандитов Яков Кошельков.

Встретились — два крестных отца, два «хозяина города».

Бандитов было шестеро: сам Яков Кошельков (по кличке — Кошелек, Янька, Король), Иван Волков (Конек), Василий Зайцев (Заяц), Алексей Кириллов (Сапожник), Федор Алексеев (Лягушка) и Василий Михайлов (Черный). Все — закоренелые преступники с большим уголовным стажем...

«После пьянки вся банда... направилась на ограбление... Недалеко от Сокольнического совета показался свет машины, и бандиты, имея у себя шофера Ваську Зайца, решили забрать машину... Как только машина стала подходить, бандиты заслонили дорогу, а Кошельков поднял руку, остановив машину. Бандиты были заинтересованы исключительно машиной и только попутно стали обыскивать пассажиров, ища оружие. Тов. Ленин думал, что это патрули, и сказал:

— В чем дело? Я Ленин.

На это Кошельков ответил:

— Черт с тобой, что ты Левин, а я Кошельков, хозяин города ночью!..»

Так описывает происшествие начальник особой ударной группы Чека по борьбе с бандитизмом Мартынов, основываясь на допросах пойманных впоследствии членов кошельковской шайки.

В деле есть и показания непосредственных свидетелей, а точнее, жертв нападения, сопровождавших Ильича в той роковой поездке. Самые достоверные и подробные — бессменного личного шофера и любимца Ленина, возившего его с первых дней революции до самой смерти, — Степана Казимировича Гиля. (В машинописной копии показаний — оригинал не сохранился — есть приписка: «Ввиду неграмотности изложения в подлиннике сюда внесены грамматические, синтаксические и незначительные стилистические исправления».)

Опасность подстерегала коммунистического вождя с самого начала его рождественского путешествия по заснеженным столичным улицам, где в революционной мути бесчинствовало ворье.

«24 декабря 1918 года Владимир Ильич позвонил мне по телефону около четырех часов, чтобы через полчаса подать ему машину. В начале пятого я подал к подъезду машину, взяв с собой помощника, тов. Чабанова. Ровно в

назначенное время выходит Владимир Ильич вместе с Марией Ильиничной.

— Поедьте, товарищ Гиль, к Надежде Константиновне, — тихо сказал мне Владимир Ильич.

...Снег с дорог совсем не убрали, и более или менее быстро можно было ехать только по линии трамвая. Вскоре на улице стало совсем темно, так как город совершенно не освещался. Нам это было не страшно, потому что освещение у машины было превосходное. Мы ехали со скоростью 40—50 километров и быстро проехали Лубянскую площадь, Мясницкую, пересекли Садовую и стали подъезжать к ночлежному дому. Мне было видно каждого человека под сильным освещением машины и отчетливо видны даже все идущие по тротуару. Я заметил троих, шедших по одному направлению с нами. Вдруг один из них быстро подбежал к машине и почти поравнялся с нами с криком: «Стой!» В руке у него револьвер. Я сразу сообразил, что это не патруль. Вижу, он в шинели, а винтовки нет у него. Это бросилось мне в глаза — без винтовок, значит, не патруль. Я быстро увеличил скорость, не обращая внимания, что здесь крутой поворот. Я был уверен, что с машиной справлюсь. Сзади что-то кричали. Я был уверен, что это были бандиты и стрелять зря они не будут. Так и вышло, ни одного выстрела по нас они не сделали.

Владимир Ильич стучит в окно, спрашивает:

— В чем дело, нам что-то кричали?..

— Да это пьяные, — отвечаю я ему.

Миновали мы Николаевский вокзал. Едем по улице, которая ведет к Сокольникам. Тьма, хоть глаз выколи. Но нам далеко и хорошо видно. Ввиду сочельника народу на тротуарах много. Я ехал по рельсам трамвая довольно быстро. Вдруг, не доезжая пивного завода, бывшего Калинин, впереди машины, за несколько шагов, выбегают трое, вооруженных револьверами — маузерами, и кричат: «Стой!»

Я на этот раз немного замедлил ход и говорю Чабанову:

— Ну, Ванька, попали мы к бандитам.

— Да, — говорит он, — это не патруль.

Вот я уже совсем близко от них, посмотрел по сторонам, народа порядочно. Многие стали останавливаться, видимо заинтересованные нашей встречей. И я решил не останавливаться,

а проскочить быстро мимо них. В тот момент, когда осталось несколько саженей, я быстро увеличил скорость — и прямо на них. Они успели отскочить.

— Стой! Стой! Стрелять будем! — кричат они вслед.

Дорога на этом месте идет под уклон. Я быстро взял разгон, но вот Владимир Ильич стучит в окно. Я как будто не слышу и продолжаю ехать. Тогда Владимир Ильич стучит гораздо сильнее. Я убавляю ход. Владимир Ильич открывает дверцу и говорит:

— Товарищ Гиль, надо остановиться и узнать, что им надо, может быть, это патруль?

Мы ехали совсем тихо. Сзади нас, слышу, бегут и продолжают кричать: «Стой! Стрелять будем!»

— Ну вот видите, — говорит Владимир Ильич, — надо остановиться.

Я нехотя стал тормозить машину. Смотрю вперед, вижу, за железнодорожным мостом горит яркий фонарь и там стоит часовая. Это — районный Совет, я знал. Меня взяло сомнение — навряд ли бандиты, наверное, патруль, рядом с Советом напасть не решатся бандиты, подумал я и сказал об этом товарищу Чабанову. Он оглянулся назад и говорит мне:

— К нам бегут четверо, и они совсем близко.

В это время подбегают к машине несколько человек, резко открывают дверь машины и кричат:

— Выходи!

— В чем дело, товарищи? — спросил Владимир Ильич.

— Не разговаривать! Выходи, говорят!

И один из них, выше всех ростом, схватил Владимира Ильича за рукав и сильно потянул к себе из машины, грубо говоря:

— Живей выходи!

Как оказалось после, это был главарь по прозвищу Кошелек. Владимира Ильича буквально вытащили за рукава. Он сделал шага три к передку машины и остановился против меня, все время говоря:

— Что вам нужно?..

Мария Ильична быстро вышла за Владимиром Ильичем и, обращаясь к бандитам, говорит:

— Что вы делаете, как вы смеете так обращаться?

На нее они не обращают никакого внимания, Чабанова тоже дернули за рукав с криком: «Выходи!»

Я смотрю на Владимира Ильича. Он стоит, держа в руках пропуск. По бокам его стоят двое и, целясь в голову, говорят:

— Не шевелись!..

— Я Ленин. Вот мой документ...

Как это сказал Владимир Ильич, у меня сердце замерло. Ну, думаю, погиб Владимир Ильич...

— Молчать! Не разговаривать! — закричал на него грубым голосом главарь, вырвав из рук пропуск и кладя его в карман даже не посмотрев.

Затем он схватил за лацкан пальто Владимира Ильича и резко дернул, почти отрывая пуговицы, и полез в боковой карман. Вынул оттуда бумажник, браунинг и все это кладет к себе в карман.

Мария Ильинична продолжает возмущенно протестовать, но никто из бандитов на нее не обращает внимания.

Товарищ Чабанов тоже стоит под дулом. Я все это вижу, про меня как будто забыли. Сажу за рулем, мотор работает. Держу наган и из-под левой руки целюсь в ближайшего, то есть как раз в главаря. Он от меня в двух шагах. Дверца переднего сиденья открыта, промаха быть не может... Но Владимир Ильич стоит под двумя дулами револьверов, и делается мне страшно... Как молния, озаряет мысль — нельзя стрелять... нельзя... Сейчас же после моего выстрела Владимира Ильича уложат первого на месте. И я решил выйти из машины, но не успел пошевелиться, как получил удар в висок дулом револьвера с правой стороны и окрик:

— Выходи! Чего сидишь?

Я быстро сунул наган за подушку сиденья, авось не найдут, подумал я, и не успел встать на подножку, как на мое место сел быстро шофер-бандит. Четверо сели в купе, один стал на подножку, и, целясь в нас, со словами «Не шевелись!», шофер быстро взял с места, и поехали...»

Другой спутник Ленина, его охранник Иван Васильевич Чабанов, в общем, подтверждает рассказ Гиля, хотя добавляет от себя штрих, по всей видимости сильно поразивший его: «Когда нас высаживали из машины, народ стоял и смотрел...»

«Минуту длилось молчание», — продолжает Гиль.

«— Да, ловко, — первым сказал Владимир Ильич. — Вооруженные люди — и отдали машину. Стыдно!

— Об этом поговорим после, Владимир Ильич, — сказал я ему в ответ, — а сейчас пойдете в Совет, и поскорее...

И мы направились в райсовет. Опять беда. Часовой не пускает Владимира Ильича.

— Я товарищ Ленин, — говорит он, — хотя доказать вам этого сейчас не могу. Вот мой шофер, он подтвердит, — укаывая на меня, сказал Владимир Ильич. — Мы ехали на машине, нас остановили, высадили, машину угнали, а также взяли мой бумажник с документами и мой пропуск.

Долго колебался часовой, но наконец он нас пропустил в райсовет...»

(«Нахрапом прошли в Совет», — подтверждает Чабанов.)

«Входим. В Совете по случаю праздника — ни души. Коекак разыскал я дежурного телефониста, объясняю ему, в чем дело. Он не верит.

— Слушайте, товарищ, вызывайте председателя, — наконец говорю я ему.

— Его нет, кого хотите?

— Мы отвечаем за все, дело серьезное...

Телефонист мнется, не знает, как ему поступить. Дело уж, видно, очень необычное. Наконец он кого-то вызвал.

Владимир Ильич, задумавшись, ходит взад-вперед по комнате. Мария Ильинична сидит на диване, и вижу, очень она взволнована. Никто не идет. Тогда я думаю: “Буду сам распоряжаться, а то время идет, бандиты могут удрать”. Пошел к телефону, телефонист не протестует.

— Дайте ВЧК.

Соединили меня.

— Слушаю, — отвечает товарищ Петерс.

Я кратко объясняю, в чем дело. Подошел Владимир Ильич. Я передаю ему трубку, и он стал говорить с товарищем Петерсом, объясняя ему, в чем дело и как все случилось. Я звоню по другому телефону, вызываю автобазу Совнаркома, вызываю три машины с вооруженными...»

А что же бандиты? Они в это время возвращались за Лениным.

Мартынов сообщает, что когда Кошельков все-таки рассмотрел документы и понял, что за птица упорхнула от него, то велел шоферу Васке Зайцу поворачивать машину обратно. Кошельков решил захватить Ленина как заложника и освободить за него всю Бутырскую тюрьму...

Была и другая версия. Ее излагает в своем докладе в Чека начальник Московского управления уголовного розыска Трепалов: «Кошельков повернул автомобиль обратно, чтобы догнать Ленина и убить...»

Некоторые лениноведы утверждали, что будто бы бандиты пытались захватить Ильича с целью устроить государственный переворот. В уста Яшки была вложена фраза:

— Что мы сделали! Ведь это ехал Ленин. Если мы догоним и убьем его, то на нас не подумают, а подумают на контрреволюционеров, и может быть переворот...

Это уже явно плод творчества большевистских идеологов или чекистов, стремившихся сделать из уголовного дела политическое.

Но так или иначе, какие бы планы ни строил Яшка Кошелек, шанс свой он на этот раз упустил.

На месте ограбления, разумеется, уже никого не было. Покрутившись туда-сюда, банда повернула обратно.

Гиль:

«Владимир Ильич кончил говорить по телефону и стал опять ходить по комнате. Мы покамест находимся одни.

— Вы сказали, Владимир Ильич, что мы вооруженные люди и отдали машину, — обратился я к нему.

— Да, я сказал, — ответил он.

— Владимир Ильич, нам не было выхода, вспомните, вы стояли под дулами револьверов, я бы мог стрелять, у меня было время, они забыли меня минуты на три, но какой был бы результат моего выстрела? Я бы одного уложил наверняка, но после моего первого выстрела они тоже уложили бы вас на месте, потому что им нужно было бы стрелять ради самозащиты, и вы бы пали первым. Вот почему, быстро сообразив невыгодность нашего положения, я не стал

стрелять. При этом я понял, что им нужна только машина, а не мы.

— Да, товарищ Гиль, вы говорите правду, вы рассчитали правильно, — ответил Владимир Ильич, с минуту подумав. — Тут силой мы ничего бы не сделали, только благодаря тому, что мы не сопротивлялись, мы уцелели...»

Да, не хрестоматийный образ Ильича предстает нам со страниц этого дела... Прожектер, витающий в грандиозных утопиях, наивно-беспомощный в прямом столкновении с жизнью на улицах. Сам попался в ловушку, потребовав оставить машину, уверенный в своей неприкосновенности.

И оказывается, народного кумира никто даже не узнает — от бандита до часового. А когда его грабили посреди Москвы, при всем честном народе, «народ стоял и смотрел». Да и отношение шофера к своему высокому пассажиру чем-то очень напоминает снисходительно-покровительственную опеку Санчо Пансы. Послушался бы умного человека, все было бы в порядке.

А странные события в Сокольническом райсовете между тем шли своим ходом. Там появился сам председатель.

Чабанов:

«Тогда-то тов. Ленин обратился к нему, объяснив, что у него отняли машину. Тот ответил, что у нас не отнимают машину, почему у вас отняли? Тов. Ленин ответил: “Они вас знают, а вот меня не знают, поэтому у меня отняли машину”. После чего тов. Ленин попросил дать позвонить по телефону. Подходит к телефону товарищ Петерс. Тов. Ленин стал ему объяснять о случившемся, что случай этот не политический, а бандитский... Товарищ из райсовета очень покраснел, чувствуя, что попал в неловкое положение. Тов. Ленин был недоволен таким случаем, очень волновался, прохаживаясь по комнате и заложивши руки под жилетку. Все время ходил по комнате...»

Излюбленная поза Ильича, известная по тысячам изображений... Да, тут заволнуешься: теперь не только бандит или часовая — сама Советская власть в лице ее официального представителя не узнаёт своего вождя! И только при появле-

нии на горизонте заместителя председателя Чека товарища Петерса начинает реагировать...

Гиль рассказывает, как дальше развивались события. Поднялась суматоха. Товарища из Совета как ветром сдуло: сорвался с места и куда-то исчез. Потом так же стремительно появился и доложил, что все меры немедленно будут приняты для быстрой погони.

«— Поздновато, — говорит, улыбаясь, Владимир Ильич. — Я никогда не думал и даже предположить не мог, что почти у самого Совета, на глазах у постовых совершаются такие дела, открытые грабежи, и никаких мер Совет не принимает по охране граждан от насилия. Наверное, такие случаи у вас нередки. Грабят ли у вас, в вашем районе на улицах граждан? — задает вопрос Владимир Ильич и пристально смотрит на товарища.

— Да, случается нередко, — смущенно говорит он.

— А что же вы предпринимаете?

— Боремся, как можем, — говорит он.

— Но, очевидно, не так энергично, как нужно, — говорит Владимир Ильич.

— Надо, товарищи, надо взяться за это серьезно, — говорит Владимир Ильич. В это время пришли машины из автобазы. Я провожаю Владимира Ильича до машины, хочу сесть за руль, а он не разрешает.

— А вы, товарищ Гиль, — говорит он, улыбаясь, — отправляйтесь на розыски машины, без машины домой не являйтесь...»

«Я дал жизнь Ленину...»

Итак, Ильич направился наконец к своей заждавшейся супруге. Машину нашли в тот же вечер — брошенной в сугробе на набережной Москвы-реки. А вот бандитов ловили долго...

Силы стражей порядка и уголовников тогда были едва ли не соизмеримы. Трудно сказать, кто из этих конкурентов по части устрашения населения был больше хозяином на улицах. Бандитизм в Москве стал сущим бедствием: здесь действовали десятки отчаянных, хорошо организованных и вооруженных до зубов шаяк, державших в страхе весь город. В самой круп-

ной из них — кошельковской, — по прикидкам чекистов, было больше ста головорезов.

«Принять срочные и беспощадные меры по борьбе с бандитизмом!» — предписал Ильич, едва пришел в себя после дорожной передраги.

И меры, конечно, приняли.

Через несколько дней в газетах появился грозный приказ: «Всем военным властям и учреждениям народной милиции в пределах линии Московской окружной железной дороги расстреливать всех уличенных и захваченных на месте преступления, виновных в произведении грабежа и насилия...»

Город был поднят на ноги, прочесан вдоль и поперек. Охрану Ильича резко усилили, забрали в учреждениях машины для патрулирования улиц. Столица перешла на военное положение.

Вскоре начальник Центрального управления уголовного розыска Розенталь рапортовал Ленину:

«В целях расследования случая разбойного нападения на Вас при Вашем проезде по Сокольническому шоссе, а также в интересах пресечения бандитизма мною было поручено произвести обход и обследование всех частных меблированных комнат и частных квартир, в которых мог найти убежище преступный элемент г. Москвы. Были подвергнуты немедленному аресту все лица, заподозренные в причастности к нападению... Удалось задержать и арестовать до 200 человек...»

Однако Кошелька с друзьями среди арестованных не значилось. Милиция с ленинской задачей явно не справлялась. Тогда-то и была организована особая ударная группа Чека во главе с бывшим рабочим славной своей революционной историей «Трехгорной мануфактуры», испытанным партийцем и матерым сыщиком Мартыновым.

Захватывающим эпизодам охоты за Кошельком посвящена та из рукописей Мартынова, которая досталась для обработки автору «Одесских рассказов» Исааку Бабелю. Перед писателем во всем своем жутком великолепии предстал московский вариант бессмертного Бени Крика.

Яшку искали денно и ночью. По улицам для приманки разезжали легковые автомобили и роскошные лихачи-извоз-

чики — следом ехали комиссары. Чекисты обшаривали кабаки, притоны и воровские шалманы, вербовали там сексотов и сами втирались в уголовные шайки, надевая маски бандитов и с успехом играя их роль, совсем как ряженные в круговерти святочной фантасмагории.

И вот лубянским пинкертонам повезло: удалось узнать клички трех членов кошельковской банды: Конек, Лягушка и Черный, а потом и выйти на их след.

Мартынов со вкусом описывает, как это произошло. Заглянув в один из злчных подвалов на Пресне, он подсел там к теплой компании.

— Ну, наливайте и мне! А что, братцы, не встречал ли кто Лягушку?

Посмотрели подозрительно.

— Чего нужен Лягушка?

— Деньги надо отдать.

— Аккуратная личность! А не пропить ли их вместе?..

Пришлось разориться на ханжу — китайскую рисовую водку. В результате после долгих хитростей удалось проведать, что Лягушка со товарищи собирался в баню. Быстро смотав удочки и прихватив по пути помощников, Мартынов рванул туда, в Проточный переулок. Едва прибыли на место, как в переулок влетает лихач и в нем — двое бандитов с третьим на коленях. Все было как в лучшем голливудском боевике: «Я вынул два револьвера, другой сотрудник тоже, а третий... ухитрился под уздцы остановить лошадь. Ни один из бандитов не успел сделать ни одного движения, чтобы выхватить револьвер. Мы обезоружили их и повели...»

Следствие велось на самом высоком уровне, в допросах участвовал сам Феликс Дзержинский. Бандитов поставили к стенке и потребовали адрес Кошелька. Адрес, разумеется, был получен. А бандитов, разумеется, расстреляли.

Два дня сидели на квартире в засаде. На третий день появилась «развязная личность, именуемая Ленька Сапожник», как оказалось, подосланная в качестве приманки. И когда чекисты вывели Леньку на улицу, то сами, в свою очередь, напоролись на кошельковскую засаду. Завязался бой, в результате которого двое конвоиров были убиты, а Ленька Сапожник ушел.

И снова след Кошелька простыл.

Через несколько дней судьба опять посмеялась над чекистами. Они нагрянули с арестом к одному сахарному спекулянту, а у него в тот момент совершенно случайно оказался в гостях сам Кошелек. Увидев опасность, он через черный ход выскочил на улицу и там лицом к лицу столкнулся с двумя сотрудниками Чека. Мгновенно преобразившись, Яшка грозно надвинулся на них:

— Кого ждете? Вы из какого отделения? Предъявите документы!

— А вы кто? — опешили чекисты.

— Я Петерс, — не задумываясь, ответил Яшка.

Высокий, представительный, в серой шинели и меховой папахе, он произвел на чекистов гипнотическое впечатление: они покорно протянули ему документы — и получили в ответ пули. Один был убит, другой ранен, а Яшка и на этот раз благополучно унес ноги.

Роль видного чекиста Кошельку явно понравилась. Он раздобыл соответствующие документы и сам перешел в наступление: стал появляться со своей свитой открыто. Тешился вовсю. Заявлялся домой к какому-нибудь работнику Чека и требовал адреса его коллег, а на прощанье хладнокровно приканчивал хозяина дома. Устраивал обыски с изъятием денег и золота на заводах — по всей форме, в присутствии рабочих, с приглашением администрации и профсоюза. Останавливал на улице военных и «конфисковывал» у них оружие, выдавая себя за начальника отдела Чека. Потом эти доверчивые вояки послушно являлись на Лубянку просить вернуть им револьверы...

Карнавал разгулялся: чекисты притворялись бандитами, а бандиты чекистами — менялись масками, перенимали друг у друга опыт и приемы, а иногда так входили в роль, что не хотели с ней расставаться и переходили в стан противника. Зачастую среди работников Чека и милиции оказывались уголовники: убийцы, воры и мошенники. Мартынов пишет: «Состав сотрудников тогдашнего розыска... не только представлял собою в большей части антисоветский элемент, но и прямо-таки содержал в себе всякие отбросы, которые в некоторых случаях сами держали дружескую связь с бандитами».

Перепуганные граждане уже с трудом различали, кто есть кто. Даже сами большевики признавали: «То, что сейчас творится... это не красный террор, а сплошная уголовщина...» («Вечерние известия», 1919, 3 февраля).

Шел июнь 1919 года, когда Мартинову выпала чрезвычайная удача: попалась «невеста» Кошелька — Ольга Федорова, двадцатилетняя красотка, служившая конторщицей в РОСТе. После соответствующей лубянской обработки она подробно рассказала о своем «женихе» и даже вызвалась помочь в его поимке. Ольга была уверена, что Яшка непременно зайвится к ней домой.

— Он придет ко мне... он влюблен в меня. Человек он очень практичный, корректный и в обхождении мягкий, знает иностранные языки — французский, немного говорит по-немецки, знает латинский, по-татарскому... Много начитан...

Видно, здорово запудрил девчонке мозги, фраер!

А сам Кошелек, лишившись «невесты», впал в дикую ярость. Он объявил московским стражам порядка войну на уничтожение. И использовал для этого очень простое устройство — милицейский свисток. Выезжал по вечерам в автомобиле на улицу, поравнявшись с милицейским постом, громко свистел, а когда дежурный милиционер подходил на зов, навстречу гремел выстрел или летела бомба.

Постепенно подвиги Кошелька покрыли его легендарной славой. Каким-то чудом ему удавалось уйти невредимо из любых переделок. И все же пришел день, когда отряд Мартынова подстерег разбойника.

Случилось это на Божедомке, где в одном из домов он, по сведениям чекистов, должен был появиться. Была устроена двойная засада: часть чекистов засела внутри дома, другие — в доме напротив.

«Мы его увидели, он появился, — пишет Мартынов. — Он шел с одним из своих сообщников... Не было места ни для каких раздумий. Не нужно было стараться взять его живым. Лишь бы как-нибудь взять! Мы выскочили и стали стрелять. Первым же выстрелом попали в голову Яшиному сообщнику. Он завернулся по оси от силы удара, его бросило к воротам, и сразу он вышел из боя.

Яша применил свою обычную систему — одновременно двумя руками он буквально забросал пулями все окна в том

доме, где его ждали. Выстрелом из карабина Кошельков был смертельно ранен. Яша завалился навзничь... Но уже лежа, полуослепший от крови, механически продолжал жать гашетки и стрелять в небо. Мы подошли к нему, и один из сотрудников крикнул:

— Кошельков, брось! Можешь числиться мертвым!..

Яша ослабел, стал хрипеть и умер...»

Так кончил жизнь Яша Кошельков — король московских бандитов.

В карманах его нашлось много интересного: несколько чекистских удостоверений, пачка денег, пробитая пулей, браунинг Ильича и книжечка с дневниковыми записями. Выдержка из них сохранилась в деле Н-215. Это крик души Кошелька, обращенный к его «невесте» Ольге:

«Детка, моя крошка, моя бедная козочка. Что за несчастный рок висит надо мною. Никак не везет. Детка моя, дорогая моя, что, за что все это? О, Боже мой, что они над тобой сделают. Я буду мстить и мстить без конца. Я буду жить только для мести.

Ведь ты — мое сердце, ты моя радость, ты мое все, все, для кого стоит жить. Детка, неужели все кончено? О, кажется, я не в состоянии выдержать и пережить этого. Боже, как я себя плохо чувствую и физически, и нравственно. Душа болит. Я готов сейчас все бить и палить. Ой, как мне сейчас ненавистно, мне ненавистно счастье людей. За мной охотятся, как за зверем: никого не щадят. Что же они хотят от меня, я дал жизнь Ленину.

Детка, милая крошка, крепись. Плюнь на все, береги свое здоровье...»

Владимир Ильич Ленин тоже оставил литературный памятник о рождественской встрече с Яшкой Кошельком. Он не был бы великим человеком, если бы даже такое событие не употребил с пользой.

«Представьте себе, — пишет он в своей книге “Детская болезнь “левизны” в коммунизме”, — что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. “Do ut des?” (“даю” тебе деньги, оружие, автомобиль, “чтобы

ты дал” мне возможность уйти подобру-поздорову). Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс “принципиально недопустимым”... Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен такому компромиссу...»

Ближайший сотрудник Ленина Бонч-Бруевич рассказывает, что когда Ильич узнал о смерти бандита, перешедшего ему дорогу, то распорядился: «Дело сдать в архив!» Куда оно и было упрятано. И только теперь нарушен завет Ильича — это дело извлекли на свет.

История не знает сослагательного наклонения: что было бы, если бы... И все же вопрос напрашивается сам собой: что было бы, если бы Ильича тогда все-таки порешили? На пути Ленина встал не заурядный воришка, а мастер своего дела, — Кошелек никого не щадил, стрелял налево и направо и в упор. Наследственный бандит, сын известного вора-рецидивиста, каторжника, кончившего виселицей, — “послужной список” двадцативосьмилетнего преступника занял несколько увесистых томов.

По прихоти случая судьба страны и всей мировой революции вдруг оказалась на мгновение в руках уголовного пахана...

Конечно, машинист для паровоза революции нашелся бы. Не тот, так другой. Но ясно: наша история могла пойти совсем по иным рельсам. Как знать, устояла бы или нет советская власть в тот отчаянный для себя исторический момент — без своего гениального вождя.

Лубянка, до востребования

Каким же образом записки Мартынова попали на письменные столы Исаака Бабеля и Михаила Булгакова?

В деле — две рукописи чекиста. Про одну из них, озаглавленную «Бандиты», с правкой Бабеля, сообщается, что она была напечатана в журнале «30 дней» в 1925 году. Лубянский делопроизводитель ошибся. Ни в одном номере этого популярного журнала, ни в 1925-м (когда журнал начал выходить), ни в последующих, такой публикации нет.

Другой рукописи про бандитов — «Как жил и работал Сабан» (Сабан — еще один уголовный авторитет, «всемир-

ный преступник и борец за свободу», как он себя аттестовал) — предпослана фраза: «Настоящая статья, написанная Мартыновым и литературно обработанная писателем Булгаковым, была предназначена для печати в журнале “30 дней”, однако напечатана не была»...

Можно предположить, что Мартынов предложил свои записки журналу и уже оттуда их передали для обработки писателям — чтобы довести текст до нужной кондиции. Из сноски на полях одной из рукописей следует, что она побывала в руках журналиста Регинина, участвовавшего в создании «30 дней». Ожидалось, что Бабель напишет к «Бандитам» предисловие — в начале рукописи есть приписка: «Со вступительной статьей И. Бабеля», сделанная самим писателем.

Однако по каким-то причинам публикация так и не состоялась. И неудачливый детективщик в конце концов передал свой труд в архив родного ведомства — на Лубянку, до требования потомков, «Хранить вечно».

Бабеля и Булгакова свела на миг «левая работа» — чекистская рукопись.

Почти ровесники, оба талантливы — и оба в начале своего непредсказуемого писательского пути, у обоих еще не вышло ни одной книги. И тот и другой явились на покорение московского литературного Олимпа со стороны — один из Одессы, другой из Киева. Вот, пожалуй, и все, что было общего между ними.

Бабель в это время — на взлете своей писательской славы, первые же его рассказы, появившиеся в периодике, принесли шумный успех. Кому, как не автору «Бени Крика», доверить «Бандитов»? Да и с работой чекистов он знаком не понаслышке: сам какое-то время служил в Чека переводчиком, там у него немало друзей.

Другое дело — Булгаков. Это еще неизвестный автор, фельетонист газеты «Гудок». Давно созревший писатель, но «передержанный» — в статусе начинающего. И написанным им книгам суждено еще долго пробиваться к читателю.

Один — уже обеспечен гонорарами, отнюдь не беден («Хожу в генералах... Заработки удовлетворительны...» — пишет о себе Бабель).

Другой — нищ и готов на любую литературную поденщину, чтобы как-то прокормиться («Себе я ничего не желаю, кроме смерти. Так хороши мои дела...» — признается Булгаков в письме другу).

Бабель берется за чекистскую рукопись засучив рукава: решительно сокращает, делает текст более мускулистым и ярким, убирает риторику и «романтику»...

Булгаков, в отличие от своего коллеги по перу, едва трогает чужой текст — только исправляет ошибки и неграмотности, уточняет смысл и вычеркивает слишком разухабистые и игривые выражения. И все же наверняка он неравнодушен к этой работе, наверняка не делает ее лишь механически или с брезгливым любопытством. И его острому взгляду близка уголовная тема — своей дьявольщиной, интересен блатной герой — человек с «собачьим сердцем». Только что он напечатал «Комаровское дело» — фельетон о нашумевшем уголовном процессе над убийцей, как раз в это время задумывает «Зойкину квартиру», пьесу с персонажами из угрозыска, в первоначальном тексте которой в «волшебном фонаре» проходят фотографии из муровских досье. Да и потом, спустя много лет, эта тема воскреснет — в «Мастере и Маргарите», переведенная, правда, с бытового на другой — мистический — уровень.

Бабель и Булгаков. Два совсем непохожих по стилю писателя, совершенно разных по натуре и взглядам человека. Один — определенно «красный», другой — несомненно «белый»... И в будущем они не сблизятся, останутся чуждыми друг другу. А если и будет в их жизни все-таки что-то похожее, так это непреходящая любовь к ним читателей и трагическая судьба.

Следы перьев Бабеля и Булгакова в лубянских архивах неожиданно пересеклись со следами на рождественском снегу Ильича и Яшки Кошелька. Так они и всплывают в этом сюжете парами: вождь мирового пролетариата и король московских бандитов, автор «Конармии» и автор «Белой гвардии»...

Грабь награбленное! Во имя революции все дозволено! — эти лозунги Ильича были заложены в основу советского режима. Бандитскими методами большевики пролезли к власти,

кровью и насилием утвердили ее, поправ элементарные законы морали и права. Яшка Кошелек — только бытовая, уголовная проекция Красного Террориста.

Бандиты в личине государственных стражей ворвутся в дом и жизнь и Бабеля, и Булгакова, перевернут там все вверх дном и унесут с собой все, что захотят. Грабили бесценное — плоды творчества, залугивали и уродовали сознание, отнимая в конце концов и последнее — саму возможность дышать. Так будет и с другими героями этой книги.

Революционный смерч поднял всю муть со дна человеческой души, выпустил наружу звериные инстинкты, развратил, искалечил несколько поколений, обреченных жить между мафией власти и властью мафии.

Рождественская ночь 1919 года — только интермедия, фарсовая прелюдия к страшному карнавалу новейшей нашей истории.

Глава вторая

ДОНОС НА СОКРАТА

Они сели в пролетку и покатали по полям, в августовском полдне, продолжая о чем-то беседовать, — два старика с пышными седыми бородами — Толстой и Короленко, два классика русской литературы.

В эту их встречу в Ясной Поляне о чем они только не говорили! Конечно же, о наделавшей столько шуму статье Короленко против смертной казни — «Бытовое явление», — которую открыто и горячо поддержал Толстой, конечно, о литературе, говорили о живописи и музыке. О загадочной и противоречивой русской душе, соединившей тьму невежества с духовным светом. Короленко рассказывал о своем хождении по Руси — на открытие мощей святого Серафима Саровского и к берегам озера Светлояр, укрывшего в своих водах легендарный Град Китеж, где был свидетелем массовых молений. Толстого увлекла мысль, что собравшиеся в лесу богомольцы за видимым, материальным прозревают невидимое, духовное... Теперь хозяин провожал гостя: бег коня, топот копыт, два седобородых старика в пролетке — трудно было даже разобрать издалека, где Толстой, где Короленко.

Это было за три месяца до смерти Толстого. 1910 год. Революция уж захлестывала Россию. До Красного Октября оставалось семь лет — срок исторически крошечный. Но Толстого и Советскую Россию разделили не годы — эпоха.

Короленко пережил кровавую страду революции и Гражданской войны. «Вы торжествуете победу, но эта победа гибельная... для всего русского народа, — бросил он в лицо большевистским вождям. — Вот почему в момент торжества вы боитесь свободного слова так же, как боялось его самодержавие... Берегитесь же! Ваша победа — не победа. Русская литература... *не с вами, а против вас*».

Парадокс нашей истории — классики встречаются... на Лубянке! Их имена оказались рядом и в секретных архивах советских карательных органов: в одних и тех же следственных делах отпечатались крамольные мысли Короленко и учение Толстого, соседствуют судьбы их друзей и учеников; их родные объявляются преступниками.

Комиссар Ясной Поляны

«Советская власть может позволить себе роскошь иметь в СССР толстовский угол», — так будто бы сказал однажды Ленин.

Имелась в виду Ясная Поляна — родовое гнездо Льва Толстого, место, где он жил и творил и куда стекались к нему люди со всего света — за мудростью и правдой.

Что бы Лев Толстой сказал о большевистской России — вопрос праздный. Он в ней просто невыносим, с ней несовместим. Казалось бы, у гения все впереди, и он, по свойству гениев опережать свое время, внедрится в будущее, оплодотворив его. Но случилось непредвиденное: распалась связь времен...

«После Великой Октябрьской социалистической революции Музей-усадьба Ясная Поляна был окружен исключительным вниманием и заботой Советского правительства...»

«На нашу семью из четырнадцати человек мы берем четверть фунта масла в день — редко полфунта. Молока никто не пьет вдоволь — часто за чаем переливаем из одной чашки в другую друг другу, чтобы всем хватило... Конечно, мы не голодаем, но я часто чувствую, что недоела...»

Две цитаты. Первая — из советского путеводителя по музею «Ясная Поляна» — тиражировалась бесчисленное количество раз. Вторая — из письма дочери Толстого Татьяны Львовны (1919 год), глубоко упрятанного в хранилищах КГБ, подальше от глаз и от сознания.

Так чем же все-таки стала для Ясной Поляны советская власть — заботливой матерью или злой мачехой? И какой увидели революцию обитатели усадьбы Толстого?

В это время там жила его вдова Софья Андреевна, дочь Татьяна, многочисленная родня, от глубоких стариков до ма-

лых детей. Это был единственный в своем роде заповедник культуры дореволюционной России со своими традициями, бытом и еще живой памятью о великом писателе. Однако воспоминания о прошлом все более отступали перед грозным, настоящим, судорожными попытками выжить. Шла Гражданская война, войска генерала Деникина приближались с юга к Москве, все ближе к Ясной Поляне. Для въезда в столицу и выезда из нее требовался специальный пропуск, поезда ходили редко, переполненные вагоны брали с боем.

В 1918 году Совнарком передал усадьбу в пожизненное пользование вдове Толстого, установил ей пенсию. Музея здесь пока не существовало, хотя поток посетителей, жаждущих увидеть место, где жил и творил гений, то редая, то увеличиваясь, никогда не прерывался, — роль гидов исполняли родные писателя. Делами усадьбы заведовало Тульское просветительное общество «Ясная Поляна» — пусть не очень надежная, но все же какая-то общественная опора, необходимая, когда кругом грабили, громили, захватывали и жгли помещичьи владенья.

Тем не менее усадьба постепенно приходила в упадок: зарастал парк, гибли деревья в саду, разрушались постройки. Ветшала в доме мебель, исчезали книги из библиотеки. Обитатели Ясной еле сводили концы с концами. Спасались огородами — даже цветочные клумбы засадили овощами. Влезали в долги. Продали корову и кое-что из одежды. Татьяна Львовна, которая вела все хозяйство, вязала пуховые платки и шарфы и возила в Тулу — дочка Толстого стояла на рынке, предлагая свою продукцию, и удивлялась, что все обращают к ней на «ты», впрочем вполне добродушно.

«Устали все, — записывала в дневнике Татьяна Львовна. — Продать ничего нельзя, купить нельзя, иметь у себя нельзя. И что самое несносное, это то, что никто не знает своих прав...» Первоначальное отношение к большевикам — возмущение и отвращение — сменилось жестами примирения, неизбежными — чтобы выжить. Тем более что и сами большевики относились к Ясной неоднозначно: с одной стороны, недобитые графья, классовые враги, а с другой — дом Льва Толстого, которого признает сам Ленин. Ладить то удавалось, то нет. Чтобы продержаться, приходилось идти на компромиссы с новой властью — но так, чтобы не потерять своего достоинства и независимости.

Очередной кризис назрел весной 1919 года: принимать ли денежную помощь от большевиков? Мучительные сомнения семьи отразились в письме Татьяны Львовны от 23 апреля, найденном в лубянском архиве. Письмо адресовано брату — Сергею Львовичу — в Москву, в ответ на его послание:

«...С твоим письмом я согласна с начала до конца. На всех собраниях я протестовала против принятия денег от правительства на поддержание Ясной Поляны в какой бы то ни было форме. Но меня убедили в том, что ссуду — то есть заем, приемлемо сделать как угодно и, кроме того, что мы сможем эту ссуду погасить с сада или с чего-нибудь другого очень скоро.

Но даже если бы я не согласилась на это, — то мой голос был бы одинок и имел бы мало значения. В одном из заседаний меня поддержал Высокомирный (секретарь Общества “Ясная Поляна”. — В. Ш.), говоря, что денег от правительства брать не надо, а что можно устроить концерты или что-нибудь подобное. Но потом и он сдался. Я очень жалею, что и я сдалась. Я потом хотела протестовать, но это было бы и поздно, и бесполезно.

Меня утешает то, что ссуды, вероятно, не дадут, а если и дадут, то не скоро, а мы пока перевернемся... и вернем ссуду, когда она получится, не воспользовавшись ею.

Ты пишешь — не предпринимать ничего, а кое-как трястись. Где тут предпринимать! Но даже для того, чтобы кое-как протрястись, нужны десятки тысяч ежемесячно. Ведь Ясная годами разорялась, и тут *ничего* нет цельного и прочного. Служащие на дворе живут в таких свинских условиях, что нас справедливо могут упрекнуть за это. У скотников пол сгнил, и к ним течет навоз из хлевов, — крыши текут, печи дымят и пр. Кроме того, на всю усадьбу — бочки, колымаги, телеги — только *один* стан колес. И все остальное в таком же виде. Молотилка сломана, ремень украден.

Кормить служащих нечем, кроме хлеба, которого хватит в обрез. Скотине с большим трудом и за большие деньги (даже и твердые цены выше, чем были когда-то вольные) достаю недостаточное количество корма. Гвозди, веревки, деготь, мелкий инвентарь, части сбруи, части маслодельных орудий —

все это достается с огромным трудом и большими затратами или вовсе не достается. За неимением нужных приспособлений тратится много лишнего труда, который тоже стоит немалых денег...

Что касается наших взаимоотношений с Тульским обществом «Ясная Поляна», то они сводятся к тому, что оно помогает нам когда нужно и очень мало вмешивается в наши дела. Правление, за исключением П. А. Сергеенко, состоит из очень порядочных людей, очень желающих помочь Ясной Поляне, но имеющих очень мало свободного времени. Они сознательно не ставят никаких условий, находя, что назначение Софье Андреевне «пайка» неприлично и не их дело в это вмешиваться... Когда нужны какие-либо сношения между Ясной Поляной и властями, то это делают члены Правления, и в этом главная их роль...»

Татьяна Львовна дает своему брату и сестре Александре, жившим в Москве, несколько поручений: помочь сдать в аренду сад, продать мед, получить от издательства «Задруга», где печатались книги Толстого, какой-нибудь аванс и еще занять где-нибудь какую-нибудь сумму денег, чтоб продержаться, не разориться окончательно.

Вторая часть письма посвящена взаимоотношениям с уже упомянутым Петром Алексеевичем Сергеенко — председателем Общества «Ясная Поляна». Этот литератор, автор нескольких книг о Толстом, явился в усадьбу как спаситель и хозяин. Он поселился в кабинете Толстого и стал наводить порядок: распоряжаться всем и всеми с невероятным рвением, но бесцеремонно и бестактно. В Ясной его иронически прозвали «батюшкой-благодетелем». Что-то ему и впрямь удавалось сделать — именем великого Толстого: то добудет продукты, то привезет дрова, то пробьет нужное постановление. Подыгрывая большевикам, он проводил митинги и собрания, строил грандиозные проекты, которые неизменно лопались. И делалось это так, как если бы он всех осчастливил и все ему должны кланяться в ножки.

И духом, и поведением своим — то нахраписто-грубым, то приторно-слащавым, то фальшиво-интриганским — он все более отторгался от уклада толстовской семьи, от духа, царившего в Ясной. Особенно это проявилось после того, как уп-

равляющим именем был назначен Николай Леонидович Оболенский — когда-то муж дочери Толстого, Марии Львовны, умершей еще до революции, а теперь женатый на падчерице Татьяны Львовны и живший с семьей в Ясной Поляне.

«...Нам стало вполне невыносимо с Сергеенком, — пишет брату Татьяна Львовна. — С приездом Коли из Москвы он пришел в неистовство и на каждом шагу стал говорить совершенно невозможные грубости. Он увидел, что Коля смог без него достать и разрешение на проезд в Москву, и билет и был принят и Бончем, и Середой, и Луначарским (к которому Сергеенке не удалось пробраться)¹. Например, он на днях Коле сказал, что *“у Татьяны Львовны не хватает мужества признаться в том, что она дура”* (это его подлинные слова); мне вчера он сказал, что мы настолько грубы, что нас иначе не называют, как *“кухаркины дети”*, и пр., и пр.

Жить с ним стало невыносимо, — а дело с ним делать еще невозможнее, так как его интригам нет конца. Теперь мы открыто отделились от него. Вероятно, он постарается надеть нам много пакостей, но дальше с ним заодно действовать нет возможности.

Вот, кажется, и все.

...Да, еще хотела написать тебе то, что Сергеенко, который любит помпу и громкие слова, старался все время убедить нас в том, что нужно из Ясной Поляны сделать культурное и показательное имение: настроить школ, домов для посетителей, площадки для митингов, дорогу, устроить образцовое хозяйство всех отдельных отраслей, и когда я убеждала его в том, что это невозможно и не нужно, так как не в этом значение Ясной Поляны, то он говорил, что большевики это любят и надо хоть делать вид, что мы это делаем, для их удовлетворения. А между прочим, за два года его пребывания здесь он ничего, кроме телефона, не сделал. Но я не люблю обманывать, хотя и большевиков...»

¹ Бонч-Бруевич В. Д. — управляющий делами Совнаркома; Середя П. В. — нарком земледелия; Луначарский А. В. — нарком просвещения.

Письмо это увезла в Москву навестившая Ясную Поляну Александра Львовна Толстая.

В ночь на 15 июля 1919 года на квартиру Александры Львовны в Мерзляковском переулке ворвались чекисты и предъявили ордер на арест и обыск.

— На каком основании вы меня арестовываете? — спросила она комиссара Горбатова, рывшегося в ее бумагах.

— На основании доноса, — ответил тот.

Это было не первое вторжение ЧК в ее жизнь. Однажды они уже приходили — тоже по доносу — искали тайную типографию.

— Вы знаете, кто это? — спросила тогда Александра Львовна, указывая на портрет отца, висящий на стене.

— Маркс?

— Нет, это Лев Толстой, мой отец. Он был знаменитым писателем. А я занимаюсь сейчас изданием его сочинений...

— Вот оно что, — задумался чекист. И скомандовал товарищам:

— Идем, что ли... Нам, видно, делать здесь нечего. Зря только гражданку побеспокоили...

Теперь обыском дело не ограничилось.

Прихватив папку с перепиской, комиссар отвез арестованную на Лубянку. Там ее сразу допросили.

«Я дочь Льва Николаевича Толстого, — так, коверкая имя великого писателя, записывал в протоколе заведующий следственной частью при Президиуме ВЧК (свое имя он не называет), — имею 35 лет от роду, девица. Получила домашнее образование в объеме курса гимназии.

Занимаюсь теперь изучением рукописей моего отца. И состою председателем товарищества изучения и распространения произведений Льва Николаевича Толстого...

В политических партиях я не состою и ни одной из политических партий не сочувствую...»

Допрос, судя по протоколу, был довольно бестолковый. Спрашивали о каком-то Гришине-Алмазове, совершенно неизвестном Александре Львовне человеке, у которого нашли ее адрес; о некоем Куткине, ее знакомом по фронту на войне с немцами, где она была сестрой милосердия, организовывала

летучие санитарные отряды и так отличилась, что вернулась в звании полковника и с тремя Георгиевскими крестами. Никаких обвинений предъявлено не было.

В тот же день ближайший друг отца Владимир Григорьевич Чертков обратился с письмом к Дзержинскому:

«Многоуважаемый Феликс Эдмундович!

В прошлую ночь арестовали и увезли на Лубянку дочь Льва Николаевича Толстого Александру Львовну Толстую. При обыске взяли у нее ее частную корреспонденцию. Сказали ей, что арестовали ее на основании доноса.

Зная, что А. Л. Толстая ни в каких политических заговорах не участвует и всецело поглощена работой над приготовлением к печати не изданных еще рукописей своего отца, я полагаю, что здесь имеет место либо злостный оговор, либо какое-нибудь недоразумение. Во всяком случае, А. Л. Толстая не такой человек, чтобы скрываться от властей, и казалось бы, что дело ее можно было бы выяснить, не подвергая ее предварительному тюремному заключению. Тем более что здоровья она слабого и заключение может иметь для нее плохие последствия.

В надежде, что Вы сочтете справедливыми эти соображения, решаюсь обратиться к Вам с просьбой, не признаете ли Вы возможным сделать распоряжение об освобождении А. Л. Толстой до выяснения того, не вызвано ли это дело действительно какой-нибудь ошибкой или недоразумением.

Я был бы Вам крайне благодарен, если бы Вы потрудились поручить сообщить мне Ваш ответ по одному из вышеобозначенных телефонов.

Истинно уважающий Вас В. Чертков».

Дзержинский распорядился: «Освободить».

«Папку с перепиской от ВЧК получила», — дала расписку Александра Львовна.

Вернуть-то вернули, но перед этим внимательно прочли и кое-что скопировали, оставили себе. Так оказалось в следственном деле, сразу после протокола на обыск, хранившееся у Александры Львовны письмо сестры из Ясной Поляны. Острый нюх сыщиков в нем что-то учуял.

Были скопированы и сохранились в деле и еще два письма.

Первое, написанное в апреле 1919 года, адресовано Валентину Федоровичу Булгакову — бывшему секретарю Тол-

стого, его ученику и последователю, заведующему толстовским музеем в Москве. Автор письма — он скрыл свое настоящее имя и подписался «Пуританин» — посвящает свое послание предполагаемому изданию полного собрания сочинений Толстого.

Идею эту пробивали и дети Толстого, создавшие Кооперативное товарищество изучения и распространения творений Л. Н. Толстого, и толстовцы, последователи его учения, — они объединились в Издательское общество друзей Толстого. Работали автономно, но общим для обеих групп кроме имени Толстого было фатальное отсутствие средств на издание. Тогда-то Общество, возглавляемое Владимиром Григорьевичем Чертковым (в письме «Пуританина» он фигурирует под инициалами «В. Г.»), и решило обратиться за помощью к государству.

«Насколько мне известно, — пишет “Пуританин”, — приглашение В. Г. с так называемым “комиссаром просвещения” относительно издания теперь состоялось окончательно, и, таким образом, первое полное собрание творений Толстого должно будет появиться с кровавым штемпелем, указывающим на прямую или косвенную причастность издания к тем, кто для всего мира... является олицетворением всего самого страшного, самого отвратительного, что только есть и может быть в жизни.

Понимаете ли Вы, Валентин Федорович, весь трагический ужас такого положения, не укладывающегося ни в какие рамки *честного*, непредвзятого мышления... Мне так хочется просить Вас, чтобы Вы еще и еще заставили себя подумать, взвесив всю тяжесть ответственности, падающей на плечи всех вас, близких людей Льву Николаевичу, за тот ложный шаг, который делается В. Г., погружая творения Льва Николаевича в море горьких слез, принесенных земле прямыми и сознательными потомками Каина. И не очистятся никогда в истории людской эти чистые творения, если их не оберегут от страшного соседства люди, которым они вручены, как драгоценный алмаз, для сбережения и для передачи их *чистыми* же всему свету. Вспомните, Валентин Федорович, разве выиграло христианство от того, что проповедь его производилась при посредстве насилия, хотя при том и провозглашалось знаменитое “Во славу Божию”...

Исполняя долг перед своей совестью и перед памятью Льва Николаевича, я теперь обращаюсь к Вам как к самому молодому и, следовательно, более чуткому из учеников Льва Николаевича, чтобы Вы сделали все от себя возможное и помешали сделке, от которой смех дьявола прогремит по всему свету и которая в руки грядущих мракобесов даст оружие непреборимое. Если же, допустим, Вы здесь сделать ничего не можете... то Ваш долг публично заявить о своей позиции, если она иная, чем позиция В. Г. Такое же разумное, что Вы могли сделать, если бы пожелали, то это устроить хотя бы в том же Политехническом музее публичное обсуждение вопроса, предложив вниманию широкого народа тему: надлежит ли издавать сочинения Толстого на деньги, взятые у большевиков? Само собой разумеется, такое собеседование, по весьма понятным причинам, следует сделать для имеющих выступать без обязательства называть себя. Еще лучше на том же заседании произвести референдум записками...

Достоинство и смысл творений Толстого определенно требуют, чтобы они были в первый раз изданы на средства, собранные путем добровольных пожертвований среди всех народов, которым известно имя Льва Толстого...

Не подписываю я своего имени потому, что не в имени дело. Пусть мой голос прозвучит так же, как неумирающая, вечно бодрствующая человеческая совесть...»

Письмо это, высокопарное и нравоучительное, смахивает на провокацию. Еще больше усиливаются подозрения, когда читаешь второе письмо того же автора — адресованное на сей раз Черткову:

«Владимир Григорьевич... С прискорбием я должен заметить, что факт Вашего денежного союза с убийцами начинает косвенно отражаться и на настроении посетителей Ваших бесед; и наиболее вдумчивые из них проникаются более чем недоумением по поводу совершаемого Вами поступка... Принадлежа к частым (я не могу сказать — постоянным) посетителям собрания Общества истинной свободы и прислушиваясь к разговорам между слушателями, я могу отметить, например, такое суждение одного лица:

— Как же это так, — говорило одно лицо другому, — Владимир Григорьевич сам указывал не раз, что большевики явля-

ются врагами всего русского народа и их ненавидит народ, за исключением разве убийц и воров, — а теперь он сам вдруг заключает договор с этими врагами народа и даже подыскивает оправдание своему поступку. Интересно, что сказал бы на это Лев Толстой?..

И вот что отвечал собеседник:

— Я думаю, что Владимир Григорьевич не заключил бы договора, если бы его к тому не вынуждали материальные обстоятельства. Жить-то всем хочется, и расходы огромные, а где же денег наберешься? Вот и приходится идти на службу к большевикам...

Сколько в этих двух суждениях горькой правды или неправды, предоставляю судить Вам самому. По-видимому, союз с убийцами и отвратительными развратителями не может пройти бесследно ни для кого — даже для тех, у кого шитом служит чистое имя Льва Николаевича Толстого».

И стиль поведения «Пуританина» — то он жаловался на Черткова Булгакову, а теперь доносит самому Черткову на его слушателей, — и стиль выражений, пристрастие к громким словам: «враги народа», «чистота», «совесть» (известно, кто первым кричит «Держи вора!»), и прокурорская обличительность, и маска псевдонима, страх назвать свое имя — все это не внушает доверия. Собрать толстовцев в Политехническом музее, в двухстах метрах от Лубянки, и провести открытый референдум об их отношении к советской власти — кому такое может прийти в голову? Не самой ли Лубянке — чтобы одним махом засветить своих врагов?!

Сверху на письме сделана приписка: «Сообщается Софье Андреевне для сведения»... Значит, неутомимый «Пуританин» хотел привлечь к своему протесту против издания сочинений Толстого с помощью большевиков и его вдову? Ловкий ход, если учесть, что Софья Андреевна и Чертков издавна, еще при жизни Толстого, открыто не любили друг друга и соперничали в праве распорядиться его творческим наследием.

События вокруг Ясной Поляны и семьи Толстого власть предрежащих обеспокоили. В усадьбу пожаловал со своей свитой сам председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин.

Сначала Татьяна Львовна не хотела к нему выходить.

— Пусть он идет к черту! — в сердцах сказала она. — Я его не приму...

Но, поразмыслив, все-таки решила, что будет лучше, если толстовский дом покажет она, а не «батюшка-благодетель» Сергеенко или кто-нибудь из комиссаров.

Калинин к себе располагал: умный, спокойный, с простым мужицким лицом. С интересом обо всем расспрашивал, потом расположился вместе со всеми на террасе пить чай. Разговаривали откровенно и дружелюбно. Зашла речь о войне.

— Мы победим, — сказал Калинин. — Если не сейчас, так все равно в конце концов весь мир придет к этому.

— Может быть. Но не благодаря, а несмотря на вашу войну, — не удержалась дочь Толстого.

Спор затянулся, гость все никак не хотел уходить, хотя его ждали на каком-то сходе.

— А ведь вот мне приходится подписывать смертные приговоры, — сказал, будто оправдываясь.

— А вы не делайте этого. Никто вас не обязал это делать.

— А как же быть, когда, например, узнаешь о целой организации шпионов?

— Не знаю. Вероятно, главе правительства надо приговаривать их к смерти, — отвечала Татьяна Львовна. И простодушно заключила: — Но ведь вы можете не быть главой правительства...

Быть может, она вспомнила в этот момент мысль своего отца о том, что лучшие люди избегают участия во власти и что лучше жить под самой свирепой властью, чем самому властвовать.

Сцена чаепития на террасе была запечатлена для истории. Вместе с Калининным приехал кинематографический аппарат. И пленка до сих пор хранится в литературном музее. Жаль только, что разговора с Татьяной Львовной на ней нет: кино еще было немое. Да и ей не хотелось попадать в кадр; когда они разговаривали, Татьяна Львовна вязала веревочные подошвы к туфлям и, едва аппарат направили на нее, опустила на корточки, спряталась за стул и не поднялась, пока аппарат не умолк. Случилось это произвольно,

и неясно, что ею владело: смущение или нежелание войти в историю в дружеском общении с главой большевистского правительства...

А вскоре в усадьбе Толстого произошел «дворцовый переворот». После очередного скандала с Сергеенко решительная Александра Львовна, выведенная из себя его хамством, отправилась к Луначарскому. Тот принял ее в необычном положении: он позировал скульптору. Поднявшись навстречу и поздоровавшись, снова принял неподвижную позу.

Александра Львовна изложила ему суть происходящего в Ясной и закончила так:

— Мне кажется, что Ясная Поляна должна быть не советским хозяйством, а музеем, как дом Гете в Германии...

Вдруг Луначарский вскочил и забегал по комнате, стремительно, театральным голосом диктуя сидящей здесь же стенографистке. И не успела ошеломленная гостья прийти в себя, как держала в руках бумагу о назначении ее... комиссаром Ясной Поляны! А нарком снова застыл в прежней позе.

Против такого мандата Сергеенко не устоял. Графиня-комиссар выселила его из владений Толстого.

— Ваш отец не поступил бы так, — сказал на прощанье «бабушка-благодетель». «И, разумеется, был прав», — прокомментировала, вспоминая об этом, Александра Львовна.

«Свобода — внутри меня»

28 марта 1920 года Александра Львовна возвращалась в Москву из Ясной Поляны. С трудом удалось втиснуться в вагон, в котором раньше перевозили скот, а теперь плотной, потной массой стояли измученные люди, чесались от вшей, переругивались и опасно прижимали к себе вещи. Хотелось спать, а заснуть было нельзя...

Вот и Москва. Дикая давка. На плечах — тяжеленный мешок с мукой. Казалось: сил осталось, только чтобы добраться до дома, подняться на второй этаж — и рухнуть в постель...

И вот она у своей двери. А на двери — печать ВЧК...

Что делать? Пошла к соседям, решила позвонить секретарю Президиума ВЦИК Авелю Енукидзе, которого знала лично и который к ней благоволил.

— Кремль! Говорит комиссар Ясной Поляны!..

Голос кремлевского грузина был непривычно сух:

— Сотрудники ВЧК сейчас будут у вас...

Александра Львовна пишет в книге воспоминаний, что к ней приехал с двумя военными какой-то щуплый молодой человек, поразивший ее своей внешностью: в бархатной куртке, бледный, томный, с вьющимися каштановыми волосами до плеч. На недоуменный вопрос представился:

— Художник-футурист.

— И... чекист?

— Да, и сотрудник ЧК.

В ордере на арест, хранящемся в следственном деле, указана его фамилия — Любохонский. Художника такого мы не знаем, так что ему суждено остаться в памяти в качестве чекиста. Подписал ордер другой «художник» — бывший беллетрист, а теперь глава Особого отдела ВЧК Менжинский.

Пока военные рылись в вещах, к Александре Львовне зашли друзья и племянница Софья (через несколько лет она будет заведовать толстовскими музеями и станет женой Сергея Есенина). Поставили самовар. Вместе со всеми и чекист-футурист без жеманства уплетал яснополянские угощения, чмокал и похваливал.

В первом часу ночи Александру Львовну допрашивали на Лубянке. Только тут она узнала, за что арестована.

Как-то друзья попросили у нее разрешения провести в квартире, где размещалось Толстовское общество и жила она сама, какое-то собрание. Что это было за собрание, она толком не знала, понимала, что политическое, но вопросов не задавала, а когда входила в комнату угостить чаем, все замолкали.

Теперь оказалось, что она — соучастница опасных преступников, деятелей антисоветского Тактического центра, искоренением которого занималась ВЧК.

Перед ней сидел в мягком кожаном кресле уполномоченный Особого отдела Яков Агранов и тряс пачкой бумаг:

— Сознавайтесь. Вот показания ваших друзей, они уже подтвердили ваше участие в деле. Нет смысла отпираться. Назовите ваших сообщников!

Агранов просто брал ее на пушку. Теперь мы можем взглянуть в эти бумаги, которые были у него в руках, — выписки из протоколов допросов.

«В квартире Толстой я был на одном совещании... С ней ни в каких, ни в деловых, ни в личных отношениях не состоял. На совещании она не присутствовала...» (Д. М. Щепкин).

«Действительно, первое заседание Тактического центра... происходило на квартире у Александры Толстой в Мерзляковском переулке. А. Толстая на заседании Центра не была. Больше на заседаниях в этой квартире я лично не был, и были ли там собрания, не знаю...» (С. М. Леонтьев).

Ни в этих показаниях, да и вообще нигде больше в деле ни о каких преступных деяниях подследственной нет ни единого слова.

Обман Агранова не достиг цели.

— Все это старые приемы, — перебила она его, — их применяли и раньше, при допросах революционеров. А вас, товарищ Агранов, преследовало царское правительство?

— Разумеется...

— А вы тогда выдавали своих близких?..

Протокол допроса уместился в несколько строк:

«Я отрицаю, что какие-либо политические группы заседали у меня на квартире с моего ведома и согласия. Кроме того, отрицаю свою принадлежность к какой-либо политической партии. Отрицаю факт хранения архива Мельгунова и о существовании такого архива ничего не знаю. А. Толстая».

Последняя фраза — об архиве историка и литератора Сергея Мельгунова — раскрывает истинную причину ареста. В деле есть документ, подтверждающий это. За девять дней до ареста Агранов докладывал Дзержинскому:

«Заседания Тактического центра летом 1919 г. несколько раз происходили на квартире А. Л. Толстой, так как она считалась хорошо законспирированной. Есть большие основания предполагать, что на квартире А. Л. Толстой хранится скрываемый Мельгуновым архив Национального центра и Союза Возрождения. Мельгунов и Герасимов (по полученным сведениям) страшно беспокоятся провала А. Л. Толстой...»

В этой же справке Агранов называет источник полученных сведений: это сидевший в одной камере с Мельгуновым и

Герасимовым их поделщик Виноградский, используемый в качестве «наседки». Он-то и есть тот доносчик, которому Александра Львовна обязана своим арестом.

Первую ночь она провела в одиночке. Когда выключили свет, улеглась на койку и вдруг услышала шорох. Крысы! Они бегали, пищали, пытались вскарабкаться на постель...

Александра Львовна вспоминала потом:

«В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия, и вдруг ясно представила себе, что заперта, заперта одна, в темноте, с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену.

И вдруг, может быть, потому, что я стояла на коленях на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. “Отче наш”, и я стукнулась головой об стену, “иже еси на небесах”, опять удар, “да святится...”. Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали... Я не обращала на них внимания: “И остави нам долги наши...” Вероятно, я как-то заснула...»

Утром ее перевели в общую камеру. А через два дня — снова допрос у Агранова.

— Не будете отвечать? Ну ничего, посидите у нас еще немного, станете разговорчивее...

Протокол на этот раз гласил:

«Мое предыдущее показание от 29 марта сего года является неправдивым в пункте первом предъявленных мне обвинений. А именно: я показала, что у меня на квартире никогда не происходили заседания Тактического центра. Заявляю, что у меня на квартире действительно с моего ведома и согласия устраивались заседания («антисоветского характера», — вписано сверху, над строкой. — В. Ш.) в феврале—марте 1919 г. Я предоставляла квартиру по просьбе одного лица, фамилию которого назвать отказываюсь. Кто присутствовал на этих заседаниях, назвать отказываюсь. Сергей Михайлович Леонтьев на этих заседаниях бывал. Был также и Д. М. Щепкин. Александра Толстая».

По всей видимости, Агранов показал ей выписки из допросов Леонтьева и Щепкина, после чего она и назвала этих

двоих, которые сами признались, что бывали у нее на квартире.

Лицо, которое она отказалась называть и которое просило ее о квартире, стало известно Агранову в тот же день.

«Когда... участники искали помещение для заседаний, — показал на допросе Сергей Петрович Мельгунов, — я просил разрешения у А. Л. Толстой в комнате правления Толстовского общества устраивать иногда маленькие заседания людей, которых она лично знает... На заседаниях А. Л. Толстая никогда не присутствовала, конечно, а иногда входила, принося чай...»

И на Лубянке «комиссар Ясной Поляны» проявил свою неукротимую энергию и организаторский талант, не только не слюмился, но и поддержал духом товарищей по несчастью. Александра Львовна наладила в камере регулярные занятия гимнастикой, пыталась приручить и очеловечить суровую надзирательницу-латышку, помогла выстоять, перенести и страшную жажду — когда узниц кормили селедкой и лишали воды, — и случившийся в тюрьме пожар, жертвами которого они чуть не стали.

Однажды она обнаружила в углу щель, расковыряла ее и стала обмениваться записками с соседней камерой — там как раз оказались ее подельники Мельгунов и Герасимов. Она не знала тогда, что вместе с ними сидит предатель — Виноградский, что и в ее камере есть «наседка», которая обо всем доносит, и что сам этот обмен записками изобретен не ею, а спровоцирован следователями. Не знала и о том, что в одну из этих ночей у соседей-мужчин умер от разрыва сердца Герасимов — знакомый ей с детства, живший когда-то в толстовском доме, учитель ее братьев...

Тем временем друзья Александры Львовны хлопотали о ее освобождении. На имя председателя ВЧК было направлено такое заявление:

«Толстовское общество в Москве, осведомившись, что дочь Л. Н. Толстого Александра Львовна Толстая арестована ВЧК и вот уже в течение около двух недель находится в заключении, обращается к Вам с убедительной просьбой употребить все свое влияние, чтобы содействовать скорейшему освобождению любимой дочери и душеприказчицы великого русского писателя.

Толстовское общество просит об освобождении Александры Львовны Толстой до суда (если таковой состоится) под поруительство правления Общества.

Толстовское общество глубоко уверено, что Александра Львовна Толстая не сделает ни малейшей попытки уклониться от суда и следствия, почему Общество и надеется, что его просьба будет удовлетворена ВЧК, — из уважения к памяти великого Толстого, имя которого дорого каждому мыслящему и культурному человеку и окружено любовью широких народных масс.

Председатель Н. Давыдов.

Секретарь Вал. Булгаков».

Заявление проделало путь сверху вниз — от Дзержинского, через Ягоду к Агранову — и улеглось у него на столе.

Александрю Львовну продержали в Лубянской тюрьме около двух месяцев — пока не сочли второстепенной преступницей. Только 21 мая Агранов подал Менжинскому рапорт:

«По обстоятельствам дела считаю возможным освободить из-под стражи до суда гр. Толстую Александру Львовну, обвиняемую в участии в организации Тактический центр».

«Освободить», — распорядился Менжинский.

Перед тем как покинуть тюрьму, Александра Львовна написала громадными буквами на стене камеры: «Дух человеческий свободен! Его нельзя ограничить ничем: ни стенами, ни решеткой!»

И вот суд. Проходил он в самом центре Москвы, в здании Политехнического музея. Впереди — скамьи подсудимых, и на них — профессора, литераторы, ученые, врачи... Четверым из них грозит расстрел. Перед ними — красное пятно судейского стола. Слева — защитники, справа, за отдельным столиком, — главный инквизитор, устрашающего вида, с голым черепом и выпирающей челюстью, с резким, крикливым голосом — прокурор Крыленко.

К Александре Львовне подошел чекист и потребовал, чтобы она заняла место на скамье подсудимых. Отныне ее, преступницу второго разряда, снова переселяли в тюрьму.

На второй день суда, 18 августа 1920 года, дошла очередь до нее. В деле Н-206 Тактического центра есть стенограмма заседаний суда — по ней и восстановим всю сцену.

Председатель Ревтрибунала Ксенофонов спрашивает:

— Признаете себя виновной в том, что вам предъявлено?

— Я не совсем понимаю, что мне вменяется в вину, — отвечает Александра Львовна.

Вступает Крыленко:

— Вам вменяется в вину предоставление своей квартиры для заседания контрреволюционной организации.

— Для заседаний я квартиру свою предоставляла...

— Чьих?..

— Я только поняла, что это заседания антисоветского характера...

— Вы участвовали?

— Нет.

— Больше ни в чем участие ваше не выразалось?

— В том, что я ставила самовар и поила чаем.

— Больше ни в чем?

— Нет.

Вопрос задает защитник Муравьев. Он предлагает подсудимой путь отступления, снова спрашивает, знала ли она, что заседания у нее носили антисоветский характер. Да, отвечает она, знала или скорее догадывалась, но вот какие это заседания, узнала только от следователя.

На следующий день Крыленко произнес обвинительную речь.

— Перечисляя разных людей, в том числе Толстую, — сказал он, — я полагаю как лиц, еще опасных для Советской республики... следует изолировать и заключить их в лагерь до разгрома Восточного фронта. Я думаю, что до этого момента — полагаю, что он не так далек, — эти граждане должны быть безусловно изолированы от остальной общественной среды...

Николай Крыленко когда-то учился на филологическом факультете Петербургского университета, пописывал статьи, надо думать, неплохо знал творения писателя, дочь которого сидела перед ним, ожидая своей участи. Но вряд ли дрогнул бы верховный прокурор, если бы и сам Толстой оказался сейчас на скамье подсудимых. Известен случай, когда на одном из диспутов наркома просвещения Луначарского с церковниками тот обратился к сидящему в зале Крыленко, уже получившему ранг наркома юстиции:

— Мой уважаемый оппонент утверждает, что Христос кормил голодных, отнимая хлеб у торговцев. Николай Васильевич, по какой статье Иисус Христос проходил бы у нас и сколько лет лишения свободы получил бы?..

Крыленко пошло впрок не гуманитарное, а совсем другое образование — полученное в марксистских кружках и в революционных сражениях. Исходя из этого опыта, он и ковал теперь меч советского правосудия. На голову другим и... себе. Пройдут годы, настанет день — и сам грозный обвинитель Ревтрибунала попадет в лубянскую мясорубку. Оказавшийся с ним рядом литератор Иванов-Разумник вспоминал, что Крыленко метался из угла в угол камеры и патетически вскрикивал:

— Я ничего этого не знал! Я ничего этого не знал!..

Но вернемся в зал заседаний суда. Адвокат Муравьев углубился в психологию своей подзащитной:

— Вот гражданка Толстая. Она принесла сюда крупное имя, у нее большие заслуги в связи с именем ее отца, но я не хочу защищать тень ее отца. Отнеситесь к ней как к простой гражданке... К ней пришел гражданин Мельгунов и сказал: «Позвольте мне провести несколько вечеров у вас для собраний знакомых вам людей». Это естественное обращение к ней и естественный ее ответ... Она знала гражданина Мельгунова, знала, что он не разделяет точки зрения сегодняшней власти... но говорить, что это дача своей квартиры членам преступной организации, — тут есть очень большая разница...

Как вы думаете, Сергей Петрович Мельгунов, со своей порядочностью, мог ли ей сказать про все это, что они собираются такой группой? Не обзывала ли его порядочность не вводить в это Александру Львовну? Достаточно того, что они, сидя в тюрьме, и без того боялись, что ей может повредить этот момент. Если вы введете нравы этой среды, вы поймете, что ее знание противосоветского характера беседы не дает повода ее обвинять...

Последнее слово Александры Львовны — вполне толстовское по своему духу:

— Я пользуюсь своим последним словом не для того, чтобы оправдываться, потому что я считаю, что я ни в чем не виновна. Но я бы только хотела сказать гражданам судьям, что не

признаю суда человеческого и считаю, что это недоразумение, что человек берет на себя право судить другого. Я считаю, что все мы люди свободные и что этой свободы — внутри меня — ее никто меня лишит не может, ни стены Особого отдела, ни заключение в лагерь. Этот свободный дух — не та свобода, которая окружается штыками в свободной России, а это свобода моего духа, она останется при мне...

— К вашему делу это не имеет абсолютно никакого отношения! — прерывает ее председатель суда.

— Больше ничего сказать не могу.

Она была приговорена к трем годам заключения в Новопасском концлагере в Москве.

В музее Толстого сохранился черновик ее письма Ленину из лагеря:

«Глубокоуважаемый Владимир Ильич!..

Мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и все же даже тогда оставался свободным... Не скрываю, что я не сторонница большевизма, я высказала свои взгляды открыто и прямо на суде, но я никогда не выступала и не выступлю активно против советского правительства, никогда не занималась политикой и ни в каких партиях не состояла. Что же дает право советскому правительству запирает меня в четыре стены, как вредное животное, лишая меня возможности работать с народом и для народа, который для меня дороже всего? Неужели этот факт, что два года тому назад на моей квартире происходили собрания, названия и цели которых я даже не знала?.. Я узнала только на допросе, что это были заседания Тактического центра.

Владимир Ильич! Если я вредна России, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то, признавая право одного человека лишать жизни другого, расстреляйте меня как вредного члена Советской республики. Но не заставляйте же меня влачить жизнь паразита, запертого в четырех стенах с проститутками, воровками, бандитами...»

Неизвестно, было ли отправлено это письмо и дошло ли до адресата. Известно другое: что яснополянские крестьяне хлопотали за свою графиню-комиссара, посылали в Москву своих ходяков. И после года заточения она была выпущена по амни-

стии. А оказавшись на воле, с головой окунувшись в дела, снова посвятив себя спасению Ясной Поляны, изданию сочинений отца, сохранению и умножению его памяти.

Власти уступали перед ее отчаянностью, но не всегда. Не раз приходилось обращаться за помощью и к Калининну, спорить, доказывать очевидное. Иногда нервы не выдерживали. Однажды, в горячем разговоре с ним, она переступила всякие границы дипломатии:

— Хотите, я вам правду скажу? Если бы отец был жив, он снова написал бы «Не могу молчать!», а вы, вы, наверное, посадили бы его в тюрьму за контрреволюцию...

Тогда такое еще сходило с рук. Однако к концу 20-х годов, с нарастанием сталинского террора в стране, усилилось и вмешательство государства в посмертную судьбу Толстого. Указание Ленина дать некоторую свободу Ясной Поляне из уважения к памяти всемирно известного писателя было давно забыто. Усадьба была национализирована, стала музейной собственностью государства, а вместе с Ясной оно присвоило себе и самого Толстого. Политическое давление, слежка, мелочная опека, разнообразные запреты имели целью превратить гения в мертвого идола, безобидного, ручного, удобного властям божка.

...Толстовская семья редела и рассеивалась. В 1919 году умерла жена писателя Софья Андреевна. В 1925-м эмигрировала дочь — Татьяна Львовна. Сыновья — Илья, Лев и Михаил — тоже жили за границей и не собирались возвращаться. Колебалась и Александра Львовна. Работать на родине становилось все трудней, жить — все невыносимей. Живой, бунтарский дух отца бушевал в ней и не находил выхода.

Если в Москве еще иногда удавалось найти подмогу, то для местных чиновников обитатели Ясной по-прежнему оставались ненавистными врагами. Коммунисты заняли все должности, окружили усадьбу доносчиками. Культурные, независимые работники преследовались, всякая инициатива пресекалась. Сотрудникам музея было запрещено говорить посетителям о Боге, от них требовали марксистской трактовки Толстого, внушали, что учение его может быть только одним — орудием антирелигиозной пропаганды. Но вот и в «Правде» появилась статья, утверждавшая, что бывшая графиня, окружив себя недобиты-

ми буржуями, окопалась в прекрасном уголке русской природы и эксплуатирует трудовой народ. Пошли чередой бесконечные ревизии, комиссии, проверки, придирки. Ретивые комсомольцы по ночам бесчинствовали в усадьбе: ломали посадки, гадили, ругались и сквернословили под окнами.

Положение стало и вовсе нестерпимым, когда в Ясную прибыл новый секретарь местной партячейки Трофимов — в черной кожаной куртке, лакированных сапогах и с черной револьверной кобурой на поясе. Он совал нос во все щели, входил, не снимая кепки, в кабинет Толстого, отдавая на ходу приказы и распоряжения.

— Ох, гражданочка Толстая, — откровенничал Трофимов, трогая свою кобуру, — была бы моя воля, застрелил бы я вас на месте, рука бы не дрогнула. И чего центр смотрит?..

Однажды на рассвете Александра Львовна пошла на могилу отца. И здесь, в одиночестве, встретила солнце. Земля просыпалась. Чирикнула одна птичка, и вслед за ней весь лес разом вдруг заполнился разноголосым пением. Только здесь был покой, на этом островке в море лжи и вражды окружающего мира. А она, дочь Толстого, вынуждена была участвовать во всем этом. И здесь она решила, что больше жить во лжи не будет.

«Пока остаюсь в музее, но не знаю, надолго ли, — сообщает она в одном из писем. — Работать нельзя. Больше всего хочу свободы. Пусть нищенство, котомки; но только свободы...»

Осенью 1929 года она покинула Россию — уехала по приглашению читать лекции в Японию и уже не вернулась.

Сократы из Газетного переуллка

О духовно-нравственном учении Льва Толстого сейчас мало кто знает. Коммунистический строй сделал все, чтобы изъять его из народного сознания, как и всякое инакомыслие. И начал этому положил вождь революции Ленин, отрубивший топором: «Помещик, юродствующий во Христе...»

И еще раз: «Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские “толстовцы”».

Так с тех пор и пошло. С одной стороны — культ Толстого-писателя, с другой — низвержение Толстого-мыслителя, Учителя нации.

При советской власти философские труды его появились лишь раз — в дорогом юбилейном собрании сочинений, изданном малым тиражом и оставшемся практически недоступным. Еретиком считался Толстой в царской России, еретиком остался и в советской. Верная жена и усердная помощница Ленина — Крупская — включила религиозно-философские работы писателя в список книг, подлежащих уничтожению, Лев Толстой стал узником идеологического ГУЛАГа, уже не мог сказать своим соотечественникам, что Царство Божие — внутри нас.

Чем же он не угодил новой власти? А тем, что основой жизни считал не лютую ненависть к классовому врагу, а любовь к ближнему и дальнему, к каждому человеку в отдельности и ко всему человеческому роду, вплоть до непротивления злу насилем. Спасение видел не в победе мифического коммунизма, а в личном совершенствовании человека. Тем, что ставил вечные христианские ценности превыше любой идеологии. И вместо заразившей умы революции — жажде враз и навсегда разрешить все проблемы — предлагал эволюцию — долгую и трудную, но естественную дорогу к счастью.

Три поколения советских людей прожили без учения Толстого. Значительное движение в культурной истории России, мощный духовный поток, взявший свой исток с 80-х годов XIX века, разбился, как о плотину, об Октябрь 17-го, растекаясь на ручейки и постепенно к концу 30-х иссяк, ушел под землю. Тысячи последователей и единомышленников Толстого были репрессированы, других заставили отречься от своего Учителя, заткнули рот, отучили думать.

Тем важнее восстановить сегодня историю преследования толстовцев, вспомнить имена, незаслуженно забытые, спасти от забвения факты и документы, казалось бы навсегда погребенные в пепле времени. Осознать гармоническое целое Толстого-художника и Толстого-мыслителя, единство его исповеди и проповеди.

1 октября 1921 года в ВЧК поступил донос... на Сократа. Речь шла об очередной встрече толстовцев в Газетном пере-

улке. Секретный сотрудник информировал: «На собрании говорилось о Сократе (неизвестный)...» — и высказывал свое соображение: «...по-видимому, все тот же Чертков...»

Должно быть, на Лубянке поохотились над дремучим стукачом: уж там-то знали, кто такой этот Чертков, и о Сократе кое-что слышали. Чекисты вели постоянное наблюдение за двухэтажным домом № 12 в Газетном переулке, где располагались Общество истинной свободы, Московское вегетарианское общество и Издательское общество друзей Толстого — со своей библиотекой, книжным магазином и столовой, служащей одновременно и клубом. Филиалы Общества истинной свободы — этой одной из первых правозащитных организаций в стране — работали во многих городах России, выходили журналы и брошюры, в которых пропагандировались взгляды Толстого. Знали на Лубянке и программу Общества, среди четырнадцати пунктов которой были, например, такие:

«— Единственной силой, воспитывающей людей и приводящей их к мирной жизни, является закон любви, поэтому всякого рода насилие... противно основному закону человеческой жизни.

— Отечество наше — весь мир, и все люди — наши братья.

— Не на установление новых форм жизни должна быть направлена деятельность людей... а на изменение и совершенствование внутренних свойств, как своих, так и других людей...»

Во главе всех этих подозрительных организаций и стоял Владимир Григорьевич Чертков — когда-то самый близкий друг Толстого, теперь — главный апостол его учения.

Действительно, Лев Николаевич говорил, что если бы он захотел придумать себе друга, то лучшего, чем Чертков, все равно бы вообразить не смог. Встретились они, когда Толстой переживал мучительный кризис, укору совести от неравенства между собственным богатством и нищетой простого народа, отчуждение от своей семьи, не разделявшей его взглядов. Такой же кризис испытывал и Чертков — тоже аристократ, блестящий офицер, отказавшийся от придворной карьеры и удалившийся в свое имение, чтобы опроститься, послужить крестьянам, облегчить их участь. Близость с Толстым наполнила жизнь Черткова смыслом — он стал главным про-

пагандистом толстовских идей, издателем его запретных сочинений, собирателем и хранителем его рукописей и делал это, пожалуй, чересчур фанатично, зачастую даже бесцеремонно, вмешиваясь в личную жизнь писателя, за что и получил прозвище «генерала от толстовства». Именно ему Толстой завещал редактирование и издание своего наследия, что привело к большим конфликтам в толстовской семье.

О жизни Черткова до революции написано много, хорошего и плохого, личность незаурядная, противоречивая и до сих пор не оцененная. А вот что с ним было после революции, мало известно истории — облик его куда с большей отчетливостью отпечатался в секретных архивах, нежели в официальной литературе.

Сигналы о толстовцах и их руководителе шли непрерывно и составили целую папку.

Еще 16 ноября 1920 года ВЧК при Реввоенсовете 3-й армии сообщала с Западного фронта в Особый отдел ВЧК:

«В городе Витебске арестованы 60 человек, члены Общества истинной свободы в духе Толстого, которые вели антисоветскую деятельность, агитировали, отказывались от участия в войне. Аресты продолжаются, ведется следствие. Это Общество имеет тесную связь с Москвой: с Чертковым, Булгаковым и др. ... Примите меры».

Доносы на толстовцев сыпались ворохами и в самой столице.

Год 1920-й.

«31 июля на лекции в Газетном переулке, дом 12, Чертков сравнил время Герцена с настоящим и заявил, что все осталось то же — насилие, война, разруха, пожары, болезни и т. д. Сказал, что крестьянство в настоящее время насилуется кучкой народа, пропитанной западными идеями Карла Маркса, что довело его до отчаяния... Заявил, что крестьяне теперь тянутся за хлебом духовным, а коммунистическая партия им ничего не дает, что единственный выход для крестьянства — это стряхнуть со своих плеч теперешнее правительство...»

«На собрании толстовцев 14 августа Чертков заявил, что Советская власть — кровавое насилие над партиями и национальностями, определенно указал, что единственный способ борьбы с теперешней властью — отказ подчиниться ей...»

На собрании 28 августа там же заявил, что гражданская война, последовавшая вслед за окончанием европейской, — результат неверия в бога. На том же собрании заявил, что крестьянство голодает, отдавая на войну все свои припасы. Пусть приходит Деникин, поляки, все равно, лишь бы не дрались. То есть кончилась бы война...»

«4 сентября на собрании, говоря о причинах, почему еще держится Соввласть, Чертков сказал, что главной причиной считает то, что заткнут рот всем, а иначе Соввласть и трех дней не продержалась бы... Булгаков выступил с информацией относительно расстрелов и других расправ правительства».

«На собрании толстовцев 25 декабря 1920 г. Булгаков, говоря о диспуте с Луначарским, сказал, что сейчас все очевидней становится тяготение народа к учению Льва Толстого, а потому можно думать, что теперешняя насильственная власть будет свергнута, так как народ начинает просыпаться и видит, на какую дорогу он попал...»

Год 1921-й.

«15 января состоялось собрание толстовцев в Газетном переулке. Чертков, говоря вначале на тему о боге и грехе, съехал затем по обычаю на Соввласть. Начал жаловаться на те притеснения, которые терпят единомышленники из Общества истинной свободы, говорил о восьмидесяти расстрелянных за отказ от военной службы, говорил о непрекращающейся классовой борьбе и был недоволен тем, что компартия натравливает пролетариат на буржуазию. Чертков заявил, что такое раздутье классовой борьбы неправильно, что сейчас буржую живется тоже неважно, а потому лучше было бы примириться с ним и начать новую, действительно братскую жизнь. Дальше сказал, чтобы избавиться от греха, нужно просто отказаться повиноваться правительству...»

«19 сентября Чертков читал письмо Льва Толстого к индусу, где Толстой говорит, что государство состоит из маленькой кучки распоряжающихся и масс трудящихся. Дальше Чертков объяснял, что у нас сейчас власть захватили и всем распоряжаются большевики, для удержания своей власти настроившие ЧК. Этими словами вызвал большое одобрение присутствующих, хотя оно и не выразилось в шумной форме,

так как все опасались это сделать, но перешептывались между собой, говоря: «Здесь все свои»...

На собрании толстовцев 25 ноября назвал правительство палачами и сказал, что все, кто служат этому правительству, также палачи. Говоря о каких-то истинных христианах, сказал, что надо учиться у них, что если бы нас, то есть думающих согласно с ним, было больше, мы бы восстали против правительства и смели бы его...»

Год 1922-й.

«6 мая усиленно проповедовал на тему, что единственный работник — крестьянин, остальные все — шкурники, не включая и правителей, едущих на его шею. Приглашал всех побросать города и идти на помощь крестьянству.

В июне сего года, говоря о квакерах — сектантах коммунистического толка, Чертков называл их настоящими коммунистами, говоря, что теперешние коммунисты — банда, захватившая власть, заставляющая себя защищать от посягательств на нее других, что настоящими коммунистами могут быть только сектанты, а не теперешние разбойники...»

2 декабря 1922 года сексот Слещов-Крымский сообщал о собрании баптистов, на котором присутствовало 600 человек и где толстовцы знакомили со своим учением:

«Доклад делал Булгаков на тему “Личность в обществе”, где указывал, что... Общество истинной свободы не является какой-либо парторганизацией, а является как практическое место для обмена мнений лиц всякого сословия, веры и партий. У нас есть и коммунисты, которые находятся на равных с нами правах».

Затем сексот излагает выступление Владимира Черткова:

«Как сказал Чертков:

— Это не личность в обществе, а общество в личности, так как член не отвечает за то или иное решение Совета... Мы, Общество истинной свободы, издавали журнал и брали ответственность на себя... Цель нашего общества в настоящем такова: бороться с насилем, защищать слабых, протестовать против казней, посещать тюрьмы и т. п. Вам также известно, что в настоящем многие отказываются от военной службы и платить налоги. Мы должны их подкреплять духом своим, а также бороться за свое существование, то есть расширить идеи

нашего учителя Толстого. А для этого нужно хлопотать. Ведь вы знаете, что наше общество существует пять лет, принципиально, с тех пор как дали свободу слова при Керенском — Первая революция, а потом обратно закрыли со Второй революции. И вот, я думаю, вам будет ясно, для чего мы объединились. “Деяния апостолов” говорят: “Тогда вы можете сделать свою цель, когда у вас будет одна душа”, а однодушие и мысль мы можем сделать только здесь...»

В этом высказывании Черткова, переданном сексотом коряво, но, видимо, точно, Лубянка не могла не отметить формулу «не личность в обществе, а общество в личности», противоречащую коммунистической догме. И конечно же, факт неофициального объединения: ишь ты, проповедуют не Маркса и Ленина, а Толстого, апостолами его себя считают!

«Я подал записку, узнать, что означает толстовское общество, — продолжает сексот. — Булгаков ответил:

— Толстовское общество состоит из высших культурных лиц, председателем которого состоит сам Толстой, а цель — распространить идею учения Толстого...»

Доносчик называет этих «культурных лиц», которые доводят до ума простых людей мысли своего учителя: Чертков, Гусев, Страхов, Бирюков, Попов... и добавляет: «В пятницу будет сделан доклад о движении за границей духовного социализма толстовцев...»

Чаша терпения чекистов переполнилась.

«Не признаю... никакой власти»

Вскоре после доноса Слашова-Крымского, 8 декабря, они произвели обыск на квартирах ведущих толстовцев Черткова и Булгакова. Искали целенаправленно. Изъяли: переписку, записные книжки, документацию Общества истинной свободы и Вольного содружества духовных течений. Потребовали подписку о невыезде из Москвы. Булгаков такую дал, а вот Чертков наотрез отказался. Пришлось оперативникам связываться со своим начальством. Руководящий чекист Дерibas приказал привезти строптивного в ГПУ «для выяснения».

Но и на Лубянке Чертков вел себя вызывающе. «Отвечать не хочет», — записано в протоколе допроса. Удалось только заполнить анкету:

«Возраст — 68 лет. Из бывших дворян. Род занятий — литературная работа... Политические убеждения — разделяю взгляды Л. Н. Толстого... Был в административных высылках в России и за границей при царском правительстве...»

От него опять потребовали дать подписку о невыезде. И снова он отказался:

«На предъявленное мне предложение дать подписку о невыезде и явке по первому требованию властей я отвечаю, что, как не признаю по своим убеждениям никакой власти, в том числе и Советской, я никаких обязательств дать не могу и потому предложенную мне подписку подписать отказываюсь, но добавляю, что уезжать и вообще скрываться от власти я не собираюсь и не буду».

На том и распрощались, недовольные друг другом.

Но и выпущенный домой, Чертков не унимался. В письме Менжинскому он потребовал вернуть ему отобранное при обыске, скрупулезно все перечислив. Чертков возмущается, что ему обещали сообщить по телефону, когда он может забрать свои бумаги, но до сих пор этого не сделали, а посему просит возвратить все «без дальнейшей задержки».

Должно быть, на Лубянке удивлялись: вот ведь, благодарить должен старик, что не посадили, а он еще и недоволен!

И 22 декабря, вместо возвращения бумаг, снова допросили. Следствие было поручено оперуполномоченному Реброву.

— Я живу открыто. Всем известно, что я делаю, — заявил Чертков.

И на этот раз он проявил принципиальность, записав в протоколе: «Не признавая по своим религиозным убеждениям никакой насильственной государственной власти, не смотрю на этот так называемый “протокол” как на официальную бумагу, которую я был бы обязан подписать. Если же подписываю ее, то только как простое заявление, которое может устранить ненужные недоразумения».

На этом Черткова и отпустили, в надежде, что обыск и вызовы на Лубянку напугают его и умерят прыть.

А днем раньше тот же Ребров допрашивал другого толсто- вца — Валентина Федоровича Булгакова. В двадцать три года, будучи студентом, Булгаков оставил Московский универси- тет и приехал в Ясную Поляну, чтобы послужить своему Учи- телю. И стал серьезным, энергичным и старательным помощ- ником в самый трудный, последний год жизни Толстого: от- вечал на письма, вел переговоры с редакциями и издатель- ствами, подбирал необходимые материалы и литературу. И после смерти писателя посвятил себя служению ему: написал книги «Христианская этика» — подробное изложение миро- воззрения Толстого — и «Л. Н. Толстой в последний год его жизни». Верность своим взглядам и привела теперь Булгако- ва в следственный кабинет.

«Возраст — 36 лет. Сын чиновника. Род занятий — зав. Толстовским музеем и домом... Политические убеждения — не имею... Мое отношение к всякой власти безразличное по убеждениям религиозного анархизма в духе Толстого... В 1914—1915 гг. был под судом Московского военного окружного суда за воззвание против империалистической войны...»

Протоколы допросов короткие и формальные, потому что к тому времени участь обоих подследственных уже решена. И оформлена соответствующим заключением следователя:

«...Дело возникло из агентурного материала на... толсто- вцев... из которого видно, что названные секты проповедуют анархо-непротивленческие идеи, разлагающе действуют на Красную Армию и темные массы вообще, причем... идут под лозунг “не брать в руки оружия”... под лозунг “непризнания власти вообще”, избавиться от повинностей, налагаемых Со- ветской властью.

.. Допрошенные обвиняемые Чертков, Булгаков... показали, что они никакой власти вообще не признают. На основании вышеизложенного нахожу, что... дальнейшее оставление их в пределах РСФСР вредно отразится на состоянии Красной Ар- мии и экономическом положении Республики, а посему пола- гал бы: граждан... Булгакова и Черткова выслать в администра- тивном порядке из пределов РСФСР в Германию...»

«Согласен», — подписался начальник 6-го отделения Сек- ретного отдела Тучков.

Тупость этого канцелярского шедевра взбесила Дзержинского. Красными чернилами подчеркнул он трижды повторенное «вообще»: «г. Тучкову. Я же просил Вас продумать хорошенько это заключение. Ведь мы встретим большой отпор, а у нас, кроме “вообще”, — ничего нет».

Тем не менее другого обвинительного заключения так и не появилось. И ребровско-тучковского документа хватило чекистам, чтобы 27 декабря вынести решение: выслать Чертова и Булгакова за границу на три года..

В самом начале 1923 года их вызвали якобы для дачи показаний, на самом же деле, чтобы объявить о «новогоднем подарке».

Узнав о том, что его высылают, Булгаков обратился в ГПУ с заявлением, где просил хотя бы месяц на то, чтобы передать дела по двум музеям, которыми заведовал, собрать необходимую для переезда за границу сумму денег («Я еду туда в полную неизвестность с женой и ребенком одного года и восьми месяцев»). Он просил разрешения взять свои научные и литературные работы, а также обеспечить ему бесплатный проезд по железной дороге, хотя бы до границы.

Заявление рассматривал Менжинский. И распорядился: предоставить отсрочку на месяц; «в отношении книг, материалов и рукописей выпустим то, что возможно будет выпустить»; «ехать ему придется за свой счет».

Чертков же в ГПУ вообще не пришел, а отправил следователю колючее послание:

«Получив повестку Секретного отдела ГПУ, предлагающую мне явиться к Вам для дачи показаний по делу № 16655, я на этот раз нахожусь вынужденным сообщить Вам, что, отрицая по моим религиозным убеждениям всякое насилие, я не могу являться ни в какие государственные учреждения для дачи каких-либо “показаний”. Если, получив недавно подобную же повестку, я пришел к Вам 22 декабря, то никак не для дачи показаний, от которых, как Вам известно, я, по существу, и воздержался, а единственно потому, что, заявив перед тем просьбу о возвращении мне взятых у меня при обыске бумаг, я надеялся, что приглашаюсь, собственно, для получения обратно этих бумаг. Убедившись же в настоящее время в том, что от меня действительно ожидается

дача показаний, я должен по указанной причине определенно отказаться от исполнения Вашего желания, ибо, добровольно являясь в Ваше учреждение для такой цели, я сам себя поставил бы в фальшивое и стеснительное для себя положение. Но могу, так же как и раньше при подобных же обстоятельствах, прибавить, что если я в состоянии личным объяснением предупредить возникновение каких-либо нежелательных недоразумений или усложнений, то готов для этой цели принять Вас для частной беседы у меня на дому».

Чертков остается верен себе: подчеркнутое достоинство, старомодная педантичность, презрительная отповедь!

В это же время в ГПУ приходит письмо из Наркомата иностранных дел. Первый заместитель наркома Литвинов предупреждает чекистов:

«Арест Черткова, несомненно, вызовет сильную агитацию за границей, в особенности в Англии. Мы уже начинаем получать запросы от наших полпредов в связи с этим арестом. Прошу Вас сообщить причину ареста для контрагитации за границей».

На Лубянке обеспокоились: у Черткова были обширные и влиятельные связи за рубежом, особенно в Западной Европе, где он долго жил. Адресат Литвинова — заместитель председателя ГПУ Уншлихт — удивлен. «Разве Чертков арестован?» — пишет он на письме. Вопрос обращен к начальнику Секретного отдела Самсонову. Тот пишет в свою очередь: «Товарищ Тучков, на Комиссии поставить для пересмотра... высылки».

Тучков отреагировал и доложил о деле Черткова на заседании Особой комиссии при ЦК РКП(б) по церковным делам. Постановили: заменить высылку за границу высылкой в Крым, под надзор ГПУ.

Узнав обо всем этом, Чертков 6 февраля посылает новое пространное послание, на сей раз — секретарю Президиума ВЦИК Енукидзе:

«Уважаемый Амель Сафронович!

Вчера товарищу Булгакову было сообщено в ГПУ, куда его вызвали, что его решено выслать за границу, а меня вместо заграничного изгнания выслать в Крым. Ввиду того что высылка из Москвы куда-либо в другое место в России для меня еще гораздо хуже высылки за границу, позволяю себе

обратиться к Вам с просьбой о Вашем содействии для предупреждения утверждения подобной меры по отношению ко мне. В настоящее время деятельность моя поглощена порученным мне Толстым приготовлением к печати его не изданных еще писаний. Весьма сложная и разносторонняя работа эта требует участия целого кружка сотрудников по разнообразным специальностям, начиная от переписчиков и кончая литературно опытными исследователями по рукописной части. Своевременно находить таких сотрудников и пользоваться ими по мере надобности я имею возможность только здесь, в Москве. А потому высылка моя в провинцию в России была бы равносильна отнятию у меня всякой возможности довести до конца то издательское дело общечеловеческого значения, которое было мне поручено Толстым и которому я посвятил остаток своих дней. Остаток, во всяком случае, вероятно, небольшой, так как мне уже под семьдесят лет. Вместе с тем мои материальные средства находятся в прямой зависимости от этой моей литературной работы. Так что если бы я был выслан куда-либо из Москвы в России, то этим самым был бы лишен всяких средств к жизни. Наконец, и хронически болезненное состояние моей жены таково, что оно требует домашней обстановки и гигиенических удобств, которые для нас доступны только в Москве и лишь до некоторой степени за границей и никак не осуществимы в настоящее время в русской провинции. Таковы обстоятельства, вследствие которых применение ко мне меры, подобно той, о которой сообщает ГПУ, было бы положительно губительно как для моей литературной деятельности, так и для моей семейной жизни. И вот почему я прошу о предоставлении мне оставаться в Москве, или же если это решительно невозможно, то в крайнем случае о том, чтобы выслан я был за границу, где все же возможно для меня, хотя и частично, издательская деятельность, но никоим образом не в России вне Москвы. Извиняюсь в том, что занимаю Ваше внимание своими личными делами, утешаюсь тем, что вопрос этот касается не лично меня одного; но неразрывно связан с делами издания писаний Толстого, имеющих всеобщее значение».

Дело кончилось тем, что Черткова оставили в Москве. Что тут помогло? Милосердие к старику? Боязнь международно-

го скандала? Или его спасла осеняющая тень Толстого? Вероятно, всего этого было бы мало, если бы не кремлевские заступники Черткова — старые революционеры, советские сановники Бонч-Бруевич и Смидович. Эти интеллигенты среди большевиков, еще не растерявшие остатков уважения к культуре и чужому мнению, знали учение Толстого и относились к нему терпимо. С Чертковым их связывали дружеские отношения еще до революции: вместе защищали от притеснений духоборов, помогли им переселиться в Канаду, встречались и в эмиграции, когда богатый и хлебосольный Чертков давал приют им — бездомным и гонимым. И после революции Бонч-Бруевич оставался крупнейшим специалистом по русскому сектантству, собирателем государственных архивов, организатором музеев. С его помощью Чертков даже добился встречи с Лениным и имел с ним беседу о злоупотреблениях власти.

Как-то Бонч-Бруевич, гуляя с вождем революции по кремлевскому дворику, показал на звезды и что-то сказал о непознанных тайнах бытия.

— Протаскиваете боженку, — осадил Ильич.

С тех пор о потустороннем Бонч больше не заикался. Но кое в чем земном все же мог помочь. Его покровительством, возможно, и объясняется особая милость, проявленная к Черткову.

С Булгаковым так не церемонились. ВЦИК, рассмотрев его жалобу, подтвердил решение ГПУ — выслать!

Теперь уже друзья-толстовцы бросились на помощь — отправили письмо на имя сразу двух высших советских сановников — Калинина и Луначарского:

«...Мы, трое из самых старых друзей и единомышленников Льва Николаевича Толстого, присутствуя при административной высылке из России его бывшего секретаря и сотрудника Валентина Федоровича Булгакова, не чувствуем себя вправе оставаться безучастными к этому прискорбному для нас явлению. Не думая, разумеется, выделять этот частный случай из других, более репрессивных правительственных мер, мы обращаемся к Вам потому, что связаны с Булгаковым общей связью с Толстым. Во имя Толстого мы

и просим не подвергать Булгакова высылке из Москвы. Считаем при этом излишним утруждать Ваше внимание изложением мотивов нашей просьбы, так как неотделимый от общего жизнепонимания Толстого принцип полной свободы совести Вам, конечно, так же хорошо известен, как и нам, являясь в наш век общим достоянием сознания всего передового человечества.

Ив. Горбунов-Посадов

П. Бирюков

В. Чертков

Нет надобности, мы думаем, указывать на то, какое большое число людей разделяет высказанное здесь нами, и убеждать Вас в том, что настоящим обращением к Вам мы выражаем их голос».

Отдельное письмо послала 23 февраля заместителю председателя Совета Народных Комиссаров и председателю Моссовета Каменеву дочь Толстого Татьяна Львовна:

«Многоуважаемый Лев Борисович!

Пишу к Вам по поводу высылки заведующего “Толстовским музеем” Валентина Федоровича Булгакова. Говорить я буду только от своего лица, хотя меня звали участвовать в коллективном протесте. Но я противница коллективных выступлений, особенно обращенных к безличному учреждению, как правительство.

Вас же, от которого хоть отчасти зависит отмена приговора, — я знаю лично. В те редкие свидания, которые я имела с Вами, я чувствовала в Вас доброжелательное отношение ко мне (вероятно, ради моего отца), которому я искренно отвечала.

Поэтому я пишу к Вам, как человек к человеку, и хочу сказать Вам, что карать за исповедание и выражение вечных истин — недостойно правительства, поставившего среди своих лозунгов принципы свободы, равенства и братства.

Всякие политические системы и между прочими та, в которую наше правительство хочет втиснуть нашу огромную, многогранную родину, — канут в вечность. Учение же добра, истины, любви и единения останется вечным.

Неизвестно, насколько высылка Булгакова явится для него наказанием. Таким людям везде и всегда хорошо, потому что

они везде нужны. Но для его друзей и для меня лично это будет потеря друга, единомышленника и драгоценного помощника по любимому делу. Для нашего же правительства высылка его ляжет пятном, за которое многие осудят его. Еще я хотела сказать Вам, что Булгаков распродает все свое необходимое имущество, все расходы по визам для себя и семьи, а также и по паспорту его жены — возложены на него. Я хотела просить Вас, Лев Борисович, если уж высылка его неизбежна, — хотя бы снять с него эти непосильные расходы.

Вот все, что я хотела сказать Вам. Простите, если Вам это неприятно. Я ничего, кроме самых доброжелательных чувств, не имею и очень жалею, если Вас обидела».

Несовместимые системы ценностей! Татьяна Львовна и власть, воплощением которой был ее адресат и которая заменила этику революционной целесообразностью, просто жили в разных мирах. Для дочери Толстого правительство — только учреждение, оно безлично. Высшая инстанция — человек.

Все три высокопоставленных адресата этих писем — и Каменев, и Калинин, и Луначарский — своего человеческого отношения к судьбе Булгакова не проявили, переслали письма, без всяких собственных замечаний, Дзержинскому: как вы на это посмотрите?

Но Железный Феликс был неумолим. Секретный отдел ГПУ еще и взял подписку с Булгакова, что никаких публичных демонстраций при его отъезде за границу не будет.

30 марта Булгаков покинул родину.

Венчает это позорное для органов дело справка об антисоветской деятельности Булгакова за рубежом — стало быть, и там органы не спускали глаз с последнего секретаря Толстого. Справка была составлена, когда через три года он ходатайствовал о своем возвращении.

Все тот же недремлющий Тучков докладывает: «Булгаков до сегодняшнего дня остается убежденным противником Советской власти и ни на йоту не изменил своих убеждений, которые он лично характеризует так: “Я их (коммунистов) упрекал, еще живя в России, именно за то, что они были недостаточно коммунистичны”. Учитывая всю контрреволю-

ционность своих действий за границей, Булгаков требует гарантии неприкосновенности его личности...»

Только в 1949 году, через двадцать шесть лет, а не через три года, как было обещано, Булгаков добьется возвращения на родину, будет еще долго работать и директором Толстовского музея, и хранителем Ясной Поляны. Но вот выражать публично свою веру и быть апостолом своего Учителя он уже больше не сможет.

Письмо в прошлое

Учение Толстого жило не только в узком кругу его ближайших учеников — столичных просветителей. Еще больше приверженцев его было среди так называемого простого народа. В 20-е годы в стране существовало не меньше ста толстовских сельскохозяйственных коммун — это были и крестьяне, и горожане, ушедшие жить и работать на землю, чтобы там осуществить завет Толстого о мирной и братской жизни. Число же неорганизованных, единоличных толстовцев во всех слоях населения вообще не поддается исчислению. Это тоже часть великого наследия Толстого, невиданный, единственный в своем роде опыт воспитания: в России появился исторический тип крестьянина-интеллигента, рабочего-интеллигента, думающего трудового человека, сознательно, по собственному выбору и с Богом в душе строящего свою судьбу. То уже не были Иваны, не помнящие родства, — их отличала личная причастность к истории и ответственность перед ней. И как знать, чем бы кончилось это народное движение, какие бы плоды принесло, если бы не было насильственно прервано.

А скольких людей, даже не исповедующих учение Толстого, в тяжкую пору, в отчаянную минуту поддержал и укрепил он своим словом! И часто оно — это слово — попадало за решетку вместе с теми, кто его повторял. В деле Тактического центра, среди протоколов и постановлений, как зеленый куст в мертвом буреломе, сохранилось письмо общественного деятеля, члена Государственной думы Николая Николаевича Щепкина, которое он послал в тюрьму своему другу. Желая ободрить его, он вспоминает Толстого, как последнюю опору в пошатнувшемся мире:

«Вот что стоит у Толстого в его книге “На каждый день”:
“Когда испытываешь чувство недовольства всем окружающим
и своим положением, уйди, как улитка, в свою раковину, в
сознании покорности воле Бога, и выжидай времени, когда
он позовет тебя опять делать его дело в жизни”».

И дальше Щепкин добавляет от себя, развивая мысль Тол-
стого:

«Пусть ты не веришь, но ты должен признать, что в жизни
царит и действует над нами нечто более сильное, чем наша
воля и сознание. Называй это как хочешь, но оно властвует и
над тобой. Это то, что одни называют Богом, другие косми-
ческим сознанием и т.д. Да будет с тобой эта сила!..»

Сила эта в полной мере понадобится и самому Щепкину:
через два года он будет схвачен и расстрелян чекистами.

Трагедия людей, единственной виной которых было то, что
они решили жить по Толстому, — из тех тайн, которые партий-
ные и карательные органы старались похоронить навсегда. Вот
один из документов, вызволенный из архива ЦК КПСС:

«Протокол заседания Антирелигиозной комиссии ЦК
РКП(б) № 71 6 марта 1926 г.

...Слушали:

О сектантах-толстовцах.

Постановили :

Налицо явно вредительская деятельность сектантов-толсто-
вцев, выразившаяся в антимилицаристской и антисоветской
пропаганде, издании нелегальной литературы. Поручить ОГПУ
принять соответствующие меры».

Показательно, что первым вопросом, обсуждавшимся на
этом заседании, был такой:

«Слушали:

О духовных концертах.

Постановили:

...Комиссия категорически высказывается против какой бы
то ни было материальной или моральной поддержки и куль-
тивирования со стороны государства певческих и музыкаль-
ных хоров, концертов и капелл духовного характера, прини-
мая во внимание, что в данный момент церковная музыка,
хотя бы и в лучших ее произведениях, имеет актуально-реак-
ционное значение...»

Учение Толстого и церковную музыку приравняли, а потом вместе и упразднили за ненадобностью, совершив тем самым еще один акт духовного оскотления народа.

Составлял протоколы Антирелигиозной комиссии ее бесменный и неистовый секретарь, он же начальник церковного отделения ГПУ, он же член руководства Союза воинствующих безбожников — Евгений Александрович Тучков. Лицо примечательное и характерное для того времени — недоучка с четырехклассным образованием, армейский писарь, — теперь особоуполномоченный ленинской партией взрывать храмы, сжигать книги, глушить музыку и подстреливать в полете мысль.

Толстовцы были рассеяны по тюрьмам и лагерям, многие убиты. Последняя их коммуна погибла около шестидесяти лет назад. А вместе с ними пройдет все круги гулаговского ада и сам Лев Николаевич Толстой — посмертно. Будут судить за его мировоззрение — значит, судить его самого.

В архиве Московского правозащитного общества «Мемориал» хранится удивительный документ. Это письмо одного из самых твердых и бесстрашных толстовцев — крестьянина Якова Дементьевича Драгуновского — письмо, написанное в тюрьме, перед судом, совпавшим с днем смерти Толстого, двадцать шестой годовщиной, и адресованное ему самому, в прошлое — в настоящем никто не услышит.

«...Да, дорогой Лев Николаевич, я теперь ясно осознал и имею полную уверенность в истинности этого мировоззрения. И за этот великий и светлый идеал чисто духовной жизни в данный момент, в день твоей светлой памяти, меня представили перед судом как преступника, как какого-то “контрреволюционера”.

Люди, не понимающие идеала чисто духовной жизни, хотят судить и наказать меня, чтобы я отказался от этого “дурмана и мракобесия”, как они, эти заблудшие люди, считают. Чтобы я перестал верить в идеал чисто духовной жизни, который один только может объединить людей в жизнь Единую, Совершенную, хотят, чтобы я поклонился богу материальной, эгоистически обособленной личности и вел борьбу с другими людьми за материальные блага для этой личности, т. е. дальше и дальше разъединяясь друг от друга, самому страдать и других заставлять страдать. Хотят заставить, чтобы я признал насилие

необходимым условием человеческой жизни, а идеал ненасилия отбросил как контрреволюционную идею.

Нет! — скажу я своим обвинителям. Дорогой Лев Николаевич, не могу я признать суеверие за истину; как нельзя назвать черное белым, так нельзя считать ложь за истину. Ведь в мире существует только одна сущность, только одна реальность. Эта реальность духовна — это жизнь бесчисленных существ, или точнее: это Совершенная, Неограниченная жизнь, которую люди могут проявлять в своей душе путем соединения в любви, радости и совершенстве».

Яков Драгуновский хотел зачитать свое обращение на суде — не дали, остановили, а само письмо приложили к делу. И вынесли приговор: пять лет концлагеря. Уже там, в лагере, Драгуновского снова судили за его слова и писания и приговорили к расстрелу.

В детстве у Льва Толстого был таинственный талисман — «зеленая палочка», которая, как он верил, принесет счастье всем людям на земле. Он закопал свою «зеленую палочку» в укромном уголке Ясной Поляны, и, спустя жизнь, сам был похоронен на том же самом месте. Может быть, это символ того, что в наследии Толстого нам надо искать сегодня спасительную «зеленую палочку»?

Советский опыт России только подтвердил правоту писателя. Не исправлять мир для себя, но, исправляя себя, тем самым изменять и мир. Без самовоспитания души, внутреннего преображения человека все социальные революции и перестройки приводят лишь к новым жертвам и разрушениям, к новому закабалению.

Перед судом истории

«Жизнь сложна. Можно не принадлежать к числу сторонников толстовской теории, можно отрицать ее, можно полемизировать с нею, как это в свое время делал и я, но невозможно не преклоняться перед красотой этой великой смятенной души, как можно не верить даже в реальное существование Христа и все-таки восхищаться высотой этого измечтанного человечеством образа.

В наше время, время общего ожесточения и порой не человеческой, а почти звериной борьбы, особенно важны и дороги напоминания о человечности... о прекрасной, вечно взволнованной душе первого русского интеллигента».

Эти слова произнес в десятую годовщину смерти Толстого его современник Владимир Галактионович Короленко.

Седобородый патриарх литературы, с пронзительными голубыми глазами и жилистыми, загорелыми руками, известный всей России, жил тогда на Украине, в Полтаве. И дом его, как и Ясная Поляна, напоминал одинокий остров в бурю. Вокруг бушевала гражданская война, город переходил то к белым, то к красным, то к немцам, то к петлюровцам. И каждая «волна озверения» (выражение Короленко) несла с собой новые убийства, грабежи и насилия. Погибая, спасай других! — сказал кто-то. И старый, больной писатель сражался за других, отстаивая человеческую жизнь перед лицом смерти.

Люди шли и шли к нему со своими бедами — никому он не отказывал во внимании, писал многочисленные заявления и ходатайства. Или собирался и шел к властям. Спокойный, мирный, даже благодостный дома, в кругу семьи, здесь он преобразался: глядя прямо в глаза, яростно требовал, доказывал, убеждал — и спасал от неминуемой гибели, смертельных приговоров десятки людей. И когда он проходил по полтавской улице, люди расступались, останавливались и снимали шапки, образуя коридор, — и лица их менялись: теплели, озарялись улыбками. А раз в году, в день его рождения, к дому Короленко стекались знакомые и незнакомые — с поздравлениями, дарили кто что мог: продукты, спички, мыло, соль...

Было и другое, не раз ему угрожали, предупреждали о готовящемся покушении, советовали скрыться. Он отвечал:

— Я останусь... Смерть? Ну так что же! Жизнь писателя тоже должна быть литературным произведением...

Таким запомнили его современники.

Партизан свободы, как он себя называл, Короленко стал первым великим правозащитником в долгой советской истории, в одиночку идущим против ее течения, предшественником Солженицына и Сахарова.

Понятно, что единоборство Короленко с «властью доноса», по его определению, оставалось за пределами официаль-

ной историографии. Его публицистика была отсечена от печати, многие статьи, письма, дневник послереволюционных лет оставались неизвестными советскому читателю до нынешних времен.

Новые открытия в архивах карательных органов позволяют восстановить несколько эпизодов биографии Короленко, прочитать летопись его бесстрашного сопротивления — через арестантские судьбы людей, за жизнь которых он боролся. Среди них окажутся те, кто входили в научно-художественную элиту общества, кто объединялись под натиском революционной стихии в поисках гуманного и демократического пути.

...Все то же необъятное дело Н-206 (Тактический центр), по которому привлекалась и Александра Львовна Толстая. Подсудимый Сергей Петрович Мельгунов, историк, литератор и общественный деятель.

За пять послереволюционных лет арестовывался пять раз, то есть каждый год, двадцать один раз подвергался обыскам. «Внутренний эмигрант», — говорил он о себе.

Из следственных материалов о Мельгунове выясняется, что первый раз он был арестован в ночь с 31 августа на 1 сентября 1918 года в результате массовых облав, проведенных в связи с покушением на Ленина и убийством председателя Петроградской ЧК Урицкого. Чекисты-латыши, едва говорившие по-русски, растерялись при виде огромной библиотеки и архива, занимавших пять комнат...

Рядом с ордером на арест — телеграмма из Киева заместителю Держинского:

«Принято 3.10.1918 г.

Товарищу Петерсу, Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Копия товарищу Чичерину. Кремль.

Короленко обратился ко мне с просьбой содействовать освобождению Сергея Петровича Мельгунова, руководителя «Исторического журнала»² и издательства «Задруга».

До Короленко дошло, что Мельгунов арестован, между прочим, за личное столкновение, которое он будто бы имел с

² Имеется в виду журнал «Голос минувшего», основателем и редактором которого был Мельгунов.

Бонч-Бруевичем, что бросает в глазах общества совершенно особое освещение на этот арест. Сообщаю Вам об этом, не допуская, конечно, что аресту Мельгунова причиной являются какие бы то ни было личные расчеты. Имея в виду, однако, что Короленко — один из резких писателей, который имел мужество поднять голос против травли на большевиков в июльские дни, и что он один из всей Украины, после ее занятия немцами, гайдамаками, протестовал с негодованием в печати против пыток, которым [подвергались] наши товарищи, заключенные в Виленской гимназии, считаю необходимым дать ему исчерпывающее объяснение по поводу ареста Мельгунова и что мы не прибегаем ни к каким жестокостям, бесполезным арестам и прошу сообщить мне срочно, имеются ли виды на освобождение Мельгунова.

Раковский».

Христиан Георгиевич Раковский — лицо в революции известное. Короленко познакомился с этим видным большевиком еще в царское время, он произвел тогда на писателя большое впечатление своим умом, образованностью и благородством, с тех пор их связывала взаимная симпатия, почти дружеские отношения. Что же касается упомянутого в письме другого большевистского деятеля — Бонч-Бруевича, тут Короленко был введен в заблуждение: к аресту Мельгунова тот был совершенно непричастен, больше того, тоже ходатайствовал за освобождение его. Мельгунов вспоминает, что потом в разговоре с ним Бонч-Бруевич откровенно признал:

— Ваш арест — просто недоразумение. Мы знаем, что кругом нас злоупотребления. Ведь восемьдесят процентов у нас — мошенники, примазавшиеся к большевизму... Что делать?! Мы боремся. Вероятно, мы погибнем. Меня расстреляют. Я пишу воспоминания. Оставлю их вам...

— Ну, меня раньше успеют расстрелять, — отозвался Мельгунов.

Телеграмма из Киева пришла с опозданием, Мельгунов уже был отпущен после допроса у Дзержинского, под его личное поручительство. И все же она пришла вовремя, потому что 5 октября Мельгунов был вновь арестован, и заступничество Короленко пришлось как нельзя кстати. Мель-

гунов вспоминает, что его вызвали в комендатуру ВЧК и он увидел там незнакомого ему человека, имевшего вид просвещенного европейца.

— Позвольте представиться, — сказал этот джентельмен. — Вот при каких обстоятельствах я имею удовольствие с вами познакомиться. Я получил от Владимира Галактионовича Короленко письмо с просьбой о вас. Я с удовольствием беру вас на поруки. Через несколько дней вы будете освобождены. За мнения наше правительство не преследует, а то бы пришлось держать десятки тысяч людей...

Это и был Раковский.

В следственном деле Мельгунова есть распоряжение Дзержинского от 9 ноября: «Принимая во внимание, что С. П. Мельгунову не предъявлено обвинения в содействии организации, поставившей себе целью вооруженную борьбу против Советской власти, ВЧК постановляет: Мельгунова С. П. освободить из-под стражи».

Не прошло и полугодя после этого, как Короленко получает письмо от жены Мельгунова и узнает, что ее муж опять в тюрьме. И снова пишет Раковскому, ставшему к тому времени председателем правительства Украины (это письмо, от 15 апреля 1919 года, сохранилось в другом архиве — отделе рукописей Российской Государственной библиотеки):

«Помните, я раз писал Вам об аресте С. П. Мельгунова в Москве. Вы тогда ответили, что, по справкам, среди арестованных его фамилия не значится. Это было верно: к тому времени он был уже отпущен. Но вчера я получил известие, что он арестован опять. Не знаю, какие преступления на него возводятся в смысле “неблагонадежности”. Но думаю, и даже уверен, что они не могут быть серьезны. А арест его — дело очень серьезное: он душа кооперативного издательства “Задруга”, около которого существует много литературных работников и работников печатного дела... Не благодарю специально за приостановку бессудных казней, так как уверен, что Вы сделали это в интересах справедливости и самого большевистского правительства. Во всяком случае — это было нужное и хорошее дело со всех точек зрения».

И на этот раз Мельгунов отделался сравнительно легко — пробыл в тюрьме только десять дней. А вот на следующий год

попал в руки чекистов уже надолго — по делу Тактического центра. Тут уж Короленко оказался бессилён, хотя и не остался в стороне, бросился на помощь — опять обратился к Раковскому. Он внимательно следил в Полтаве за этим судебным процессом по газетам — в архиве его сохранились вырезки под рубрикой «Тактический центр».

Дело было серьёзное — Мельгунову грозил расстрел. В справке о нём, составленной оперуполномоченным Аграновым для Дзержинского, дана убийственная характеристика:

«...Мельгунов несомненно является одним из самых активных врагов пролетарской революции. Бешеная ненависть его к Соввласти и компартии, его чрезвычайная непримиримость поражает даже его друзей... По сообщениям, полученным мной от заключенного в одной с Мельгуновым камере Н. Н. Виноградского, Мельгунов убежден в неизбежном для Соввласти в ближайшем будущем девятом термидоре и в этом духе настроивает своих товарищей по камере...»

Мельгунов не раз вспоминал бесконечными тюремными ночами переживания узников, ожидавших казни, — из «Бытового явления», знаменитой статьи Короленко. То же чувство бессилия, когда вся тюрьма не спит и прислушивается к каждому звуку. И отчаяние оттого, что революция, за которую он, народный социалист, боролся, сделала это «бытовое явление» еще более массовым и обыденным.

Сохранившиеся в следственном деле записки Мельгунова — прекрасные образцы публицистики, которые переключаются с публицистикой Короленко того времени и которые еще ждут своего издателя. Вот фрагмент из его заявления 10 июля в президиум ВЧК, написанного после того, как он узнал об аресте жены:

«...Мною поданы три заявления на имя президиума. На них не сочли нужным реагировать...

Я не в состоянии больше выносить того, что не могу назвать иначе, как издевательством над собой... Понятие это относительно и субъективно, и то, что одному будет казаться переносимым, для другого будет тяжким оскорблением. И вовсе не для писателя только, не для того, кого Агранову угодно было

на первом допросе лестно именовать “крупным и известным общественным деятелем”, а для каждого, кого можно только отнести к категории критически мыслящих личностей... Психология, а следовательно, и форма восприятия у людей разнородна: если одних влечет на стезю литературную, где возвеличивается человеческая личность и ее неотъемлемые права, то других — на путь жандармов, где всемерное унижение личности возводится почти в догмат, где с презрением относятся к идеологическим ценностям, установленным незыблемо передовой человеческой мыслью и являющимся основами демократии.

Слов для формальных только протестов у меня уже больше нет! Я должен протестовать не только словом, но и действием, должен протестовать именно потому, что со мной это делают социалисты и мне некому даже сообщить! Что же мне, переходить к тем или иным эксцессам, чтобы попасть в подвал, которым грозят висящие в камере правила? Моим уже традиционным интеллигентски-академическим навыкам слишком непривычны такие формы протеста; поэтому обращаюсь к другой, старой форме протеста политических заключенных — к собственно голодовке. Буду голодать до тех пор, пока хватит сил или пока не будет освобождена моя жена. Человеку не дано заранее точно учесть своих сил. Напрягу всю свою волю, соберу все свое мужество, чтобы не было позорной сдачи. В то же время я ясно сознаю вперед почти бессмысленность моего протеста со стороны достижения реальных результатов. Психология всякой власти, если только она не демократична по существу (форма в таких случаях имеет второстепенное значение), всегда одна и та же: власть не уступает во имя ложного понимания престижа, желания сломить волю заключенных, скорее озлобляется и часто даже начинает мстить...

Если моему протесту суждено закончиться для меня скверно, пусть будет так, по крайней мере это будет своего рода *metentum mori* для “демократии” в социалистической тюрьме... Если вам кажется целесообразной гибель еще одного народного социалиста, пусть будет так, не впервые, кажется, постигнет такая судьба члена корпорации русских писателей, так или иначе всю свою сознательную жизнь по мере разума и умения служившего интересам демократии и даже, с вашей

точки зрения, сделавшегося “контрреволюционером” в период только вашего властвования.

Он сделался им потому, что не мог мириться с беспорядком, существующим во имя демократии. Как историк он вынужден слишком сознательно оценивать приливы и отливы общественных волн. Он знает, что рано или поздно другая волна придет, ибо известные социальные принципы осуществляются не в среде отвлеченных категорий, а среди реальных людей, и нельзя принудительным путем ввести социализм там, где еще так мало социалистов, где даже среди официальных коммунистов, вероятно, немало таких, которых в эпоху нашего Смутного времени 17 века, во времена Тушинского вора, называли “перелетчиками”. К сожалению, при современном культурном состоянии даже верхов человечества эти приливы и отливы чреватые болезненными эксцессами. Этот историк и писатель считал своей нравственной гражданской обязанностью ослаблять неизбежную реакцию. Его деятельность, может быть, и была безумна, но он никогда и в этом случае не поступался своими убеждениями. Он был демократом и социалистом, им и умрет...

Будучи врагом всей политики Советской власти, я все же длительную деятельность большевиков объяснял своего рода общественным фанатизмом, узко воспринятой политической догмой, и органически ненавистный мне террор я выводил из того же ложного, с моей точки зрения, миропонимания. Известный общественный психоз как явление временное, могущее захватывать даже широкие круги, вовсе не является для меня научным понятием... Боюсь, что эта последняя тюрьма начинает разрушать и эту, по-видимому, последнюю, иллюзию. Когда вы убиваете людей, вы говорите, что уничтожаете врагов во имя великого будущего. Я отрицаю за людьми право так строить это будущее. Но каким мотивом, кроме недостойного и, в сущности, низменного чувства мести или цепких традиций нашего проклятого прошлого, можно объяснить издевательства над человеком?.. Все то, что мне пришлось пережить в последние две недели, лишь переполнило чашу. Мой протест — протест против всех приемов и методов следствия, против того систематического обмана, которым подвергался; наконец, против того пол-

ного бесправия и той полной беззащитности, которую я испытываю здесь и которую молчаливо переносить я не могу...

Если издевательством считать только физическое воздействие, то такому издевательству я не подвергался.

Я считаю издевательством *обман*...

Издевательством я считаю всякую жестокость, и особенно в тех случаях, когда она не оправдывается никакими обстоятельствами...

Издевательством я считаю всякое оскорбление, а тем более незаслуженное, наносимое, в сущности, беззащитному...

Издевательством я считаю личный произвол... Произволом я считаю отображение рукописей, написанных мною в тюрьме и не могущих иметь никакого отношения к делу...

Издевательством я считаю, наконец, когда, в конце концов, я задал вопрос, что же, будет суд? — мне было сказано: “Ну что же, если хотите поговорить, можно и суд”.

Издевательством считаю игнорирование личности заключенного... Отсутствие элементарной гуманности для меня — издевательство над личностью.

Издевательством, в конце концов, считаю бесправие и беззащитность. В течение месяцев я отдан во власть одного человека. Некому даже принести жалобу...

Вдвойне издевательством все это является потому, что приходится переносить это от социалистов...»

Семнадцать мучительных дней голодовки. Он прекратил ее только тогда, когда освободили жену. И едва успел окрепнуть — слабость, худоба, низкая температура, до 34 градусов, ноги отекали, — как предстал перед судом. По его просьбе жена передала ему тайно, через адвокатов, флакон с цианистым калием — умереть от пули чекиста он не хотел.

Последнее слово Мельгунова на суде, произнесенное сразу же вслед за последним словом другой «преступницы» — Александры Львовны Толстой, — выдержано в том же духе свободолюбия (цитирую по стенограмме суда, хранящейся в следственном деле):

«Обвинитель сказал, что здесь происходит суд истории над нами. Я думаю, что суд истории еще не наступил... В тюрьме я

уже написал книгу о французской революции с точки зрения человека, переживавшего русскую революцию. Может быть, судьбе не угодно, чтобы я окончил эту книгу, но буду говорить против гражданина Крыленко на вашу обвинительную речь...

Я стою перед судом истории открыто и думаю, что честно пронес знамя русского писателя, может быть и небольшое, через русскую жизнь. Я всегда был социалистом, демократом, им и умру... Может быть, мое несчастье, мое горе в том, что как историк сознаю неизбежность прихода этой власти. Если вы, гражданин обвинитель, не знаете, где буду я, то я знаю. Я знаю, что я как-нибудь буду содействовать лагерю “версальцев” и там буду бороться, поскольку у меня есть силы. Если органически для меня неприемлем красный террор, то еще более будет ненавистен белый террор. Во время французской революции был синий террор. Для меня красный террор мучителен, потому что я социалист, и поэтому косвенно принимаю на себя ответственность за то, что здесь происходит...

Гражданин обвинитель в заключительном слове упоминал о Временном правительстве, что Временным правительством был поднят вопрос о смертной казни и оно начало преследовать большевистскую печать. Кто протестовал против смертной казни? Мы, народные социалисты. Мы, народные социалисты, и в частности я, протестовали против закрытия большевистской печати. Мы, народные социалисты, в частности я, были всегда, может быть, и сентиментальны, может быть, в жизни сентиментальность не нужна, но такова натура, такова природа человека, вся психика. История может оправдать всех вас, может быть, правильней идти без компромиссов. Мне казалось, что мы должны идти на компромисс. Но я никогда не возьму на себя смелость утверждать, что иду по правильному пути. Это скажет история. Может быть, я и ошибался, но французская история, которую я усиленно изучал в последнее время, показывает, что я прав...

Я показывал на следствии мое отношение к Советской власти, мои прогнозы... Я на суде не отказываюсь от них и не собираюсь отказываться... Но связь с добровольческими армиями мне лично была не нужна, потому что эти армии были для меня врагами... Если мне суждено погибнуть, то пусть я погибну за то, что исповедую, за то, что делаю, но не припи-

сывайте по крайней мере мне того, в чем я не могу признать-ся, что является неприемлемым для меня органически.

Кончаю. Может быть, смешно человеку, которому гражда-нин обвинитель требует смертной казни, смешно говорить о том, что он сделал и что делает теперь, но позвольте все-таки сказать два слова. Я считаю, что, может быть, только теперь выполнил свой гражданский долг, может быть, только теперь получил моральное право отдалиться своим занятиям. Мне слиш-ком тяжело, что я пережил за последнее время. Я стал полити-ческим и моральным трупом. Но, просидевши в тюрьме, я мно-гое передумал и пришел к убеждению, что и вы пойдете по моему пути, пойдете по пути моего мирозерцания... Сейчас я, может быть, только способен уединиться в своем кабинете, политически я не вижу для себя плодотворной роли, на кото-рой я мог бы работать, если бы даже у меня были силы».

После этого председатель суда объявил перерыв. Верховный трибунал удалился на совещание. И вот приговор — расстрел... и тут же — замена десятью годами тюремного заключения...

В феврале 1921 года Мельгунов вместе с другими пригово-ренными по этому делу будет амнистирован. Он еще успеет помочь тяжело больному Короленко, своему старшему това-рищу в литературе и заступнику: организует приезд к нему мос-ковских врачей и передаст с ними последний подарок — толь-ко что выпущенный «Задругой» третий том «Истории моего современника» — главной книги Короленко.

Когда через год Мельгунова снова арестуют и вышлют за границу, Короленко уже не будет в живых.

— Мы вас выпустим, только с условием — не возвращать-ся, — сказал Мельгунову на прощание Менжинский.

— Вернусь через два года, больше вы не продержитесь.

— Нет, я думаю, лет шесть еще пробудем...

Свобода без предрассудков

Второй архивный сюжет связан с именем другого близко-го Короленко человека — Венедикта Александровича Мяко-тина. Публицист и общественный деятель, как и Мельгунов, один из лидеров Народно-социалистической партии и мно-

голетний сотрудник журнала “Русское богатство”, издателем и редактором которого был Короленко, Мякотин тоже попал в число обвиняемых по делу Тактического центра. В следственном досье сохранился подлинник неизвестного письма ему Короленко от 28 августа 1919 года. Судьба забросила в это смутное время Мякотина на юг России, в Екатеринодар, где он редактировал газету «Утро Юга». Туда-то и привезла ему письмо старшая дочь Короленко Софья.

«Дорогой Венедикт Александрович!..

Вы, вероятно, знаете, что “Русское Богатство” закрыто, помещение и бумага реквизированы... Красноармейцы, поместившиеся в нашей редакции, отапливались нашими изданиями, третья книга журнала не вышла в свет...

Посылаю Вам для напечатания в газете пять “Писем из Полтавы”. Рад был бы продолжить их и прислать еще продолжение этой серии, но в последние дни что-то расклеился и до отъезда Софии не успел написать шестого и седьмого писем, как предполагал. Первое и второе письма я было отдал в местную газету, но они “не прошли по независящим обстоятельствам”. А я не считал возможным начинать говорить о современных событиях на Полтавщине, начав с умолчания о главном: о сплошном грабеже еврейского населения. Три дня это шло невозбранно, потом воспретили (Полтава в это время была в руках белогвардейцев. — *В. Ш.*). Остальное более или менее увидите из самих писем. Попробую остальные послать почтой.

Жилось тут при большевиках довольно плохо. Надо сказать, что у нас в Полтаве они не совершали и десятой доли того, что творили в Харькове и Киеве. В Исполнительном комитете были люди не свирепые, и удавалось сдерживать гнусности чрезвычайек, так что расстрелов было сравнительно мало. Но все, что делалось, производило впечатление чего-то вроде ноющей зубной боли. “Свободу” они ведь объявили без буржуазных предрассудков. Никто не был уверен в неприкосновенности личной и своего жилища. Грабеж назывался “реквизицией”.

Грабеж идет, правда, и теперь. В городах казаки грабили евреев (обирали по шесть-семь раз одних и тех же), в деревнях за малочисленностью евреев — грабят крестьян. Это ужасно вредит Добровольческой армии, и то самое повстанческое

движение, о котором газеты пишут, радуясь, что оно вредит большевикам, — легко может повернуться против добровольцев. И уже почти наверное повернется, так что Добровольческая армия готовит себе этими “порядками” плохой и опасный тыл. А еще — самая черносотенная политика относительно Украины... По последним известиям, в Центре отрицают “самостийность” — и совершенно резонно, — но признают свободу национальной культуры, а здесь... ну да это Вы увидите из моих статей.

Многие спрашивают — не притесняли ли меня большевики? То и дело носились разные слухи. Говорили даже, будто меня убили... В общем, я пожаловаться не могу. У меня даже не реквизировали комнат. Попытки со стороны разных низших властей были. Но высшие власти все это пресекали и относились ко мне внимательно. Но атмосфера все-таки была тревожная. По традиции, создалось такое положение, что ко мне то и дело обращались сотни людей, и мне приходилось ходить, посредничать, ходатайствовать и т. д. Все это не давало покоя и держало больное сердце в постоянном напряжении. Не скажу, что теперь оно успокоилось. Безобразий много, и единственное преимущество теперешнего положения в терминологии. Теперь грабеж называется грабежом и только прибавляют со вздохом: “Что делать? Война”. А прежде большевики называли грабеж “реквизицией” и объясняли “социализмом”. “Раздеть буржуев и одеть пролетариат”. Буржуев раздевали, а пролетариат все равно ходил голый! Конечно, большая правильность терминологии есть тоже (ох-хо-хо-о!) некоторое преимущество, но далеко еще до успокоения сердец, и больных, и здоровых...

Снесите с Софией телеграммой, что ли, — чтобы повидаться Вам с нею... Если повидаетесь, то она расскажет Вам любопытный эпизод с нападением на нас... бандитов... Было таковое, была стрельба, была даже физическая борьба (я с одной стороны, вооруженный бандит — с другой)... Бандитишки оказались неопытные, и... мы отбились! Они сообразили, что убить могут, но у них не останется времени для главного, то есть для захвата денег. Ну вот Вам обстоятельные сведения о нас... Обнимаю крепко...

Ваш Короленко».

Последний эпизод требует пояснений. Короленко, бывшему почетным председателем Лиги спасения детей, в тот момент доставили деньги, предназначенные для содержания детских колоний, что и стало известно бандитам. После неудачного нападения они бесследно исчезли. Случилось это еще при большевиках, перед взятием Полтавы Белой армией. В городе участились аресты и расстрелы. Короленко приводит в своем дневнике разговор с главой Полтавской ЧК Долгополовым, к которому он пришел в очередной раз хлопотать за осужденных.

— Теперь приходится делать много жестокостей, — оправдывался Долгополов. — Но когда мы победим... Отец Короленко! Вы ведь читали что-нибудь о коммунизме?

— Вы еще не родились, когда я читал и знал о коммунизме.

— Ну, я простой человек. Признаться, я ничего не читал о коммунизме. Но знаю, что дело идет о том, чтобы не было денег. В России уже денег и нет. Всякий трудящийся получает карточку: работал столько-то часов... Ему нужно платье. Идет в магазин, дает свою карточку. Ему дают платье...

— Приходит в магазин, а ему говорят, что платья нет и в помине...

— Нет — так нет для всех. А есть, так его получает трудящийся. Все равно, над чем бы он ни работал. Умственный труд тоже будет вознагражден!.. Ах, знаете, отец Короленко! Когда я рассказывал о коммунизме в одном собрании... А там был священник... То он встал и крикнул: если вам это удастся сделать, то я брошу священство и пойду к вам...

«На лице Долгополова лежит печать какого-то умиления, — пишет Короленко. — Я вспоминаю, что чрезвычайка уже при нем расстреливала... без всякого суда. Вспоминаю и о том, что он хватается за голову... Хватается за голову, а все-таки подписывает приговоры. Кажется, я действительно на этот раз видел человека, искренно верующего, что в России уже положено начало райской жизни. Он и не подозревает, что идея прудоновского банка с трудовыми эквивалентами жестоко высмеяна самим Марксом...»

И тут же, на лестнице чрезвычайки, перед глазами возникла другая картинка.

— А знаешь, — говорит один чекист другому, — мне так и не удалось докачать своего...

— Ну-у?.. А мой, брат, уже докачался...

Понял, что речь шла о пытках на допросе. И комментирует: «Это так просто: не сознаются — надо “докачать”. Революция чрезвычайно сразу подвинула нас на столетия назад в отношении отправления правосудия».

Что может чувствовать человек, который утром, развернув газету, вдруг узнает, что он приговорен к смертной казни? Именно в таком положении очутился Мякотин в конце августа 1920 года. Московские «Известия» сообщали о суде по делу Тактического центра и о том, что на этом суде он, Мякотин, заочно объявлен «врагом народа» и лишен «права въезда на территорию Советской республики». В случае же появления на ней оному Мякотину угрожала высшая мера наказания.

Самое поразительное было то, что он находился на территории Советской республики и не помышлял ее покидать, а о зловещем Тактическом центре слышал впервые. Поэтому недолго думая решил поехать в Москву и разъяснить эту судебную ошибку. Получил даже командировку в архивной комиссии, где в то время служил, если бы не новое несчастье: накануне отъезда слег в постель с высокой температурой — врачи определили рожистое воспаление головы. Вот в таком состоянии и нашли его нагрянувшие чекисты. Произвели, как полагается, обыск и увезли в тюрьму. Но вскоре, увидев бедственное состояние узника, выпустили — долечиваться. Когда же, через неделю, Мякотин окреп, то разрешили отправиться в Москву, вместе с семьей — женой и двумя детьми. А там он сразу попал на Лубянку, в цепкие руки все того же Агранова.

Отвергая предъявленное ему обвинение в пособничестве белым, Мякотин говорил на допросе:

— Изверившись в способности командования Добровольческой армии разрешить те задачи, какие оно себе поставило, я вместе с тем не хотел ни в коем случае уезжать за границу, становиться в положение эмигранта и порывать связь с Россией и поэтому решил вернуться к исключительно культурной работе. При этом я предполагал, что Советская власть не будет преследовать меня за то, что я был ее противником, но если бы такое преследование имело место, я решил бы предпочесть его отъезду за границу...

Короленко узнал о беде, случившейся с его старым товарищем, 14 октября. И тут же сел за письмо, на сей раз решил обратиться за помощью к жене Ленина — Крупской, вспомнив, что когда-то она была учительницей одной из его дочерей.

Начало этого письма публиковалось в советских газетах как свидетельство сердечных симпатий, связывавших писателя с ленинской семьей. И в самом деле:

«Уважаемая Надежда Константиновна.

Вы, вероятно, не забыли наше когда-то знакомство. Мы с женой вспоминаем о нем, так же как и Ваша ученица, теперь уже взрослая... Слышал не раз, что Вы среди нынешних бурь не утратили сердечности и чувства справедливости...»

На этом публикация и обрывалась. А вот основная часть письма — то, ради чего оно было написано, — так и оставалась неизвестной. Восполним этот пробел сейчас — по тексту, обнаруженному в следственном деле Мякотина:

«Мне пишут сегодня об аресте Венедикта Александровича Мякотина, а раньше я читал о приговоре суда по делу Тактического центра, где упоминалось и его имя. Приговор суровый, даже жестокий, едва ли вполне обоснованный: смертная казнь при появлении на советской территории. Мне кажется, однако, что Мякотин не скрывался и после поражения и эвакуации денкинцев оставался, не скрываясь, на территории советской России. Знаю также, что когда Полтавщину заняли добровольцы и я написал ряд писем о безобразиях, которые они здесь чинили, то послал их именно Мякотину, и он добился напечатания их в газете, в которой работал. Одним словом, и на Юге, занятом денкинцами, он оставался тем же Мякотиным, которого читающая публика знала по его писаниям.

Теперь он в числе побежденных, почти раздавленных. Один из товарищей пишет мне (из Петрограда), что он арестован в середине сентября и по просьбе жены его увозят в Москву. Дети едут туда же с матерью. От лиц, недавно видевших Венедикта Александровича, мой корреспондент слышал, что здоровье его очень плохо. Он производит впечатление совершенно седого одряхлевшего старика. У него давний туберкулез, и тюрьма при нынешних условиях содержания заключенных для него прямо губительна.

Больше я ничего не прибавлю, кроме разве того, что я глубоко люблю этого человека, верю в его честность, искреннее желание блага народу...»

Еще через месяц, в середине ноября, Короленко ликует: он узнает, что сестра Мякотина, Варвара Александровна, встретила в Москве с Менжинским и он сказал ей, что совсем скоро ее брат будет на свободе. Советская власть уважает Венедикта Александровича как открытого противника, который не прячется за псевдонимы и не скрывается от ЧК.

Увы, радость была преждевременной. Добровольную явку Мякотина карательные органы, конечно, оценили и заменили первоначальный приговор на... пять лет ~~юнца~~ лагеря. На самом же деле продолжали держать в тюрьме и выпустили по амнистии лишь в 1921 году.

А еще через год Мякотин вместе со своим другом Мельгуновым был выслан за границу — оба оказались несовместимы с советской властью.

На последнем допросе Мякотин еще раз выскажет свое отношение к ней:

— Структуру Советской власти и Советской республики считаю неправильной, как и всякого рода диктатуру.

Пророк в своем отечестве

Вот уже и время на дворе другое. Миновала Вторая мировая... Пик сталинского террора позади, но аресты думающих людей не прекращаются. И в новых лубянских досье среди современной крамолы — красноречивые следы охоты на живую мысль русских классиков.

13 марта 1949 года в Москве арестовали за антисоветскую агитацию писателя Дмитрия Мироновича Стонова (Влодавского).

В одном из множества доносов, собранных на Стонова, секретный агент «Ильин» сообщал о беседе, в которой тот сказал:

— А что было бы, если бы Лев Толстой дожил до Советской власти? Старик, как известно, даже царя не боялся... Он мог бы и сейчас написать «Не могу молчать»...

В другом доносе осведомитель «Чернова» информирует: Стонов хранит у себя письма писателя Короленко, в которых тот «высказывал свои несогласия с политикой Советской власти и свои обиды на органы Советской власти».

Естественно, что при обыске особо постарались изъять эти крамольные письма, как записано в протоколе, «от 9 июня и 19 декабря 1920 г. с жалобой на коммунистическую редакцию, 2 шт.».

Лубянские следователи продолжили «исследование».

— Вам предъявляются два письма Короленко 1920 года, изъятые у вас при обыске. Зачем вы хранили их с тех пор?

— Я их хранил как реликвию классика.

— Вы их хранили в антисоветских целях, поскольку были указаны некоторые несогласия Короленко с коммунистами. Покажите об этом правдиво.

— Я не отрицаю, что в некоторой части там высказаны мысли, несогласные с Советской властью, однако я их хранил как реликвию классика и антисоветской цели при этом не преследовал...

На следующем допросе:

— Ранее вы допрашивались о письмах Короленко. Чем объяснить, что они были вам адресованы?

— В 1920 году я работал в литературно-художественном журнале «Радуга» в качестве члена редколлегии, куда Короленко был приглашен сотрудничать. Он ответил отказом, прислав письмо от 19 декабря. Второе письмо было им прислано мне как редактору стенной газеты «УКРОСТА»³ в качестве опровержения. Оно также не было мной опубликовано. Все это было в городе Полтаве Украинской ССР...

Позднее Стонов рассказывал друзьям, что следователь на допросе черкал что-то в драгоценных письмах чернилами и на испуганный возглас:

— Что вы делаете! Ведь это Короленко! — ответил:

— Подумаешь, очень нам важна какая-то антисоветчина...

Стонов был приговорен к десяти годам лагерей, но вышел на свободу после переследствия в 1954-м. При реабилитации

³ Украинско-Российское телеграфное агентство.

вскрылось, что следствие велось незаконными методами, с угрозами расправиться со всей семьей Стонова.

Судьба же короленковских писем такова. Подлинники их были отправлены в отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС (где они теперь?), а вот копии остались в деле, и мы прочитаем их сейчас.

Но прежде нам придется углубиться в историю отношений Короленко с вождями революции — Лениным и Луначарским.

Ленин, как известно, был большой максималист: или друг — или враг, или наш — или не наш. И насколько горячо принимал он писателя Короленко, борца за правду и справедливость при царизме (даже само имя — Ленин — Владимир Ульянов выбрал себе под впечатлением сибирских рассказов Короленко), настолько теперь, при его собственной власти, писатель-борец стал ему неуютен. Эту новую оценку своего бывшего кумира Ленин выразил с хамской откровенностью в известном письме Горькому 15 сентября 1919 года:

«.. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками!.. Таким “талантам” не грех посидеть недельки в тюрьме, если это *надо* сделать для *предупреждения* заговоров... Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г...».

Подобные аргументы, состоящие сплошь из ругательств, если и действовали на соратников Ленина, то для общественности явно не годились — произвели бы обратный эффект. И вскоре вождь избрал другую, более ловкую тактику в отношении Короленко: обуздать и приручить. Для этого самому гуманному из партийной верхушки — Луначарскому, нарком просвещения и к тому же писателю, — было дано задание: поехать в Полтаву, самым серьезным образом поговорить со стариком и попытаться своим красноречием убедить его прекратить критику власти. А не получится — предложить высказать свои взгляды на бумаге — в форме писем, к тому же Луначарскому. Пусть выговорится, а мы уж найдем, что ответить.

— Если в России будет республика, Короленко должен стать ее президентом, — мечтательно говорил Луначарский

Ромену Роллану в апреле 1917 года, в Швейцарии. Тогда большевики еще только рвались к власти...

7 июня 1920 года Луначарский появился у Короленко в Полтаве. Предложение обменяться открытым, печатным словом было принято. Но тут же возникли и осложнения.

Едва беседа закончилась и довольный Луначарский умчался на митинг в театр, как к писателю пришла делегация — родственники пятерых приговоренных к смерти за спекуляцию хлебом. И Короленко пришлось догонять наркома, идти на митинг. Луначарский и сопровождавший его начальник местной чрезвычайки Иванов успокоили: расстрел будет отменен. После эффектной речи Луначарского и пения «Интернационала» предложили Короленко сфотографироваться вместе — он наотрез отказался, понимая, что завтра же газеты используют это для пропаганды. (Вспомним реакцию Татьяны Львовны Толстой — нежелание позировать для истории в компании с большевистским вожаком.) И еще раз встревоженный Короленко подходил к Луначарскому и Иванову, прося отменить бессудную казнь и разрешить дело нормальным судебным порядком, и снова услышал заверения, что так оно и будет.

В это время все пятеро были уже расстреляны. Об этом Короленко узнал на следующее утро из записки Луначарского, который сообщал, что приговор был приведен в исполнение еще до его приезда, и клялся в уважении и любви.

А развешанная на улицах Полтавы газета «УКРОСТА» громкогласно объявила о триумфальной встрече Короленко и Луначарского: будто бы писатель, подойдя к высокому гостю, сказал: «Я знал, что Советская власть сильна. Прослушав вашу речь, я еще больше убедился в этом...»

Вот этой-то историей, возмущившей Короленко до глубины души, и вызвано появление первого из писем, изъятых чекистами в 1949 году, ибо редактором «УКРОСТА» был не кто иной, как начинающий писатель Дмитрий Миронович Стонов.

«Тов. Редактор.

В сегодняшнем номере «УКРОСТЫ» приведены якобы мои слова, сказанные после митинга А. В. Луначарскому. Если уж газета считает нужным приводить мои слова, то прошу изло-

жить их точно, как они были сказаны. Дело в том, что болезнь решительно не позволяет мне посещать митинги. На этот раз я отступил от этого общего правила по специальной причине: для ходатайства перед властями о нескольких жизнях. После речи тов. Луначарского я сказал буквально следующее:

“Я прослушал Вашу речь. Она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственна справедливость и великодушие, а не жестокость. Докажите же в этом случае, что вы действительно чувствуете себя сильными: пусть ваш призыв ознаменуется не актом жестокости, а актом милосердия”.

Ничего другого я не сказал и вернулся к сущности ходатайства, состоящего в просьбе об отмене казни.

Вл. Короленко.

9 июня 1920 г.».

Назавтра в «УКРОСТА» появилась такая поправка:

«В заметке о митинге в театре в словах В. Г. Короленко, обращенных к т. Луначарскому, вкралась неточность. Обращение В. Г. Короленко к тов. Луначарскому носило частный характер и не касалось политических вопросов».

Письмо в редакцию Короленко так и не увидело свет.

Но слово, данное наркомом, он сдержал. И начал отправлять ему, одно за другим, свои письма — всего их было шесть, с июня по сентябрь 1920 года, — по существу же, обвинительные речи, острые публицистические статьи по самым важным проблемам жизни страны. Это и был тот самый суд истории, приговоривший к краху победителей у власти в минуту их торжества одинокими устами старого писателя. Не все потеряно, когда есть хотя бы один голос, который называет черное черным, а белое белым!

Кремль ответил Короленко молчанием. Известно, что Луначарский получил все письма, что посылал их Ленину, просил совета, но не дождался.

На поприще свободного слова кремлевские вожди трусливо онемели.

Но и замалчивание не удалось. Короленко не делал секрета из своих писем — они стали широко распространяться в списках по всей стране. Попадали и в руки чекистов, и тогда хранители крамолы жестоко карались.

Вот лишь один пример из лубянских архивов. Дело Н-1727 1922 года Тихомировой Елизаветы Антоновны. Изъято при обыске: «письма Короленко Луначарскому на 41 л.». Отправлена в ссылку.

Девятнадцатилетняя Лиза Тихомирова была членом социал-демократического союза молодежи, выпускавшего подпольный журнал «Юный пролетарий» с лозунгами: «Долой диктатуру над пролетариатом! Долой террор! Всем социалистам и беспартийным рабочим, томящимся в советских и западноевропейских тюрьмах, — наш пламенный привет! Да здравствует свобода собраний, союзов и печати!» Слово Короленко оказалось созвучно этому молодежному кружку — одному из многочисленных очагов сопротивления красной диктатуре.

Письма Короленко Луначарскому — замечательный образец неподцензурной литературы, — как у нас повелось по печальной традиции, были впервые выпущены в свет не на родине, а в Париже в 1922 году, все тем же издательством «Задруга». Дома же напечатаны лишь через шестьдесят шесть лет, уже во времена перестройки.

В конце 1920 года Дмитрий Стонов снова обратился к Короленко, предлагая ему сотрудничество в новом литературном журнале «Радуга». Но всякое участие в коммунистической прессе было для Короленко уже невозможно. Стонову он все же ответил:

«Уважаемый товарищ Стонов.

Поверьте, что мне было бы гораздо приятнее ответить на Ваше предложение согласием, но этому мешают очень многие причины. Первая — то, что я сильно болен, для работы у меня остается мало времени и настроения, и то все занято моей настоящей работой над «Историей моего современника», которой я отдаю все свободное время. А я всегда был противником только показной работы. Работать, так работать — не на показ.

Не скрою от Вас, что есть и другая причина. Я не обидчив и легко вынес бы любое редакционное изменение с моего согласия. Но коммунистическая редакция поступила со мной гораздо хуже. Редактор «Известий» тов. Энтин сам явился ко мне с

предложением дать им что-нибудь для газеты. Я выразил сомнение, возможно ли это при наличии многих разногласий. На это редактор горячо убеждал меня попробовать: разногласия уважающих свое дело людей могут и не служить помехой. Около этого времени появилась в “Известиях” статья Пятакова, восхвалявшая красный террор⁴. Я написал все, что можно было сказать против (так как я глубоко убежден, что и во время Великой Французской революции, и ныне эта мера может приносить только вред), и снес в редакцию, но редактора в тот час не застал. Вскоре после этого ко мне явился один из постоянных сотрудников и сообщил, что коммунисты как раз в это время заседали в своем “дворце”, что им тотчас же была послана моя статья и что они решили напечатать ее в дискуссионном порядке, так как наверное автор (Пятаков) будет возражать. Я охотно на это согласился, оговорив точно и ясно, что предоставляю статью *только полностью*, без сокращений (она была очень невелика), и иначе печатать не согласен. Редакция приняла мои условия, и я имел неосторожность не оставить у себя копии.

Через несколько дней статья появилась за подписью “постоянного сотрудника” Жарновецкого. Вся моя аргументация, все исторические примеры, ссылки на историков (в том числе социалистов) были исключены. Автор Жарновецкий самым беззастенчивым образом распорядился и моей аргументацией и затем торжественно объявил, что после моей статьи он еще более укрепился в необходимости и плодотворности красного террора. Я, разумеется, протестовал против такого (не знаю, какое применить слово) обращения с моей статьей, послал письмо в редакцию, наконец, просил мне вернуть статью, так как, доверившись редакции, я не сохранил черновика, но на все это последовало лишь презрительное молчание. А так как все это произошло после очень точных переговоров и мне отказали даже в простой отметке, что статья была сильно сокращена, — то я и дал себе слово, что никогда ни одна моя строчка не появится под коммунистической фирмой.

⁴ Пятаков Г. Л. — советский государственный и партийный деятель, стал жертвой сталинского террора в 1937 году.

— Вы, вероятно, согласитесь, что у меня были на это основательные причины. Я нарочно изложил их здесь так подробно, чтобы Вы видели, почему я так упорно отказываюсь от сотрудничества, хотя лично против Вас ничего не имею.

С уважением!

Вл. Короленко.

19 декабря 1920 г.».

Это и есть то второе письмо Короленко, которое Дмитрий Стонов хранил как величайшую ценность и которое все-таки было отнято у него чекистами через двадцать девять лет.

...Пришел час, когда бесчинства властей вторглись и в семью Короленко. Весной 1921 года был арестован его зять, Константин Ляхович, ближайший помощник во все делах, известный в Полтаве общественный деятель. И заключен в тюрьму, где свирепствовал тиф. Домой он вернулся, но уже безнадежно больным, и вскоре умер. Это стало для писателя тяжелейшим ударом, подкосившим его.

В это же время Ленин, не выпускавший Короленко из своего внимания, под благовидным предлогом лечения настойчиво предлагал отправить его за границу, как и Горького, и тем самым избавиться от неугодных свидетелей. Горький поехал, и Короленко напутствует своего «крестника», которого он когда-то вывел в большую литературу: «Слышал, что Вы уезжаете за границу... Сделайте... все, что сможете, для того, чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет... Россия погибает».

Короленко же никуда не поехал, хотя ему предлагали отдельный вагон-салон со всеми удобствами.

— Эта поездка ни к чему. Я не хочу ехать за границу. Никогда и ничего я не брал ни от какого правительства. И особенно это чуждо мне теперь, когда дорогой мне человек убит коммунистической тюрьмой. Не перейду на казенное содержание. Лучше умру...

Короленко скончался 25 декабря того же, 1921 года.

Советская власть по-своему откликнулась на его кончину. В это время проходил 9-й Всероссийский съезд Советов. С поминальным словом о Короленко выступил Феликс Кон:

— Уважаемые товарищи, умер Короленко. Еще десяток лет назад это известие потрясло бы всю Россию, снизу доверху... Но волны жизни катятся гораздо быстрее, чем мысль наших крупных людей. Он — глубочайший идеалист, чуждый ко всякой неправде, — не сумел под конец жизни пойти в ногу с реальной жизнью и с реальной борьбой... Я не стану описывать здесь многострадальной жизни Короленко, признанного в свое время совестью русского народа. Я вам напомним ту оргию, которая разыгралась после февральских дней против большевиков... когда... пытались смешать с грязью лучших наших вождей... И Короленко в открытом письме заявил: «Я сажусь с Раковским рядом на скамью подсудимых. Я его знаю, прочь грязные руки от Раковского». Вот чем велик Короленко...

Видный революционер Христиан Раковский сядет на скамью подсудимых не в феврале 17-го года, а в марте 38-го. И будет расстрелян палачами НКВД в 41-м в Орловской тюрьме. Как сказал Короленко: «Я сажусь рядом с Раковским на скамью подсудимых...»

Друзья Короленко собрались в «Задруге», в узком кругу. Слово об ушедшем из жизни писателе произнес Мякотин:

— Когда я думаю о смертном одре Короленко, о его могиле на полтавском кладбище, мне вспоминаются вдохновенные строки, в которых он описывал смерть Сократа: «Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больше... Не спи, не спи эту ночь, афинский народ! Не спи — ты совершил жестокую, неизгладимую неправду!» Мы не афиняне, мы не отравили своего мудреца. Мы только выбили из его рук, рук старого писателя, его единственное оружие — его перо, мы только поднесли ему на закате его жизни горькую чашу ходатайств за смертников...

Повернем время вспять: ни семидесяти лет крошечной советской власти, ни Гражданской войны, ни революции — 1910 год, Ясная Поляна. Толстой и Короленко за обеденным столом мирно толкуют о трудностях и секретах писательского ремесла. И вдруг Толстой произнес:

— Вот когда я буду большой и сделаюсь писателем, я напишу...

За шуткой угадывалось нечто серьезное: в Толстом говорила неудовлетворенность художника, который всегда все начинает заново, вечное дитя, которое только и делает его «большим» и живет так, будто все у него впереди.

А потом они сели в пролетку и покатали по полям августовским полднем... два старика с пышными седыми бородами...

Глава третья

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

И он вдруг — сразу и окончательно — понял, что его никогда не выпустят из тюрьмы. И что хуже — на свободе он уже никому не нужен: ни белым, ни красным, ни зеленым, ни вчерашним друзьям, которые стали врагами, ни вчерашним врагам, которые не стали друзьями, — никому, даже любимой женщине, и она предпочтет ему вольную жизнь. Все отреклись от него. И всего невыносимее — его презирают, его — кумира, героя, вождя, — обреченного теперь на жалкую роль статиста, на вечный плен в одиночной камере.

А свобода, вот она — в нескольких шагах — в распахнутом окне. Но выйти нельзя — можно только лететь. И он шагнул к окну...

Человек-театр

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

В двадцатых числах августа с. г. на территории Советской России ОГПУ был задержан гражданин Савинков Борис Викторович, один из самых непримиримых и активных врагов рабоче-крестьянской России. (Савинков задержан с фальшивым паспортом на имя В. И. Степанова.)

«Известия», 29 августа 1924 г.

Так завершилась блестящая операция ОГПУ, вошедшая в историю под названием «Синдикат-2», операция, на которой будут воспитываться несколько поколений советских чекистов как на образце ловкости и бесстрашия.

Сообщение об аресте Савинкова и последовавшие затем события произвели впечатление разорвавшейся бомбы, стали мировой сенсацией.

Борис Савинков! Легендарный революционер-террорист! Он же Адольф Томашевич, хранящий бомбы в несгораемом ящике банкирского дома, поляк Кшесинский, занимающий деньги на террор у самих царских сановников, скромный француз Леон Роде — съемщик меблированных комнат в Петербурге, английский инженер Джемс Галлей — представитель богатой велосипедной фирмы, бельгийский подданный Рене Ток, подпоручик в запасе Дмитрий Евгеньевич Субботин, а еще Константин Чернецкий, Крамер, Вениамин... Человек с многими лицами, человек-театр.

Под кличкой «Театральный» он и значился у полицейских филеров. И при большевиках нарком Луначарский говаривал о нем то же: «Артист авантюры, человек в высшей степени театральный. Я не знаю, всегда ли он играет роль перед самим собою, но перед другими он всегда играет роль».

Если мы спросим о Савинкове его современников, то услышим в ответ разноречивый, возбужденный хор: кавалергард революции, смердящий труп революции, охотник на львов, дешевый клоун у ковра истории, гениальный индивидуалист, сентиментальный палач, Ленин — только с другой стороны, одинокий нигилист, презрительный истукан...

Писатель Александр Куприн, всю жизнь менявший свое отношение к Савинкову, начал с такой оценки: «Великолепный экземпляр совершенного человеческого животного... Страстный игрок, размеров почти грандиозных, пускавший то с холодным расчетом, то с бешеной стремительностью свою и чужую жизнь ребром, как копейку, к чертовой матери...» А кончил так: Савинков — «выползень. Это редкое словечко означает тонкую внешнюю оболочку на змеиной шкуре. Каждый год, линяя, змея трется между камнями и вылезает из нее, как из чулка. Выползень так и остается валяться на земле».

А вот Уинстон Черчилль, не раз встречавшийся с Савинковым, дал место ему в своей книге «Великие современники» и увидел в нем «мудрость государственного деятеля, качества полководца, отвагу героя и стойкость мученика».

Ни одна из биографий его не смогла вместить этой пестрой и противоречивой судьбы, ни один портрет не выразил,

не исчерпал до конца его образ. И до сегодняшних дней время добавляет к ним все новые факты и штрихи, не разрешая, а умножая загадку Савинкова.

Итак, прежде всего — рыцарь террора, видный деятель партии эсеров, один из руководителей ее боевой организации, «генерал Бо», как его называли. Опытнейший подпольщик и конспиратор, он организовал в годы первой русской революции несколько нашумевших убийств высших царских сановников: министра внутренних дел Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, — участвовал во множестве других покушений, готовил казнь самого царя. Не раз арестовывался полицией, бежал из северной ссылки, снова попал в тюрьму в Севастополе и был приговорен к смерти, но накануне казни опять бежал...

В 1917 году Савинков — военный и морской министр Временного правительства — пытается соединить демократию с твердой властью и, убедившись в мягкотелости Керенского, поддерживает генерала Корнилова. Узнав об Октябрьском перевороте, звал казаков на защиту Зимнего дворца от большевиков, но потерпел неудачу: казаки за ним не пошли... В армии генерала Краснова наступал на Петроград, а после провала наступления метнулся было на Дон, к другим белым генералам, но те встретили его враждебно, в их глазах он был революционером. Савинков подался в Москву.

Ярый враг Советов, главарь подпольного Союза защиты Родины и Свободы, он поднимает волну восстаний в Ярославле, Муроме, Рыбинске — неудачно, все они были подавлены. Тогда Савинков бежит в Казань — дерется с большевиками в отряде полковника Каппеля, — потом в Сибирь и дальше, через Японию, — в Европу. Там он представляет Сибирское правительство Колчака, вплоть до разгрома белого адмирала. Потом, в 1920-м, став во главе Русского политического комитета в Варшаве, неумоимо создает и снаряжает против красных добровольческую армию, да и сам не отсиживается в штабах, воюет в конном полку. Но и тут его рать терпит поражение — разбитая, уползает за границу.

Другой бы на его месте давно опустил или наложил на себя руки. Но не таков Савинков. Опять оказавшись за границей, он меняет флаг: громогласно порывает с Белым дви-

жением, воссоздает свою партию с призывным названием Народный Союз защиты Родины и Свободы (НСЗРС) и, став ее полновластным лидером, разворачивает так называемое «зеленое движение» с опорой на крестьянство: партизанскую войну, безжалостное истребление коммунистов всеми возможными способами — главным образом террором, своим излюбленным методом. Это он, Савинков, плетет по Белоруссии, Украине и России сеть подпольных конспиративных групп, засылает через границу истребительные отряды, кровавыми стежками — пулями и саблями, поджогами и грабежами — прошивающие страну, и как когда-то готовил казнь Николая II, теперь планирует покушение на Ленина.

И, наконец, он же — писатель В. Ропшин, оригинальный прозаик, тонкий поэт, зажигательный публицист, автор знаменитых повестей «Конь Бледный» и «Конь Вороной», романа «То, чего не было», «Воспоминаний террориста», книги очерков «Во Франции во время войны». Псевдоним не случаен, с намеком на потенциальное цареубийство: Ропшиа — так называлась усадьба, в которой был убит Петр III в результате заговора, организованного его женой, будущей императрицей Екатериной II. Цареубийство Савинкову не удалось, зато имя Ропшин стало известно. Беллетрист, которого внимательно читал, безусловный дар которого отмечал сам Лев Николаевич Толстой. Стихотворец, для которого, по мнению такого изысканного мэтра в поэзии, как Зинаида Гиппиус, слово «талантливость» было слишком мало. Журналист, статью которого об организации революционной работы в массах В. И. Ленин назвал «замечательной по правдивости и живости»...

Многоликий, почти фантастический образ.

И вот теперь это мифическое существо, в судьбе которого отпечаталась вся история революции и Гражданской войны, в котором враги советской власти видели свою последнюю надежду, которое западные правительства прочили в будущие диктаторы будущей России, — оказалось на Лубянке!

Какой же из них, двойников Савинкова, попался в руки чекистов? И что с ним случилось потом?

Написано о Савинкове немало. Но это в основном или тенденциозные версии самих чекистов и их литературных помощников, или беллетризированные жизнеописания, полные догадок, выдумок и кривотолков.

Исследователям не хватало фактов, а документы были скрыты за семью печатями и замками, в сверхсекретных хранилищах. Или вовсе уничтожены — так думали многие, — уничтожены, чтобы никто никогда не докопался до правды. Все же тоненькой, дозированной струйкой что-то время от времени просачивалось в печать: в конце шестидесятых появился роман «Возмездие» писателя В. Ардаматского, близкого к чекистским кругам, с вкраплениями из документальных источников, естественно, препарированными в духе официальной пропаганды, — повесть-панегирик доблестным органам. И снова — молчок, рот — на крючок. Уже совсем недавно, в эпоху бесшабашной, обвальной гласности, обнародовал кое-что о Савинкове сам КГБ — в своем ведомственном журнале «Служба безопасности», — тоже с зияющими купюрами, не забираясь вглубь...

И мне, уже поработавшему с секретными архивами не один год, изучившему десятки досье, к этому доступ открылся отнюдь не сразу. Тянули, переадресовывали из отдела в отдел, убеждали в абсолютной неинтересности — возможно, придерживали не из-за самого Савинкова, он-то им за давностью лет был совсем не нужен, — блули славу своих предшественников, прятали методы действий ОГПУ, которые в официальном каноне были так же далеки от реальности, как клюквенный сок от крови...

И когда все же удалось открыть досье Бориса Савинкова, и там, под грифом «Секретно», кроме следственных документов обнаружилось немало другого, а главное, неизвестные рукописи, в том числе осколки его литературного архива — то, что он успел написать в тюремной камере, — стало возможным рассказать еще об одной, последней роли, которую этот человек-театр сыграл на подмостках большой истории. И в то же время — об одной из самых загадочных и зловещих историй, какие знает Лубянка.

«Крот»

Секретное следственное дело Н-1791 — «ВЧК. Особый архив. НСЗРС (Западный областной комитет)» — дело «Крот», так на Лубянке окрестили операцию по раскрытию и уничтожению савинковской организации. Шестьдесят восемь объемистых томов, три из них посвящены самому Савинкову.

«Общая справка», которой начинается первый том, дает представление о савинковском НСЗРС — разумеется, с точки зрения чекистов:

«После разгрома органами ВЧК в 1918 году контрреволюционной организации Союз защиты родины и свободы основатель и руководитель данной организации Борис Савинков эмигрировал за границу и обосновался в Варшаве. Здесь ему удалось при помощи 2-го отдела Польгенштаба и французской военной миссии в Польше создать в 1921 году крупную боевую террорганацию, которую он назвал НСЗРС... НСЗРС стал политическим центром многих других заграничных контрреволюционных групп... Контингент членов НСЗРС вербовался без различия политических убеждений, начиная от монархистов и кончая эсерами и меньшевиками, по принципу подчинения НСЗРС и участия в боевой работе против Советской власти. Завербованные члены этой контрреволюционной организации перебрасывались (при помощи польской разведки) на территорию РСФСР как целыми бандами, так и в качестве организаторов боевых потерячек... За короткий срок НСЗРС удалось насадить на территории РСФСР ряд крупных организаций с областными, губернскими, уездными и волостными комитетами, которые наряду с систематической контрреволюционной агитацией и подготовкой вооруженного восстания занимались шпионажем, террором, диверсией и бандитизмом. На протяжении 1921 года деятельность всех этих организаций была пресечена органами ВЧК. Западный областной комитет, во главе которого стоял член Всероссийского комитета НСЗРС Опперпут, был ликвидирован в мае 1921-го (списки обвиняемых прилагаются)...»

Дальше идут эти многочисленные списки — на сотни и сотни лиц, большей частью расстрелянных или отправленных в концлагерь, разных национальностей, крестьян, служащих, солдат и офицеров, священников и дворян; наряду с действительными врагами советской власти есть здесь и дряхлые старики, и подростки, даже дети; уничтожались порой целыми семьями — за укрывательство «антисоветского элемента», или недоносительство, или вообще без всякого обоснования, видимо как заложники. Списки тех, кто был втянут в братоубийственную бойню Гражданской войны и оставил после

себя память разве что только вот на этих жутких, словно написанных кровью страницах.

Уже упомянутый Опперпут Александр-Эдуард, руководитель Западного областного комитета НСЗРС, выполнявший прямые указания Савинкова, предстает перед нами как фигура химерическая, провокационная. Царский офицер, после революции он служил то белым, то красным, потом переметнулся к Савинкову, но, будучи арестован чекистами, как сказано в деле, «своими показаниями дал ключ к раскрытию и ликвидации всех савинковских организаций в пределах Западного фронта». Помещенный во внутреннюю тюрьму Лубянки, Опперпут 7 июля 1921 года шлет вопль о скорейшем разрешении своей участи — начальнику Особого отдела ВЧК Менжинскому.

Письмо это в то же время — великолепная автохарактеристика, и не только лично его, Опперпута, а целого типа порожденных тем временем авантюристов и профессиональных убийц, темных духов, выпущенных на поверхность революцией и Гражданской войной, людей савинковского образца.

«...Движимый отчаянием, осмеливаюсь обратиться к Вам.

Моя жизнь с 1915 по 1920 год включительно складывалась так, что я вынужден был вести образ жизни, полный самых опасных приключений и острых ощущений. Достаточно сказать, что целый год я провел на турецком театре войны и весь 1919-й — в усмирении различных восстаний против Советской власти, причем не раз пришлось действовать против неприятеля в десять и более раз многочисленного. Непрерывная цепь приключений и опасности в конце концов так расшатала мои нервы, что вести спокойный образ жизни я уже не мог. Как закоренелый морфинист не может жить без приемов этого яда, так я не мог жить без острых ощущений или работы, которая истощала бы меня до обессиления. Моей энергии в этих случаях удивлялись все, кому пришлось со мной сталкиваться... Я не буду задерживать Вашего внимания на факте своего падения. Это было стечение массы благоприятных для этого обстоятельств. Но сейчас у меня одно желание: самоотверженной работой на пользу Советской власти загладить свой проступок и проступки тех, мной вовлеченных в заговор, ко-

торые не являются врагами Советской власти. Это представилось бы мне возможным сделать, если я был бы отпущен в Варшаву. В месячный срок я сумел бы дать Вам возможность полностью ликвидировать все савинковские организации, польскую разведку, частично французскую разведку и представил бы ряд документов в подлинниках, обрисовывающих истинную политику Польши. Для этого Вам приходится рисковать только потерей одного, уже неопасного для Вас арестанта, ведь возвращение в лагерь врагов Соввласти после моих показаний... мне отрезано навсегда... Что же касается наказания по отношению лично ко мне, то я частично его понесу, ведь я перед отъездом должен буду нанести себе довольно серьезное огнестрельное ранение, чтобы не вызвать в Варшаве сомнений в действительности моего побега и иметь возможность оставаться необходимое для меня время работы там. Ни средств, ни документов я у Вас не прошу. Умоляю только дать мне возможность работать и клянусь Вам тем, что у меня есть дорогого и святого, что Вам, товарищ Менжинский, никогда в своем доверии разочароваться не придется... Если все же этих гарантий недостаточно, я готов взять на себя до моего отъезда выполнение самых опасных, рискованных поручений, лишь бы доказать правдивость своих слов. Я уже не раз был на волосок от смерти за Советскую власть и готов пожертвовать собой... Мои нервы требуют сильной реакции. Я терплю невероятные муки и дохожу до отчаяния, когда я готов разбить голову об стену или перерезать горло стеклом. Я уже дошел до галлюцинаций. Каждый лишний час моего здесь пребывания равносителен самой невероятной пытке. Еще раз умоляю решить мою судьбу скорее».

И судьба Опперпуга была решена: «по обстоятельствам дела» его освободили из-под стражи и использовали — в каких именно целях, дело умалчивает. За границу Опперпуга отпустить не рискнули, но идею его взяли на вооружение: к Савинкову будет послан свой, более хладнокровный и надежный человек.

Чего только нет в этих шестидесяти восьми томах! Отчаянные крики из тюрьмы и любовные письма, разговоры по прямому проводу между чекистами и агентурные донесения, денежные квитанции и фотографии, вероятно единственные, на которых уцелели и дошли до нас лица тех, кто, втянутый в

борьбу, с их вождем и идеологом Савинковым, преданный провокатором Опперпутотом и уничтоженный коммунистами, стал «навозом» истории, на чьих костях строилось первое в мире государство социализма. Огромный черновой материал для нашей, еще не написанной «Илиады».

Такой ценой оплачивалась политическая программа боевой и террористической организации Савинкова — НСЗРС, хотя на словах эта программа выглядела куда как красиво и привлекательно. Тот же Опперпут приводит ее текст, в котором, кстати, слово «террор» не упомянуто ни разу:

«— Мы боремся и зовем всех, кому дороги родина и свобода, бороться против Советской власти и кучки насильников-коммунистов, ее возглавляющей, обманом и ложью исторгнувшей у народа власть в октябре 1917 года.

— Мы боремся за народовластие, то есть за передачу власти единственному полномочному хозяину земли Русской — Всероссийскому Учредительному собранию, которое будет выбрано всеобщим, равным, тайным и прямым голосованием.

— Мы боремся за восстановление свободы слова, печати, собраний...

— Мы боремся за передачу всех помещичьих, церковных и крестьянских земель крестьянам в полную и неотъемлемую их собственность.

— Мы стоим за восстановление мелкочастной собственности.

— Так же стойко, как мы боремся против Советской власти, мы будем бороться против всех приверженцев царя и всяких поползновений на власть народа справа.

— Мы признаем право на самоопределение за всеми народами, раньше входившими в состав Российской империи...

— Мы зовем все свободные народы объединиться вокруг нас в борьбе с Советской властью как с опасной всему цивилизованному миру заразой, несущей с собой насилие, произвол и анархию».

Но там же, среди «вещественных доказательств», есть «Присяга», которую принимали те, кто вступал в члены Союза, и в которой вполне проявлен инквизиторский стиль его вождя:

«Клянусь и обещаю, не щадя сил своих, ни жизни своей, везде и всюду распространять идею НСЗРС: воодушевлять

недовольных и непокорных Советской власти, объединять их в революционные сообщества, разрушать советское управление и уничтожать опоры власти коммунистов, действуя, где можно, открыто, с оружием в руках, где нельзя — тайно, хитростью и лукавством».

Вот то кредо, с которым выступал тогда Савинков — политик и идеолог «зеленых», которое в десятках вариантов и тысячах листовок, подписанных им — для крестьян, для красноармейцев, дезертиров, партизан и, наконец, просто граждан, — рассеивалось по городам и весям, созывая в поход на большевиков все новые и новые отряды.

«Поистине таинственна наша матушка-Россия, — писал Савинков своему другу и помощнику Александру Дикгоф-Деренталю во время одной из боевых операций против Советов. — Чем хуже, тем ей, видимо, лучше. Язык ума ей недосягаем. Она понимает или запоминает только нагайку да наган. На этом языке мы теперь с ней только и разговариваем, теряя последние признаки гнилых, но мыслящих русских интеллигентов».

«Синдикат-2»

Уже первые строчки следственного дела опровергают правительственное сообщение об аресте Савинкова: он был арестован не «в двадцатых числах августа» 1924 года, а 16 августа... Смысл этой манипуляции понятен: скрыть подробности той тайной игры, которая велась против Савинкова, механизм операции, столь успешно завершённой. Эта тенденция — спрятать концы в воду — будет прослеживаться и дальше в официальной версии дела. Внешне выглядит так просто: перешел границу и был задержан, — в реальности же все происходило куда драматичнее...

Операция ОГПУ против Савинкова под кодовым названием «Синдикат-2» была задумана еще в 1922 году. Цель — завлечь этого преступника из преступников на родину и обезвредить, а если удастся, то и превратить в свое орудие. По чекистской легенде, Дзержинский доложил о хитроумном замысле Ленину, который его одобрил, добавив только, что это такая крупная игра, проиграть которую непозволительно.

Мозговым центром операции был заместитель Дзержинского Вячеслав Рудольфович Менжинский, конкретным же воплощением ее в жизнь руководил начальник Контрразведывательного отдела ОГПУ Артур Христианович Артузов (Фраучи), на нее неустанно, в поте лица работали лучшие сотрудники контрразведки. Для вовлечения Савинкова в игру чекистам даже пришлось создать целую фиктивную антибольшевицкую организацию «Либеральные демократы» со своей программой, фракциями и разветвленной сетью — и заставить в нее поверить: поставить множество правдоподобных инсценировок, сфабриковать кучу подложных писем и документов, в том числе и «секретных» — о деятельности Красной Армии и Коминтерна... В деле были использованы и те агенты самого Савинкова, которые засылались им в Россию и попали в руки чекистов, — адъютант его Леонид Шешеня и начальник комитета НСЗРС в Вильно Иван Фомичев.

Специальный посланец мифических «Либеральных демократов» Андрей Павлович Мухин (чекист А. П. Федоров — ему отводилась в операции центральная, самая сложная роль) совершил несколько пропагандистски-разведывательных вылазок за границу и, добравшись до Парижа, куда к тому времени переместился Савинков, принялся убеждать его, что антисоветскому подполью в России не хватает вождя и что таким вождем может быть только он, Савинков, — словом, армия готова, приди и веди к победе!

Великий конспиратор, конечно, поддался не сразу: для начала послал вместо себя свою «правую руку» — отчаянно смелого, жестокого, не раз проверенного в боях полковника Сергея Павловского. Был схвачен и Павловский. На первых порах отпирался, менял тактику, пытался даже бежать с Лубянки (откуда никто никогда не выходил по своей воле): вымывшись в бане, лихой полковник оглушил дежурного кирпичом. Но тут же был скручен и после этого сломался, стал работать на ОГПУ — забросал шефа завлекающими письмами.

Письма Павловского подействовали — Савинков дрогнул. В конце концов рутинная жизнь в эмиграции, уже истомившая его, человека азарта и дела, упреки в бездеятельности толкали к решительному шагу. Ему казалось, что непосредственное участие в борьбе внутри России даст его организации второе дыха-

ние, заставит западные правительства поддержать ее. Денежные субсидии от них уже иссякли, а новых не предвиделось. Последний из политических лидеров Европы, с которым встречался Савинков, — Муссолини. И как ни давал понять, что фашизм близок ему и психологически, и идейно, дуче денег не предложил, вручил только свою книгу с дарственной надписью.

«Живу в водосточной трубе и питаюсь мокрицами», — повторяет Савинков в письмах излюбленную фразу из Чехова. А в дневнике записывает: «Не забыть — неукоснительно, каждое утро — 5 стр. из Достоевского, час на правку рукописи, чистить ногти (1 раз в 3 дня подстригать)...» Страсть к порядку, конечно, похвальная вещь, но разве это про того человека, жизнь которого всегда вертелась, как вестерн, боевик о боевике?

Пока Савинков томится, основательно запутанный и опутанный чекистами, которые на длинном поводке начинают постепенно тянуть его к себе, здесь, на Лубянке, уже знают о нем если не все, то гораздо больше, чем он может предполагать.

Из показаний арестованных Сергея Павловского и начальника террористического отдела НКЗРС М. К. Гнилорыбова известно до мельчайших подробностей: и диктаторство Савинкова в организации, и то, что он занимается продажей информации, получаемой от своих агентов, западным правительствам и разведкам, и что штаб его находится в Париже, где проживают и ближайшие помощники — личный секретарь Любовь Ефимовна и ее муж Александр Аркадьевич Дикгоф-Деренталь.

Павловский расписывает место и времяпровождение своего шефа по минутам. Вот он встает в восемь часов утра в своей квартире на тихой улочке де Любек и отправляется в парикмахерскую бриться — «улица за углом, на левой стороне». На голове котелок или соломенная шляпа, костюм темно-серого цвета, пальто тоже серое, однобортное, в руках камышовая трость. Затем возвращается домой и завтракает — завтрак готовит экономка — в привычной компании: с ним, Павловским, и Любовью Ефимовной... Перед обедом — прогулка, минут на десять. Затем с а м пишет корреспонденцию или «роман из современной войны, который скоро должен быть закончен». В 5—6 часов — обед, без определенного места. По

вечерам, часов в девять, иногда уходит в гости, все к тем же супругам Деренталь, откуда возвращается домой к полуночи...

Павловский словно дразнит ОГПУ — вот она, мишень, такая отчетливая, яркая, — достаньте, если сможете!..

В досье Савинкова есть сведения, проливающие свет на стратегию его «обольщения» чекистами в Париже, — сведения, которые при публикации материалов дела в советской печати старательно вымарывались и до сих пор не были известны. Прежде всего — из показаний самого Савинкова на допросе 21 августа 1924 года. Борис Викторович утверждает, что в последнее время он уже усомнился в правоте своей борьбы и даже склонен был заявить о прекращении ее...

«Заявления я не сделал. Я не сделал его потому, что ко мне из России приехали люди, посланные ГПУ. Эти люди сказали мне, что, конечно, возлагать надежду на нас, “старорежимных антикоммунистов”, нельзя, но что в России народилось новое поколение и что оно во имя русского народа борется с коммунистами.

Это была неправда, но я этого, конечно, не знал. И я сказал себе: “Если это так, если действительно в России нашлись такие революционные силы, то, может быть, я не прав, и, может быть, русский народ не с РКП”. И я решил ехать в Россию.

Да, я подозревал, что со мной играют. Да, я считал, что у меня есть 80 процентов на арест, но моя революционная совесть не позволяла мне оставаться в Париже. Я д о л ж е н б ы л все равно какой ценой решить для себя вопрос: ошибся ли я, начиная борьбу против РКП, или нет?.. Я ехал... с тем чтобы увидеть все своими глазами и услышать своими ушами и, увидев и услышав, решить, что делать, бороться ли дальше или сложить оружие. Если бы посланные ко мне люди сказали бы, что народ с РКП, я бы еще в Париже заявил, что прекращаю борьбу...»

О том же Савинков будет говорить и на суде (в опубликованной якобы «полной» стенограмме суда это место изъято):

«Вот тут-то как раз приехали ко мне из России... приехали и ввели меня в очень глубокое и очень тяжелое заблуждение. Это глубокое и тяжелое заблуждение было уже окончательно для меня ударом. Они мне сказали... что в России

происходит очень значительный процесс, такой: те молодые люди, которым в момент революции было шестнадцать-семнадцать лет и которые теперь становятся уже более или менее взрослыми людьми... восприняли очень многое от коммунистов, но не все... Они говорили новые для меня вещи. Я же был в эмиграции... И что эти вот новые люди борются с вами, и что вот это и есть настоящая борьба, потому что она не из-за границы и не с помощью иностранцев, а потому что она идет из глубин России, это русские люди, и русские люди из народа борются с вами.

Я должен сказать, что я мало поверил в глубине души этим людям. Мало. Я должен вам сказать, что много и много сомнений они во мне возбудили, разных сомнений, но я без внимания оставить то, что они говорили, не мог.

Вот пять лет моей борьбы, моего боя с вами. Я стоял на пороге полного отказа от этого боя. Приходят новые люди и говорят: мы новые люди, и вы были правы, ведя этот бой, он кончился неудачей для вас, да, но мы продолжали и продолжим по иному пути, чем вы... И я стал думать о том, что я должен во что бы то ни стало поехать в Россию... и проверить — насколько эти люди, очень толковые, но очень мне подозрительные, насколько они правы...»

В признаниях Бориса Викторовича есть, конечно, изрядная доля лукавства: разоружаться в Париже он вовсе не собирался. Был случай, когда его пригласил к себе советский полномочный представитель Красин и предложил явиться на родину с повинной. Савинков гордо удалился, дав понять, что ни на какие сделки не пойдет, чем вызвал шумное одобрение эмиграции. Да и вряд ли теперь он, будучи на 80 процентов уверен в обмане, пошел бы так легко на заклятие. Все это надумано уже потом, на Лубянке, под гнетом новых обстоятельств. Но в фактической стороне дела, в решающем влиянии гостей из Москвы — в этом сомневаться не приходится. Именно так: был на распутье, а они — ввели в заблуждение, увлекли, заманили, подтолкнули...

Операция «Синдикат-2» близится к завершению. 4 августа 1924 года, почти уверенные в успехе, руководящие работники Контрразведывательного отдела ОГПУ Пузицкий и Сосновский (Добжинский) подписывают «постановле-

ние о мере пресечения», то есть постановление на арест Савинкова.

А сам объект их внимания — уже в дорожных заботах. Под присмотром приехавшего за ним из Москвы представителя «Либеральных демократов» Андрея Павловича Мухина пишет последние распоряжения, передает свой архив вызванной из Праги сестре Вере и укладывает чемодан.

Его неразлучные друзья и помощники Любовь Ефимовна и Александр Аркадьевич Деренталь тоже собираются в путь.

Только ли общая борьба связывала эту троицу?

Они познакомились еще до революции, в Париже. Вместе вернулись в Россию в 1917-м, а через год дом Деренталей стал конспиративным убежищем Савинкова. И дальше их пути уже не расходились, куда Борис Викторович — туда и они. Восстания в Верхнем Поволжье, бои в Казани, колчаковская Сибирь, Париж, Варшава, Мозырский поход, снова Париж — всюду вместе. Дружба, проверенная временем, лишениями и опасностями войны.

Александр Аркадьевич, хотя ему было далеко до славы Савинкова, тоже имел революционное прошлое: будучи членом партии эсеров, он участвовал в убийстве царского провокатора священника Гапона — и тоже проявил себя как литератор и журналист, хотя не так ярко, как его друг. В их отношениях он как-то естественно занял второе, скромное место — за лидером. Тем не менее это был очень эрудированный человек, знавший несколько языков, хорошо ориентировавшийся в хитросплетениях мировой политики, — недаром Савинков называл его «моим министром иностранных дел».

У Любви Ефимовны главными достоинствами были красота и молодость, достоинства для женщины и сами по себе достаточные. Тем более если учесть, что она умела ими пользоваться. Ее отец, присяжный поверенный из Одессы Броуд, проиграл когда-то казенные деньги в Монте-Карло и вынужден был стать эмигрантом, осел в Париже, занялся журналистикой. Так его дочь стала парижанкой. В 1914 году она вышла замуж за Деренталья, но не увязла в быту и в пристрастии к шляпкам — занималась балетом, пыталась сниматься в кино, зарабатывала переводами. Вероятно, и теперь

в Париже, после долгих скитаний, она — способная, сообразительная, умеющая расположить к себе и очаровать — стала неплохой помощницей суровому рыцарю долга Савинкову, не говоря уж о том, что скрасила своей женственностью его холостяцкое житье. К тому времени Борис Викторович успел дважды жениться, был отцом троих детей, но семейная жизнь не сложилась, и еще раз обременять себя брачными узами он не хотел: теперешнее положение его вполне устраивало. Зинаида Гиппиус, питавшая к нему нескрываемую симпатию и опекавшая его как писателя, ревниво отмечала в Любви Деренталь как раз чисто женское: розовый пенюар и обилие цветов в доме, запах духов... «Типичная парижанка, преданная мне до могилы», — исчерпывающе определил свою секретаршу в разговоре с Гиппиус сам Савинков.

Интимная жизнь — не тема для исторической хроники, но тут случай особый. Слишком уж важны для последующих событий личные отношения Деренталь и Савинкова, чтобы обойти их молчанием.

«Ищи женщину», как говорят, но что же ее искать, когда она тут как тут.

Все говорит о том, что перед нами не просто три человека, а любовный треугольник. Об этом свидетельствуют и современники наших героев, и, вслед за ними, исследователи их жизни, это же подтверждают найденные теперь материалы. Причем стиль отношений между Савинковым и Дерентальми, баланс внимания и чувств убеждают: треугольник этот не драматический, с острыми углами, а сглаженный неким примирением, взаимным согласием.

Как разомкнулся он, мы узнаем дальше. Пока же рок событий неудержимо несет его к советской границе. В сопровождении двух спутников — Андрея Павловича и Ивана Фомичева, савинковца из Вильно, уже затянутого в провокационную игру ОГПУ.

Поезд Париж—Варшава. В польской столице остановка лишь на день, под чужими именами. Прощальный ужин с соратниками — 12 августа. Один из них — пронизательный и едкий писатель Михаил Арцыбашев — говорит Савинкову про Андрея Павловича:

— Что-то ваш провожатый смахивает на Иуду...

— Я старая подпольная крыса, — парирует Савинков. — Я прощупал его со всех сторон. Это просто новый тип, народившийся при большевиках и вам еще незнакомый...

Тот же Арцыбашев оставил кроме этого свидетельства еще и описание внешности своего визави и его спутников, описание выпуклое, хотя, может быть, и чересчур злое:

«Бледная маска со странным разрезом глаз и лысым черепом... Невысокий, худощавый, с бритым лицом не то актера, не то иезуита... Это Савинков... Длительное пожатие небольшой, но твердой руки... Улыбка оживляет его лицо: оно становится нежным, тонким и привлекательным...»
«Тоненький, белокурый Деренталь — тип офранцузившегося русского бульвардье — рассказывал анекдоты...» И «только высокая, черная и худая, хотя небогато, но с парижским шиком одетая мадам Деренталь сидела молча, поставив на стол острые локти тонких рук, увешанных слишком большими и слишком многочисленными браслетами. Она, казалось, внимательно и осторожно следила своими мрачными черными еврейскими глазами за всеми нами, но преимущественно — за самим Савинковым. Можно было подумать, что она боится какой-нибудь неосторожности с его стороны...»

На вопрос Арцыбашева, не страшно ли ей, женщине, ехать в Россию, Любовь Ефимовна небрежно бросила:

— Я привыкла ко всему!

Ужин не затянулся — ждал поезд. Несколько напутственных фраз. «Савинков галантно приподнял свой парижский котелок, зашелестело шелковое манто, как-то незаметно скользнул белокурый Деренталь... а затем все исчезло».

Впереди — граница. С властями Польши переход согласован заранее.

Возвращение Савинкова в Россию было тщательно спланировано и подготовлено, назвать его добровольным можно лишь условно: через границу его вели за руку чекисты, хотя сам он об этом только подозревал. Подозревал, но верил в свою звезду, в то, что ему, как всегда, повезет.

Ловушка расставлена — надо только, чтобы ничто не спугнуло зверя.

Западня

Что произошло дальше, мы узнаем из уникального документа, сохранившегося в архиве Лубянки, — дневника, который вела Любовь Деренталь. Собственно, это даже не дневник, а воспоминания, написанные по свежим следам событий. И поскольку содержание их представляет ценность как для этой истории, так и для истории вообще, приведем их здесь возможно полнее, следуя вместе с героями шаг за шагом по их тернистому пути:

«15 августа. На крестьянской телеге сложены чемоданы. Мы идем за ней следом. Ноги наши вымочены росой. Александр Аркадьевич двигается с трудом — он болен.

Сияет луна. Она сияет так ярко, что можно подумать, что это день, а не ночь, если бы не полная тишина. Только скрипят колеса...

Холодно. Мы жадно пьем свежий воздух — воздух России. Россия в нескольких шагах от нас, впереди.

— Не разговаривайте и не курите!..

На опушке нас окликают:

— Стой!

Польский дозор. Он отказывается нас пропустить. Мы настаиваем. Люди в черных шинелях начинают, видимо, колебаться. Борис Викторович почти приказывает, и мы проходим.

Фомичев вынимает часы. Без пяти минут полночь. Чемоданы сняты с телеги. Возница, русский, плохо соображает, в чем дело. Но он взволнован и желает нам счастья. Теперь мы в мокрых кустах. Перед нами залитая лунным светом поляна. Фомичев говорит:

— Сначала я перейду один. Андрей Павлович ждет меня на той стороне.

Он уходит. Он четко вырисовывается на белой поляне. Вот он ее пересек и скрылся. Через минуту вырастают две тени. Они идут прямо на нас.

— Андрей Павлович?.. — спрашивает Борис Викторович, близоруко вглядываясь вперед.

Двенадцать часов назад Андрей Павлович в Вильно встретился с нами. Он поехал проверить связь с Иваном Петровичем, красным командиром и членом нашей организации.

Мы берем в руки по чемодану и гуськом отправляемся в путь. Из лесу выходит человек. Это Иван Петрович. Звенят шпоры, он отдает по-военному честь. Сзади кланяется кто-то еще.

— Друг Сергея, Новицкий, — представляет Андрей Павлович. — Он проводит нас до Москвы.

Мы выехали в Россию по настоянию Сергея Павловского. Он должен был приехать за нами в Париж. Но он был ранен при нападении на большевистский поезд и вместо себя прислал Андрея Павловича и Фомичева...

Я смотрю на Новицкого. Он похож на офицера. На молодом, почти безусом лице длинная клинышком борода [ярко-красного цвета]... (в квадратных скобках даны вычеркнутые в рукописи слова. — В. Ш.)».

Вот они — один за другим — начинают обступать Савинкова, окружают его плотным кольцом, чтобы конвоировать дальше. Иван Петрович — это Ян Петрович Крикман, сотрудник Минского ГПУ, который отвечал в операции за «окно» на границе. Роль Новицкого играет помощник начальника контрразведки ОГПУ Сергей Васильевич Пузицкий, подписавший постановление на арест Савинкова.

«Мы идем быстро, в полном молчании. За каждым кустом, может быть, прячется пограничник, из-за каждого дерева может щелкнуть винтовка. Вот налево зашевелилось что-то. Потом направо. И вдруг всюду — спереди, сзади и наверху — шумы, шорохи и тяжелое хлопанье крыльев. Звери и птицы...

Пролетела сова. Это третий предостерегающий знак: утром разбилось зеркало и сегодня пятница — дурной день.

Мы идем уже больше часа, но усталости нет. Мы идем то полями, то лесом. Граница вьется, и мы мало удаляемся от нее. Но вот в перелеске тарантас и подвода. Лошади крупные — «казенные», говорит Иван Петрович. Андрей Павлович и Новицкий достают шинели и полотняные шлемы. Шлемы по форме напоминают германские каски. Борис Викторович, Александр Аркадьевич и Андрей Павлович переодеваются. Их сразу становится трудно узнать. Я шучу:

— Борис Викторович, вы похожи на Вильгельма Второго...

Борис Викторович, Новицкий и я размещаемся на тарантасе. Андрей Павлович правит. Маленького роста, широкоплечий и плотный, с круглым, заросшим щетиной лицом, в слишком длинной шинели, он имеет вид заправского кучера. Я смотрю на него и смеюсь.

До Минска нам предстоит сделать 35 верст.

Деревня. Лают собаки. Потом поля, перелески, опять поля, снова деревня. И опьяняющий воздух. А в голове одна мысль: поля — Россия, леса — Россия, деревни — тоже Россия. Мы счастливы — мы у себя.

Высоко над соснами вспыхнул красноватый огонь. Что это? Сигнал? Нет, это Марс. Но он сверкает, как никогда...

16 августа. На заре мы сделали привал в поле. В небе гаснут последние звезды. Фомичев объявляет со смехом:

— Буфет открыт, господа!

Он предлагает водки и колбасы. Мы браним его за то, что он забыл купить хлеба.

[Иван Петрович стоит в стороне. У него на губах насмешливая улыбка. Или это мне показалось?]

Лошади трогаются. Вот, наконец, и дома. Приехали. Минск. Борис Викторович и Александр Аркадьевич снимают шинели и шлемы [и отдают Ивану Петровичу свои револьверы]...»

Важный момент! На суде Савинков скажет об этом иначе: «Вы, может быть, подумаете, что я ехал с бомбой в кармане, а я ехал и револьвер свой, перейдя границу, бросил...» И дальше: «Я револьвер бросил на границе...»

Так бросил или отдал? Как все было на самом деле? Сегодня мы можем судить об этом лишь предположительно. В одной из промелькнувших в советской печати публикаций появилось еще одно свидетельство, взятое из каких-то неназванных конфиденциальных источников: будто бы при въезде в Минск между 6 и 7 часами утра Савинков резко изменился, замкнулся, стал более официальным и настороженным. Что случилось с Савинковым — почувал опасность или уже понял, что его ждет? Но так или иначе — разоружился...

«Мы останавливаемся у одного из домов на Советской. Здесь мы отдохнем и вечером уедем в Москву.

Поднимаясь по лестнице, я говорю:

— В этой квартире живет кто-нибудь из членов нашей организации?

— Да, — улыбаясь, отвечает Новицкий.

Мы звоним. Нам открывает высокий молодой человек в белой рубашке. У него бледное, очень суровое, хотя и с мелкими чертами лицо и холодные небольшие глаза. Я колеблюсь: такими за границей представляют себе комиссаров.

Молодой человек не в духе. Вероятно, он недоволен, что его разбудили так рано. Он идет доложить о нашем приходе. Кто он? Вестовой? Из передней мы проходим в столовую, большую комнату с выцветшими обоями. На столе остатки вчерашнего ужина. Мои товарищи направляются в кухню, чтобы почиститься и помыться.

Я чувствую смутное беспокойство. Я присаживаюсь к столу. Неожиданно открывается дверь. На пороге стоит человек огромного роста, почти великан. Он в военной форме, с приятным лицом. Он удивлен. Это, наверное, хозяин (по некоторым свидетельствам, хозяина квартиры изображал начальник ГПУ Белоруссии Медведь. — В. Ш.). Я встаю и подаю ему руку.

Приносят завтрак. Александр Аркадьевич не ест ничего. Он ложится в этой же комнате на диван. Я несколько раз прошу хозяина сесть вместе с нами за стол. Но он отказывается. Он говорит:

— Визита дамы не ожидал. Позвольте, я сам буду прислуживать вам.

Я спрашиваю Андрея Павловича, почему с нами нет Фомичева.

— Он в гостинице, с Шешеней. Он вечером придет на вокзал.

Бывший адъютант Бориса Викторовича Шешеня служит теперь в Красной Армии. Он приехал в Минск из Москвы встретить нас. Он уже взял билеты на поезд. Андрей Павлович показывает мне их. Потом он поднимает рюмку [водки] и говорит:

— За ваше здоровье... Мне нужно быть в городе. До свидания.

За столом остаемся мы трое: Борис Викторович, Новицкий и я. “Вестовой” приносит яичницу. Вдруг с силой распаивается двойная дверь из передней:

— Ни с места! Вы арестованы!

Входят [восемь или девять] несколько человек. Они направляют револьверы и карабины на нас. Впереди военный, похожий на корсиканского бандита: черная борода, сверкающие черные глаза и два огромных маузера в руках. Тут же в комнате “вестовой”. Это он предал нас, мелькает у меня в голове, но в то же мгновение я в толпе узнаю... Ивана Петровича! Новицкий сидит с невозмутимым лицом. Со стороны кухни появляются [вооруженные] люди. Обе группы так неподвижны, что кажется, что они восковые.

Первые слова произносит Борис Викторович:

— Чисто сделано!.. Разрешите продолжать завтрак?

Красноармейцы с красными звездами на рукавах выстраиваются вдоль стен. Несколько человек садятся за стол. Один, небольшого роста, с русою бородой, в шлеме, располагается на диване рядом с Александром Аркадьевичем. Он хохочет. Он хохочет так сильно, что содрогается все его тело и колени поднимаются вверх.

— Да, чисто сделано... Чисто сделано, — повторяет он. — Неудивительно: работали над этим полтора года!..

— Как жалко, что я не успел побриться... — говорит Борис Викторович.

— Ничего. Вы побреетесь в Москве, Борис Викторович... — замечает человек в черной рубашке, с бритым и круглым спокойным лицом. У него уверенный голос и мягкие жесты.

— Вы знаете мое имя и отчество? — удивляется Борис Викторович.

— Помилуйте! Кто же не знает их? — любезно отвечает он и предлагает нам пива.

Человек с русой бородою переходит с дивана за стол.

Он садится от меня справа. У него умное и подвижное лицо. Я говорю:

— Нас было пятеро. Теперь нас трое. Нет Андрея Павловича и Фомичева

— Понятно, — говорит Борис Викторович.

— Значит... все предали нас?

— Конечно.

— Не может этого быть!..

Человек с русской бородою поворачивается ко мне.

— Надо слушать, что старшие говорят.

Но я должна верить Пиллярю. Он один из начальников ГПУ.

(Роман Александрович Пилляр — заместитель начальника отдела контрразведки ОГПУ. — В. Ш.)

...Все. Андрей Павлович... Фомичев... Шешеня. А Сергей?..

Сергей, наверное, уже расстрелян...

— Им много заплатят? — вежливо осведомляется Александр Аркадьевич.

— Андрей Павлович никогда не работал против нас. Он убежденный коммунист. А другие... У других, у каждого есть грехи... Ну, получают прощение грехов...

Входит Новицкий и снова садится за стол.

— Вот один из ваших товарищей... — иронически замечает Пилляр, обращаясь ко мне.

— Да... И он даже обещал мне сбрить свою бороду...

— Он не сбреет ее, — говорит Пилляр [с раздражением].

“Друг Сергея” — Новицкий — не кто иной, как Пузицкий, его ближайший помощник.

— Кажется, вы недавно написали повесть “Конь Вороной”? А раньше “Конь Бледный”? — спрашивает Бориса Викторovichа Пилляр.

— Целая конюшня. Не так ли?

— А теперь, — смеется Пилляр, — вы напишете еще одну повесть — “Конь Последний”.

— Лично мне все равно. Но мне жалко... их...

Александр Аркадьевич протестует. Пилляр опускает глаза и говорит почти мягко:

— Не будем говорить об этом...

— Почему вы тотчас же арестовали нас, не дав нам возможности предварительно увидеть Москву? Мы были в ваших руках.

— Вы слишком опасные люди.

Нас обыскивают...

[Борис Викторovich выходит из комнаты с завязанной головой. Это сделано для того, чтобы его не узнали на улице.

— Но это самое лучшее средство для того, чтобы обратить на него внимание, — говорит Александр Аркадьевич.

Как-никак, Борис Викторович — в роли современной “Железной Маски” — садится в один из автомобилей, ожидающих нас внизу...]

17 августа.
— Москва!

Пять часов утра. Мы выходим поодиночке. Около каждого из нас караул. Борис Викторович садится в закрытый автомобиль с опущенными занавесками на окнах. Александр Аркадьевич и я — в другой, открытый. Гудин (вероятно, Гендин С. Г., чекист, принимавший участие в операции. — *В. Ш.*), “хозяин дома” и несколько человек красноармейцев садятся с нами. Мы покинули Москву в 1918 году, мы возвращаемся прямо в тюрьму.

В поезде Гудин с гордостью сообщил, что мы делаем 65 верст в час. Теперь он обращает мое внимание на чистоту города.

Театральная площадь. Огромный портрет Ленина, сделанный из цветов. Потом какая-то улица. Потом здание.

— Это и есть знаменитая Лубянка... — говорит Александр Аркадьевич.

Лубянка. Тюрьма, из которой никто не выходит...»

Начинается тягостная процедура превращения свободно человека в узника, упаковка его в клетку. Бесконечные лестницы, коридоры и кабинеты Лубянки, которые все больше и больше отдаляют и отрешают от мира.

Впрочем, Савинкова и его спутников поначалу встречают с особым обхождением, любезно, как почетных гостей, даже заводят «светские разговоры» — не столько для того, чтобы сделать приятное, сколько от собственной гордости: вот, мол, какое у нас событие! Какая птичка залетела!

— А что, у вас пытаются? — не выдерживает Александр Аркадьевич.

Сопровождающий чекист смеется:

— Невероятно, что вы в 1924 году можете этому верить... Да, в первые годы был террор. Да, тогда изредка встречались садисты. Но они уже давно расстреляны все...

Для Савинкова даже устраивают вернисаж: показывают картины его младшего брата Виктора, художника, эмигранта, живущего теперь в Праге. Объясняют:

— Мы нашли эти картины при обыске. Они подписаны таким именем, что пришлось перенести их сюда...

На этом торжественная часть кончается. Начинаются тюремные будни.

Номер пятьдесят пятый

Любовь Ефимовну отделяют от остальных, уводят. Обыск. Женщина с суровым лицом монотонно приказывает:

— Снимите шляпу... Снимите платье... Снимите кольца...

— И обручальное?

— Да.

Обыск уже был, в Минске. Но тогда его проводила девушка, казалось, очень смущенная своей миссией. Чтобы снять неловкость, Любовь Ефимовна что-то рассказывала ей о Париже и предложила в подарок маленькое ожерелье. Та отказалась, мягко, но категорически. Впрочем, дело свое она знала — двенадцать долларов, зашитых в складке платья, не остались незамеченными.

А эта запускает руку в волосы. Забирает вещи. Оставляет туфли, шелковые чулки и ночную рубашку, приняв ее, видно, за платье.

И молодая парижанка, в ночной рубашке и сползающих чулках (подвязки отобрали), идет дальше по коридору, за надзирателем, в камеру № 55.

Щелкает замок. Заперта.

А совсем рядом, может быть в нескольких шагах, в камеру № 60 вводят Савинкова, который с этой минуты становится главным узником, гордостью Лубянки.

Любовь Ефимовна меряет шагами камеру. Довольно большая и высокая, но очень темная комната. На окне изнутри — решетка, а снаружи — спереди и с обеих сторон — железный щит. Свет проникает только сверху.

Койка из досок с соломенным тюфяком. Стол. Пол паркетный.

Каждую минуту открывается «иуда» — глазок, и в него вставляются глаза надзирателя.

Как ни странно, она спокойна. Она уверена: пощады не будет.

Кто прежде обитал здесь, до нее? Вспоминаются статьи о зверствах чекистов, которые она переводила в Париже. Очень хочется спать...

Электричество горит всю ночь, мешает заснуть. Она зовет надзирателя, просит выключить — в ответ только удивленный взгляд. Вдруг шум — в углу начинают скрестись мышцы, а она их не выносит. В стену летит туфля — безрезультатно, мышьяная возня не утихает. Хочется плакать...

Так проходит первый ее день в тюрьме. И еще один. И следующий.

Распорядок отшлифован до мелочей. Утром будят и вручают метлу — мести камеру. Ведут в уборную. Завтрак: чай, сахар, черный хлеб, папиросы. В середине дня обед: суп, лапша, чай. Вечером — снова суп и чай. Еще одно посещение уборной. В 10 часов — отбой, спать.

Кроме пайка, как знак особого отношения, дают еще булку, молоко и свежий номер «Правды». Жадно ищет она какое-нибудь сообщение об их аресте. Нет, глухо. Мир пока ничего о них не знает. «Может, хотят ликвидировать втихомолку?» — гадает Любовь Ефимовна.

Каждое маленькое нарушение одиночества кажется событием: шаги в коридоре, появление надзирателя, визит в уборную. Вчера на вопрос, нет ли у нее заявлений, она попросила дать ей вещи из ручного саквояжа. Выбрала зеркальце, пудру и большой красный шелковый платок, подарок своей подруги, юной, очаровательной Пепиты — жены Сиднея Рейлли⁵. Разрешили только платок. Теперь она кладет его в изголовье на жесткий тюфяк и вспоминает. Милая Пепита, как она плакала, как умоляла не ехать с Андреем Павловичем в Россию! Все повторяла: «Он коммунист! Коммунист!..»

Сегодня в камеру принесли две книги. Одна из них — «Сердца трех» Джека Лондона. С каким наслаждением бросилась читать! Вот где герои так герои — красивые, храбры,

⁵ Рейлли Сидней (Розенблум; 1874—1925) — близкий друг Савинкова, знаменитый английский разведчик. Одновременно с операцией «Синдикат-2» чекисты вели еще одну игру — под названием «Трест», в результате которой Рейлли был завлечен в Россию и убит.

благородны! Не то что этот Андрей Павлович! Сердца трех... Их тоже сейчас трое здесь — Борис Викторович, муж и она, — трое, таких близких и таких недостижимых... Спать, спать...

Только заснула — будят:

— На допрос!

Такие здесь привычки — допрашивать ночью.

Пустые коридоры. За открытой настежь дверью ходит человек в белой блузе. Наверное, доктор, на случай, если допрос произведет слишком сильное впечатление...

Снова лестницы, коридоры. Лабиринт.

Надзиратель отворяет наконец дверь.

В большом полуосвещенном кабинете вокруг стола сидят три человека. Один из них — Пилляр. Указывает на кресло напротив себя, приглашает садиться.

«19 августа... Стоячая лампа с желтым абажуром освещает моих следователей. Из них старшему тридцать лет. На стене, в тени, портрет Ленина. Ленин читает “Правду”.

— Мы вас не будем допрашивать. Мы хотим с вами побеседовать и ничего не запишем. Расскажите вашу биографию. Я рассказываю.

— Значит, вы больше парижанка, чем русская?

— Да, я всегда жила во Франции и во Франции же училась — в одном из лицеев Парижа. Я была в России только однажды, в 1917 году, после революции.

— Вы говорите, что были членом Союза защиты Родины и Свободы, а товарищи ваши отрицают это. Что же, значит, они говорят неправду? — строго перебивает Пилляр.

— Да, они хотят меня спасти. На их месте вы, вероятно, сделали бы то же...]

Меня спрашивают о Ярославском восстании и о нелегальной работе в Москве. Но я не чувствую никакого давления: никто не требует, чтобы я называла фамилии. [Называть их я отказалась сразу...]

— Вы говорите, что вы патриоты. Как же вы могли идти против России вместе с поляками? Сообщать полякам наши военные тайны и исполнять обязанности шпионов? Я не патриот, но этого я понять не могу, — говорит Пилляр с негодованием.

Я возражаю:

— Мы не шли против России. Мы шли против вас. Во время русско-японской войны многие русские революционеры радовались победам японцев. Они полагали, что поражения ослабляют царизм и подготавливают революцию. Так и мы. Борясь против коммунистов, мы боролись за родину и свободу.

— Аналогия довольно эффектна, но едва ли убедительна, — иронизирует Пилляр.

— Я не пытаюсь вас убедить и не хочу защищаться.

Он улыбается. Мне кажется, что высокопоставленный чекист смеется надо мной. Я начинаю сердиться. Я говорю:

— Ваша вечная улыбка меня смущает. Я бы предпочла, чтобы меня допрашивал кто-либо другой.

И я поворачиваюсь к моему соседу направо.

— Вы, например. На вашем лице не написано ничего.

Пилляр соглашается...

— Есть у вас жалобы?

— Нет. Наоборот. Признаюсь, я поражена той корректностью, которую я встретила здесь.

— Вы нас принимали за диких зверей?

— Почти. Я очень боялась пыток и хамства. Я даже хотела взять с собой яду, чтобы не отдаться живой в ваши руки. Я не успела вовремя его получить...

— Тем лучше. Было бы жалко...

Меня уводят...»

Номер шестидесятый

В этот же день допрашивали Савинкова, и тоже без протокола. О содержании «беседы» он скажет потом, в одном из черновиков его письма Дзержинскому:

«Я так поставил вопрос на первом же допросе с Менжинским, Артузовым и Пилляром: либо расстреливайте, либо дайте возможность работать; я был против вас всей душой, теперь я с вами, тоже всей душой, ибо жизнь меня привела к вам. Быть же ни за, ни против, то есть сидеть в тюрьме или стать обывателем, я не хочу и не могу».

Савинков пришел на эту встречу, основательно продумав свою позицию и взвесив все шансы, сделав выбор, пришел с

готовым предложением. И получил вполне недвусмысленный ответ. «Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать...»

Помилюют? Его, злейшего врага советской власти, боровшегося с нею с первого боя в октябре 1917-го — у Пулкова и до последнего в начале 1921-го — у Мозыря? Почему? На каких условиях? Об этом Савинков умалчивает. Но из дальнейшего его поведения и заявлений становится ясным, что он должен был сделать, чтобы спасти себе жизнь: публично покаяться, признать полное поражение, неправоту и свою лично, и всей своей партии и, соответственно, — правоту и победу его вчерашних врагов, и больше того — призвать всех своих соратников внутри страны и за рубежом явиться с повинной...

Таковы условия сделки между Савинковым и его стражниками, теми, в чьих руках теперь была его жизнь.

Савинков принял эти условия не сразу. В деле хранятся его собственноручные показания от 21 августа, полные мучительных колебаний. Сделка, предложенная чекистами, принята только наполовину: он признает свою неправоту и поражение как поражение от врага. Но признать себя побежденным еще не значит признать советскую власть и тем более призывать других к этому. Часть этих показаний, которая не соответствовала уготованной Савинкову в политическом спектакле роли, была при их публикации утаена:

«Если за коммунистами большинство русских рабочих и крестьян, то я как русский должен подчиниться их воле, какая бы она ни была. Но я революционер, а это значит, что я не только признаю все средства борьбы вплоть до терактов, но и борюсь до конца, до той последней минуты, когда либо погибаю, либо совершенно убеждаюсь в своей ошибке...

Я не преступник, я — военнопленный. Я вел войну, и я побежден. Я имею мужество открыто это сказать. Я имею мужество открыто сказать, что моя упорная, длительная, не на живот, а на смерть, всеми доступными мне средствами борьба не дала результатов... Судите меня как хотите...»

«Геройское, но бесполезное дело» — так называет он свою борьбу и подводит итог: «...еще раз говорю: судите как хоти-

те. А передо мной стоит все тот же страшный вопрос: не ошибся ли я, как и многие другие?..

Теперь отвечаю на вопросы. О себе готов сказать все, о других говорить не хочу, ибо никогда не обманывал никого...

Год рождения — 1879-й.

Происхождение — родился в Харькове. Отец был судьей в Варшаве, был выгнан со службы за революционный образ мыслей в 1905 г. Мать из Польши, урожденная Ярошенко, сестра художника. Русский...

Род занятий — революционер...

Имущественное положение — никакого имущества никогда не имел.

Образовательный ценз — был исключен из Петербургского университета за студенческие беспорядки в 1899 г.

Партийность и политические убеждения — член «Союза» (см. «Программу Союза»). Крестьянский демократ...»

На вопрос о террористической деятельности Савинков отчеканил:

— Как революционер всегда стоял за террор, но всегда агитацию за него считал ненужной. На террор нельзя звать, можно только на него идти.

О жизни в эмиграции еще короче и резче:

— Всегда в стороне от всех, а последнее время буквально в щели...

Савинков и раньше не сомневался, что, если попадет в руки чекистов, его расстреляют. А теперь даже спросил Пилляра:

— По суду или без суда?

Тот ответил:

— Этот вопрос еще не решен.

Номер пятьдесят пятый

«22 августа.

... — На допрос!

Может быть, я что-нибудь наконец узнаю!

...Меня вводят в большой кабинет. За столом сидит человек — тот самый, который по моей просьбе заменил во вторник Пилляра. Его зовут Иваненко (вероятно — Николай Иванович Демиденко, оперуполномоченный, принимавший уча-

стие в следствии. — В. Ш.)... В открытое окно сияет весело солнце и видна часть Москвы. Это очень приятно после темной камеры со щитом.

Мой следователь крепкого телосложения. Он украинец. У него черные, живые глаза. Перед ним моя сумочка. Ее у меня отобрали при входе в тюрьму.

— Вы парижанка. Вы не можете обойтись без пудры. Я буду читать газету... и ничего не увижу... В вашей сумочке есть все, что вам нужно...

Я не верю своим ушам. Я открываю сумочку и достаю зеркальце. Я шесть дней не видела своего лица. Оно мне кажется странным — более молодым, потому что без косметики. Как можно так похудеть в такое короткое время!..

Несмотря на “сумочку”, Иваненко допрашивает меня с соблюдением всех правил. Он записывает мои ответы.

— Какова ваша роль в Москве в 1918 году в тайной организации? В Рыбинске во время восстания? В Париже в 1919 и 1920 годах, в бюро антикоммунистической пропаганды “Унион”? В Варшаве в 1920-м, в Русском политическом Комитете? На фронте во время Мозырского похода?

Я говорю о себе правду, но не называю ничьих фамилий...

Иваненко берет телефонную трубку:

— Уведите номер пятьдесят пять».

Номер шестидесятый

Только в этот день, 22 августа, когда ОГПУ уже разработало план дальнейших действий, было заведено следственное дело на Савинкова. И в тот же день Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР — высшего государственного органа страны — на своем заседании поддержал решение чекистов: передал дело на рассмотрение в Военную коллегия Верховного суда. Без постановлений о привлечении Савинкова в качестве обвиняемого и об окончании следствия, без обвинительного заключения — эти документы начальник 6-го отделения Контрразведывательного отдела Игнатий Сосновский подпишет только на следующий день!

ОГПУ установило своеобразный рекорд: одним махом начало следствие, закончило его и передало дело в суд. Са-

винков в один день превратился из арестованного в подследственного и из подследственного в подсудимого. С законностью здесь не церемонились. Зачем она, если есть высшая революционная целесообразность? В борьбе все дозволено. Совсем по Савинкову!

Работа закипела. Был конец недели, но и в воскресенье на Лубянке лихорадочно трудились — готовились к процессу. Еще бы, ведь за ним будет следить весь мир. То-то гром грянет. Крупнейшее политическое событие! Суд истории!

Спешно писались, переписывались и подписывались документы, шли согласования, намечался сценарий суда, подбирались охрана. Раскалялись телефоны, носились курьеры, окна высоких кабинетов над Лубянской площадью светились до утра. Заседала и Военная коллегия Верховсуда под председательством Василия Ульриха — было решено открыть процесс в среду 27 августа в центре Москвы, в одном из судебных зданий на Гоголевском бульваре, и проводить «без участия сторон ввиду ясности дела».

Предписывалось действовать в режиме величайшей секретности: до суда — никакой утечки информации!

В субботу, в половине двенадцатого ночи, Сосновский вызвал к себе главного виновника происшествия и вручил ему копию обвинительного заключения. В нем было десять обвинительных пунктов — и каждый предполагал расстрел!

Свидание

Звон колоколов разбудил Любовь Ефимовну. Воскресенье. В этот день, 24 августа, Иваненко опять допрашивал ее.
«— Продолжим. Где вы жили в Москве в 1918 году?

Я молчу.

— Вы вправе не отвечать. Но этот адрес имеет только исторический интерес: ваша квартира служила штабом Союза защиты Родины и Свободы.

Кого я могу скомпрометировать? Камни? Я говорю:

— Гагаринский переулок, 23.

— Где жил Борис Викторович?

— Не знаю.

— В таком случае, как он держал связь с Александром Аркадьевичем?

— Через одного офицера.

— Кто был этот офицер?

— Я не желаю отвечать.

Иваненко смеется.

— Любовь Ефимовна, вы не хотите назвать даже Флегонта Клепикова, знаменитого Флегонта, который отказался подать руку министру-председателю Керенскому и который всюду, как тень, сопровождал Бориса Викторовича. Но ведь это уже история.

— А если вы к Флегонту пошлете другого Андрея Павловича?

Иваненко смеется еще громче.

— Теперь, когда Борис Викторович в наших руках, никто из его организации нас больше не интересует. С савинковцами покончено... Кстати, Андрей Павлович хотел бы поговорить с вами...

— Я не хочу видеть этого господина.

— В таком случае я не настаиваю.

Входит Пузицкий.

— Борис Викторович попросил свидания с вами. Свидание состоится в два часа, в моем кабинете...

Я определяю время приблизительно — по медному чайнику. Вода сохраняет свою теплоту в продолжение трех часов. Она уже холодна. Час, назначенный для свидания, наверное, уже пришел. Я хожу из угла в угол, хожу без конца.

— На вопрос.

Опять бесконечные коридоры. А надзиратель, который идет впереди меня, не торопится и волочит ноги.

В комнате несколько человек. Я с трудом узнаю того, который поднимается мне навстречу. В казенном, смятом, слишком широком костюме, без воротника, без пуговиц на рубашке...

Я жму ему руку. Я смотрю на его лицо. Оно похудело. Но нет ни подергиваний, ни тика. Оно дышит полным спокойствием. Раньше, чем Борис Викторович заговорил, я уже поняла все.

— У вас довольно мужества?

Я шепчу:

— Да.

— Военная коллегия судит меня через день или два. Вас и Александра Аркадьевича будут судить отдельно. Я счастлив: меня заверили, — он оборачивается к кому-то, — что ни вам, ни ему не грозит смертная казнь.

Я закрываю лицо руками.

— Но вы же сказали, что у вас достаточно мужества...

Мужество у меня было. В камере, когда я думала, что нас, всех троих, ожидает одинаковая судьба. Но это неравенство неожиданно лишило меня его.

В Париже Вера Викторовна, Рейлли и его жена, провожая нас, тревожились больше, чем мы. Теперь мне надо пережить смерть Бориса Викторовича...

— Успокойтесь... — говорит Борис Викторович, почти сердито.

— Любовь Ефимовна, выпейте пива. Пиво лучше, чем валериановые капли, — советует Елагин. («Елагиным» в дневнике назван чекист, «человек в черной рубашке», который участвовал в аресте Савинкова и его спутников в Минске. — В. Ш.)

Мы сидим за столом. Я с трудом овладеваю собой.

— Вы очень похудели, — говорит Борис Викторович. — Вы должны быть довольны. В Париже, для того чтобы похудеть, вы делали бог знает что...

Он шутит. Я знаю, что он хочет, чтобы я была на высоте положения, — чтобы я не заплакала.

— Очень тяжело в тюрьме? — спрашивает он меня. — Щит? Одиночество?

— Нет, не очень.

— Тем лучше. Ведь вам, вероятно, долго придется сидеть... И у вас никого нет в России. Ни родных, ни друзей. Я не могу себе простить, что я согласился на ваши просьбы, что я позволил вам обоим ехать со мной... Любви Ефимовне и Александру Аркадьевичу будет разрешено писать, когда меня больше не будет? — спрашивает он, обращаясь к Елагину и Пузицкому.

— Конечно.

Мы беседуем. Минутами я перестаю понимать, о чем говорим, и слезы мешают мне видеть. Тогда Борис Викторович смотрит на меня строго. Он говорит о своем сыне, маленьком Льве.

— Я взял с собой одну фотографическую карточку — моего сына. Но у меня ее отобрали.

Пузицкий встает и уходит в соседнюю комнату. Он приносит фотографическую карточку:

— Вот она, Борис Викторович.

Борис Викторович доволен. Он показывает Елагину маленького мальчика с голыми ногами. Мальчик стоит у стога сена. А я думаю: “Тому, кто должен умереть, не отказывают ни в чем, даже в Совдепии”.

— Мне не разрешают свидания с Александром Аркадьевичем, потому что его еще не начинали допрашивать... Но, может быть, эти последние два дня мне разрешат видаться с Любовью Ефимовной возможно чаще? Например, сегодня вечером, после допроса?

К моему удивлению, Пузицкий кивает головой в знак согласия. Допрос должен начаться в девять часов и, значит, окончится не раньше одиннадцати.

Свидание окончено. Меня уводят. Борис Викторович целует мне руку. Он так спокоен, что мне хочется громко кричать.

Я выхожу из комнаты, я прохожу через другую, ноги мои подкашиваются, и я хватаюсь за ручку двери. Я не падаю, потому что меня подхватывают чьи-то сильные руки. Надзиратели почти относят меня в мою камеру. Мне дают воды.

Сколько времени я лежу без чувств — я не знаю. Надзиратель входит с ужином и ворчит:

— Надо есть.

Как много доброты умеют вкладывать простые русские люди в слова и жесты... Я спрашиваю себя: а если этот так называемый допрос не что иное, как суд над Борисом Викторовичем? Бьтъ может, Борис Викторович хотел избавить меня от напрасного ожидания?

Уже, наверное, очень поздно. Никто не пришел за мной. У меня нет сил. Я ложусь. И сейчас же — кошмар.

Четырехугольный двор, высокие стены. Лестница. На лестнице человек в смятом, слишком широком костюме, без воротника, без пуговиц на рубашке — Борис Викторович...

— Он бежит из тюрьмы!

Я вижу: двор наполняется солдатами и людьми в черных костюмах. Их видит и Борис Викторович...

Меня разбудили два выстрела.

Я вскакиваю. Я схожу с ума. Я не знаю, где кончается сон и где начинается явь. А если действительно его судили сегодня? Сколько раз я читала, что “они” не расстреливают, а убивают сзади, из револьвера!»

Ультиматум

Наступил понедельник, 25 августа.

В этот день произошла встреча Савинкова с Дзержинским и Менжинским, встреча, определившая его судьбу. О содержании их разговора история умалчивает, однако сейчас можно кое-что о ней сказать — на основании обнаруженных в деле материалов.

Железный Феликс говорил со своим узником сурово, подчеркивая величайшую, неизмеримую степень его вины. Савинков потом расскажет Любови Ефимовне: «Дзержинский мне сказал, что сто тысяч рабочих без всякого давления с чьей-либо стороны придут и потребуют моей казни — казни “врага народа”!» Это, несомненно, потрясло Савинкова.

На обвинение в том, что Савинков пользовался в борьбе помощью иностранцев, тот скажет:

— Да, мы пользовались помощью иностранцев. Нам казалось, что все способы хороши, чтобы свергнуть тех, кто во время войны захватил власть, не брезгуя золотом неприятеля...

Савинков имел в виду немецкое золото.

— Это клевета! — резко ответил Дзержинский. — Большевики не получали германских денег! Мы начали Октябрьскую революцию почти с пустыми карманами. Истощенные блокадой, нуждались во всем — и все-таки сломали белых! Мы победили их, потому что русский народ был с нами. А кто был с вами? Иностранцы...

Как мы теперь знаем, деньги от Германии для своей революции большевики получали, и в больших количествах, так что Дзержинский здесь просто наводил тень на плетень.

И, наконец, третий, самый важный момент встречи — о нем Савинков позднее напомнит Дзержинскому в своем письменном послании:

«Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных...»

Это было прямое требование, ультиматум: нам нужно, чтобы вы не только признали свое поражение и отказались от борьбы, разоружились, нам надо, чтобы вы встали на нашу сторону, признали нашу правоту и публично заявили об этом всему миру. А это, естественно, будет призывом ко всем врагам нашей власти, которые стоят за вами, разоружиться и прийти с повинной — то есть нашей двойной победой.

За этим условием читается и другое: только тогда и вы можете рассчитывать на какой-нибудь шанс для себя...

Под взглядом «иуды»

«25 августа. Бессонная ночь, потом заря, потом утро, потом уборная, потом надзиратель с чаем. Я лихорадочно ожидаю “Правду”. Обыкновенно ее приносят вместе с обедом...»

“Правду” не принесли.

— Сегодня ничего не передавали, — бурчит надзиратель на вопрошающий взгляд Любви Ефимовны.

«Они не хотят, чтобы я знала. Значит, ночью Бориса Викторовича...»

Я не схожу с койки весь день. Ежеминутно приоткрывается “глазок”. Я слышу в коридоре шепот, шаги...

Вечером кто-то входит:

— Идите за мной.

Без мысли, как автомат, я иду вслед за кем-то.

Отворяется дверь, и предо мной стоит Борис Викторович...»

Итак, ее приводят в камеру Савинкова. Еще один дар лубянских богов — «тому, кто должен умереть, не отказывают ни в чем»... Они одни. Но не наедине — из «иуды», дверного глазка, на них уставлен глаз надзирателя!

«В моих первых словах нет смысла:

— Вы живы?

— ?

— Вас не судили вчера?

— Нет. Только допрашивали.

— Я слышала два выстрела ночью, и утром мне не принесли “Правду”. Я подумала...

— Выстрелы были довольно далеко. Я их тоже слышал. Что же касается газеты, то она по понедельникам не выходит.

Мы одни, но я не смею говорить. Разоблачения парижской “Русской газеты” о приемах Чека еще свежи в моей памяти. А что, если автоматический аппарат будет записывать наш разговор?

— Басни, — говорит Борис Викторович.

Мы говорим о девяти днях, которые только что пережили, — об аресте, об Андрее Павловиче, обо всем:

— Вы знаете, я рад вас видеть, но...

— Но что?

— Пилляр мне обещал дать свидание с вами наедине перед расстрелом.

Радость видеть Бориса Викторовича исчезает. Я молчу.

— А Александр Аркадьевич?.. Ведь он ничего не знает... Когда вас судят?

— Позавчера Тарновский (Сосновский. — В. Ш.), очень молодой человек с большими голубыми глазами, кстати сказать прекрасно воспитанный, вручил мне обвинительное заключение.

— И?

— Обвинительное заключение требует моей казни не один, а десять раз.

Молчание. Потом Борис Викторович говорит:

— Знаете ли вы что-нибудь о Сергее? У меня не хватило духу спросить про него Пилляра. Мне так же страшно было бы узнать, что он нас предал, как то, что он расстрелян.

— Это он написал письмо. И он на свободе.

Борис Викторович только что говорил о своей смерти, как будто речь шла о постороннем человеке. Но это известие о Сергее потрясает его.

— Я все предвидел. Я не предвидел одного — что организация, которая была моей последней надеждой, существовала только в воображении чекистов и что Сергей мог нас предать.

(Любовь Ефимовна говорит об освобождении полковника Сергея Павловского со слов Пилляра. На самом деле Павловского в это время уже не было в живых. По официальным

данным, он был убит при попытке к бегству в июле 1924 года, но скорее всего просто «ликвидирован», когда надобность в нем отпала. — В. Ш.)

Борис Викторович ходит по камере:

— Вы не понимаете... Когда восемнадцать лет назад я ждал, как сегодня, смерти, в царской тюрьме, я был спокоен. Я чувствовал, что вся Россия со мной. Если я мог бежать из Севастопольской крепости, то единственно потому, что простые люди, солдаты, мне помогли... Горский, бывший начальник Минской Чека, дал мне прочитать показания наших агентов в Белоруссии. Сожженные деревни, расстрелянные крестьяне, звезды, вырезанные на теле у коммунистов... Это превосходят все, что можно вообразить... И подумайте. Ведь до сих пор отряды, прикрывающиеся моим именем, действуют в белорусских лесах!

Борис Викторович не столько разговаривает со мной, сколько думает вслух.

— Еще в 1923 году я отдал себе отчет в поражении не только белых, но и зеленых. Это отразилось на “Коне Вороном”. Но Андрей Павлович и Фомичев приехали из Москвы. Они рассказывали о “новых” людях, которые ведут борьбу против коммунистов. Я знал, что монархисты побеждены, что кадеты побеждены, что социалисты-революционеры побеждены и что мы побеждены тоже. Но как я мог прекратить борьбу, зная, что в самой России, не за границей, а в России русские люди, демократы, продолжают бороться и что они надеются на меня — на мою помощь и руководство?.. А в Минске мне в одну минуту стало ясно, что вся эта организация не что иное, как умная ложь, ловушка, расставленная чекистами для меня! “Новые” люди не борются против коммунистов. Они с ними. Даже Сергей...

26 августа. Я спрашиваю:

— Нет никакой надежды?

Борис Викторович улыбается:

— Мне сорок пять лет. Какое имеет значение, десять лет больше или меньше?..

Он говорит о людях, встреченных нами, о чекистах.

— Они имеют вид честных и фанатически убежденных людей. И ведь каждый из них не раз рисковал своей жизнью...

Пилляр... он из помещичьей семьи, и у него два брата убиты красными в начале террора. (Пилляр происходил из рода прибалтийских немецких баронов, настоящая его фамилия — Пилляр фон Пилау. — В. Ш.) Когда поляки взяли его в плен во время польской войны, он выстрелил себе в сердце и не умер только случайно... Пузицкий... он бывший офицер. В Октябре он встал на сторону коммунистов и сражался вместе с ними на баррикадах... Гудин... он сын врача и с шестнадцати лет в боях — сначала в Москве, потом против Деникина и Врангеля... В таком же роде и остальные... Они плохо одеты, жалование получают маленькое и работают по двенадцать часов в сутки. Вместо отдыха, в воскресенье, они уезжают в деревню для пропаганды. А эмиграция представляет их себе как злодеев, купающихся в золоте и крови, как уголовных преступников!..

Начальники? Жизнь Дзержинского и Менжинского достаточно известна. Они старые революционеры и при царе были в каторге, в тюрьме, в ссылке. Я их видел вчера. Менжинского я знаю по Петрограду. Мы вместе учились в университете. Он умный человек. Что же касается Дзержинского, он сделал на меня впечатление большой силы...»

Поразительно, что Савинков успел уже столько узнать о чекистах! Откуда? Стало быть, встречались не раз и беседовали «по душам»... И они ему нравятся! Да и он им, судя по всему, чем-то импонирует. Чем? Бесстрашием? Умом? Размахом? Что их сближает? Не в том ли дело, что и он и они, если задуматься, — при всех различиях — люди одной породы? И он и они — революционеры, и он и они — террористы, причем террористы талантливые, по призванию, и профессиональные, то есть умеющие и привыкшие убивать, жертвовать и своей, и чужой жизнью, относящиеся к человеку как к материалу — потребному для осуществления умозрительных идей. Хотя и сражались под разными флагами! Профессия подбирает людей — в ЧК—ОГПУ попадали в основном одержимые жаждой тайной власти и неразборчивые в средствах.

В письме из тюрьмы к своему парижскому знакомому, доктору Пасмануку, Савинков признается: «Вы знаете, я видел всех “вождей” и всех “великих людей”. Ну, так я Вам прямо

скажу, а Вы думайте, что хотите. Если бы мне пришлось выбирать между бормотальщиками слева и справа и теми людьми, которых я встретил здесь, то есть чекистами... то я бы выбрал чекистов. Я думал встретить палачей и уголовных преступников (опять эмигрантская психология), а встретил убежденных и честных революционеров, тех, к которым я привык с моих юных лет...»

И чекисты чуяли в нем своего. Один из большевистских вожakov — Григорий Зиновьев — напишет позднее: «Между судьями и подсудимым разыгралась притча о блудном сыне... Не оттого ли, что его революционной душе всегда были ближе эти враги?.. Вот почему, может быть, никогда не был так искренен этот авантюрист, ненавидевший лучшей, революционной частью своей души своих давалыцев и союзников, как здесь, перед этим народным судом. «Военнопленный» оказался, в сущности, взятым в плен своими от чужих. Тюрьма оказалась освобождением...»

Те, с кем имел дело Савинков, еще не чиновные автоматы карательных органов, которые придут им на смену при сталинском режиме, — это еще романтики и фанатики революции, социальные идеалисты и утописты, увлеченные замыслом переделать весь мир и самого человека, — а не таков ли и их узник?

«Борис Викторович говорит:

— Александра Аркадьевича еще не допрашивали, и поэтому я его не увижу до моего процесса. И после процесса тоже не увижу, конечно... Бедняга! Он ничего не знает и, разумеется, каждый день ожидает расстрела. Но Пилияр сказал мне, что жизни его не грозит опасность и что вам угрожает самое большое три года тюрьмы. Я так измучился мыслью, что из-за меня вы оба попали в ловушку!..

Сосновский мне объяснил, что настоящей тюрьмы теперь в России не существует... Не знаю, но мне кажется, что у коммунистов две меры. Одна для тех, кто был связан с царизмом, другая — для рабочих и крестьян и для тех, кто при царе участвовал в революционном движении, например для эсеров. Посмотрите, как они обращаются со мной, с их злейшим врагом!.. Правда, были случаи, когда социалистов расстреливали на фронте, но взятых в бою, с оружием в руках.

Но тут же Борис Викторович, заметив впечатление, произведенное на меня его словами, прибавляет:

— Не увлекайтесь иллюзиями. Я не эсер и не меньшевик.

Ко мне это относиться не может.

Отворяется дверь:

— Номер шестьдесят!

Борис Викторович выходит и возвращается через минуту:

— Суд назначен на завтра, в десять часов утра.

Он шагает из угла в угол.

— Кстати, знаете ли вы, кто сидел раньше в этой камере? Патриарх Тихон... Передо мною стоит дилемма. Для меня ясно, что я ошибался, что мы все ошибались... Одно из двух: либо умереть, не признаваясь в своей ошибке, и смертью своей снова звать на борьбу, а борьбу эту я считаю уже бесплодной, если не вредной, — или иметь мужество умереть, признавшись в своем заблуждении. В первом случае за границей заклеят моих “палачей”. Но еще тысячи русских людей погибнут зря, без пользы для России. Во втором случае — заклеят мою память... Чтобы понять, что мы совершенно побеждены, надо бороться так, как боролся я, надо пережить крушение последних надежд, как я его пережил в Минске, и быть здесь, в России. Пусть в тюрьме, но в России... В 1922 году почти остановился приток эмигрантов. В 1924-м русские не покидают России, хотя Наркоминдел выдает теперь заграничные паспорта. Что же до эмиграции, то она живет воспоминанием о терроре и гражданской войне. Люди, приезжавшие в последнее время из России, в один голос рассказывали, что многое изменилось, но мы считали, что они “куплены Москвой”. Мы не верили ни фактам, ни статистическим данным. “Ах, Советы экспортируют хлеб! — иронизировали мы. — Какой же может быть экспорт, если крестьяне не засевают поля?..” Но поля засеяны, и 1924 год не похож на 1920-й...

Да, завтра меня судят... И для меня, старого революционера, ясно, что я шел против народа, то есть против рабочих и крестьян».

Как легко поддается Савинков советской пропаганде, когда это в его интересах!

Нет тюрем? И тюрьмы полнились, и страна все больше обрастала колючей проволокой концлагерей. Эсеры? Истреб-

лялись, хоть и постепенно, но повсеместно и поголовно, как, впрочем, и все другие социалисты, кроме коммунистов. С 1922-го нет эмиграции? Именно в этом году из страны были насильственно высланы лучшие представители научной и творческой интеллигенции — целый «философский пароход». «В 1924-м русские не покидают России...» — попробовали бы! Что же до «засеянных полей», то на то они и крестьяне, чтобы сеять и жать — ради хлеба насущного, а не родной советской власти. А голод придет — когда эта власть обрушит на народ сплошную коллективизацию, новую, самую страшную волну террора.

Суд

«27 августа. Борис Викторович, наверное, уже в зале суда. Приговор будет объявлен не раньше, чем завтра вечером. В “Правде” по-прежнему нет ничего. Значит, Александр Аркадьевич не знает, кого судят сегодня.

Я в моей камере, как зверь в клетке.

Снизу слышатся удары молота. Кто-то поет. Очевидно, ремонт. Мне кажется, что вечер никогда не наступит.

Я беру книгу по астрономии. Я перечитываю несколько раз одну и ту же страницу. Иногда я по чайнику стараюсь определить время.

Вероятно, теперь часов восемь... Щелкает ключ. Я вижу, как в коридоре Борис Викторович прощается с Пузицким. Пузицкий в длинной военной шинели.

— Я очень устал...

Он вынимает из кармана сандвич и виноград.

— В перерывах меня караулили пять красноармейцев и молодой командир. Он был очень любезен. Это он принес мне поесть...

Молчание. У него такой утомленный вид, что я не решаюсь его спрашивать ни о чем.

— Зал заседания был полон. Был Калинин, несколько членов ЦИКа и много рабочих... Процедура очень проста. У меня нет защитника, и так как я не отрицаю ничего, то в свидетелях нет нужды. Когда я расскажу до конца все семь лет моей борьбы с коммунистами, суд вынесет приговор.

Председатель, Ульрих, придирается ко мне. Он ловит меня на ничтожных противоречиях. Как будто я могу помнить все мелочи моей жизни!.. Да и к чему меня ловить, раз я принимаю ответственность за все?.. Пока я не назвал себя, большинство присутствующих не знали, кого судят. Сообщение о моем аресте появится в газетах одновременно с приговором. Вероятно, это делается для того, чтобы избежать скопления народа около здания суда... Я отказался называть фамилии...»

Никого он не выдал — это так, сколько ни настаивали следователи и судьи. В стенограмме суда есть фрагмент, который не был опубликован: «Я дам вам исчерпывающие показания, но насчет фамилий, вы меня легко поймете, я жизнью своей не дорожу, это сделать мне трудно. Я не буду называть имен... Я буду вам глубоко благодарен, если вы не будете задавать мне вопроса о фамилиях...»

«— Я называл только умерших. Но об иностранцах я говорил откровенно. Кто тот русский, который меня осудит за это?.. Иностранцы! Иностранцы, кто бы они ни были, прежде всего думают о себе, в ущерб России. Вы знаете, как я люблю Францию, но я не забыл, как, вольно или невольно, обманул нас ее представитель перед Ярославским восстанием... (Посол Франции Ж. Нуланс заверял Савинкова, что, как только восстание начнется, французы своим десантом в Архангельск поддержат его. Однако этого не случилось. — В. Ш.) Поляки... Они посадили наших солдат за проволоку. Они разрешали отправляться членам нашего Союза в Россию только при условии шпионской работы. Меня они выслали за границу с жандармами... Я сегодня говорил пять часов... Мне нужны силы на завтра. Но я не смогу уснуть: передо мной стоит все та же дилемма...

28 августа. Борис Викторович мне сказал: «Во всяком случае, мы увидимся еще раз после приговора. Пилляр обещал мне это...»

Я лежу без движения на койке. Такое ожидание ужасно. В тюрьме оно ужасно вдвойне.

Я не знаю, сколько времени я лежу... Скрипит замок. Я притворяюсь спящей. Ведь это, наверное, надзиратель... Входит Борис Викторович.

— Перерыв до восьми часов.

Он долго молчит. Потом говорит внезапно:

— Я признаю Советскую власть. Народ с Советами. Это моя обязанность, как моей обязанностью было ехать в Россию... Когда меня больше не будет, напишите Философовой⁶, Вере Викторовне и Рейлли и постарайтесь объяснить им то, что издали им покажется необъяснимым... Я очень мучился эти дни. Но теперь я принял решение, и я спокоен. Я постараюсь заснуть до конца перерыва...»

Невозможно не доверять его словам, думать, что он притворялся перед любимой женщиной в ожидании казни. Трагедия была подлинной.

«Я очень мучился эти дни...»

Такого Савинкова мало кто знает. Даже для ближайших друзей это был человек дела, сгусток воли. В душу свою не допускал, крупницы ее лишь угадывались в литературных героях Ропшина. Но вот на краю жизни, на Лубянке, он приоткрывает себя — начнет писать дневник, дневник-исповедь, — и в нем проступает человеческий лик этого исторического персонажа:

«Когда ждешь смерти и уверен в ней (в Севастополе я почему-то не был уверен), думаешь о самом главном. Вероятно, так. Я думал очень много о Любви Ефимовне и Левочке, немного о Русе (Левочка — сын Савинкова, Русей он называл свою сестру Веру. — В. Ш.), немного о покойной маме. Готовясь к расстрелу, я себе говорил: “Надя, женщина, прошла через это. Пройду и я”. В этой мысли я находил поддержку. (Надя — сестра Савинкова. Вместе с мужем, В. Х. Майделем, была расстреляна большевиками в годы Гражданской войны. Савинков мотивировал свою многолетнюю непримиримость к советской власти тем, что не мог «переступить через их трупы». — В. Ш.) Кроме того, я много думал о малости человеческой жизни. Мама

⁶ Философов Д. В. (1872—1940) — писатель, общественный деятель. С 1919 года в эмиграции. Близкий друг и соратник Савинкова в борьбе с советской властью.

мне как-то сказала: “Помни, Борис, на свете все суета. Все”. В последнем счете она, конечно, права. А утешали меня книги по астрономии. Особенно Венера, ее жизнь. В душе не было никакой надежды и немного равнодушия. И в то же время отчетливое сознание — “не за что умирать”. Именно “не за что”...

А идея умерла уже давно — в Варшаве...»

Умирать не за что. А чтобы жить, нужна новая идея? «Я признаю Советскую власть...» Вот когда только он принял окончательное решение — 28 августа, перед началом вечернего заседания суда.

Потом Савинков часто будет возвращаться в мыслях к дням суда, вспоминать все до мельчайших подробностей, еще и еще раз оценивать свои поступки и слова. Яркие вспышки памяти отпечатаются и в дневниковых записях, высветят наугад отдельные эпизоды.

Вот он сидит в перерывах между заседаниями суда в отдельном помещении, в окружении пятерых красноармейцев с винтовками. И маленький белобрысый их командир все толкует о ценах на хлеб и на селедку, о жилплощади и кооперативах, о том, что жить становится легче, все дешевле... И еще о своей малютке дочке: «Папа, по-па бам! бам!..» И он же, этот конвоир, принес откуда-то бутерброды и виноград и щедро одарил ими своего подконвойного!

Вот заходит Пузицкий, напряженный, приподнятый, — проверить состояние подопечного...

А тому уже все — все равно, так он устал...

Любовь Ефимовна мучительно ждет.

«Где-то, вероятно в соседнем доме, хрипит граммофон, и каждую минуту приоткрывается “глазок”. Чтобы не думать, я считаю до тысячи. Кончив, я начинаю сначала.

Я единственный близкий Борису Викторовичу человек, который знает, что его ожидает сегодня. Все остальные узнают “после”. Даже и Александр Аркадьевич. А ведь Александр Аркадьевич здесь, в двух шагах, в той же тюрьме...

Смена. Значит, 10 часов. Я снова считаю до тысячи и снова начинаю сначала, и опять сначала...

Тихо. Умолкли все звуки. Который же теперь час?.. Замок давит меня. Если бы я была на свободе... Если бы я была на свободе, я все равно была бы бессильна... Но по крайней мере не было бы одиночества... Наверное, очень поздно. А если после приговора Бориса Викторовича повели прямо на место казни?.. Я не в силах больше считать...

В коридоре многочисленные шаги. Борис Викторович входит в камеру. С ним надзиратель.

— Вы не спите? Уже третий час...

Я молчу.

— Какая вы бледная!.. Конечно, расстрел. Но суд ходатайствует о смягчении наказания.

Надзиратель приносит горячего чая.

— Суд совещался четыре часа. Я был уверен, что меня расстреляют сегодня ночью».

На следующий день снова заседал Президиум ЦИК под председательством Калинина. И вынес решение с такой многословной, но исчерпывающей формулировкой: «...признавая, что после полного отказа Савинкова, констатированного судом, от какой бы то ни было борьбы с Советской властью и после его заявления о готовности честно служить трудовому народу под руководством установленной Октябрьской революцией власти — применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка, и полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс, — п о с т а н о в л я е т:

Удовлетворить ходатайство Военной коллегии...»

Вечером председатель Военной коллегии Ульрих объявил об этом постановлении Савинкову. Все было, конечно, решено гораздо раньше, иначе Ульрих не стал бы и ходатайствовать о смягчении наказания.

«29 августа. 6 часов 30 минут вечера.

ВЦИК заменил осужденному Борису Викторовичу Савинкову смертную казнь десятилетним лишением свободы».

Это последняя запись в дневнике Любови Ефимовны. Но вот какое у него начало:

«Москва.

Пятница, 29 августа 1924 г.

Сегодня в полночь будет пятнадцать дней с тех пор, как мы перешли границу.

В воскресенье будет две недели, как мы на Лубянке.

Эти дни запечатлелись в моей памяти с точностью фотографической пластинки. Я хочу их передать на бумаге, хотя цели у меня нет никакой».

Цель, конечно, была, и ее раскрыл Борис Викторович, когда еще через месяц, в октябре, он, отредактировав и переписав дневник своей рукой, добавил к нему предисловие:

«Этот дневник — не литературное произведение. Это простой и правдивый рассказ одного из членов нашей организации, арестованного вместе со мной и Александром Дикгоф-Деренталем. Госпожа Дикгоф-Деренталь силою вещей была очевидицей всего, что произошло в Минске и в Москве в августе этого года. События, о которых она говорит, разрушают много легенд. Я бы хотел, чтобы иностранный читатель, читая эти страницы, отдал бы себе хоть до некоторой степени отчет в том, что в действительности происходило в России, — в той России, которая после разоривших ее войны и Революции восстанавливается мало-помалу из развалин. Я бы хотел также, чтобы иностранный читатель научился хоть немного любить великий народ, который после всех испытаний находит в себе силы выковывать новый государственный строй, в основу которого он кладет равенство и справедливость.

Борис Савинков».

Стало быть, дневник должен был разрушить некие «легенды», вернее их предупредить, и предназначался для иностранного читателя, то есть сразу был рассчитан на публикацию в зарубежной печати. Это было выполнение социального заказа, начало агитационно-массовой кампании, в которую были вовлечены Савинков и его подруга.

Любовь Ефимовна переселилась окончательно в камеру № 60, где и писала свои воспоминания, а он их тут же правил и переписывал начисто.

В таком виде и сохранился дневник, и внутри рукописи — только лист черновика самой Любови Ефимовны. При этом

менялись фамилии некоторых чекистов, чтобы не раскрывать оперативные «кадры».

В досье Савинкова есть его письмо неизвестному парижскому другу (отдельные французские слова и названия вписаны там рукой Любови Ефимовны), где Савинков сообщает: «Я все еще за решеткой, но в исключительных условиях. Я не слишком беспокоюсь...» И далее говорит, что посылает своему адресату через сестру рукопись мадам Деренталь о своем аресте и просит передать эту рукопись в какую-нибудь французскую газету, не важно какую, но предпочтительно в «Юманите»...

Было ли отослано это письмо и попал ли дневник за границу? Скорее всего нет, ибо он тогда так и не увидел свет. Цензоры с Лубянки сочли дневник слишком откровенным и наложили на него запрет.

После того как Савинков на суде окончательно определил свою позицию — на стороне советской власти, — ему ничего не оставалось, как ей следовать. Отныне он предстает в новой роли — рупора ОГПУ, пытаясь изо всех сил сохранить хоть какую-нибудь независимость. Надежда — на обещание, данное ему чекистами: ему верят, его помилуют, освободят — и дадут работу. Или другой расчет: выиграть время, спасти себя, а там жизнь покажет — может быть, начать новую игру...

29 августа газеты обрушили на читателей лавину новостей: мир узнал и об аресте Савинкова, и о суде над ним, и о гуманном решении советской власти даровать ему жизнь.

Победители пожинали лавры. Каждый получил по заслугам.

Сохранился рапорт коменданта судебного процесса, вполне безграмотный, зато полный революционного пафоса и чекистского самодовольства:

«Доношу, что с 27 по 29 августа 1924 года происходил судебный процесс “Савинкова Бориса”... Вся секретная агентурная охрана состояла из 21 разведчика, то есть целиком вся группа действительно работала, и задачи разведки весьма тяжелые и ответственные. Вся ответственность лежала на плечах разведки, безусловно, работа велась разведкой круглые сутки, и этим надо отметить особо, что же касается о бдительности и зоркого глаза разведчиков, а также вся способность гибкости была проявлена. Охрана вышеуказанного про-

цесса проведена доблестно, и еще была проявлена инициатива в охране вождей рабочего класса, благодаря бдительному и толковому руководству секретной агентурной охраны. Основываясь на вышеизложенном, прошу объявить в приказе благодарность разведке с ее руководителем как преданным своему служебному долгу и стоя зорко на боевом посту, который разведкой выполнен...»

Благодарность, конечно, была объявлена — многим. А Менжинский, Федоров, Пузицкий, Пиляр, Сыроежкин и другие особо отличившиеся участники операции «Синдикат-2» получили высшую награду Родины — орден Красного Знамени.

Последняя роль

Печать — советская и иностранная — была заполнена материалами судебного процесса и откликами на него целую неделю. Центральные издательства Москвы и Ленинграда получили указание в экстренном порядке подготовить к выпуску несколько книг на ту же тему. Это была отлично проведенная пропагандистская кампания, тон которой задавали верховные советские идеологи Луначарский, Ярославский, Радек... Умело используя совпавшую с этими днями шестилетнюю годовщину «зверского покушения» на товарища Ленина, демонстрируя праведный гнев, эрудицию и полемический дар, они состязались в политическом красноречии. Возможна ли лучшая похвала РКП, чем исповедь Савинкова? Процесс еще раз показал необходимость не ослаблять репрессий, пока не будет окончательно сокрушен капитализм. Да здравствует мировая революция!

«Как хорошо, что Савинков остался жить! — восклицал в «Правде» нарком просвещения Луначарский. — Подумайте только, если этот человек, обладающий, несомненно, талантливым пером, в тиши невольного уединения, когда ему придется свою неумную энергию направить невольно по кабинетному руслу, займется писанием мемуаров о своей жизни, соприкасавшийся с таким невероятным количеством лиц и учреждений... подумайте только, если он со свойственной ему ядовитостью оболет все это соусом ненависти и презрения, накопившихся в нем за время странствования, — какой памфлет, вольный или невольный, возникнет таким образом перед глазами всего мира!

Если Савинков сколько-нибудь искренен, когда говорит, что самое тяжелое для него — это осуждение рабочими и крестьянами, которых он предал, то у него действительно есть блестящая возможность загладить свою вину — это со всей искренностью и яркостью рассказать все, как было, во всех подробностях.

И это будет хороший урок для людей чужого лагеря. Они охотно шли на то, чтобы использовать Савинкова, они хотели опереться на эту острую трость — трость не только согнулась, но проткнула им ладонь...»

Директива власти выражена здесь вполне откровенно — теперь Савинков должен послужить ей своим пером. И он служит — с азартом, невероятной энергией входит и в эту новую роль. Пишет и печатает в «Правде» статью «Почему я признал Советскую власть», забрасывает своих бывших сподвижников, друзей и родных за рубежом письмами — открытыми и закрытыми, — объясняя свое политическое сальто-мортале и зазывая вслед за собой в Россию, где их якобы ожидает прощение. Главный довод тот же, что убедил и его: против хода истории не попрешь! Пора бросить выдумки о белом яблоке с красной кожурой! Яблоко красно внутри! По его словам, супруги Деренталь вполне разделили его теперешние взгляды. И даже внешний вид писем — написанных по новой орфографии, которой он тщательно избегал раньше, — должен был убедить всех в его искренности. Кстати сказать, переписку с границей Савинков вел через советского разведчика Игнатия Рейсса (Порецкого): «Мой адрес: гражданину Рейссу⁷, гостиница “Савой”, 316, угол Рождественской и Софийки, Москва, для Б. В. (Мне передадут в тюрьму.)».

И эта словесная бомбардировка действительно вносит смятение в ряды савинковцев. Сначала они никак не могут поверить в предательство своего вождя, подозревают тут какую-то хитрую провокацию, но потом, когда сомневаться было уж нельзя, — начинают дружно от него отрекаться. В конце

⁷ Рейсс И. (Порецкий Н. М.; 1899—1937) — сотрудник НКВД, ставший впоследствии невозвращенцем и написавший обвинительное письмо в ЦК ВКП(б). Был убит агентами НКВД в Швейцарии в 1937 году.

концов итог общего мнения подводит в своем «Ответе Савинкову» один из его ближайших сотрудников, писатель Дмитрий Философов: Савинков стал бы «мертвым львом», если бы мужественно погиб, но сделался «живой собакой», которая, кроме презрения и жалости, ничего не заслуживает. Он мог бы все-таки кончить как-нибудь получше! И предрекает: человек, способный не только на политическое, но и на личное предательство, не достоин даже большевистского доверия. Савинков уже никогда не всплывет на поверхность!

Эмигрантские газеты внимательно читают на Лубянке, передают из рук в руки и собирают в досье. На их пожелтевших листах мелькают росчерки то красного, то синего карандаша: «Тов. Пузицкому», «Интересно, о Савинкове», а против фразы в одной из статей: «Если он кого-нибудь обманул, то лишь самого себя... ибо мы присутствуем не при пошлом фарсе, а при тяжелой трагедии. Прежде всего трагедии лжи...» — стоит жирное восклицание: «Верно, верно!..»

Попадают газеты — советские и зарубежные — и к Савинкову. Никогда еще он не слышал столько плохого о себе. Он становится мишенью для обеих противоборствующих сторон — и в России, и вне ее: коммунисты клеймят его за прошлое, антикоммунисты — за настоящее. Камни летят со всех сторон. Его жизнь выворачивают наизнанку вплоть до самых интимных подробностей и трясут перед всем миром, толкуют вкривь и вкось. Выискивают темные пятна в биографии, обвиняя то в сотрудничестве с царской охранкой, то в предварительном сговоре с большевиками. Упрекают, что всегда был лишь распорядителем крови, подставлял других — раньше Каляева и Сазонова⁸, теперь Павловского и Деренталей, — а сам выходил сухим из воды...

⁸ Каляев И. П. (1877—1905), Сазонов (Созонов) Е. С. (1879—1910) — революционеры, члены боевой организации партии эсеров. Каляев в 1905 году в Кремле убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Казнен в Шлиссельбургской крепости. Сазонов в Петербурге убил министра внутренних дел Плеве и сам был при этом тяжело ранен. Отбывал бессрочную каторгу в Восточной Сибири, где в знак протеста против наказания каторжан розгами принял яд.

Из всего мира за пределами тюрьмы с ним остаются, принимая таким, какой он есть, лишь два человека — сестра Вера и ее муж, священник Мягков...

Все осенние месяцы литературное бюро Савинкова на Лубянке работает полным ходом. Он ведет обширную переписку, пишет очерки «Моя биография», «Необходимые исправления», готовит к массовому изданию старые вещи — «Воспоминания террориста», «То, чего не было», «Конь Бледный», — исправляет их, добавляет предисловия и комментарины. В Москве и Ленинграде выходит его «Конь Вороной»...

Он все менее и менее походит на обычного лубянского арестанта. В камеру начинают постепенно стекаться гонорары от советских издательств — «номер 60» становится состоятельным человеком.

Он имеет деньги и может тратить их.

Представление об этом дает «Счет», составленный им и сохранившийся в его досье, — подробный и точный перечень всех денежных переводов и трат. Три доллара, полученные на первых порах от сестры из Праги, выглядят трогательно смешными: теперь он уже сам посылает ей куда большие суммы для своего сына Левы, помогает и детям от первой жены — Виктору и Татьяне Успенским, живущим в Ленинграде. К зиме он покупает себе новые сапоги, костюм и поддевку на меху, дарит пальто на меху Любове Ефимовне...

И все же, при всех привилегиях, он остается зеком, каждый шаг его — под жестким контролем. Жизнь его ему не принадлежит.

«Однажды в декабре, — запишет он в дневнике, — я вышел с “парашей”. Так как ремонтировали, то надо было идти к канцелярии. На площадке внизу: поднимается по лестнице молодой человек, лицо белее снега, папаха, шинель, в руках — вещи, корзина. Сзади надзиратель.

Пришел, рассказал. Л. Е. вышла и увидела, как он спускался вниз, без вещей, не с одним надзирателем, а с тремя. Через 15 минут (по часам) — глухой выстрел...»

К Новому году чекисты преподносят узникам подарок: Деренталей, которых держали на Лубянке без оформления арес-

та, начинают раз в неделю выпускать из тюрьмы — разумеется, в сопровождении надежного человека — Ибрагим-бека (это тот самый «военный, похожий на корсиканского бандита: черная борода, сверкающие черные глаза и два огромных маузера в руках», — который участвовал в их аресте в Минске) — прогуляться по Москве, сделать покупки. Расходы — из бюджета Бориса Викторовича.

Для самого Савинкова отдушина — книги, их ему посылает по списку, в неограниченных количествах, Ионов, один из руководителей печатного дела, через которого ведется издательская работа писателя-узника.

Настроение у него в это время вполне мирное и почти благодушное.

«Милая моя Руся, — пишет он 9 января своей сестре (черновик этого никогда не публиковавшегося письма сохранился в архиве Лубянки), — тюрьма хороша тем, что дает возможность думать. Не только есть много времени, но и нет “житейской суеты”, — той ежедневной сутолоки, которая из-за деревьев мешает видеть лес. За это достоинство тюрьме можно простить многие недостатки.

Читаю и думаю. Что, собственно, произошло с нами, интеллигентами, в последние годы? Все мы, революционеры и “сочувствующие”, эсеры, эсдеки, даже кадеты, при царе мечтали об освобождении народа, о России, построенной на свободном волеизъявлении народных масс, то есть крестьян и рабочих. За эту нашу мечту мы шли на виселицу, в каторгу и в Сибирь, и этому нас учили все наши “учителя”, до стариков из “Русского богатства”⁹ включительно. Многие из нас отдали этой мечте всю свою жизнь. Хорошо. Настал час. Пришла долгожданная революция. Что мы сделали? Все, кроме большевиков, испугались ее. Все, кроме большевиков, бросились в кусты. А наиболее решительные из нас начали воевать, кто пером, а кто и мечом.

Как могло это случиться? Если в 1918 году было некое подобие оправдания — Брест-Литовский мир и наше “провиде-

⁹ «Русское богатство» — журнал партии народников, борющейся за освобождение русского народа от царизма, но выступавшей против марксизма. Выходил в Петербурге (Петрограде) в 1876—1918 годах.

ние” о расчленении России и о реставрации при помощи немцев (“провидение”, кстати сказать, не очень-то умное), — то теперь оправдания этого нет. Если в 1919—1920 годах было опять некое подобие оправдания — большевики, мол, не восстанавливают, а разоряют Россию, — то теперь ясно, что мы ошибались, стихийное революционное разорение России принимали, черт его знает почему, за осуществление программы РКП и в творческие ее силы, опять-таки черт его знает почему, не верили. Не верили просто так — за здорово живешь...»

Спустя месяц, 5 февраля, он, узнав от сестры, что еще один человек, его старый друг по партии эсеров Илья Фундаминский, не считает его иудой, спешит написать тому в Париж (письмо тоже сохранилось в лубянской досье) и развивает те же неотступные мысли:

«...начитался же я о себе — даже лысина встала дыбом. Сижу и читаю. Читаю столько и так, как никогда, кажется, не читал. Вы знаете, я чтец плохой и меня нужно запереть, чтобы я стал “учиться”... Вот теперь и “учусь” и вижу, что был я круглый невежда и болван. Я ведь почти ничего не знал о России и теперь “открываю Америки”. Вышло так: всю свою молодость я боролся за народовластие, во-первых, за землю крестьянам, во-вторых. А когда это народовластие осуществилось и землю у помещиков отобрали, я стал бороться против тех, кто это сделал. Почему? Я хожу по камере и спрашиваю себя, какой черт попугал меня. И нахожу только один ответ: во мне заговорило происхождение и воспитание...»

Однажды февральским вечером к Савинкову нагрянули гости — целая толпа иностранных журналистов. Посещение тюрьмы было санкционировано Сталиным с целью продемонстрировать справедливость и гуманность советского правосудия. Сопровождал гостей начальник Иностранного отдела ОГПУ Меер Трилиссер. Камера Савинкова была последней в программе экскурсии — самое интересное припасли под конец.

Журналисты увидели элегантно меблированную комнату, с большим бюро красного дерева и диваном, покрытым голубым шелком. На стенах — картины, паркетный пол укрывает толстый ковер. На столе — стопка исписанных лист-

ков и сочинения Ленина. Великий конспиратор был свежесвыбрит и надушен — его только что покинул парикмахер — и держался как какой-нибудь радушный, вальяжный барин, принимающий гостей. Не жаловался: еды достаточно, разрешают курить, читать по собственному выбору. Ежедневная прогулка по 45 минут. Даже слегка пополнил, прибавил весу. Правда, вот комната темновата, приходится и днем сидеть при электричестве — глаза устают... Но ведь не курорт!

На вопросы журналистов он отвечал моментально, с тактом, на русском и на французском с одинаковой легкостью.

— Почему вы вернулись в Россию?

— Я предпочитаю сидеть в тюрьме «чрезвычайки», нежели бегать по мостовым в Западной Европе.

Что это — бравада или подлинное мужество? — спрашивали себя журналисты. Восхищаясь и сочувствуя, они видели в нем сразу и отважного борца, и блестящего писателя и избегали задавать такие вопросы, которые поставили бы его в трудное положение в присутствии охранников.

К общему огорчению, один француз нарушил этикет:

— Скажите, те ужасы, в которых обвиняют Лубянку, — это правда?

Савинков на мгновенье замялся:

— Что касается меня, это неточно...

Американский корреспондент Вильям Ресвик описал эту сцену так:

«Я посмотрел на Трилиссера. Его темные глаза сверкнули. Узник, как и все присутствующие, не мог не заметить неприятного впечатления, произведенного на чекиста словами “что касается меня...”. Тем временем Савинков продолжал говорить как свободный человек, пока Трилиссер не бросил: “Пора! Время!” От этих слов Савинков побледнел. Он улыбался, провожая нас к двери, но то уже была принужденная улыбка...»

Да, ужасы Лубянки в полной мере Савинкова не коснулись — лишь потому, что это не входило в планы ее хозяев. Но шила в мешке не утаишь — и что-то время от времени бросалось в глаза, зловещей нотой вспарывало тишину.

Из дневника Савинкова:

«Однажды в марте — выстрел. Потом стоны. Потом молчание. Л. Е. бледна, как полотенце. Сосновский говорит: “Надзиратель случайно выстрелил в себя”.

— ?»

Вскоре после визита иностранцев разразился скандал, надолго выбивший Савинкова, и так ходившего по канату, из равновесия.

Мировую печать вдруг облетела сенсация, будто супруги Деренталь с самого начала были в сговоре с ОГПУ и помогли затащить своего высокого друга на Лубянку. Это сообщение, видимо, стоило Любови Ефимовне многих слез. Савинков пришел в ярость. Свидетельство тому — два неизвестных письма от 31 марта, хранящихся в его досье.

Первое адресовано писателю-эмигранту Дмитрию Филоффову, главе Варшавского комитета савинковского «Союза»:
«Господин Филоффов,

когда я был арестован, Вы написали статью “Предатели”, в которой утверждали, что я тайно сговорился с большевиками еще в Париже, то есть обманул своих друзей. Узнав подробности моего ареста, то есть убедившись, что оклеветали меня, Вы не нашли нужным клевету свою опровергнуть.

Ныне Вы, один из редакторов “За Свободу”, напечатали статью Арцыбашева “Записки писателя, XLVIII”, которая содержит обвинение Любови Ефимовне и Александру Аркадьевичу в том, что они меня предали. Вы, господин Филоффов, не можете не знать, что это ложь и что Любовь Ефимовна и Александр Аркадьевич разделили со мной мою участь. Значит, Вы сознательно приняли участие в новой, еще худшей клевете. Политическая ненависть не оправдывает такого рода поступков. Как они именуются — Вы знаете сами. Рано или поздно Александр Аркадьевич и я с Вами сочтемся. Вы предупреждены».

Второй вызов на дуэль, еще более резкий, адресован самому Михаилу Арцыбашеву:

«Господин Арцыбашев,

Вы напечатали в “За Свободу” статью “Записки писателя, XLVIII”. Вы пишете о людях, которых видели, по собствен-

ному признанию, один раз в жизни, и награждаете их разными качествами по своему усмотрению. Едва ли это достойно Вас. Но Вы не ограничиваетесь этим: Вы обвиняете Л. Е. Деренталь и А. А. Деренталь в том, что они предали меня.

Чтобы обвинить кого-либо, да еще печатно, в предательстве, надо иметь неопровержимые доказательства. [У Вас их нет, и Вы знаете, что и быть не может, ибо Вы сознательно лжете. Лжецов бьют по лицу. Буду жив, ударю.]

Я, которого, по Вашим словам, Л. Е. Деренталь и А. А. Деренталь предали, утверждаю, что у Вас никаких доказательств нет и быть не может. Вы оклеветали единственных людей, которые не побоялись разделить со мной мою участь. Судите сами о Вашем поступке».

Откуда же взялась эта сенсация и кому была нужна?

Подоплеку происшедшего раскрывает все тот же американец Вильям Ресвик, посетивший Савинкова в тюрьме. После этого визита, рассказывает он, его пригласил к себе помощник Дзержинского Генрих Ягода. Сначала с жаром говорил о «своих» беспризорных детях, которых милиция собирает на улицах, о благородной задаче их перевоспитания, но вскоре свернул на Савинкова. Ягода, не без профессиональной гордости, поведал, что того заманили в Россию благодаря одной очень красивой женщине, работающей на ГПУ. Но эта сотрудница имела несчастье влюбиться в него и создала органам проблему — потребовала провести несколько ночей на Лубянке. В конце концов пришлось разрешить... Вот до какого гуманизма дошел советский режим, предпочитающий тюрьмы без решеток!..

Ягода, конечно, знал, что назавтра же его визави развонит об услышанном на весь мир, — для того и приглашал. Расчет был точен: еще раз показать всеисильность ОГПУ и продажность его противников, перессорить их между собой, скомпрометировать Деренталей перед лицом заграницы и тем самым отсечь их от нее, и главное — этим отвлекающим маневром, этой отравленной дезой отвлечь внимание от подлинных своих агентов, которые продолжали служить ОГПУ, скрыть механику тайной войны с зарубежными врагами — войны, которая не прекращалась ни на минуту.

Черная тетрадь

«9 апреля.

Сегодня освободили Л. Е. Я остался один. В опустелой камере стало грустно...»

Вся его кипучая борьба, последняя авантюра перехода границы, отчаянные метания перед судом, суд и приговор — все осталось далеко позади. Жизнь как бы замедлила скорость, будто совсем остановилась, когда ушла Любовь Ефимовна.

Савинков остался один на один с самим собой. События совершались только в его сознании, все более утрачивая новизну и реальную осязаемость. Мучительный самоанализ, самокопание — и все больше разочарований.

Супругов Деренталь выпустили из тюрьмы. Его оставили, ему по-прежнему не доверяли, его шансы на свободу становились все призрачнее.

9 апреля, в день, когда тюрьму покинула Любовь Ефимовна, Савинков начинает тот самый свой дневник-исповедь.

Теперь он мог довериться только бумаге, и то не до конца: и она была невольницей, в любой момент могла из его рук перейти в руки чекистов. Об этом необходимо помнить, читая дневник, — некоторые пассажи в нем как будто специально рассчитаны на лубянских читателей.

Внешне Савинков продолжал исправно играть роль пропагандиста советской власти — таким он являлся миру, а в камере оставался одинокий, затравленный, все более теряющий надежду и веру в людей и в себя человек.

Простая тетрадь в линейку, в черном клеенчатом переплете, с пожелтевшими страницами. Семьдесят лет она утаивалась в бездонных анналах Лубянки под грифом «Секретно», за железными дверями и спинами часовых. Откроем эту тетрадь, перелистаем дни и ночи узника вслед за ним...

«10 апреля.

Открыли окно и унесли, по моей просьбе, ковер. Камера стала светлее, но уютнее, строже. День длинный, вечер еще длиннее.

Л. Е. очень взволновалась статьей Арцыбашева. Ал. Арк. тоже. Я привык ко всему. Кроме того, мне кажется, что люди

устроены так: когда им **выгодна честность**, они бывают честны, когда она им невыгодна, они лгут, воруют, клеветают... В своей жизни я видел очень мало действительно честных, то есть **бескорыстных людей** — Каляева, Сазонова, Вноровского¹⁰ ... Должно быть, был бескорыстен Ленин, может быть, бескорыстен Дзержинский и еще некоторые большевики. Под бескорыстием я не понимаю только простейшее — бессребренность, но и очень трудное — отказ от самого себя, то есть от своих всяческих выгод. Этот отказ возможен лишь при условии веры, то есть глубочайшего убеждения, если говорить современным языком, хотя это не одно и то же. У Арцыбашева и у Философова нет ни веры, ни твердого убеждения. И тот и другой прожили **без жертовности** свою жизнь.

Из своего опыта я знаю также и то, что цена клевете, как и похвале, маленькая. “Молва быстротечная”. Когда я был молод, я тоже искал похвалы и возмущался клеветой... Но теперь, если я буду совершенно и до конца искренен, я должен сказать, что клевета меня трогает, только если она исходит от очень близких людей, а похвала не трогает совершенно. Все забывается. Все. Мама умерла два года назад. У нее была не совсем обыкновенная жизнь. (Савинкова Софья Александровна, псевдоним С. А. Шевиль, 1855—1923 — писательница, мемуаристка, сестра художника Ярошенко. — В. Ш.) Пока живы Руся и я, жива память о ней. Мы умрем, и о ней никто никогда не вспомнит. Даже внуки. Сколько лет будет жить не и м я Ленина, а п а м я т ь о нем на земле? Пятьдесят? Может быть, сто?

Керенский, адвокат, никогда не знавший нужды, защищавший в политических процессах и ухаживавший за дамами, то есть человек, не имевший за что мстить, когда пришла революция, простил всем — царю, жандармам, каторжному начальству, урядникам, земским начальникам. А большевики не простили, а рабочие не простили, а крестьяне не простили. Я тоже не простил, но меня ослепила война. Я думал: п о с л е войны. Сперва необходимо победить. В этом “необходимо” все дело. Отсюда все, что было потом. Но откуда оно? Боль-

¹⁰ Вноровский-Мищенко Б. У. (1881—1906) — член боевой организации партии эсеров. Погиб при взрыве бомбы, которую он метнул в московского генерал-губернатора Дубасова.

шевики правы: дворянин, интеллигент, потомок бунчужных полковников (бунчук — длинное древко с шаром или острием на верхнем конце, прядями из конских волос и кистями — знак власти атамана или гетмана на Украине и в Польше. — *В. Ш.*), я не мог примириться с мыслью о поражении. Солдаты были рваные, во вшах, по 45 человек в роте. А я звал на бой. Я не мог не звать. В сущности, я был против народа, за фикцию... Сколько крови и слез понадобилось, чтобы я выпутался из этой паутины...

11 апреля.

Была Л. Е. Она потрясена своим освобождением — неуютностью комнаты, чужими людьми, неприткнутостью, самостоятельностью, тем, что у дверей не стоит часовой. Но если бы она здесь осталась, она бы окончательно потеряла здоровье...

Помню: вечер, мороз, Туров, или Петрикевичи, или Мозырь. Два балаховца (солдаты армии Балаховича. — *В. Ш.*) нагайками гонят еврея к мосту. Он упирается. На нем картуз и рваный, с торчащими ключьями меха, полушубок. Увидев меня, он кричит и машет руками: “Господин генерал!.. Ваше превосходительство!.. Только пере-но-цевать! Только пере-но-цевать!.. Замерзну в поле! Замерзну!..” И у него глаза такие, точно хотят выскочить из орбит. А балаховцы мне говорят: “Шпион”.

12 апреля.

Воскресенье. Воскресные дни — самые длинные. Вероятно, потому, что в коридоре полная тишина. В будни часто проводят арестованных, слышны шаги и иногда голоса. По воскресеньям — ни звука.

У меня на столе — пушистая верба: спасибо Л. Е.

Прочел в “Правде” воспоминания Крупской о жизни Ленина в Лондоне. Кто из нас, эмигрантов при царе, интересовался рабочей жизнью на Западе? Иногда, очень редко, ходили на собрания послушать Жореса, иногда, еще более редко, совсем случайно, забредали в рабочие кварталы Парижа. Варились в собственном соку, рукоплескали разным Черновым¹¹

¹¹ Чернов В. М. (1873—1952) — политический деятель, один из лидеров партии эсеров, министр земледелия Временного правительства, председатель Учредительного собрания. В 1920 году эмигрировал.

или отходили в сторону, в свое “логово”, как я. А он проводил все дни среди рабочих, на их митингах, в их обжорках, в их читальнях. И Бурцев¹² продолжает верить, что Ленин мог взять деньги от немцев на революцию! Это значит ничего не понимать ни в психологии Ленина, ни в психологии рабочих. Но ведь и я этому верил. Почему?..

Очень хочется солнца. Сегодня я сказал надзирателю: “Мы с вами гуляем в колодце”. Он засмеялся. Отсюда юг, горы, море кажутся сном — видел во сне, но не прожил...

13 апреля.

Были Л. Е. и Ал. Арк. ... Л. Е. все еще взволнована и не может прийти в себя. Ал. Арк. побледнел и очень похудел. С 1 апреля он получил 3 рубля. Сидит без чаю. Его положение, по-своему, не лучше моего. Ежеминутная зависимость и полная неизвестность.

14 апреля.

Был в Сокольниках с Пузицким, Сосновским, Гендиным, Ибрагимом. Еще только предчувствуется весна. Воздух туманный и влажный. Пахнет мокрой землей и перегнившим листом. На прудах — полурастаявший лед, сало. В лесу все видно насквозь — белые стволы берез, сероватые ветки, серо-голубые — осин, коричневые — сосен и елей. Небо низкое, темное. И полная тишина, как здесь.

Андрей Павлович, вероятно, думает, что “поймал” меня, Арцыбашев думает, что это — “двойная игра”. Философов думает — “предатель”. А на самом деле все проще. Я не мог дольше жить за границей. Не мог, потому что днем и ночью тосковал о России. Не мог, потому что в глубине души изверился не только в возможности, но и в праве борьбы. Не мог, потому что не было ни угла, ни покоя (ведь впервые я жил с Л. Е. — здесь!). Не мог еще потому, что хотелось писать, а за границей что же напишешь? Словом, н а д о было ехать в Россию. Если бы я н а в е р н о е знал, что меня ожидает, я бы все равно поехал. Почему я признал Советы? Потому, что я русский. Если русский на-

¹² Бурцев В. Л. (1862—1942) — историк и публицист. Член партии эсеров. Разоблачитель Азефа — известного царского провокатора, с 1918 года жил в эмиграции.

род их признал (а это было для меня по ч т и очевидно еще в Париже — сбил с толку Андрей Павлович), то кто я такой, чтобы их не признать? Да, нищая, голодная, несчастная страна. Но я с не ю . Был против Советов, когда думал, что народ их не хочет. Когда я поколебался? Мне кажется, в походе на Мозырь. Жулики, грабители и негодяи, с одной стороны (за редкими-исключениями...), с другой — неприветливый и полувраждебный крестьянин. Когда я увидел эту неприветливость и эту враждебность, я понял, что народ не с нами...

А тут я понял еще и другое. Ведь большевики проводят жизнь то, о чем мы мечтали... Что за бесовское наваждение? Кто меня спугал и почему я заблудился в трех соснах? Война и происхождение... А ведь покойный брат Саша был бы, наверное, большевиком. Об этом я говорил Русе в Париже. Как удивительна и неожиданна жизнь.

(Старший брат Б. Савинкова Александр — тоже революционер — застрелился в приступе тоски в Сибири, в царской ссылке. — В. Ш.)

15 апреля.

Была Л. Е. Все еще взволнована — не может привыкнуть к Москве.

Когда она писала и делала чернильные пятна на скатерти, я сердился. А теперь я с удовольствием смотрю на них. Как бы частица ее...

После июньского поражения, когда решила судьба России, Керенский, вечером, сел в автомобиль и п р и к а з а л мне сесть вместе с ним. Катались по галицийским полям. Была луна. Керенский сидел, откинувшись на спинку автомобиля и закрыв глаза. От времени до времени он говорил одни и те же слова: “И она изнемогла, расставаясь”... В эти часы он думал о женщине.

Когда приехали в армию (VII), он поужинал, а после ужина, не посоветовавшись ни с кем, подошел к командарму, Бельковичу, и сказал: “Вы отставлены, генерал”. А старик Белькович перед наступлением исползал на коленях все окопы. Он был храбр, честен, богобоязнен и слеп. За его спиной воровали, били в морду, смеялись над ним. Но других Керенский не отставил.

Я пришел к Бельковичу. Он сказал: “За что вы меня фукнули?” — и не поверил, что я ни при чем. А я послал вдогонку Керенскому мотоциклиста с донесением, что Белькович лучший из всего штаба.

16 апреля.

..В Ново-Девичьем монастыре лестницы, по которым всходил еще Петр. Окна кельи царевны Софии. Зубчатые, красные, точно из пряника, башни. Под башнями — Москва-река. Пузицкий сказал про царевну Софию: “Противилась веку и потому погибла”. И только? Еще нет зелени на деревьях. Но она уже предчувствуется в ветвях. Нет ничего очаровательнее предчувствия весны. Таков в Париже февраль...

Великий четверг. Звонят колокола. Днем кто-то где-то дудел на трубе — две ноты. Эти две ноты наполняли всю камеру.

Расставил шахматы и стал играть партию Капабланка—Алехин. И, как живая, встала Л. Е.

17 апреля.

...Л. Е. не пришла.

Целый день звонили колокола.

19 апреля.

Пасха. Я спросил надзирателя: “Были в церкви?” Он ответил: “Нет. Я был на комсомольском собрании”.

Сперанский (один из чекистов, приставленных к Савинкову. — В. Ш.) говорит: “Вы никогда не подойдете к нам близко. Выйдете из тюрьмы и больше не захотите встречаться с нами”. Это неверно. Коммунизм меня привлекает, во-первых, потому, что социализм — мечта моей молодости, во-вторых, потому, что в нем много справедливого, умного и честного, и в-третьих и наконец, потому, что, выбирая из всего, что есть, я выбираю коммунизм. Не царя же? Не республику же Милюкова? Не эсеровское же бормотание? Но Сперанский говорил и о людях. Люди? Я их не знаю. Знаю едва ли десяток, да и то в разговорах, не на работе...

Да, русские, все русские, мне кажется, вовсе не похожи на европейцев. У европейца есть чувство меры, у русского его нет. У европейца есть мудрость человеческих отношений — приличие, вежливость, уважение к женщине, уважение к чужой личности, у русского на это нет и намека. У европейца

есть деловитость, точность, практичность, русские ленивы, неаккуратны, не понимают, что значит реальность. Европейец бреется и моется каждый день, русские грязны. Европейец сдержан в словах, ибо познал силу слова, русские болтливы, неряшливы в выражениях, многословны. Европейец застегнут на все пуговицы, памятуя, что не только тело, но и душа, но и ум уродливы у большинства людей, русские — за милую душу, все, что придет в голову, то и произносят вслух, обо всем — об искусстве, о жизни, о любви... С русскими европейцу трудно. Но... Но русский отдаст последний грош, а европейец не отдаст ничего. Но русский прыгнет с Ивана Великого, а европейец, когда идет дождь, наденет кашне, чтобы не простудиться, и раз в неделю будет принимать касторку на всякий случай. Но русский пожалеет так, как не пожалеет европейская мать. Но русский, лениво и глупо, выпрет из себя Достоевского, а европейец будет радоваться Мольеру. Но русский размахнется так, что небу станет жарко, а европейец если и размахнется, то высчитав заранее шансы против и за. Но русский совершил величайшую социальную революцию, а европейец стоит разинув рот и либо трясется, либо учится ей. Черт знает, с востока свет!

20 апреля.

...Коммунисты раскрепостили женщину в экономическом отношении, по крайней мере в городах, по крайней мере в идее. Это очень хорошо. Но когда Сперанский говорит о “новом” в отношении полов, то мне становится очень скучно. “Новое” в том, что женщины отдаются на ковре по очереди всем гостям или в том, что мужчины меняют женщин, как грязное белье? Но это было всегда. Правда, первое только в публичных домах... Все подобные рассуждения — детская болезнь революции, болезнь, которой заражены и взрослые люди. Это пройдет. Ни любовь, ни ревность, ни измену из жизни вычеркнуть нельзя. И в конце концов все-таки самое ценное в жизни — любовь.

21 апреля.

Бегодня и суета в коридоре. Потом молчание. Потом голос: “Который этаж?” Потом кого-то проносят в амбулаторию...

Однажды, в марте, — выстрел...

Однажды, в декабре... глухой выстрел.

Однажды, в августе, — два выстрела подряд.

Однажды... Однажды...

23 апреля.

Все то, что я написал, мне кажется, из рук вон плохо. Сегодня перечитывал и переделывал “Дело № 3142” и грыз от злости перо — не умею сказать так, как хочу! Не умею даже намекнуть.

Меня ругали за все мои вещи. Хвалили только за “Во Франции во время войны”. А это — наихудшее из всего. В особенности рассказы.

Я работаю, переделывая по 15 раз, не для суда читателей (читатель чувствует только фабулу, в огромном большинстве случаев: интересно, неинтересно...), еще меньше для суда критиков (где они?) и, во всяком случае, не для удовольствия. Я работаю потому, что меня грызет, именно грызет желание сделать лучше. А я не могу.

Когда я читал Сосновского свой рассказ, один ушел, другой заснул, третий громко разговаривал. Каков бы ни был мой рассказ, это настоящая дикость — полное неуважение к труду. А надзиратели, видя, как я пишу по 8 часов в сутки, ценят мой труд... Так называемые “простые” люди тоньше, добрее и честнее, чем мы, “интеллигенты”. Сколько раз я замечал это в жизни...»

Ропшин

Савинков, конечно, зря жалуется на чекистов: это еще милость с их стороны, что позволяют ему писать и даже устраивать читку своих сочинений. Вряд ли кто-нибудь из узников Лубянки за всю ее историю пользовался такими привилегиями. Ведь для них он был конченный человек — живой труп! И они могли бы вспомнить его же собственную фразу из «Коня Вороного», только что изданного в России: «У него морда в крови и глаз на нитке висит, а он про книжки толкует!...»

И все-таки он был прав! Потому что писатель Ропшин, в отличие от контры Савинкова, имел право на читателя.

И здесь, в тюрьме, Ропшин работал не покладая рук. Следы упорного труда мы находим всюду в его дневнике.

«Я знаю свой недостаток — сухость не языка, а описания, — записывает он 11 апреля. — Но и язык тоже враг. Каждый день я борюсь с ним: подыскиваю эпитеты, выщипываю рифму, подчеркиваю ритм. Как мало людей, которые чувствуют ритм и даже подозревают о существовании его. А между тем, в сущности, “Герой нашего времени” написан белыми стихами. Куприн, Короленко, даже Тургенев пишут со множеством эпитетов — бросают их пригоршнями. Среди многих найдет-ся один, настоящий. Он заставляет забыть об остальных. Лучшие эпитеты — у Тютчева».

26 апреля: «Целый день бился над одной страницей — попробуйте опишите парижскую улицу в начале апреля, вечером, да не на двухстах строках, как Гонкуры, а на десяти, и чтобы чувствовался воздух Парижа. Не умею. Опускаются руки».

И может быть, никогда еще он не имел возможности столько размышлять о литературе и о своем месте в ней, о секретах писательского труда и славы, о средствах выражения, созвучных эпохе, о новом читателе — наблюдения эти не всегда справедливы, но всегда остры и интересны. Многие его записки возникают по ходу чтения, как бы на полях книг, — а читает он много, запойно, в основном русских и французских авторов, постоянно сравнивая их:

«Французская литература ясна, прозрачна, я бы сказал, целомудреннее нашей. Французский писатель не выплевывает на бумагу все, что приходит ему в голову, после обеда. Русский — писах, еже писах — все глупости, весь вздор, весь мусор, все недодуманное, все необработанное. Писательство — «подвиг». За этой ложью скрывается право утомлять читателя и глушить его скудостью собственного ума» (15 апреля).

«Чехов называл свою жену “лошадка”, “собака”».

Его неумеренные почитатели найдут и в этих словах что-то особенное, трогательное. А по-моему, просто грубость земского врача. Чехов очень талантлив — он умел рассказывать то, что видел. Но он видел только серое в жизни — грязноватого цвета, грубоватого оттенка. Вся “Народная Воля” вдохновила его на один рассказ — “Записки неизвестного человека”. Все, что выходило за границу маленькой провинциальной жизни, не интересовало его. Выпить, закусить, сыграть в картишки, Чебутыкин, Лаптев (герои чеховских произведений. — В. Ш.),

ноющие интеллигенты — вот и вся жизнь. Была ли тогда Россия только такой? Конечно, нет. Уже рождалось то, что есть теперь, и уже писал Блок. Но он ни того, ни другого не замечал. Очень милый, исключительно даровитый, простой, добрый земский врач.

Чехова любят — Сперанский и Пузицкий! По закону контрастов?» (17 апреля).

«Дневник Гонкуров — дневник сытых французских буржуа, любящих искусство. Потому, что они любили искусство и хорошим языком писали романы, которые давно никто не читает, они, разумеется, воображали себя исключительными людьми. А кто себя таковыми не воображает? Даже не любя искусства, даже умея говорить только “матом”... Гонкуры пишут: “...гораздо хуже сознания смерти сознание ничтожности человеческой жизни”.

Со всем этим я согласен.

Гонкуры пишут еще: “Лживые фразы, высокие слова, — вот чем занимаются политические деятели нашего времени”. Через 60 лет то же самое мне повторил Monsieur Jean, парикмахерский подмастерье» (22 апреля).

«Почти все русские писатели страдают одним и тем же недостатком — длиннотою. Длиннен Мережковский, Куприн, Короленко, не говоря уже о второстепенных... Из нынешних, тех, которых я читал, — остались в памяти: Либединский, Бабель, Семенов» (28 апреля).

«Но почему Гонкуры так много пишут о природе? Неужели они не понимали, что о природе надо писать скупое — не только мало, но и коротко, в двух, трех строках. Нагромождение образов только мешает. В жизни не видишь всех деталей леса, реки, моря, но воспринимаешь их (не зрением, так слухом, не слухом, так обонянием, даже осязаешь: трава, даже вкусом — сорвешь колос ржи и жуешь). А у Гонкуров видишь и не воспринимаешь, и остаешься равнодушным. То же и у Бальзака... По правде говоря, природа меня трогает только у Пушкина, у Лермонтова (в “Герое нашего времени”), у Тургенева да в стихах Тютчева. А в жизни природа меня трогает всегда, даже лопух на тюремном дворе» (6 мая).

Савинков понимал, что Россия, в которую он попал, — это уже другая страна, чем та, которую он знал, и пытался изучить ее теперешних граждан, их язык — новояз, звучащий для него

дикое. Запоминал на прогулках, которые ему иногда устраивали, в Сокольники или в Новодевичий монастырь, в неизменном, бдительном сопровождении, — а может быть, списывал прямо со стен лубяnskих коридоров — удивительные изречения:

«Строго воспрещается выражаться».

Или в стихах:

«Гражданин, будь культурный,

Мусор и окурки бросай в урны»...

А возвращаясь в камеру, снова усаживался за стол, закуривал, брал перо и придвигал к себе стопку бумаги. В эти месяцы Савинков успел написать помимо множества статей и писем несколько психологических рассказов — о жизни русской в Париже и о той же Лубянке.

Эмиграция и тюрьма. И то и другое — противоестественно для человека, и то и другое — неволя. Но так сложилось, что он, посвятивший всю жизнь свободе, никогда этой свободы не видел. И что это такое, в сущности, не знает. А знает только тюрьму, эмиграцию, да еще подполье и войну, что тоже — неволя. И чем яростней он дрался за свободу, тем безысходней были тиски рабства...

Когда-то он — человек прямого действия — «Слово воплощал в Дело», реализовывал идею революции, как ее понимал. Теперь остался наедине со Словом, само Слово стало Делом. Обрел ли он наконец себя? Сумел ли — столь щедро наделенный природой — выйти на простор этого своего призвания? И вместо того чтобы сочинять себя — как он делал это на суде, разводя декламацию, беллетристику о своей жизни, — сочинять книги?

Но человек один и не всегда в силах начать жизнь сначала.

Ропшину мешал Савинков, писателю — политик. И ему, отдавшему жизнь политике, уже не суждено было вырваться из ее цепких объятий. Душа была замутнена и отравлена. Недаром лейтмотивами его стихов, от которых ничего не скроешь, были — двойник, кровь, смерть... Он уже не видел себя вне расколовших его непримиримых лагерей, завербованный, ангажированный человек — вчера одним, сегодня другим воинством. Он видел мир в красном, белом или зеленом цвете, в социальной внешней окраске, а не во всем солнечном спектре человечности. Такого зрения он уже не обрел.

И Слово опять было отдано на службу Делу.

В результате в его рассказах эмиграция из беды обращена в вину, а тюрьма из насилия — в справедливое возмездие. Прежние друзья превратились в карикатуры, но и прежние враги, коммунисты, тоже не очеловечились. Оттолкнувшись от одного берега, он не доплыл до другого и тонул где-то посередине...

Два из написанных им на Лубянке рассказов — «Последние помещики» и «В тюрьме» — были потом напечатаны. Но рассказ «В тюрьме» — как раз тот, что он читал своим стражникам (в рукописи — «Дело № 3142»), — предстал перед читателем иным, чем он был на самом деле. Он был рассечен и сокращен почти наполовину, и из него были изъяты даже намеки на страшную действительность Лубянки. Незвестный редактор причесал героев-чекистов и, наоборот, взъерошил их врагов. В опубликованном варианте рассказа главного героя, белогвардейского офицера Гвоздева (это как бы собирательный образ боевых товарищей Савинкова — Опперпуга, Гнилорыбова и Павловского), хотят освободить. В рукописи — расстреливают:

«...но уже кто-то схватил его за плечо и грубо толкнул к стене. Пряча голову, он втянул ее в воротник. Грянул негромкий выстрел. Он его не услышал. Он, полковник Гвоздев, перестал жить».

А еще один рассказ, «Дело Савельева» — его тоже удалось найти в лубянском архиве, — вообще остался неизвестным, ибо, как написал сам Савинков на титульной странице: «Рассказ должен был быть передан в “Ленгиз” тов. Ионову, но не передан по цензурным условиям»... И здесь герой, одуроченный чекистами, идет под расстрел.

В этих рассказах Савинков как бы промоделировал свое поведение в тюрьме, в любом случае сопротивления — побег или попытка обмануть чекистов, согласие работать на них, чтобы убежать, — исход был предreshен.

Оставим кипу рукописей — вернемся к черной тетради.

Знаки судьбы

«24 апреля.

Во дворе, где я гуляю, набухли почки. Кое-где показалась трава. Сменили надзирателя, который был со мной с первого

дня. Поставили другого — огромного, с грубым лицом. Он громко кашляет, громко сморкается и то и дело заглядывает в “глазок”.

В Париже во мне живет Москва, в Москве — Париж. Я знаю, что для меня главное в Москве: русский язык, кри-вые переулки, старинные церкви, убожество, нищета и... музей революции, и... Новодевичий монастырь. Но что главное для меня в Париже? Не знаю. Кажется, цветы на каштанах, прозрачные сумерки, февральские оголенные деревья с предчувствием весны, яблони в цвету по дороге в St. Cloud, туман утром в Булонском лесу. Во всяком случае, прежде всего в памяти это и уже потом — гробница Наполеона, rue des Martyrs, P re Lachaise, avenue Kleber и Magdebourg...

Впервые я был в Париже, когда мне было 20 лет. Bd. St. Michel, H tel des Mines, St. Ouen, затерянность в огромном городе и — “*Ça ira*” (знаменитая революционная песня. — В. Ш.)... Потом нелегальным, нищим, вместе с И. П. Каляевым, у Gare de Lyon. 7 франков в день от... Азефа! Да и то не всегда. Приходилось искать его, ловить в “*Olympia*”, у выхода. Закладывали револьверы... Потом, опять нелегальным, с В. М. Сулятицким¹³. Снова Азеф, Конни Циллианус¹⁴, конспирация, шведский паспорт. Потом — rue Lafontaine, Bd. Suchet — Марья Алексеевна (М. А. Прокофьева — эсерка, член боевой организации, невеста Е. Сазонова, жившая в семье Савинкова. Дальше в дневнике имя дано сокращенно — «М. А.». — В. Ш.), “Конь Бледный”. И Мережковские, которым я тогда, только тогда верил. Потом война, журнализм, Bercy, Marechal, Soulie, Braslerter de l’Est, La Victoire, rue Lalo, Эрэнбург, художники и “*jusqu’au bout*”¹⁵. Потом — Любовь

¹³ Сулятицкий В. М. (1885—1907) — член партии эсеров. В 1906 году помог Савинкову бежать из Севастопольской крепости. После покушения на премьер-министра Столыпина был приговорен к смертной казни и повешен.

¹⁴ Циллианус (Зиллиакус) К. — член Партии «активного сопротивления» Финляндии, близкой к партии эсеров.

¹⁵ До конца (франц.) — выражение, которое употреблялось во Франции по отношению к экстремистам (*jusqu’au-boutiste* — экстремист).

Ефимовна и Union. И наконец, Гаресы и снова Л. Е. Пол-
жизни — в Париже. Сперанский насмехается: “француз”. Нет,
не француз, а русский, но русский, который видел то, чего не
видел Сперанский. И наоборот?..

25 апреля.

В тюрьме время идет не так, как на воле. В тюрьме каждый
день длинен, а оглянешься назад — как быстро прошли месяц,
три месяца, полгода! Не оглянешься, будет июнь, а до вечера
дожить — десять лет.

Когда была жива мама, я о ней думал, конечно. Даже
заботился, как мог. Но теперь, когда она умерла, когда ее
уже нет, мне кажется, что я в о в с е не думал, в о в с е не
заботился, не пожалел ее старости, не сделал все, что было
в силах. Как это огромно — мать... Мне 46 лет. А я горюю
о матери. Она не была со мною нежна (кроме последних
лет)... И покойного отца я любил больше, чем ее, при жиз-
ни. Но вот она умерла. Смерть отца, сына, брата, сестры,
М. А., И. П. (Каляева. — *В. Ш.*) для меня меньше, чем ее
смерть. О ней я думаю всегда. Почему?

На могиле отца в Варшаве что-то кольнуло в сердце. Я
положил венок (был вместе с Л. Е.). Вернулся в Брюль и...
забыл. А вот мама, как живая, всегда передо мною. В Пари-
же, возвращаюсь в час ночи, она меня ждет, в черном платье,
в черной наколке. Стол накрыт... Она не ест, сидит передо
мною: “Выпей рюмочку...” — и ждет тоскующими глазами,
расскажу ли я свой день. И в Ницце, суетясь и не зная, куда
меня посадить. И у Плехановых, в Boulogne, на балконе,
ожидая меня, провожая меня, слушая мои шаги по безлюдной
улице. И на rue d’Antenil, в окне, прощаясь. И последние дни.

Я был нелегальным. Зашел к Макарову ¹⁶ (тоже уже нет),
в 1906 г. Он говорит: “Ваш покойный отец... Ваш покойный
брат... Ваш покойный сын...” Я не знал ничего. Вышел на
улицу и шел, пошатываясь, не понимая.

Никто и никогда не поймет, что пережил я 15 июля 1904
и 4 февраля 1905 г. Теперь это — обычно. Тогда — совер-

¹⁶ Видимо, Макаров П. М., инженер, хороший знакомый Савинкова,
не раз оказывал услуги боевой организации эсеров.

шенное исключение. Мне было 25—26 лет... Ивановская¹⁷ в своих воспоминаниях написала: “Точно наводнение прошло по лицу”. Оно и прошло. И не только по лицу.

Когда казнили И. П., я был в Париже. Я не спал ни минуты четыре ночи подряд.

Как я мог идти против коммунистов?»

Что же произошло 15 июля 1904 и 4 февраля 1905 года? Видимо, что-то такое, что определило жизнь, навсегда отпечаталось в сознании...

15 июля 1904 года, в двадцать минут десятого утра, в Петербурге Савинков — он жил тогда по паспорту Константина Чернецкого — привел в действие свой продуманный до мелочей план и направил навстречу карете Плеве трех боевиков с бомбами. И сам пошел за ними... Он слышал, как прогремел взрыв — будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. Бросился вперед и увидел лежащего на мостовой Егора Сазонова. Под телом его расплзлась багровая лужа, глаза были мутны и полузакрыты.

— А министр?

— Министр, говорят, проехал... — раздался чей-то голос.

Значит, Плеве жив, а Сазонов убит!

— Уходите! Уходите, господин! — прогнал Савинкова полицейский. На самом деле Сазонов был ранен, а Плеве убит. Об этом он, Савинков, узнал из газет. А перед тем несколько часов метался по городу, переживая смерть друга и замышляя новый план покушения...

А на следующий год, 4 февраля, дело было уже в Москве... Он скрывался тогда под именем англичанина Джемса Галлея. В два часа дня передал завернутую в плед бомбу «Поэту», Ивану Каляеву, лучшему другу жизни с детских лет, поцеловал его в губы и смотрел, как тот решительно направился в Кремль, к Никольским воротам. Валил снег. А потом на Тверской какой-то мальчишка без шапки бежал и кричал:

— Великого князя убило, голову оторвало!..

¹⁷ Ивановская-Волощенко П. С. (1853—1935) — революционерка, в 1905 году примыкала к боевой организации партии эсеров.

Нет, они не были просто убийцами, его друзья! Они убивали во имя освобождения людей от рабства, во имя свободы! Каляев видел в терроре не только наилучшее средство политической борьбы, но и моральную, религиозную жертву. И для Сазонова, для него тоже, террор был прежде всего личной жертвой, подвигом. И все же, все же — как написал Егор с каторги: «Сознание греха никогда не покидало меня...»

Дорогие, святые имена, лучшие товарищи его жизни.

Это теперь обычное дело — убийства, кровь, смерть. Но тогда!..

Понятно, почему Савинков после всех этих воспоминаний удивляется: «Как я мог идти против коммунистов?» Ведь он, фанатик революции, по существу, жил и воевал как коммунист и только по историческому недоразумению встал под другое знамя. А они, коммунисты, осуществили его мечту, цель его жизни — убили царя!

Однажды в Париже мне попала в руки книга Романа Гуля «Генерал Бо» — о Савинкове. И там любопытная надпись — кто-то из читателей, видимо старей русский эмигрант (писал еще по дореволюционной орфографии, с «ятями»), начертал: «Ах, если бы в наше время были Каляевы, давно большевики погибли бы!»

Как знать! А не Каляевы ли и стали большевиками?

Григорий Зиновьев писал в предисловии к книге «Загадка Савинкова»: «На свете слишком много такого, что можно уничтожить только оружием, огнем и мечом. Марксисты высказывались за массовый террор... Мы будем употреблять террор не в розницу, а оптом».

Вот и все отличие Савинкова—Каляева от Зиновьева—Дзержинского: первые вели штучный отстрел, а вторые — косили тысячами, а потом и миллионами!

В только что рассекреченных документах Ленина — «самого человеческого человека» — есть такие приказы: «Тайно подготовить террор: необходимо и срочно...» Или: «Наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, “на плечах” Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту и повесить там 100—1000 их чиновников и богатей)...» Или: «Под видом “зеленых” (мы потом на них и

свалим) пройдем на 10—20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 руб. за повешенного...»

Это уж напрямую относится к Савинкову и его «зеленому» воинству. Террор на террор. Одно другого стоит.

Что же до «священной жертвы», о которой грезили Савинков и друзья его юности, то знаменитый революционный траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой» был постоянно на устах Ленина. Под эти звуки хоронил солдат своей армии глава красного террора, взявший из рук эсеров разящий меч революции, — Феликс Дзержинский.

«26 апреля.

Левочка зажег костер и прыгал через него. А потом пускал пятакопеечный фейерверк — смеялся и не хотел идти спать. Ему было 12 лет. Когда я его увижу, ему будет сколько?.. И ни костер, ни фейерверк не повторятся...

Когда Андрей Павлович покраснел, смугился и у него забегали глаза, я сказал себе: «Арестуют». Когда он бросил Русе: «Долго же вам сидеть в эмиграции», — то же. Когда он заговорил о Рогове, коммунисте, с симпатией, — то же. И так много раз. А Фомичева я решительно заподозрил. У самой границы, ночью, когда он шмурыгнул носом и отошел в кусты на мое слово — «предатель», я одну минуточку хотел взять его за шиворот. И не взял. Почему я поехал?.. Я шел к Бурцеву, у в е р е н н ы й, что меня арестуют. Он выслушал все и сказал: «Нет, нет оснований предполагать...» Я понимал, что вздор, но хотел ему верить. Как нарочно, не слушал Ал. Арк. и Л. Е. Ехал инстинктом, слепо, ибо не мог оставаться, ибо замучила совесть (против народа!..), ибо Балахович, Маклаковы, Авксентьевы, Милюковы, ибо не было ни угла, ни крыши, ибо травля... ибо, ибо... Миллион причин. Замечательно, что не отговаривал никто. Все (кроме Руси) нашли, что так и должно быть — «привези нам золотое руно, или пусть тебя расстреляют». А теперь клеветают... Так устроены люди.

Боюсь за Л. Е.

27 апреля.

Руся пишет, что 12-го скончалась Шура (жена Виктора Савинкова. — В. Ш.)... Бедная, маленькая женщина! Не думаешь о человеке вовсе, а когда он умирает, то становится

жаль, что знал мало, не интересовался, не заглянул глубже. И уже непоправимо.

И вот еще непоправимо. На острове Пасхи нашли следы очень древней культуры — каменные памятники, идо­лы. Не узнали, не могли узнать, к какому веку и какому народу они относятся. Два года назад остров Пасхи исчез во время землетрясения. Весь целиком. (Ложное известие об исчезновении острова Пасхи взято, видимо, из газет. — В. Ш.)

Когда М. Ал. умирала, я не поверил, что это смерть, — думал, что обычный припадок. До 8-и я играл в шахматы с... в 8 лег спать — был уже день давно. В 10 с половиной меня разбудила Е. И. Я вошел, М. А. была еще жива, лежала тихо, с закрытыми глазами. Я взял ее за руку, она посмотрела на меня и слабо пожала руку. Потом сказала: “Какие вы все доб­рые... Спасибо”. И умерла.

А потом я каждый день ходил на кладбище, в склеп, и смотре­л через окошко в гробу, как медленно, медленно (она была набальзамирована) разрушалось лицо. Темными тенями. Си­неватыми пятнами. Провалом около губ.

А теперь я об этом вспоминаю почти спокойно.

28 апреля.

...Кое-где на кустах распустились листья (на дворе). Се­годня была гроза и сильно пахло дождем в камере, а на про­гулке — сырой землей.

В жизни бывает несколько таких ярких дней, что их невоз­можно забыть, — ярких в своей простоте, в том, что и и ч е г о не случилось. Вот помню. Мне года 3—4 (еще в Виль­не), я иду от сквера вверх, по Большой улице, с кем-то, может быть, с мамой. У меня в руках барабан, а солнце горит в небе, и на стеклах фонарей, и в дождевых лужах. А мне очень, очень радостно и хорошо. А вот другой день: мы возвращаемся с Л. Е. из Uemblaу пешком, через мост. Я покупаю ландыши у старухи. Потом сидим внизу, у берега, в са­е и смотрим на солнце. Оно на небе, и на реке, и у Л. Е. в глазах. И мне так же радостно, как тогда, ребенком, в Вильне.

Андрей Павлович — честный и стойкий солдат, Фоми­чев — мразь, С. Эд. (Павловский. — В. Ш.) — зверь.

29 апреля.

..Лет пятнадцать назад, Ильфракомбе, меня поразило море. Очень высокий, скалистый берег, почти замкнутым кругом. Внизу, совсем глубоко, кипящая, бело-синяя, расплавленная масса, которая ходит ходуном и рычит. Надо всем — совершенно свинцовое небо. Свинцовое небо и в Гаммерфесте, и в Вардэ, но море другое, не расплавленное, не металлическое, а в о д я н о е, и не рычит, а свистит и воет. В Индийском океане — индиго и золото наверху. Слепнут глаза. В Северном — муть, белесые волны и дождик наискосок... После Индийского океана Красное море — серого цвета, Средиземное — грязноватого. После Зунда то же Средиземное море — как Индийский океан. *La relativité des choses!*..¹⁸

Первые листья во дворе — акации!

Ландыши, которые принесла Л. Е., уже отцвели...»

Он продолжает фиксировать в дневнике скудные приметы тюремной жизни — пишет их, словно углем, точными штрихами, с редкими сценками — прогулки, визиты Любови Ефимовны — с новостями из потустороннего шумного мира. Ей ведь тоже нелегко найти себя, устроиться в советской Москве, на птичьих правах, с постоянным страхом за будущее...

Ведет изнурительный разговор с современниками — то сводит счеты с бывшими друзьями, затянувшийся спор, который становится все ненужней, то обращается к чекистам, которые тоже не поняли, обманули его, то говорит с самим собой: почему таким клином сошлась жизнь, в чем он просчитался и в чем действительно были виноват.

После «разочарования белого», «разочарования зеленого» пережил ли он разочарование в себе? Нет, ни в двухдневной речи его на суде, ни в дневнике он ни разу не называет свои действия преступными, говорит лишь об ошибках и заблуждениях. Сознание собственной исключительности не покидает его. Но он уже утратил внутреннюю цельность, генеральную идею — куда жить. Отсюда — психологический надрыв, нарастающая депрессия.

¹⁸ Все относительно! (франц.)

Савинков строил свой мир не на вечных общечеловеческих ценностях — с такой внутренней крепостью и тюрьма одолима! — а на преходящей политической идее, на выжигающей душу злобе дня. Как говорил он сам, «сеял пшеницу, а вырастали чертополох и лопух». Трагедия случилась не сейчас, на Лубянке, а гораздо раньше, когда он, еще юношей, переступил через вечную заповедь «Не убий!». С тех пор всякий раз, убивая других, он убивал себя.

Уставая от безнадежной тяжбы со своим временем, он пулся в свободное плавание по волнам воспоминаний. И все больше и больше жил теперь памятью — и тогда на страницы черной тетради врывались яркие цветные картины прошлого, и, пережитое вновь, оно теперь виделось иначе. Вереницей шли странствия, где на фоне экзотических пейзажей непременно возникала она — та, которую он на людях так и не назвал по имени, лишь отстраненно-почтительно — Любовь Ефимовна, и даже в дневнике — Л. Е. Очень приблизилось детство — его собственное и его детей. Поднялась из гроба и встала совсем рядом мать, ближе, чем была в жизни. Открылась острая потребность в природе — вообще во всем простом, изначальном и так доступном обычно, что мы не замечаем, не ценим.

Читая дневник, видишь, как постепенно меняется сознание его автора, будто готовясь исподволь к какому-то важному, решающему событию. Нарастают предчувствия. Жизнь наполняется символами. Все кажется неслучайным. «Сердца трех» — книга в руках Любви Ефимовны, а вот теперь, 30 апреля: «Во дворе за ночь выросло три лютика, все три рядом...» Этот непрерывный звон московских колоколов, окатывающий Лубянку, словно в ответ на замурованные там выстрелы. И все неотступней, все чаще — мысли о смерти, как конский топот издалека...

«30 апреля.

...Гонкуры, конечно, сытые буржуа, но необычайна и почти единственна в своем роде их братская любовь. Необычайны по силе и записи Эдмона о болезни и смерти Жюля...

— Все неповторяемо в жизни. Все бывает только один раз.

— Рисунок губ, линия жеста, блеск взгляда притягивают

мужчину к женщине, как планету к планете. Эта тайна не будет разгадана никогда.

— Судьба крупных людей такова, что наступает день, когда нет выхода. Тогда они бросаются в море.

— Жизнь такое горе, такой труд, такая забота, что, умирая, спросишь себя: “Жил ли я?”

Со всем этим я тоже согласен.

1 мая.

Целый день за окном музыка — демонстрации.

У меня болят глаза, голова всегда тяжелая, в ушах всегда звенит. Нет воздуха и движения. С трудом заставляю себя писать. Попишешь час — и как неживой.

Я не то что поверил Павловскому. Я не верил, что его могут не расстрелять, что ему могут оставить жизнь. Вот в это я не верил. И в том, что его не расстреляли, — гениальность ГПУ.

В сущности, Павловский мне внушал мало доверия. Помню обед с ним в начале 1923, с глазу на глаз, в маленьком кабаке на rue des Martyrs. У меня было как бы предчувствие будущего. Я спросил его: “А могут ли быть такие обстоятельства, при которых Вы предадите лично меня?” Он опустил глаза и ответил: “Поживем — увидим”. Я тогда же рассказал об этом Л. Е. ... Но я не мог думать, что ему дадут возможность меня предать... Чекисты поступили правильно и, повторяю, по-своему гениально. Их можно за это только уважать. Но Павловский?.. Ведь я с ним делился, как с братом, делился не богатством, а нищетой. Ведь он плакал у меня в кабинете... Вероятно, страх смерти... Очень жестокие люди иногда бывают трусливы. Но ведь не трусил же он сотни раз! Но если не страх смерти, то что?.. Он говорил Гендину, что я “не поеду”, что я “такой же эмигрантский генерал, как другие”. Но ведь он же знал, что это неправда. Он-то знал, что я не “генерал” и “не поеду”. Зачем же он еще лгал? Чтобы, предав, утешить себя? Это еще большее малодушие.

Я не имею на него злобы. Так вышло л у ч ш е. Честнее сидеть здесь в тюрьме, чем околачиваться за границей, и коммунисты лучше, чем все остальные. Но как напишешь его? Где ключ к нему. А если бы меня расстреляли?

В свое скорое освобождение я не верю. Если не освободили в октябре—ноябре, то долго будут держать в тюрьме. Это ошиб-

ка. Во-первых, я бы служил Советам верой и правдой — и это ясно. Во-вторых, мое освобождение примирило бы с Советами многих. Так — ни то ни се... Нельзя даже понять, почему же не расстреляли. Для того, чтобы гноить в тюрьме?.. Но я этого не хотел, и они этого не хотели. Думаю, что дело здесь не в больших, а в малых — в “винтиках”. Жалует царь, да не жалует псарь... Недаром я слышу, что у меня “дурной характер”. Дурной характер в том, что я не хочу называть людей, которые верили мне и которые теперь уже не могут принести никакого вреда?..

На прогулке шел дождь. Пахло теплой и влажной землей.
2 мая.

Виктор однажды сказал про Русю и А. Г. (Виктор — брат Савинкова, А. Г. Мягков — муж Руси. — В. Ш.): “Навозные жуки”. Да, но эти “навозные Жуки” создали крепкую и честную семью, вырастили добрых и честных детей, всегда работали, никогда никому гадостей не делали, всегда заботились о других и в тягчайшие дни оставались верными, благородными и мужественными друзьями. А Виктор?.. А я?.. Но у меня хоть есть оправдание (или мне так кажется): я, в сущности, всю жизнь определил не семьей и не личным счастьем, а тем, что называется “идеей”. Пусть в “идее” этой я сбился с пути, но никто меня не упрекнет, что я добивался личного благополучия...

Я написал: “никто не упрекнет”... Упрекнут и в этом. Во всем упрекали и упрекают, и упрекнут — и в том, в чем виновен, и в том, в чем не виноват, и в том, что было, и в том, чего не было, и в моих слабостях, и в моей силе, и в дурном, и в хорошем, и в бездарном, и в небездарном. Не одни, так другие... Но больно, когда упрекает с в о й, близкий, родной, любимый. Больно, когда и он со всеми...

Который год я не вижу весны, почти не вижу природы. В городе — стены, но все-таки иногда зеленые дни... А в тюрьме только запах отшумевшего по мостовой дождя да чахлые листики во дворе.

Как огненно-солнечно здесь, за решеткой, вспоминается Шанхай — Марсель. Холодное небо в Шанхае, голубые холмы в Гонконге, Сайгон с ослепительными лучами, Сингапур с ливнем, Коломбо с камфарным деревом и сахарным тростником, пустыня Джибути и лучезарный, сияющий, бесконечный, бездонный Индийский океан. Дельфины и полет рыб. И Л. Е.

Под Сайгоном я с Л. Е. зашел в деревенский дом. Полуголая мать, голые дети. Тростник, вышиною в сажень. Каменный колодезь. Голубая корова. А дома, на стене, французская раскрашенная картинка и календарь.

В Джибути белые стены, палящее солнце, крохотные ослы, такие, на которых ездил Христос, пыль и голые камни. А в пустыне, в стороне от дороги, труп верблюда и грифы на нем — длинношеи, желтые, рвущие кровавое мясо.

3 мая.

Помню: Левочке 2 года. Утро. Южное солнце затопило всю комнату. Я лежу в кровати, а Левочка слабыми ножками карабкается по железной спинке, смотрит на меня и смеется.

Теперешняя, новая Россия мне кажется похожей на Левочку: слабые ножки, детство. Но уже радостный смех — предчувствие будущего. Смех, несмотря на разорение, нищету, расстрелы, голод, гражданскую войну — все бедствия, какие есть на земле. Смех — потому, что впереди большая, широкая, не омраченная пока ничем дорога. Сукин я сын, что понял это так поздно...

В эмиграции “вершат дела”: 80-летняя Брешковская, 78-летний Чайковский, 70-летний Милюков, 55-летний Кутепов, 55-летний Бурцев, 53-летний Философов... Самый молодой — Керенский, 44 года. А в России? Менжинский, Дзержинский, Каменев, Сталин считаются стариками. Все дело в руках молодых. А молодые не знают нас. Мы, революционеры 1905 — 1906 годов, для них — миф. Савинков — бандит и едва ли не польский шпион, но Савинков — террорист?.. А кто такой Чернов? Где-то, кто-то, когда-то... кажется, контрреволюционер... Авксентьев? Не знаю... Фундаминский? Не знаю. Гоц? А, это тот, которого судили, эсер, балда... Да что Авксентьев и Гоц! Забыты Сазонов и Каляев. Совершенно забыт Гершуни... Больше. Царское время? Не помню: я был мальчонком... Пилсудский как-то жаловался мне, что польская молодежь не знает истории и не хочет знать. Получила все на д а р о щ и н к у и довольна, и пафоса в ней нет... Но в русской молодежи пафос есть. Заслуга большевиков?

Кстати. Мой приговор в общем правилен, то есть правильно, что я признан виновным (я бы себя расстрелял...). Но неправильно и несправедливо одно: я признан виновным и в

шпионаже в пользу Польши. Неправда. Шпионом я никогда не был. И это суд понимал. Понимало и ГПУ. Иначе шпионы и Колчак, и Деникин, и князь Львов, и даже Фундаминский. Почему же меня по этому пункту не оправдали?.. Житейская суета?..

4 мая.

Когда парикмахер стриг меня, я поднял клочок волос — было больше белых, чем черных. Старость... Звенит труба.

5 мая.

Л. Е. потрясена “отсрочкой”. Я думаю, что таких “отсрочек” будет еще много... Себя мне не жаль, но жаль ее. Ее молодость со мной проходит в травле, в нищете, потом в тюрьме, потом в том, что есть сейчас... А я так хотел ей счастья...

Болят глаза, и в голове копать. Пишу со скрежетом зубным, и ничего не выходит. Просижу еще год и совсем одурею, и выйду стариком.

Весь вечер поют за окном.

6 мая.

По совету Сперанского написал Дзержинскому...

В Париже я хотел запереть дверь на ключ, посадить перед собой Фомичева и сказать ему: “Сознавайтесь”... Хотел и не хотел. Что-то говорило: “Не надо, все равно...” Плохо ли, хорошо ли, пусть будет, что будет, но надо было спрыгнуть с этой колокольни. Дело не только в “организации” Андрея Павловича, дело еще и в том — прежде всего, — что я чувствовал неправоту своей борьбы и несправедность своей жизни. Кругом — свиные хари, все эти Милоковы, и я сам — свинья, выпнан из России, обессилен, оплеван... И не с народом, а против него!..

Был Александр Аркадьевич. Бледный, худой и тоже взволнованный отсрочкой. Бедный взрослый ребенок, не умеющий ни жить, ни бороться за жизнь...»

На этом дневник обрывается.

Конь Бледный

Итак, 6 мая Савинков, отчаявшись и разуверившись в обещаниях чекистов, пошел на решительный шаг — написал письмо Дзержинскому, предъявил ему свой «ультиматум». На

следующий день он переписал свое письмо начисто и передал по назначению.

«7 мая 1925.

Внутренняя тюрьма.

Гражданин Дзержинский,

я знаю, что Вы очень занятой человек. Но я все-таки Вас прошу уделить мне несколько минут внимания.

Когда меня арестовали, я был уверен, что может быть только два исхода. Первый, почти несомненный, — меня поставят к стенке; второй — мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, т. е. тюремное заключение, казался мне исключением: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, “исправлять” же меня не нужно — меня исправила жизнь. Так и был поставлен вопрос в беседах с гр. Менжинским, Артузовым и Пилляром: либо расстреливайте, либо дайте возможность работать. Я был против вас, теперь я с вами; быть серединка на половинку, ни “за”, ни “против”, т. е. сидеть в тюрьме или сделаться обывателем, я не могу.

Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать. Я ждал помилования в ноябре, потом в январе, потом в феврале, потом в апреле. Теперь я узнал, что надо ждать до Партийного Съезда: т. е. до декабря—января... Позвольте быть совершенно откровенным. Я мало верю в эти слова. Разве, например, Съезд Советов недостаточно авторитетен, чтобы решить мою участь? Зачем же отсрочка до Партийного Съезда? Вероятно, отсрочка эта только предлог...

Итак, вопреки всем беседам и всякому вероятно третьему исходу оказался возможным. Я сижу и буду сидеть в тюрьме — сидеть, когда в искренности моей вряд ли остается сомнение и когда я хочу одного: эту искренность доказать на деле.

Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза.

Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени. Я многое передумал в тюрьме и — мне не стыдно сказать — многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Дзержин-

ский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь: ведь когда-то и я был подпольщиком и боролся за революцию... Если же Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, ясно и прямо, чтобы я в точности знал свое положение.

С искренним приветом
Б. Савинков».

В черновиках письма есть и такие выражения: «Я стал более красным, чем это кажется Вам» и «А работать у Вас я буду считать за честь», — но их в окончательном варианте Савинков опустил, видимо боясь, что они прозвучат слишком уж льстиво.

Дзержинский разговаривать с Савинковым не стал. Только передал через тюремщиков, что приговор вряд ли будет пересмотрен...

О том, что произошло дальше, мы узнаем со слов Сперанского, который был рядом с Савинковым весь этот день. Кое-что много лет спустя рассказала писателю Ардаматскому и Любовь Ефимовна...

Утром она навестила Бориса Викторовича, весело обсуждала с ним фасон нового платья и очередной шляпки. А после того как она ушла, чекисты, видимо чтобы подсластить горькую пилюлю, решили выполнить давнюю просьбу Савинкова — свозить его за город, подышать весной. В сопровождении тройки опекунов — Пузицкого, Сперанского и Сыроежкина — он отправился на легковой машине на прогулку в Царицыно.

Там, на одной из многочисленных конспиративных дач ОГПУ, Савинков якобы выпил коньяку и пошел размяться в парк. Переходя через высокий горбатый мостик, прыгнувший над бурлящим ручьем, он вдруг схватил за руку шедшего рядом Сперанского:

— Уведите меня отсюда! Скорей!..

Потом, очень смущенный, он объяснил удивленным чекистам, что у него «боязнь пространства» и что на высоте у него всегда кружится голова и подкашиваются ноги.

Такой болезнью Савинков действительно страдал, это подтверждают его родственники: Борис Викторович не боялся ничего, кроме пустоты. Высота вызывала у него головокружение.

Поздним вечером чекисты привезли Савинкова «домой». Они прошли в кабинет Пилляра на пятом этаже и там ждали конвоя, который бы увел заключенного в камеру.

Пузицкий звонил по телефону, Сперанский и Сыроежкин сидели — один на диване, другой в кресле, — а Савинков расхаживал по комнате. Собиралась гроза, было душно, и окно комнаты, выходящее во двор, держали распахнутым. Видимо, когда-то это была балконная дверь — подоконник отходил от пола сантиметров на двадцать.

Дальнейшее произошло мгновенно. Савинков, подойдя к окну, посмотрел вниз и вдруг, покачнувшись и словно переломившись пополам, исчез... Никто из чекистов даже не успел шелохнуться.

«Я приехал на Лубянку через час после случившегося, — рассказывал помощник прокурора республики Р. В. Катанян. — Несколько работников ОГПУ во главе с Дзержинским писали сообщение о смерти Савинкова для газет. Феликс Эдмундович подошел ко мне. Он сказал: “Савинков остался верен себе — прожил мутную, скандальную жизнь и так же мутно и скандально ее окончил”».

На следующий день Дзержинский докладывал о происшествии на Политбюро ЦК партии. И, должно быть, повторил те же самые слова. А сообщение, которое он сочинил, было опубликовано только через неделю.

— Это неправда! Этого не может быть! Вы убили его! — закричала на французском Любовь Ефимовна, когда ее пригласили на Лубянку и объявили о смерти Савинкова.

Убили! Так подумали многие. Имя Савинкова снова облетело мир, на этот раз как имя героя-мученика, ценой жизни искупившего грехи.

Но были и другие голоса. Эмигрантский фельетонист Яблоновский написал в берлинской газете «Руль»: «...драма Савинкова рисуется мне в самом простом, даже простеньком виде. Обещали свободу. Несомненно обещали. Надули. Нагло, жульнически надули. Человек не стерпел и выбросился в окно».

В самоубийстве Савинкова вряд ли можно сомневаться. Убить его чекистам, конечно, ничего не стоило. Но для этого они бы наверняка использовали другие, более ловкие и тихие приемы. Только вот зачем им было его убивать? Опасности

он уже не представлял. И живым — спеленутый лубянскими стенами — был гораздо нужнее. Мог еще не раз послужить — как свидетель, как эксперт. Помочь в какой-нибудь очередной операции. Наконец, написать несколько новых пропагандистских книг!

А вот сенсационный самоубийца был совсем не нужен. Как же так — только обрел в объятиях советской власти долгожданную правду и вдруг — головой вниз... Самоубийство зачеркивало весь пафос его покаяния, по существу, сводило на нет блистательный результат суда. Чекистам от него было нужно не мертвое тело, а пленный дух.

В следственном деле Савинкова есть маленький листочек бумаги:

«Удостоверение

Сим удостоверяю, что смерть гр. Б. Савинкова последовала 7 мая 1925 г. вследствие тяжелых травматических повреждений головы (полное раздробление затылочной кости, части теменных и височных) с нарушением целостности важнейших центров головного мозга в результате падения с большой высоты.

Врач тюремный ОГПУ...» (Подпись неразборчива.)

Вот и эта, последняя, роль его кончилась. Лишь за день до смерти признался он себе, что жил несправедно. И тут же перестал играть и сошел, вернее, выбросился со сцены. Выбросился в никуда. Одного мгновения истины было достаточно, чтобы жизнь стала невыносимой.

Где и как похоронен Савинков — неизвестно. На могилу он не имел права.

Черчилль говорил: «Мало кто больше Савинкова страдал за русский народ...»

Возможно, это и будет правдой, если добавить: и мало из-за кого пострадало столько русского народа!

Жизнь Бориса Савинкова — политика и борца — оборвалась 7 мая 1925 года прыжком из окна лубянской тюрьмы. Писатель В. Ропшин пережил своего двойника и вернулся к нам сегодня, спустя семьдесят лет, после долгих запретов и заточения в спецхранах библиотек, своими книгами, которые

переизданы массовыми тиражами и нашли наконец своего самого широкого читателя.

Трагедия Савинкова — только частичка большой народной трагедии. Достаточно взглянуть на тот кровавый след, который оставили по себе другие участники событий.

Александр Аркадьевич Деренталю тоже не нашлось места в родной стране, как он ни старался приспособиться к новой жизни. После выхода из тюрьмы служил в Обществе культурных связей с границей, писал пьесы для клубной сцены, тексты оперетт. Но в 1936 году был арестован, отправлен на Колыму, а еще через три года расстрелян.

Дзержинский и Менжинский не надолго пережили Савинкова — чекистская работа изнашивает быстро. Здоровье Железного Феликса не выдержало в 1926 году, в 1934 году умер страдающий какой-то загадочной болезнью Менжинский. Впоследствии в его умерщвлении обвинят Ягоду.

Чекисты — участники операции «Синдикат-2» стали жертвами их же собственной организации, доблестных органов. После орденов Родина наградила их смертными приговорами.

Главное действующее лицо операции — Андрей Павлович Федоров — руководил Иностранным отделом Ленинградского управления НКВД, когда его арестовали. Он был расстрелян как шпион и враг народа 20 сентября 1937 года. Начальник Минского ГПУ Филипп Медведь возглавлял позднее Ленинградское управление НКВД, но после убийства Кирова оказался на Колыме, расстрелян все в том же, кровавом 37-м.

19 июня 1937 года был приговорен к расстрелу как участник антисоветского заговора Сергей Васильевич Пузицкий. 2 сентября — Пилляр фон Пилау. Когда-то в бою с белополяками он, чтобы не попасть в плен, последнюю пулю пустил в себя. Враги приняли его, истекающего кровью, за убитого. Но когда местные жители решили закопать трупы, то обнаружили, что он еще жив... Теперь, на следствии, его обвинили в том, что он сдался врагам и не сумел покончить жизнь самоубийством.

Три месяца выбивали показания из Игнатия Сосновского. А он подробно рассказывал о тех прославивших Лубянку

операциях, в которых участвовал... Потом не выдержал пыток и «признался» во всем, что от него требовали. 15 ноября 1937 года его расстреляли.

В этом же году пришли за Артузовым — многолетним начальником Контрразведывательного и Иностранного отделов ОГПУ, а теперь шпионом сразу немецкой, французской, польской и английской разведок... Тем Артузовым, который, воспитывая молодых чекистов, находил слова, западавшие в душу: «Наш фронт незрим, прикрыт секретностью, дымкой таинственности. Но и на этом, скрытом от сотен глаз, фронте бывают свои “звездные” минуты... Это можно назвать “тихим героизмом”...»

Перед казнью Артузов написал кровью на клочке бумаги послание, в котором отверг предъявленные ему обвинения и доказывал, что он не шпион...

Григорий Сыроежкин был расстрелян в 1939 году. Судьбе было угодно, чтобы незадолго до этого пересеклись пути его и сына Савинкова — Льва: они воевали в одном отряде интербригадцев в Испании. Старший сын Савинкова — Виктор Успенский — тоже сгинул в омуте репрессий.

Любови Ефимовне Деренталь суждена была долгая жизнь, но жизнь безнадежно исковерканная. Лубянка от себя не отпускала. В 37-м Любовь Ефимовна была осуждена («социальноопасный элемент») в один день с мужем и отправлена тем же путем на лагерную Колыму. Известно, что после освобождения она еще долго работала в Магадане, потом вернулась в Москву. Дальше ее след теряется...

Незадолго до смерти Борис Савинков записал: «Я следую по дороге своей жизни, как на лошадях, которые понесли...»

Но это были не обычные лошади.

В «Апокалипсисе» святому Иоанну являются Четыре Коня:

«..Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный и чтобы победить.

...И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

...Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.

...И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним...»

Борис Савинков прожил жизнь по Апокалипсису, будто проскакал ее на коне. Въехал в историю на Белом Коня — с венцом победителя, потом пересел на Рыжего Коня — с мечом, убивать, Рыжего сменил Вороной — с мерой, определенной земным судом, и, наконец, вот он, Конь Бледный, Последний Конь, которого предсказал ему Пилляр...

Глава четвертая

**ОСКОЛКИ
СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА**

Серебряный век... Эти слова вызывают в памяти культурный взлет, духовное возрождение, которое пережила Россия в эпоху войн и революций. Потому и называют так первую четверть нынешнего столетия, что по созвездию блестящих имен и творческому накалу она вместила — век. Целая плеяда религиозных философов, Блок, Есенин и Гумилев — в поэзии, Скрябин и Рахманинов — в музыке, Врубель и Рерих — в живописи, Шаляпин и Станиславский — в театре... Будто пламя вдохновения вспыхнуло ярко, перед тем как — не погаснуть, нет! — но уйти вглубь, спрятаться в пепле от урагана истории. Прерванная дума, пресеченное слово, недопетая песня... Что же случилось, какой катаклизм погрузил в пучину эту Атлантиду? Случился семнадцатый год, Октябрьский переворот жизни, одним махом будто вывернувший ее наизнанку. Случилась советская власть, провозгласившая: «Железной рукой загоним человечество к счастью!» (плакат 1918 года). Красный молот идеологии кует из людей нового человека, кровавый меч диктатуры отсекает головы тем, кто перековке не поддается.

Однажды, вскоре после революции, чекисты схватили группу интеллигентов, среди которых был и Александр Блок. Тот самый Блок, который призывал всем сердцем слушать музыку революции, который на вопрос: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» — отвечал: «Может и обязана». Теперь, в тюрьме, Блок спросил у одного из товарищей по несчастью:

— Как вы думаете, мы когда-нибудь отсюда выйдем?

— Конечно! Завтра же разберутся и отпустят...

— Нет, мы отсюда никогда не выйдем, — печально сказал поэт. — Они убьют всех, всё...

Эту историю рассказал мне другой поэт, Семен Липкин, который, в свою очередь, слышал ее от тюремного собесед-

ника Блока — переводчика и искусствоведа Абрама Эфроса. По каплям просачиваются сквозь толщу времени, доходят до нас все новые вести о конце серебряного века.

Да, Блока выпустили назавтра. И все же он оказался прав. И сам он вскоре погибнет, задушенный революцией, — от нужды и недоедания и, главное, от душевных мук, потому что «музыка кончилась». За два месяца до смерти поэт написал о себе: «Слопала-таки поганая, гнившая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». И его собеседник Абрам Эфрос еще хлебнет тюрьмы и проживет в опале всю жизнь. Уже никогда не выпустят большевики из своих железных тисков мыслителей и художников, да и всю страну превратят в один громадный концлагерь.

Молот ЦК и меч ЧК обрушились на серебряный век русской культуры, и великолепные осколки его разлетелись в пространстве и времени.

Теперь, пытаясь восстановить разорванную связь времен, вернуть себе историческую память и духовные богатства, мы ищем и собираем эти осколки всюду, куда закинула их судьба: и за границей — в наследии русской эмиграции первой волны, и дома — в библиотеках, архивах и музеях, и в воспоминаниях немногих свидетелей далекого уже прошлого. Обнаруживаются они и в темных тайниках самой власти, в секретных хранилищах карательных органов — драгоценными блестками в бумажной породе.

Здесь пойдет речь только о четырех именах из всего неохватного списка творцов серебряного века — двух философах и двух поэтах, которые подают о себе весть из архивов Лубянки.

Философский пароход

Начало 1922 года. Нэп... Страна приходит в себя после лихолетья военного коммунизма. Бойко торгуют магазины и лавки, наперебой заывают рестораны и пивные. Заработал транспорт. Люди радуются возврату к нормальной жизни — еде, теплу, свету, отсутствию выстрелов. Оживляется и культура: растут как грибы новые издательства и журналы, научные и художественные общества, переполнены театры, вы-

ставки, концерты. Вспыхнули надежды. Кажется, жизнь идет на поправку.

Но это все лишь краткая передышка. Уже весной коммунисты разворачивают новое наступление — на идеологическом фронте. Экономика — экономикой, без хлеба не проживешь, а вот без духовной пищи как-нибудь обойдемся! Выходит декрет о конфискации церковных ценностей — солдаты в шапках-буденовках (в народе их прозвали «свинными рылами») бесцеремонно врываются в храмы и грабят их под предлогом помощи голодающим. Одновременно с массовыми арестами священников вносится разлад в духовенство и паству: создается обновленческая, «живая» церковь, дружественная советской власти. Идет охота на эсеров и членов других партий, еще вчера бывших союзниками большевиков. ВЧК сменила свое пугающее название на ГПУ — что это значит? Генсеком партии становится Сталин и начинает потихоньку прибирать власть к рукам. В толпе ходят панические слухи. Будто бы Ленин болен и отстранился от государственных дел. Нет, шепчут другие, он уже на том свете, а все указы за него подписывает кто-то. Ничего подобного, возражают третьи, Ленин жив, но заперся во дворце, потерял дар речи и только повторяет: «Что я сделал с Россией?» — и ему уже являлась скорбящая Богородица... Еще говорят...

Слухи не беспочвенные: здоровье Ленина действительно резко пошатнулось и он на несколько месяцев потерял работоспособность. Но прежде успел дать ход новой, невиданной кампании, которая с неудержимостью лавины ползет на страну.

В мае Ленин редактирует Уголовный кодекс: «По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)...» Ну а если вернуться? И это будет предусмотрено: за неразрешенное возвращение из-за границы — расстрел!

Это первое упоминание о высылке, идея, ударившая в голову Ильичу накануне апоплексического удара, — одно из последних политических деяний вождя партии.

А 19 мая 1922 года — за шесть дней до приступа, свалившего его в постель, — Ленин пишет секретное письмо Дзержинскому — программу операции, которая наверняка задумана и обсуждена заранее: «Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке

за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглушим...» Тут же названы и имена первых кандидатов в изгнанники — авторов журнала «Экономист», попавшего на глаза Ильичу: «Это, по-моему, явный центр белогвардейцев, — и подсказывает, доносит товарищам из ГПУ: — В № 3... напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все законнейшие кандидаты на высылку за границу». И дальше, срываясь уже на крик: «Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих “военных шпионов” изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу».

Таким образом, честь составления первого проскрипционного списка с указанием круга лиц, профессий и даже имен принадлежит самому вождю мировой революции. И это происходит в то время, когда, при всей яркости звезд на культурном небосводе, ученых людей в полуграмотной, нишей, обескровленной революциями и войнами России катастрофически не хватает, когда даже «лучший друг» Ленина Максим Горький, тоже, кстати сказать, незадолго до этого вытолкнутый в эмиграцию под предлогом лечения, говорит, что без «творцов русской науки и культуры нельзя жить, как нельзя жить без души», и что во всей стране их «только девять тысяч»...

Перед ГПУ поставлена срочная задача: собрать досье на «писателей и профессоров» («поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку»), отобрать из этой подлой публики самых неблагонадежных и выбросить вон, произведя тем самым селекцию интеллигенции.

И вот уже советская печать, в пристяжке с ГПУ, поднимает истерические вопли. «Диктатура, где твой хлыст?» — вопрошает «Правда», громя малюсенькую книжечку критика Айхенвальда о поэзии, называет ее «мразью и дрянью» и требует хлыстом диктатуры заставить автора и ему подобных «убраться за черту, в тот лагерь содержания, к которому они по праву принадлежат со своей эстетикой и со своей религией».

В то время как профессора и писатели ломают голову над мировыми проблемами, их судьба уже решена. За лето цекки-

сты и чекисты подготовили проскрипционные списки. Назначен час «икс» — ночь с 16 на 17 августа. Облава начинается...

Один из кандидатов в изгнанники — Николай Александрович Бердяев.

Здесь не место излагать взгляды крупнейшего мыслителя серебряного века — любопытный читатель может обратиться к его многочисленным трудам, изданным во всех цивилизованных странах, а ныне ставшим доступными и на родине. Скажем только, что Бердяев — самый известный на Западе русский философ, творец «нового религиозного сознания» — дал свой оригинальный и глубокий взгляд на историческую судьбу России, свое понимание истоков и трагедии русского коммунизма.

Что же он противопоставил коммунизму? Духовную свободу и свободную личность — как высшие ценности. Революция не несет в себе созидательного творческого начала — это голое отрицание, продукт рабского сознания. Социализм — не что иное, как лжерелигия, демонизм, который все вопросы жизни сводит к куску хлеба, порождает убогое и злобное мещанство, принудительное равенство в нищете духа и тела. И освободить человека от внешнего насилия мало — это значит освободить не человека, а зверя, — необходимо реализовать его внутреннюю свободу, которую нельзя купить ни за какие блага мира.

Презиравший политику — «Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком, человеком своей идеи, своего призвания, своего искания истины», — он тем не менее неизменно оказывался в эпицентре политической борьбы — именно потому, что публично, во весь голос решал вечною русскую загадку: как быть свободным в мире несвободы. И голос этот вызывал мощное эхо, к нему прислушивались все: и друзья, и враги, — кто с горячей симпатией, кто с нескрываемой злобой. Голос этот проникал к людям даже тогда, когда ему был закрыт доступ в советскую печать, — через неподцензурную литературу, летучие списки самиздата.

Изучая следственное досье другого выдающегося философа серебряного века, Павла Флоренского, — дело «Партии Возрождения России», я обнаружил там рядом с его собствен-

норучными показаниями рукописные копии двух статей Бердяева. Как они туда попали? После обыска у одного из множества арестованных по этому делу, ничем не примечательного человека, единственным преступлением которого была вера в Бога. Переписанные кем-то из эмигрантской газеты, бердяевские статьи — о судьбе русской Церкви — передавались из рук в руки, пока не легли на стол следователя. И стали главной уликой — несчастный хранитель их поплатился своей свободой.

Сейчас мы видим, что русский культурный ренессанс — духовная родина Бердяева — был не чем иным, как возможной, увы, несбывшейся альтернативой русскому коммунизму, отбросившему страну в варварство, ставшему национальной катастрофой. Вот почему советская власть запретила книги философа и заклеила его идеи презрительной кличкой «беллибердяевщина», вот почему в наши дни, когда после краха коммунизма образовался духовный вакуум, мысль его воскресла в сознании и обрела второе дыхание.

Сочинения Николая Бердяева — плоды не только холодного ума, но и пламенного сердца: он пережил революцию как личное, внутреннее событие, случившееся и с его народом, и с ним самим.

В первые годы революции, в пору разрухи и голода, власть выделила двенадцати самым известным писателям академический паек, среди этих тут же в шутку окрещенных «бессмертными» счастливиц был и Бердяев. Охранная грамота позволяла ему еще иметь и квартиру, и рабочий кабинет, и библиотеку. И каждую неделю в его гостиной — пожалуй, это был единственный такой дом в Москве — собирались люди разных убеждений, от крайне левых до крайне правых, и вели дискуссии на самые разнообразные злободневные и классические темы. Как-то газета «Известия» опубликовала сообщение-донос об одном из таких собраний, где обсуждалось, Антихрист ли Ленин; пришли к выводу: нет, не Антихрист, а лишь предшественник Антихриста...

В то время как революция объявила войну духу, отнеся его к контрреволюции, Бердяев основал в Москве Вольную академию духовной культуры, куда стекались со всей Москвы голодные, замерзшие, но жаждущие высокого общения люди. В те

годы революционной стихии еще существовала относительная терпимость и свобода мнений, были возможны и критика, и полемика, еще верилось во внутреннее перерождение коммунизма. Но в первом ряду среди слушателей неизменно сидел агент ЧК.

И «охранная грамота» не оградила профессора от других опасностей и тягот революционного времени...

Откроем лубянокое досье Бердяева.

Первая встреча с Чрезвычайкой случилась у Бердяева в ночь с 18 на 19 февраля 1920 года.

Свидетельство о ней — документы, сохранившиеся в лубяном досье. Восстановить это событие помогут также воспоминания о тех злополучных днях самого философа и его свояченицы — Евгении Рапп.

Утро 18 февраля началось для Бердяева очень рано: он был вызван по предписанию властей на принудительные работы. Еще затемно собрали таких же, как он, «буржуев» по указанному адресу, в каком-то мрачном закуте, чуть освещенном керосиновой лампой, после переклички по номерам построили в колонну и с конвоем солдат, под злые окрики, погнали за город. Стоял лютей мороз — больше тридцати градусов. Бердяева лихорадило: накануне он простудился и сейчас еле держался на ногах. Дотащились до какого-то вокзала, там мужчинам всучили тяжелые ломы — очищать ото льда и снега железнодорожный путь; женщины грузили глыбы в вагон. Работали до сумерек, без еды, лишь в конце получили по куску черного хлеба...

Была уже ночь, когда Бердяев, совершенно измученный, с высокой температурой, добрался наконец до дома. И только улегся в постель, едва согрелся — домашние принесли ему в спальню железную печку, которую топили старинной мебелью, — только задремал, как вдруг входная дверь затряслась от оглушительных ударов.

— Здесь квартира Бердяева? — На пороге стоял чекист с вооруженными солдатами.

Ордер на арест в архивной папке называет имя этого человека — комиссар ВЧК Н. Педан, подписал же документ председатель Особого отдела ВЧК Менжинский.

— Не стоит делать обыск, — сказал Бердяев. — Я противник большевиков и никогда своих мыслей не скрывал. Вы не найдете в бумагах ничего, что бы я ни говорил открыто...

Тем не менее обыск был произведен со всей тщательностью и продолжался до рассвета. Изъяли: рукописи, переписку, лекции, несколько журналов и газет и две печати: каучковую — Вольной академии духовной культуры и сургучную — с гербом дворянского рода Бердяевых.

Что же касается разговора с философом, его комиссар тоже не оставил без внимания. Приложил к ордеру специальный «доклад»:

«При аресте гр. Бердяева он заявил, между прочим, что он “идейный противник идеализации коммунизма”, и пояснил, что это происходит оттого, что он, Бердяев, очень религиозный, а коммунизм “материален” (его выражение)».

На Лубянку арестованного вели пешком — через весь центр заиндевевшей, замороженной Москвы, под испуганными взглядами прохожих: транспорта у советской власти на всех ее бесчисленных врагов не хватало.

В задании чекистам на операцию указано дело, по которому привлекался Бердяев, — дело «Тактического центра».

В скором времени в Москве выйдет «Красная книга ВЧК» — материалы о контрреволюционных организациях первых лет советской власти, успешно разгромленных доблестными чекистами. «Тактическому центру» посвящен почти весь второй том этого знаменитого издания. Судьба книги драматична: ее составители были репрессированы, а сама она изъята из библиотек и уничтожена. Уцелело лишь несколько экземпляров в закрытых хранилищах. Преследовалась правда?

Все оказалось еще сложнее. Внимательное знакомство в лубянском архиве с делом «Тактического центра» в тридцати четырех томах — а именно на его основе составлялся второй том «Красной книги» — приводит к неожиданному открытию: эта гонимая книга — еще одна фальсификация в советской истории, еще одна довольно искусно сфабрикованная ложь, возродившаяся, кстати сказать, в нашей печати и до сих пор не разоблаченная. «Красную книгу ВЧК» извлекли из спецхранов и перепечатали в первоизданном виде

во времена перестройки. Старую ложь продолжают тиражировать!

Что же сохранили архивы, о чем умолчала эта самая «Красная книга»?

Мало того, что в нее включены не все, а только тенденциозно подобранные материалы следствия, но и те, что вошли, сокращены с умыслом. Был тщательно сокрыт и сам иезуитский механизм чекистской работы: угрозы и обман, провокационная роль следователей и предательская — некоторых из арестованных. Запугать расстрелом и арестом близких, поссорить между собой, запутать — такой была тактика чекистов. Найти слабое звено, выявить предателя, сделать послушным орудием своей воли и через него слепить дело, раздув его до исполинских масштабов очередной великой победы — чтобы было чем отчитаться перед вождями и гордиться перед потомками.

Кто же были эти страшные враги, на которых обрушился карающий меч революции? Профессура, юристы, историки, публицисты, специалисты по народному образованию и сельскому хозяйству, дипломаты, экономисты, представители различных партий, в том числе и социалисты, и беспартийные, — одним словом, интеллигенция. Ну да, почти все они были из дворянства, объявленного классово враждебным нынешнему гегемону, но так уж исторически сложилось — сам вождь большевиков, как известно, происходил из дворян.

Конечно, можно найти среди этих людей, переполнивших Внутреннюю тюрьму Лубянки, и тех, кто носил оружие и помышлял военным путем свергнуть советскую власть, но таких раз-два — и обчелся. В основном же это были просто патриоты, неравнодушные к судьбам родины, активные общественные деятели, мыслящие люди, но люди — и н а к о м ы с л я щ и е, оппозиционно настроенные, несогласные в чем-то с новым режимом, основанном на несправии и кровавом терроре. И собирались, кооперировались они для того, чтобы сообща, в горячих спорах найти пути спасения России, лучшее будущее. Ведь иллюзия свободы еще не улетучилась в умах. Шла Гражданская война, большевистская диктатура держалась на волоске и, казалось, вот-вот падет. Исход был не предрешен.

Но Кремль и Лубянка спешили атаковать первыми, нанес-ти упреждающий удар, пока духовная оппозиция не созрела, не обрела силы для сопротивления.

Истинную цель карательной акции большевиков раскроет вскоре на заседании Верховного Ревтрибунала государствен-ный обвинитель Крыленко:

«...В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции... Русская интел-лигенция, войдя в горнило Революции с лозунгами народо-властия, вышла из нее союзником черных генералов, наем-ным и послушным агентом европейского империализма. Ин-теллигенция попрала свои знамена и забросала их грязью...»

Николай Бердяев числится среди обвиняемых в списке «Совета общественных деятелей», якобы входившего в «Так-тический центр». Из материалов дела явствует, что он был арестован по показаниям только одного человека, лично с ним даже не знакомого, — «специалиста по государственному устройству» Николая Николаевича Виноградского, бывшего в «Совете общественных деятелей» на технической должнос-ти, чем-то вроде секретаря. Этот «специалист» выступает в деле как доносчик и провокатор: запуганный чекистами, под страхом смерти, он по поручению руководившего этой опе-рацией особого уполномоченного ВЧК Якова Агранова на-строчил подробнейшие полуфантастические «очерки», в ко-торых дал обвинительные характеристики на десятки людей — разумеется, по подсказке, а то и под диктовку самих чекис-тов. Больше того, его специально подсаживали в камеры к другим арестованным, и он, влезая к ним в доверие, потом докладывал следователям.

В «Красной книге ВЧК» Бердяев проходит лишь тенью.

16 февраля, за два дня до его ареста, Виноградский в пока-заниях (где он прозрачно раскрывает свою цель: «оправдать доверие» чекистов) пишет: «...В числе лиц, входивших в со-став “Совета общественных деятелей” и посещавших его за-седания, был еще... профессор-философ Бердяев (Николай Иванович или обратно)...»

Такова степень знакомства — не знает даже имени-от-чества! Впрочем, для ареста этого оказалось достаточно. А потом, когда дело уже распухнет и антисоветский центр

обретет в стенах Лубянки устрашающие очертания, Виноградский уточнит, дополнит, даст более развернутую характеристику:

«Бердяев Николай Александрович. Один из учредителей “Московских совещаний” и “Совета общественных деятелей”. Как мыслитель, философ, а по убеждениям — определенный монархист, был идеологом монархической идеи. С другой стороны, давал идеологическое обоснование революции и различных явлений революции, в том числе коммунистического течения».

Вот и пойми тут, кто он, этот самый Бердяев!

Большого о нем из «Красной книги» выжать нельзя.

Следственное дело на этот счет куда словоохотливей. Не включили составители-комиссары в книгу, например, такой пассаж из заявления другого арестанта, дипломата и публициста Валерия Муравьева:

«Все жили, не исключая и коммунистов, изо дня в день в ожидании катастрофы... Я сам часто спрашивал себя, правилен ли мой диагноз и верно ли мнение, что русский народ найдет в себе силы для того, чтобы выйти собственными силами из состояния развала... Мне значительно помог в этом смысле ряд собраний самого различного состава и характера, в которых в различных постановках, но всегда с очень широкой и возвышенной философско-религиозной точки зрения рассматривались вопросы о будущем человечества вообще и в частности о будущем России. Большое влияние на меня оказало общение с некоторыми выдающимися мыслителями, как, например, Н. Бердяев и И. А. Ильин, которые всегда стремились вынести свои суждения за рамки современности и даже вообще политики и высказываться с точки зрения конечных проблем человеческой мысли и человеческой культуры. Расходясь в очень многом с этими философами и вообще с современными русскими мыслителями, я тем не менее многое у них почерпнул, и оно помогло мне выработать более или менее определенное мирозерцание...»

Тюремное заточение Бердяева оборвалось так же внезапно, как и началось. Однажды в полночь его повели на допрос —

по бесконечному лабиринту мрачных коридоров и лестниц. Вдруг — ковровая дорожка, распахнулась дверь — в залитый ярким светом огромный кабинет со шкурой белого медведя, распластанной на полу. У письменного стола стоял высокий военный с красной звездой на груди. Острая борода, серые печальные глаза. Вежливо пригласил сесть, представился:

— Дзержинский.

Бердяеву, единственному из всех арестованных по этому делу, выпала честь быть допрошенным самим создателем ЧК, грозой контрреволюции. Больше того, на допрос соизволил приехать из Кремля еще один вождь большевиков — Лев Каменев; тут же был и Менжинский, отправивший Бердяева за решетку (философ знал немного этого человека, когда-то, до революции, тот мелькал в литературных кругах Петербурга как начинающий беллетрист).

Словом, встреча была опасная и торжественная, достойная того, чтобы войти в историю. Много лет спустя Бердяев опишет ее в своей философской автобиографии «Самопознание». «Дзержинский произвел на меня впечатление человека вполне убежденного и искреннего, — вспомнит он. — Это был фанатик... В нем было что-то жуткое... В прошлом он хотел стать католическим монахом, и свою фанатическую веру он перенес на коммунизм».

Философ был настроен по-боевому и решил атаковать:

— Имейте в виду, я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю.

— Мы этого и ждем от вас, — заметил Дзержинский.

И Бердяев начал говорить. Речь его длилась, как лекция, — академический час. Подробно объяснил, по каким основаниям, религиозным, философским и моральным, он — противник коммунизма, хотя и не политический человек.

Слушали внимательно. Лишь изредка Дзержинский вставлял свои замечания. Такую, например, многозначительную фразу:

— Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни и, наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни...

Уж не себя ли он имел в виду в противовес своему собеседнику? На вопросы о конкретных людях Бердяев говорить отказался.

— Я вас сейчас освобожу, — вдруг сказал Дзержинский. — Но вам нельзя уезжать из Москвы без разрешения, и повернулся к Менжинскому:

— Уже поздно, а у нас процветает бандитизм. Нельзя ли отправить гражданина Бердяева на автомобиле?

Автомобиля не было, нашлась мотоциклетка. Под ее оглушительный рев философ и был благополучно доставлен домой с куда большим комфортом, чем изъят оттуда.

Что спасло Бердяева? Решительность и прямота? Или Дзержинский убедился, что за его узником никаких особых грехов нет и он попал в ЧК по ошибке? И так высоко витает, что безвреден на земле? А может быть, фанатику революции импонировал такой же бескорыстный фанатизм — но в другой вере?

Жаль, что этот допрос не был оформлен и не вошел в дело, мы бы получили сейчас важный документ. Но для самого философа, может, и к счастью, что не были запротолкированы его откровения. К суду он привлечен не был, хотя и присутствовал на нем в качестве наблюдателя и определил его как «инсценировку». Этот театр, впрочем, грозил отнюдь не театральной казнью многим его хорошим знакомым, и только в последнюю минуту смертный приговор был смягчен: четверо из подсудимых получили по десять лет тюрьмы, девять заключены в концлагерь, остальные выпущены на волю. И судьи, и прокурор, кажется, хорошо понимали, что за «опаснейшие преступники» перед ними. И когда адвокаты, перебивая друг друга, устремлялись к судейскому столу с кипами трудов своих подзащитных: «Мой написал одиннадцать томов!» — «А мой — восемнадцать!» — зал оглашался невольным смехом, и вместе со всеми хохотал прокурор Крыленко. Это ничуть не мешало ему, однако, клокотать гневом в своей обвинительной речи:

— И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили бы пальцем о палец — все равно в такой момент даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы советскую власть, являются контрреволюционным актом. Во время гражданской войны преступно не только действие — преступно само бездействие...

Прошло два года. Стояло чудесное лето. Бердяев в первый раз после революции выехал с семьей на дачу и теперь наслаждался деревенской природой. Деревянный, пахнущий смолой дом. Серьезные занятия перемежаются походами за ягодами и грибами. По вечерам — самовар на балкончике, чай с вареньем, наплывающий с реки туман, безмятежные, долгие закаты. Ничто не предвещало новой беды.

Однажды — 16 августа — он единственный раз за все лето отправился на свою московскую квартиру, и именно в эту ночь к нему снова нагрянули неожиданные гости с винтовками.

Другой чекист, на сей раз некий М. Соколов, другой номер ордера, другая подпись на нем — заместитель председателя ГПУ Уншлихт... А в остальном знакомо: затяжной обыск («операция начата в 1 час ночи... окончена в 5 ч. 10 мин. утра»), изъятие бумаг («переписка на 26 л. и переписка в уничтоженном виде») (видимо, разорванная. — *В. Ш.*) и проторенная дорога из арбатского переуллка на Лубянку. Правда, теперь гепэушники уже располагали автомобилем для транспортировки арестанта.

В комендатуре прощупали одежду — и в камеру. Швырнули в дверь выдавший виды матрас с сеном — устраивайте ложе сами! Переполнено, то и дело вводят новых арестантов. Знакомые все лица — профессора, литераторы. Как, и вы? И вы тоже? Недоумевают: за что?.. Могли вспомнить анекдот, гулявший тогда по Москве, об анкете, которую якобы все должны были заполнить, с вопросом: «Были ли вы арестованы, и если нет, то почему?»...

18 августа датируется протокол допроса, учиненного помощником начальника 4-го отделения Секретного отдела Бахваловым.

Сперва, как положено, — обязательная анкета; ответы написаны рукой Бердяева. К сожалению, почерк философа столь трудно разборчив, что некоторые слова не прочитываются — эти места отмечаем многоточиями в угловых скобках.

«Бердяев Николай Александрович, 48 л., бывший дворянин г. Киева.

Местожительство — г. Москва, Бол. Власьевский, д. 14, кв. 3.

Род занятий — писатель и ученый.

Семейное положение — женат.

Имущественное положение — собственности не имею.

Партийность — беспартийный.

Политические убеждения — являюсь сторонником христианской общественности, основанной на христианской свободе, христианском братстве и христианских верованиях, которые не угнетаются ни одной партией, т. е. одинаково неслиянны ни с буржуазным обществом, ни с коммунизмом.

Образование: общее — университетское высшее, специальное — философия.

Чем занимался и где служил:

а) до войны 1914 г. — нигде не служил и занимался литературным трудом;

б) до февральской революции 1917 г. — тоже нигде не служил и занимался литературной деятельностью;

в) до октябрьской революции 1917 г. — тоже нигде не служил;

г) с октябрьской революции до ареста — служил в Главном Архивном Управлении, в 1920 г. был избран преподавателем Московского Государственного Университета, читал лекции в Государственном Институте Слова, состоял действительным членом Российской Академии Художественных наук.

Сведения о прежней судимости — в 1915 г. проходил по литературно-политическому делу, за статью против Синода, обвинялся по статье богохульство. В 1920 г. был привлечен к следствию ВЧК, но от суда отстранен <...> С 1900 по 1903 г. был в ссылке в Вологде по политическому делу».

Дальше в протоколе идут показания по существу дела. Вопросы записаны следователем, ответы — собственноручно Бердяевым.

« В о п р о с . Скажите, гр-н Бердяев, ваши взгляды на структуру Советской власти и на систему пролетарского государства.

О т в е т . По убеждениям своим не могу стать на классовую точку зрения и одинаково считаю узкой, ограниченной и своекорыстной и идеологию дворянскую, и идеологию крестьянскую, и идеологию пролетариата, и идеологию буржуазии. Стою на точке зрения человека и человечества, которым должны подчиняться все иные классовые организации и

партии. Свою собственную идеологию считаю аристократичной, но не в сословном смысле, а в смысле господства лучшего, наиболее умного, талантливого, образованного, благородного. Демократию считаю ошибочной потому, что она стоит на точке зрения господства большинства... Впрочем, возрождение общества и <...> правды может быть основано на духовном возрождении человека и народа. Не верю в <...> военные и материальные пути возрождения. Думаю, что в России нет пролетарского государства, потому что большинство русского народа крестьяне.

В о п р о с . Скажите ваши взгляды на задачи интеллигенции и так называемой «общественности».

О т в е т . Думаю, что задачи интеллигенции во всех сферах культуры и общественности — отстаивать одухотворяющее начало, подчинив материальное начало идее духовной культуры, быть исключительно научным, нравственным, эстетическим судьей. Думаю, что должно быть взаимодействие и сотрудничество элементов общественности и элементов государства и власти, без <...> одного элемента другим.

В о п р о с . Скажите ваше отношение к таким методам борьбы с Советской властью, как забастовка профессоров.

О т в е т . Я недостаточно знаю этот факт и не могу окончательно судить в этом деле. Если профессора борются за интересы науки и знания, то это я считаю правомерным как борьбу, если же стоят исключительно на экономической точке зрения, то считаю ошибочным.

В о п р о с . Скажите ваше отношение к сменовеховцам, савинковцам¹⁹ и к процессу партии социалистов-революционеров.

О т в е т . К сменовеховцам отношусь скорее отрицательно, читал только сборник, и потому, что в нем слишком много фраз и недостает знания русской жизни. Согласен с критичным отношением к эмиграции и заграничным попыткам изменить насильственно ход русской жизни. К попыткам савинковцев отношусь отрицательно. За процессом социалистов-революционеров не

¹⁹ Сменовеховцы — по сборнику «Смена вех» — интеллигенты-эмигранты, сторонники сотрудничества с советской властью. Савинковцы — соратники Б. В. Савинкова, главы антисоветского Народного Союза защиты Родины и Свободы.

следил. Считаю ошибочным суровый приговор в отношении социалистов-революционеров...

В о п р о с . Скажите ваши взгляды на политику Советской власти в области высшей школы и отношение к реформе ея.

О т в е т . Не сочувствую политике Советской власти относительно высшей школы, поскольку она нарушает свободу науки и преподавания и стесняет свободу прежней философии.

В о п р о с . Скажите ваши взгляды на перспективы русской эмиграции за границей.

О т в е т . Положение белой части эмиграции считаю тяжелым, и ее точка зрения, насколько мне известно, основана на незнании и непонимании хода русской жизни».

В конце допроса Бердяев уточнил свое отношение к партийности:

«Отношусь отрицательно к партийности и никогда ни к каким партиям не принадлежал и принадлежать не буду. Ни одна из существующих и существовавших партий моего сочувствия не вызывает».

На следующий день Бахвалов снова вызвал своего подследственного и объявил ему ошеломляющую новость: решением ГПУ он за антисоветскую деятельность высылается за границу. «Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска, — вспоминал Бердяев. — Я не хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом...»

История изгнания интеллигенции из большевистской России мало исследована и еще ждет своего летописца. Поэтому здесь важен каждый факт, любой новый документ.

Содержимое архивной папки позволяет теперь точно восстановить всю процедуру этой уникальной акции.

Сначала Бахвалов показал своему подопечному постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения, обязательное в каждом следственном производстве. Бердяев запротестовал и, верный своим принципам, зафиксировал протест на бумаге:

«...Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого... прочел и не признаю себя виновным в том, что занимался антисоветской деятельностью, и особенно не считаю себя виновным в том, что в момент военных затруднений для РСФСР занимался контрреволюционной деятельностью».

— Гражданин Бердяев, — объяснил ему следователь, — это ничего не меняет. Ваша судьба уже решена. Вам надо только написать заявление о выезде за границу. Об остальном позаботится ГПУ.

И Бердяев написал:

«В Коллегию ГПУ

Заявление

Согласно предложению 4 отделения СО ГПУ о высылке меня за границу прошу Коллегию ГПУ разрешить мой выезд за границу на свой счет с семьей, состоящей из следующих лиц: 1) жены моей Лидии Юдифовны Рапп-Бердяевой, 48 лет, 2) сестры ее Евгении Юдифовны Рапп, всегда проживающей с нами, 46 лет, и 3) матери жены Ирины Васильевны Трушевой, 67 лет».

В тот же день был отпечатан еще один, итоговый документ, подводящий черту под всей жизнью Бердяева на родине:

«Заключение

1922 года, августа 19 дня. Я, сотрудник 4 отделения СО ГПУ Бахвалов, рассмотрел дело... о Бердяеве Николае Александровиче... нашел следующее:

С момента октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР Бердяев свою контрреволюционную деятельность усиливал. Все это подтверждается имеющимся в деле агентурным материалом (единственный материал в деле, который можно назвать «агентурным», — это все то же высосанное из пальца смехотворное показание Виноградского двухгодичной давности. — В. Ш.).

А посему, на основании п. 2 лит. Е положения о ГПУ от 6.2 с. г., в целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности Бердяева Николая Александровича полагаю: его выслать из пределов РСФСР за границу БЕССРОЧНО.

Принимая же во внимание заявление, поданное в Коллегию ГПУ гражданином Бердяевым с просьбой разрешить ему выезд за границу за свой счет, — освободить его для устройства личных и служебных дел на 7 дней с обязательством по истечении указанного срока явиться в ГПУ и немедленно после явки выехать за границу».

Внизу кроме подписи Бахвалова имена вышестоящих чекистов: Решетов, Самсонов, Уншлихт.

Но и на этом бумаготворчество не закончилось. Бердяев должен был дать две подписки.

«Подписка

Дана сия мною, гражданином Бердяевым Н. А., СО ГПУ в том, что обязуюсь: 1) выехать за границу согласно решению Коллегии ГПУ за свой счет, 2) в течение семи дней после освобождения ликвидировать все свои личные и служебные дела и получить необходимые для выезда за границу документы, 3) по истечении семи дней обязуюсь явиться в СО ГПУ к начальнику 4 отделения т. Решетову. Мне объявлено, что неявка в указанный срок будет рассматриваться как побег из-под стражи со всеми вытекающими последствиями, в чем и подписуюсь».

И еще:

«Подписка

Дана сия мною, гражданином Бердяевым Н. А., Государственному Политическому Управлению в том, что обязуюсь не возвращаться на территорию РСФСР без разрешения органов Советской власти.

Статья 71-я Уголовного кодекса РСФСР, карающая за самовольное возвращение в пределы РСФСР высшей мерой наказания, мне объявлена, в чем и подписуюсь».

Убийственные документы! Вот вам семь дней, соберите манатки, найдите себе место на земле — и к нам, для послед-

него «прости». Да не вздумайте прятаться: все равно поймаем и — по законам революционного времени — отпавим уже не за границу, а куда Макар телят не гонял или на тот свет. Убирайтесь, а сунетесь обратно — пуля в лоб...

Бердяева продержали в тюрьме еще два дня, до официального постановления Коллегии ГПУ о высылке, и отпустили домой — собираться в дальнюю дорогу.

Подобную процедуру проходили тогда на Лубянке десятки людей мысли и пера, всем им была уготована такая же участь. Из Москвы без суда и следствия, по административному решению ГПУ, высылался цвет русской интеллигенции: философы С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, С. Л. Франк, Ф. А. Степун, Б. П. Вышеславцев; литераторы М. А. Осоргин, Ю. И. Айхенвальд, А. В. Пешехонов, В. Ф. Булгаков; историки А. А. Кизеветтер, А. В. Флоровский, В. А. Мякотин, С. П. Мельгунов; социолог П. А. Сорокин, биолог, ректор Московского университета М. М. Новиков, математик В. В. Стратонов, целая группа экономистов и кооператоров, агрономы, издатели...

К тому времени общественная кампания против них была в самом разгаре. Да чем же все-таки они так провинились? «Те элементы, которых мы выслаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны, — вторит Ленину мастер левацких формулировок Троцкий. — Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов». Так он обосновал акцию в статье-интервью «Превентивное милосердие»: это-де неутоленная жалость к людям заставляет нас выдворить их из страны, чтобы не пришлось в случае кризиса расстреливать...

«Среди выслаемых почти нет крупных имен», — заявляет в расчете на невежд «Правда». И натравливает: «Принятые Советской властью меры будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены со стороны русских рабочих и крестьян, которые с нетерпением ждут, когда наконец эти идеологические врангелевцы и колчаковцы будут выброшены с территории РСФСР...» Газета — рупор партии — предупреждает, что высылка — это только начало, первое предостережение, первый удар хлыстом, за которым неизбежно последуют новые.

С тех пор в стране стал падать престиж интеллигенции, внедрялась мысль о ее врожденной контрреволюционности, пришивался ярлык «врага народа»...

Предстояли еще хлопоты с визой. Немцы залепили советскому правительству дипломатическую оплеуху — отказались дать коллективную визу для всех. Германия — не Сибирь, чтобы в нее ссылать! Вот если русские писатели и ученые лично обратятся за визой, тогда, пожалуйста, окажем гостеприимство. Нужно было раздобыть деньги на дорогу, отобрать необходимые вещи для всей семьи (дозволялся минимум, на человека — одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, две рубахи, одна простыня). Нельзя было брать с собой никаких драгоценностей, даже нательных крестов. И уж неизвестно, сумели ли они обмануть чекистскую бдительность, но, по свидетельству писателя Осоргина, им не разрешили взять с собой ни одной писаной бумажки, ни одной книги. Прощание с родными и близкими, разрушенный быт, потерянные библиотеки. Чувство изъятия из жизни...

Поезд Москва—Петроград. Там опять торопливые встречи-расставания, многочасовая погрузка на немецкий пароход «OberbFgermeister Hacken» — с трапа выкликают имя, вводят по одному в контрольную будку, где суровый чекист читает опрос и унижительный обыск, на ощупь, через платье... Наконец утром 28 сентября отчалили.

После бурных событий наступило затишье. И море было на редкость спокойным, стоял штиль. Спутники Бердяева запомнили, как он прогуливался по палубе в своей широкополой шляпе на черных кудрях, с толстой палкой в руке и в сверкающих галошах. Капитан показал на мачту — там все время пути сидела какая-то одинокая птица:

— Не помню такого. Это необыкновенный знак!

И еще один знак. Изгнанникам дали «Золотую книгу», которая хранилась на пароходе, — для памятных записей именитых пассажиров. Ее украшал рисунок Шаляпина, покинувшего Россию чуть раньше: великий певец изобразил себя голым, со спины, переходящим море вброд. Надпись гласила, что весь мир ему — дом.

Вернуться в свое отечество Николаю Александровичу Бердяеву уже не будет суждено. Он умрет в Кламаре, под Парижем, в 1948 году — знаменитым ученым с мировым именем.

Незадолго до смерти ему приснился сон. Он сидит в экспрессе. Экспресс мчится на родину. Уже открылись глазам широкие русские поля. Вдруг он почувствовал: рядом с ним кто-то есть. Оглянулся — и увидел: в двух шагах стоит Иисус Христос в белой одежде. И он проснулся.

Тайная эпитафия

В ту же роковую ночь с 16 на 17 августа 1922 года в Петрограде был арестован другой философ, доктор истории и доктор богословия, последний свободно избранный ректор университета, любимец студентов Лев Платонович Карсавин.

Сейчас учение Карсавина относят к вершинам русской мысли. Его труды начинают издавать, читают и почитают, они уже питают умы немалою числа людей. Чему же учил этот гонимый мыслитель в своих запретных до недавнего времени писаниях?

Начав как историк европейского средневековья, он, через философию истории, постепенно углубился в чистую метафизику и стал одним из создателей оригинального течения, возникшего в России, — так называемой метафизики всеединства. В основе учения Карсавина лежит философия личности. Цель и смысл человеческой жизни он видит в «лицетворении», то есть в приобщении к полноте божественного бытия, в сотворении себя по образу и подобию Божию. Стать личностью, явить, обрести собственное лицо — а не быть лишь общественным животным, пылинкой истории. «Я познаю весь мир — весь мир становится мною».

Любимое выражение Карсавина — «спирали мысли». Они, эти виртуозные «спирали», вводили его от сухой схоластики. Удивляя своими парадоксами, он писал помимо научных трудов и философских трактатов и лирические книги-медитации о любви и смерти, и стихи, мучился всеми проблемами современности. Особенно волновала его судьба России.

Как раз в год ареста в Петрограде вышла его работа «Восток, Запад и русская идея», в которой он, отмечая народный и творческий характер революции и споря с пессимистами, говорил: «Ожидает или не ожидает нас, русских, великое будущее? Я-то, в противность компетентному мнению русского

писателя А. М. Пешкова, полагаю, что да и что надо его созидать». Но созидание это он видел по-своему, далеко не так, как правители страны — большевистские вожди. В сотворчестве с Богом, а не с Марксом. «Любезный читатель, — взывает он к современникам в другом своем сочинении той поры, — к тебе обращаюсь я в надежде, что ты веришь в Бога, чувствуешь Его веяние и слышишь Его голос, говорящий в душе твоей. И если не обманывается моя надежда, подумаем вместе над записанными мною мыслями...»

«Ученый мракобес!», «Средневековый фанатик!», «Сладкоречивая проповедь поповщины!», «Галиматья!» — обрушиваются на него марксистские критики. «Предвижу скорую для себя неизбежность замолкнуть в нашей печати», — иронически замечает Карсавин в одном из писем летом 1922 года, перед самым арестом.

Его еще видели то на каких-то собраниях, где он изумлял публику своей ученостью и едкими выпадами против властей предрержащих, то гоняющим по широким университетским коридорам на дамском велосипеде, по слухам принадлежавшем некой его почитательнице и музе, а чекисты уже добирали досье на него и его коллег и готовили места в тюремных камерах.

И час пробил. Руководил операцией начальник 1-го спецотделения Секретного отдела Петроградского ГПУ Козловский, исполнял — комиссар Богданов.

После основательного обыска профессора препроводили на Гороховую, 2, в здание ГПУ. Там он «добровольно сдал» ключи от дома и с наивной предусмотрительностью захваченные предметы, которые, по тюремным правилам, представляли опасность: щипцы для колки сахара, десертный металлический нож, чайную серебряную ложку и крючок для застегивания сапог.

Общая камера, куда поместили Карсавина, всю ночь наполнялась новыми узниками и стала напоминать университетскую кафедру. Здесь он увидел своих коллег-философов, профессоров Лапшина и Лосского, директора Института истории искусств графа Зубова и прочих ученых мужей.

На другой день женщина-комиссар, помощник уполномоченного ГПУ Озолина допрашивала арестованного.

«Карсавин Лев Платонович, 39 л., гражданин г. Петрограда, сын актера.

Местожительство — Университетская наб., д. 11, кв. 2.

Род занятий — профессор Петроградского университета.

Семейное положение — женат, трое детей.

Имущественное положение — нет.

Партийность — беспартийный.

Политические убеждения, отношение к Советской власти — лояльное.

Образование: общее — высшее, специальное — профессор по средневековой истории.

Чем занимался и где служил:

а) до войны 1914 г., б) до февральской революции 1917 г., в) до октябрьской революции 1917 г. — профессор в Петербургском университете;

г) с октябрьской революции до ареста — профессор истории Петроградского университета.

Сведения о прежней судимости — не судился и под следствием не был».

В начале допроса Карсавин уточнил свое отношение к советской власти:

«Ни в каких партиях не состоял и не состою. Вполне лояльно отношусь к Советской власти, признавая ее единственною возможною и нужною для настоящего и будущего России, совершенно отрицательно — ко всяким попыткам подорвать ее изнутри или извне. Считаю своею гражданской обязанностью полное и активное сотрудничество с нею, но не разделяю ее программы как коммунистической. Нахожу необходимым, как и высказывался неоднократно, открыто о разногласиях своих с нею заявлять и честно работать в отводимых ею мне и приемлемых моими убеждениями пределах».

Содержимое тоненькой желтой папки — дело Карсавина № 1618 — показывает: вся крупномасштабная акция по изъятию из общества высшего слоя интеллигенции была тщательно спланирована, отработана в деталях и проводилась в обеих столицах по единому шаблону.

Допрос состоял из тех же самых однотипных вопросов, которые были заданы московскому философу, как и всем остальным, подлежащим высылке: отношение к советской власти, взгляд на задачи интеллигенции, отношение к забастовке профессоров, к сменовеховцам, савинковцам и эсерам, к форме высшей школы и к эмиграции. Женщина-комиссар даже не сочла нужным вписать эти вопросы в протокол, поскольку имела на руках спущенный сверху трафарет, так что ответы Карсавина записаны подряд, в результате чего получилась непрерывная речь, резюмирующая его политические взгляды:

«Структуру власти, как власть Советов, признаю в принципе правильной, в частностях сейчас несовершенной, но, несомненно, подлежащей нормальной эволюции изнутри (так у Карсавина. — *В. Ш.*) ее самой. “Пролетарскую” (рабоче-крестьянскую) власть понимаю как власть, выражающую волю народа (огромного большинства населения) и потому, несмотря на все возможные ее ошибки, лучше эту волю выражающую, чем дореволюционная власть.

Задачей интеллигенции считаю активную и честную работу с Советской властью в пределах ее, интеллигенции, убеждений. В том, в чем интеллигенция расходится с идеологией власти, она должна воздерживаться от всякого рода контрреволюционной деятельности, но открыто о своих убеждениях заявлять и “сговариваться”.

К методам борьбы с Советской властью в форме забастовки отношусь отрицательно.

В сменовеховцах различаю три группы: 1) безусловно примкнувших ко всей программе власти — они рано или поздно должны слиться с Коммунистической партией; 2) намеревающихся взять коммунистическую власть сапой, какового метода не одобряю; 3) признавших власть в надежде ее перерождения — этих считаю ошибающимися в том, что не высказывают своей точки зрения с полной ясностью.

К савинковцам отношусь совершенно отрицательно.

К эсерам отношусь отрицательно. Осуждение эсеров рассматриваю как естественное следствие их поведения и позиции политической борьбы с Советской властью.

В реформе высшей школы признаю основные ее принципы в области изменения управления университетами... Вопрос о программах — вопрос технический, но признаю естественным, что власть ставит определенные задания государственной школе.

Эмиграция. Будущее России не в эмиграции. Часть эмиграции, по моему убеждению, вернется и сольется с Россией (как сменовеховцы), часть рассеется на Западе и станет западной, часть некоторое время будет продолжать все более слабеющую борьбу с Советской Россией».

В конце допроса следователь задала Карсавину еще один, дополнительный вопрос — о конфискации у церкви ее имущества и о преследовании священников.

«Изъятие церковных ценностей считаю правом власти, никакое сопротивление которой в данном случае невозможно и недолично. Если ценности идут на помощь голодающим, необходимо кроме пассивной отдачи ценностей еще всемерно активно содействовать той же цели.

О процессе церковников определенного мнения не имею за отсутствием точных данных».

Прочитав постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в контрреволюции, Карсавин написал на обороте: «Настоящее обвинение считаю основанным на недоразумении и противоречащим всей моей общественной деятельности». Тут его реакция совпала с бердявской: виновным себя не признаю!

В этот же день Карсавин узнал и о решении его участи — изгнании из страны. Но свое вынужденное согласие с этим выразил по-своему, весьма оригинально:

«Подписка

Даю обязательство ради удобства общественной работы Советской власти уехать на определенный ею мне срок за границу с семьей и выехать в положенный мне срок. Желательно не менее полутора-двух недель».

Он акцентирует горькую нелепость: покинуть отечество для «удобства... Советской власти»!

Надо отдать должное петроградским ученым — в отличие от москвичей, они проявили солидарность с арестованными

коллегами. На Гороховую полетело ходатайство: Комиссия по улучшению быта ученых в лице заместителя ее председателя профессора А. Пинкевича просила срочно допросить профессора Карсавина и «в случае установления его невиновности освободить из-под стражи».

Бумагу эту пришили к делу и оставили без внимания — тут не до наивных комиссий!

Арестованную профессуру собрали в кучу и, нагруженную узелками и котомками, бросили в трехкилометровый поход, под конвоем, в тюрьму на Шпалерной. И потекли тюремные будни...

Камера — когда-то одиночка, теперь уместившая несколько человек. Лязгающий проворот ключа в двери, днем — двойной, на ночь — тройной, для пушей крепости. Редкие посылки из дома, еще более редкие свидания с женой Лидией (дома у ректора университета три дочери, одна другой меньше: одиннадцатилетняя Марианна, пятилетняя Ирина и Сусанна двух лет). Тюрьму Карсавин переносил тяжело. Особенно выводил его из себя то и дело вспыхивающий среди ночи яркий свет — так стражники контролировали состояние узников после самоубийства одного из них, — даже подал жалобу на эту «утонченную пытку»... Вообще в Петрограде отношение к высылаемым было много суровее, чем в Москве, — недаром северную столицу окрестили тогда «вотчиной Гришки Третьего»: Отрепьев — Распутин — теперь Григорий Зиновьев, председатель Петроградского Совета. В Москве еще соблюдался чекистский политес — стиль Дзержинского, там и в тюрьме меньше держали, и быстрее отправили.

Наконец 24 октября Карсавина освободили, а назавтра, в том же ГПУ, вручили заграничный паспорт и кипу немецких анкет. Заключение по делу слово в слово повторяло подобный документ в досье Бердяева — только имя «преступника» и дата другие.

А 16 ноября от пристани на Васильевском острове отчаливал немецкий пароход «Preussen». Накануне ночью выпал первый снег. В легком тумане, просвеченном солнцем, прощально проплыла панорама набережных: справа — университет, сфинксы, слева — Адмиралтейство, Сенат, Исаакий и Медный всадник — тиран на вздыбленном коне.

И тут, в плавании, Карсавин, верный своей натуре, пытался прикрыть горькие чувства самоиронией: записал в альбом одной дамы, что изгнание — это Божья кара ему за нарушение седьмой заповеди («не прелюбодействуй»), которую ГПУ «по неопытности» смешало со статьей 57-й Уголовного кодекса...

К высланным москвичам прибавились еще несколько десятков именитых питерских «экспульсантов» с семьями (так они себя иронически называли, от французского слова «expulsé» — изгнанник), представителей независимой мысли и независимой печати, профессоров и общественных деятелей, среди которых: философы Н. О. Лосский и И. И. Лапшин, писатели и журналисты Н. М. Волковыский, А. С. Изгоев, А. Б. Петрищев, два проректора университета — юрист А. А. Боголепов и почвовед Б. Н. Одинцов, издатель А. С. Каган, экономист Д. А. Лутохин...

Всего из обеих российских столиц и других городов России и Украины, согласно ежедневным рапортам заместителя председателя ГПУ Уншлихта Ленину (с непременно «коммунистическим приветом» и пожеланием «полного восстановления сил и здоровья»), обрекались на высылку 174 человека. Нескольким из них в результате ходатайств эту кару отменили или задержали. Так, писателю Евгению Замятину, арестованному в одну ночь с Карсавиным, высылка была «временно приостановлена... вследствие ходатайства т. Воронского об оставлении Замятина в России на предмет сотрудничества его в “Красной нови”»...

Для большинства из высланных насильственная эмиграция стала страшным ударом. Не радовался никто, утешались лишь тем, что советская власть протянет недолго и тогда можно будет вернуться домой. Людей изгоняли из собственного отечества противу их воли — такая кара, изумившая всех, неизвестная в царской России, применялась в первый, но, увы, не в последний раз: она повторится и в 60-е годы, уже на нашей памяти. Интеллект, талант — это, пожалуй, единственный товар, который советская власть даром, не скупясь поставляла миру.

У религиозных сектантов есть идея «корабля» — соборности, слияния всех братьев в единой вере. Жить «кораблем» — значит вместе, общим усилием плыть по реке бытия к соединению с Богом. Изгнанием интеллигенции Россия лишилась части разума — «корабль» мудрецов превратился в пароход отвержен-

ных. Философия была разгромлена, она кончилась, уступив место идеологической пародии на нее — марксизму-ленинизму.

Это была ампутация интеллекта, операция на мозге нации, от которой она до сих пор не может оправиться, прийти в себя.

В отличие от Бердяева, Карсавин еще вернется на родину. Но... в тюремном вагоне.

А до этого пройдет типичный для русского эмигранта тяжкий путь — неустроенности, одиночества, безденежья. Однажды пробовал даже наняться статистом на киностудию — способности были наследственные: как-никак сын актера, родной брат знаменитой балерины Тамары Карсавиной, — и режиссер, посмотрев на него, сразу же предложил роль... профессора философии, единственную роль, которую он мог играть в жизни.

Но несмотря на все лишения — непрерывный труд, книги одна за другой, в которых он разовьет свои взгляды, сведет их в стройную систему. И упорное нежелание смириться с изгнанием, постоянное внимание к тому, что творится на родине: «История России совершается там, а не здесь...»

После Берлина и Парижа Карсавин обоснуется в Каунасском университете, и Литва на двадцать лет станет его домом (его даже прозвали «литовским Платоном»). Переживет там войну, вступление немецких, а потом советских войск, и тутто, в «братской семье народов», — новый арест, в 1949 году. На тарабарщине следственной папки: «за принадлежность к контрреволюционной белоэмигрантской организации и антисоветскую агитацию» (последняя заключалась в том, что он демонстративно отказался участвовать в «фарсе выборов без выбора»).

Он еще раз побывает в родном городе. Петербург сделал из него философа. Петроград вытолкнул из себя, изгнал в эмиграцию, а теперь Ленинград отправил этапом в концлагерь Абезь у Полярного круга.

И вот последний из парадоксов Карсавина — здесь, в лагерной больнице, умирая от туберкулеза, он пережил мощный взрыв творчества, написал еще десяток сочинений: венок сонетов и цикл терцин, несколько теологических трактатов и медитаций. Отрезанный от внешнего мира колочей проволокой, стороже-

выми собаками и винтовками охраны, он нашел прямой вертикальный путь в небо — для разговора с Богом. И записывал, и говорил вслух, что только в непосредственном общении с Богом человек из раба становится свободным. Пошла молва о лагерном мудреце, многие незнакомые ему люди приходили для беседы — диковинное зрелище представляла собой эта Платонова академия во тьме полярной ночи! Хотя чему здесь удивляться: духовная опора отверженным нужнее, чем благополучным и сытым. Карсавин обрел среди зеков новых учеников, которые спасли его рукописи и донесли до нас свидетельство о его прощальных днях. Даже кончина его и погребение стали творческим актом, исполненным глубокого философского смысла.

Было это так. Врач-литовец Шимкунас, работавший в лагерной больнице патологоанатомом, пришел к молодому другу и ученику Карсавина Анатолию Ванееву и сказал:

— Здесь хоронят в безымянной могиле, ставят только колышек с номером. Пройдет время, и найти ее будет нельзя. А ведь когда-нибудь о таком человеке вспомнят, начнут его искать...

Врач предложил свой план, как донести до потомков весть о могиле Карсавина: оставить там тайную эпитафию. Ванеев и должен был ее написать.

План был исполнен. В момент вскрытия тела Карсавина врач вложил ему в грудь флакон из темного стекла с плотно завинченной крышкой. Внутри флакона лежал рулончик бумаги. На ней было написано:

«Лев Платонович Карсавин, историк и религиозный мыслитель. В 1882 г. родился в Петербурге. В 1952 г., находясь в заключении в режимном лагере, умер от миллионного туберкулеза. Л. П. Карсавин говорил и писал о Троиственно-едином Боге, который в непостижимости Своей открывает нам Себя, дабы мы через Христа познали в Творце рождающего нас Отца. И о том, что Бог, любовью превозмогая Себя, с нами и в нас страдает нашими страданиями, дабы и мы были в Нем и в единстве Сына Божия обладали полнотой любви и свободы. И о том, что само несовершенство наше и бремя нашей судьбы мы должны опознать как абсолютную цель. Постигая же это, мы уже имеем часть в победе над Смертью через смерть. Прощайте, дорогой учитель. Скорбь разлуки с вами не вмещается в

слова. Но и мы ожидаем свой час в надежде быть там, где скорбь преображена в вечную радость».

На груди у Карсавина лежали два креста: один, свинцовый, — православной веры, данной с рождения, и другой — черный, с миниатюрным распятием, его подарил перед смертью католический священник. Это был символ: Восток и Запад в Карсавине соединились в единой вере. Исполнилось заветное желание Христа на Тайной вечере: «Да будет все едино».

Карсавин учил, что тело и дух неразрывны и даже после смерти связаны таинственной связью. Мы знаем чудовищную участь, которая постигла прах последнего русского царя и его семьи. Знаем, что стало с телом главного цареубийцы — Ленина: мертвец и сегодня будоражит умы в своем мавзолее на Красной площади. «Могила Ленина — колыбель свободы всего человечества», — гласил похоронный плакат 1924 года. Правильней было бы: «Колыбель Ленина — могила свободы...» Многие видят в судьбе останков царя и цареубийцы страшный знак; только тогда придет мир в Россию, когда оба праха обретут покой, будут преданы земле по христианскому обычаю.

Могила Льва Карсавина — далеко в приполярной тундре, среди множества холмиков, на которых не написаны ничьи имена. «Больше всего здесь неба, — вспоминает Анатолий Ванеев. — Ясная голубизна с прозрачно белеющими облачками охватывает вас со всех сторон, красотой небес восполняя скудость земли».

Пройдет тридцать семь лет после смерти Карсавина, и, как и предсказывал патологоанатом, сюда придут люди, для которых это имя небезразлично. Отыщут столбик с табличкой «П-11» (номер захоронения запомнил все тот же Ванеев), отслужат панихиду, установят мемориальную доску. И один из них — Владимир Шаронов — найдет для этого события удивительно точные слова:

«Эта могила среди миллионов и миллионов теперь будет духовно вращать во всю бескрайность боли и скорби, станет местом глубочайшего покаяния. Этого праха недоставало всему духовному строю Севера, где много-много “испытали поругания и побои... терпя недостатки, скорби, озлобления...” (Евр. 11: 36, 37)».

Возникнут проекты переноса праха Карсавина. Последнюю точку в этих сомнениях поставит его дочь Сусанна Львовна, которая напишет из Вильнюса: «Ваш проект об увековечивании памяти отца мне кажется преждевременным. Больше всего я против перенесения его останков в Литву. Он русский, всегда считал себя русским, хоть и любил Литву. Пусть же он лежит там, куда закинула его судьба...»

Дробь человека

Одной из самых замечательных эпох в истории культуры, ренессансом, считал духовную жизнь начала XX века Николай Бердяев: «В эти годы России было послано много даров». «Вместе с тем, — добавлял он, — русскими душами овладели предчувствия надвигающихся катастроф. Поэты видели не только грядущие зори, но и что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир». И дальше он называет имена поэтов-продвидцев: Александр Блок и Андрей Белый.

Андрей Белый — этот псевдоним выбрал себе московский студент Борис Бугаев, начиная свой путь в литературе. Имя символическое, что вполне естественно для одного из основателей и ярких представителей символизма — новаторского и самого значительного течения в поэзии того времени. Конечно же, Андрей Белый при всем своем даре предвидения не мог предполагать, какую опасность таит в себе его имя, что придет час, когда слово «белый» станет равнозначно слову «враг».

1920 год. Измучившись от голода и лишений в революционной Москве, поэт хлопочет о выезде за границу — отказ.

«Вы, сколько Вам о России ни рассказывай, все равно ничего не поймете, — исповедуется он в письме жене, антропософке Асе Тургеневой, жившей тогда за границей. — Ощущение при первых снежинках 19-го, 20-го года, например, что — засыпает, засыпает, засыпает выше головы; засыпает и засыплет — отрезет от всего мира; что вся многомиллионная страна — страна обреченных, что это остров, отрезанный и а в с е г д а... И я, перемогая тьму, давал другим силу переносить тьму... Холод, голод, аресты, тиф, испанка, нервное переутомление сводило вокруг в могилу целые шеренги людей... А я и сказать ниче-

го не мог о том, в каких тяготах мы живем: цензура писем!.. Мы все выглядели оборванцами... Мы поднимали дух в человеке, а этим духом только и отапливались люди... Все, что я писал о Россин, не рассказывай... помни, что за нами, русскими, и за границей следят агенты Чрезвычайной Комиссии».

1921 год. Белый снова подает заявление о выезде, и опять не пускает Чрезвычайка. Доведенный до нервной болезни, он решается на безумный шаг — бежать, но вездесущая Чрезвычайка узнает об этом — план рухнул. А между тем происходят грозные события: умер Александр Блок, прошение которого о лечении за границей тоже не удовлетворили, расстрелян Николай Гумилев. Общественность волнуется: «Пустьте Белого за границу, а то и он, как Блок, умрет!» Пособили друзья — и Белый оказался в Берлине.

Однако заграничная жизнь его не сложилась. Оставленный женой, разочарованный в западных антропософах и в Западе вообще, не принятый за свои широкие взгляды и белой эмиграцией: «Предатель, пособник большевиков!» — он оказался между двух огней и, неприкаянный, не приспособленный к жизни, снова заметался в отчаянии. Спасение пришло в лице другой антропософки (вскоре она станет его женой) — Клавдии Николаевны Васильевой; узнав о бедственном положении Белого, она специально приедет к нему из Москвы и уговорит вернуться на родину. Как же ей удалось добиться этого, ведь всего год назад оттуда были вытолкнуты целых два «философских парохода» с нежелательными для Советов элементами?

А дело в том, что политика большевиков была не столь прямолинейной, как может показаться, и со временем становилась все гибче и хитрей. Изгнав за пределы страны тех интеллигентов, которые считались неисправимыми, власть тут же потянула домой других, которые могли, как ей казалось, при соответствующей перековке пригодиться. Вскоре с Запада покатились «покрасневшие» эмигранты, сменившие вехи, среди них и писатели вроде советского графа Алексея Толстого. Кампанию, получившую название «возвращенчество», не без оснований считали большой интригой, задуманной ГПУ.

Видимо, из-за неладов Белого с эмигрантской публикой и его отнесли к потенциальным если не друзьям, то приятелям

советской власти. Есть свидетельства, что разрешение Васильевой на поездку за ним выдал сам заместитель председателя ГПУ Менжинский, который якобы высоко ценил талант Белого, на самом же деле просто забрасывал сеть на золотую рыбку. Так или иначе, для самого Андрея Белого такой исход в тот момент казался единственным спасением.

Но как только он оказался на родине — ловушка захлопнулась.

1923 год. Большевистский вождь Лев Троцкий, подозрительно оглядывая литературный фронт, метит грозным перстом Андрея Белого: «Самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым». Эта идеологическая резолюция — сигнал для ГПУ: взять на прицел! И взяли, конечно, иначе не объяснить, почему рукописи Белого начинают попадать в руки чекистов и оседают в их бездонных хранилищах.

В архиве Лубянки обнаружилось его известное эссе «Как мы пишем» и считавшиеся пропавшими, до сих пор не опубликованные исследования по истории и философии культуры — «Тема в вариациях: музыка» и «Душа ощущающая и рассуждающая в свете души самопознающей». В этой, последней, рукописи Белый говорит: «Мы — книга, которую сами же написали». Если это так, то попробуем прочитать книгу «Андрей Белый», открыв ее на извлеченных из секретных архивных недр страницах²⁰.

Вот письмо Белого литератору Иванову-Разумнику (псевдоним Разумника Васильевича Иванова) от 24 ноября 1926 года. В нем Белый делится своими переживаниями по поводу работы над вторым томом романа «Москва»:

«Для меня это “пекло”, первый том ободрал меня, а что будет со мной после второго тома, если сумею его написать, и не знаю, боюсь, что таки не сумею: 1) тема его сложнее, ответственнее, 2) условия цензурные почти непреодолеваемы...»

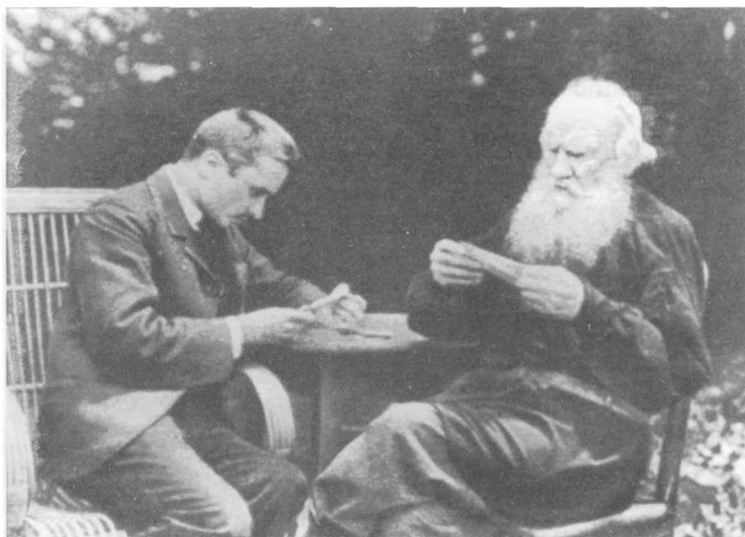
²⁰ Во время работы над книгой «Донос на Сократа» некоторые рукописи А. Белого, обнаруженные в архивах КГБ, были опубликованы в журнале «НЛО» (1995, № 14) и в сборнике «Андрей Белый. Символизм как миропонимание» (М., 1994).

Л. Н. Толстой
с дочерью
Александрой.
1909.



Ясная Поляна. Общий вид усадьбы. 1908.

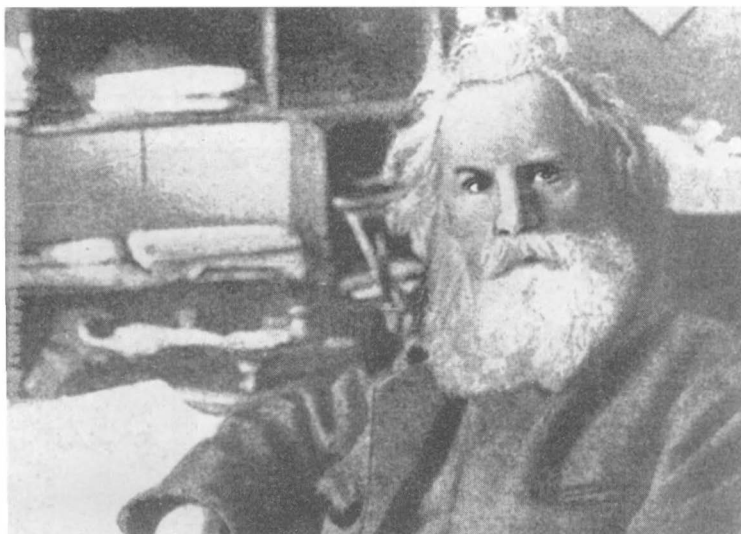




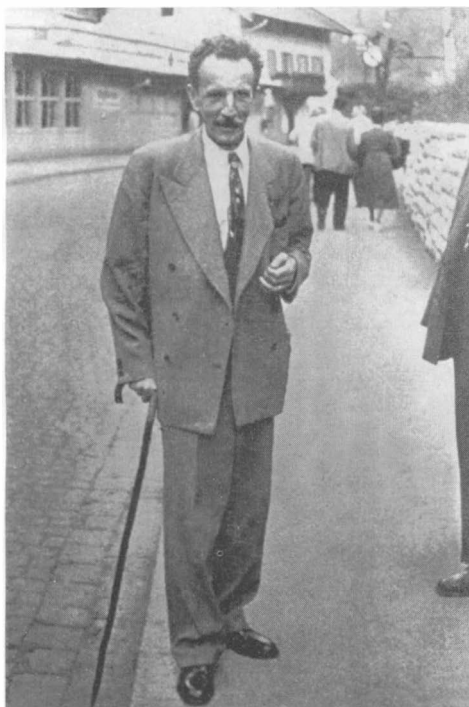
Л. Н. Толстой со своим секретарем В. Ф. Булгаковым. 1910.



В. Г. Чертков.
Ближайший друг
Льва Толстого,
главный «апостол»
его учения.



В. Г. Короленко. Последние годы жизни.



Историк и публицист
С. П. Мельгунов.
В эмиграции.



В. А. Мякотин — литератор
и общественный деятель.



Террорист Б. В. Савинков —
писатель В. Ропшин.



Любовь Дикгоф-Деренталь,
секретарь и возлюбленная
Бориса Савинкова.

Суд над Борисом Савинковым. Москва. 1924.



7.V.25

Внутренняя тюрьма.

-107
192

Гражданин Дзержинский.

Я знаю, что Вы очень занятой человек. Но я все таки Вас прошу уделить мне несколько минут внимания.

Когда меня арестовали, я был уверен, что могут быть только два исхода. Первый, почти несомненный, — меня поставят к стене; второй, — мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, т. е. тюремное заключение, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, “исправлять” же меня не нужно, — меня исправила жизнь. Так и был поставлен вопрос в беседах с гр.р. Менжинским, Артузовым и Пиляром: либо расстреляйте меня, либо дайте возможность работать; я был против вас, теперь я с вами; быть серединка-на-половинку, ни “за”, ни “против”, т. е. сидеть в тюрьме или сделаться обывателем, я не могу.

Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован и что мне дадут возможность работать. Я ждал помилования в ноябре, потом в феврале, потом в апреле. Теперь я узнал, что надо ждать до Партийного Съезда, т. е. до декабря — января... Позвольте быть совершенно откровенным. Я мало верю в эти слова. Разве, например, Съезду Советов достаточно авиатористов, кто бы решил мою участь? Затем же отсрочка до Партийного Съезда? Вероятно, отсрочка

Письмо Б. Савинкова Ф. Дзержинскому.

«7.V.25

Внутренняя тюрьма.

Гражданин Дзержинский,

я знаю, что Вы очень занятой человек. Но я все таки Вас прошу уделить мне несколько минут внимания.

Когда меня арестовали, я был уверен, что могут быть только два исхода. Первый, почти несомненный, — меня поставят к стене; второй, — мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, т. е. тюремное заключение, казались мне исключенным: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, “исправлять” же меня не нужно, — меня исправила жизнь. Так и был поставлен вопрос в беседах с гр.р. Менжинским, Артузовым и Пиляром: либо расстреляйте меня, либо дайте возможность работать; я был против вас, теперь я с вами; быть серединка-на-половинку, ни “за”, ни “против”, т. е. сидеть в тюрьме или сделаться обывателем, я не могу.

Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован и что мне дадут возможность работать. Я ждал помилования в ноябре, потом в январе, потом в феврале, потом в апреле. Теперь я узнал, что надо ждать до Партийного

Эта только широчь...

Итак, вопреки всем беседам и всякому вероятно, третий исход оказался возможным. Я сижу и буду сидеть в тюрьме, — сидеть, когда в искренности моей едва ли останется сомнение и когда я хочу одного: эту искренность доказать на деле.

Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза.

Я помню наш разговор в августе м-це. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло не мало времени. Я многое передумал в тюрьме и, — мне не стыдно сказать, — многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Держинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть и я пригожусь: ведь когда-то и был подпольщиком и боролся за революцию... Если уж Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, ясно и прямо, чтобы я в точности знал свое положение.

С искренним приветом
Б. Савинков

Съезда, т. е. до декабря-января... Позвольте быть совершенно откровенным. Я мало верю в эти слова. Разве, например, Съезд Советов недостаточно авторитетен, чтобы решить мою участь? Зачем же отсрочка до Партийного Съезда? Вероятно, отсрочка эта только предлог...

Итак, вопреки всем беседам и всякому вероятно, третий исход оказался возможным. Я сижу и буду сидеть в тюрьме, — сидеть, когда в искренности моей едва ли останется сомнение и когда я хочу одного: эту искренность доказать на деле.

Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза.

Я помню наш разговор в августе м-це. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло не мало времени. Я многое передумал в тюрьме и, — мне не стыдно сказать, — многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Держинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть и я пригожусь: ведь когда-то и я был подпольщиком и боролся за революцию... Если уж Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, ясно и прямо, чтобы я в точности знал свое положение.

С искренним приветом
Б. Савинков»

Показания по существу дела *)

28. 18
24

Антоний отпустил и погребен в кувале на не-
кая погребен по гробу в ящике погребен по гробу. Нагда
из сурового и сурового в край - весь суд на всех
всех

Николай Бердяев

Допрашивал: Бердяев

19. 11. 1921

Оте 19 августа 1921 года в Москве в присутствии
моя в кувале отбавил в 57 са. Григорий Козлов Р. С. Ж. С. П.
Григорий
на не отпустил на видящая и на не на доказано свои
свои доказано и свои не свои свои
и свои и свои и свои и свои
и свои и свои и свои и свои
и свои и свои и свои и свои

Николай Бердяев

19 августа 1921

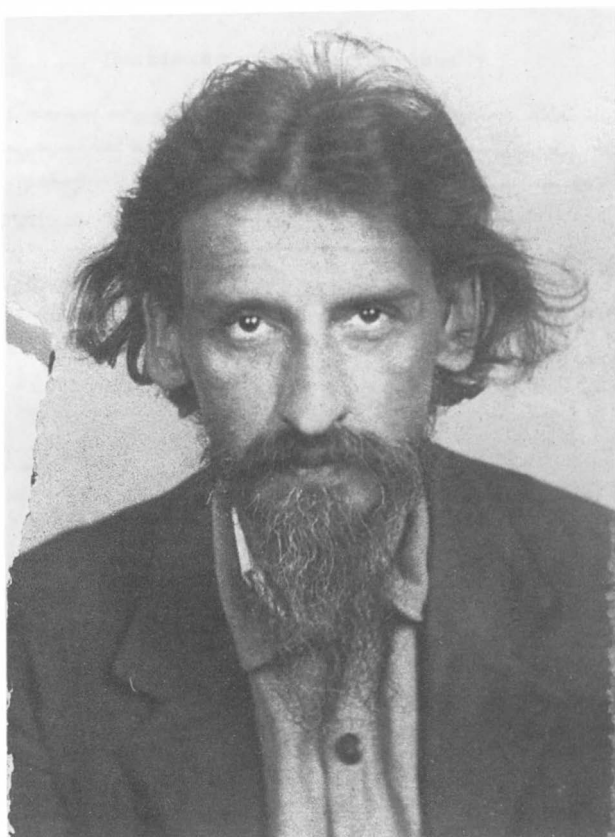


Лист собственноручных показаний Н. Бердяева с его подписью.

Религиозный философ и публицист Н. А. Бердяев.



В доме Н. А. Бердяева. В глубине — Бердяев, за дверью
стоит Марина Цветаева, в центре (склонилась) — жена
Бердяева, с ребенком на коленях — поэтесса Аделаида
Герцык, мальчик у стены — ее сын Даниил Жуковский,
справа — Евгения Герцык.



Философ и историк Л. П. Карсавин.
Фото из следственного дела. 1922.

153

21.

Пора написанной пришла; наступает пора прочтений уже в сердце написанного; нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Но кто не имеет ПИСЬМЪН в сердце и откажется от починения слов аистова /"ЭН - ПИСЬМЪ, НАПИСАННОЕ В СЕРДЦАХ"/, тот меня не поймет.

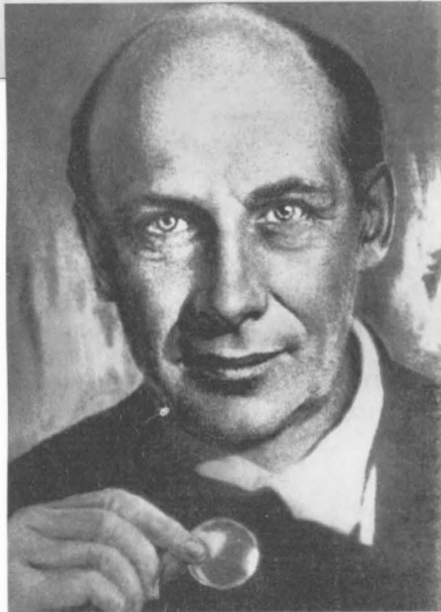
Мне это хорошо ведомо.

Я строго я - кончил: кончил себя в одном отношении, чтобы, может быть, начать, или, вернее, продолжить себя в другом: в символическом.

Кучино. 7 апреля. 282.

Примечание: Написанное не носит характере непрекасной резолюции, а сверкация теми 1928 года, — теми, над которой размышил 10 и 30 лет.

Машинописная копия
книги А. Белого
«Почему я стал
символистом...»
с авторской надписью.



Андрей Белый. 1929.

Блажь имья чарна, аки дуби, лекаше не глечай,
Броси бозна, дилок и бозна.
Вся осветлость обшарена
И тлеющей обшарена
Во потину во востр далак чредима,
Любля воспываеме глаом и пьени дужовне,
Когда же плакала обшарена ена осветле, а дной чрасотой

Разстрига былъ ростомъ мать, глаом имья буди, безбород
Двѣ бородавки — одна на лбу, другая — на носу.
Плечи тонки, а грудь имья жароку,
Мишны толсты, тыло полречено,
Осличьень простъ, но востр далак и обшарена въ речать
И въ научены книжкомъ,
Конскіяristolаси имья, былъ лепшаче омы,
Ходилъ танцую...

Марина Миншека была прѣвѣстнѣльна,
Била лицомъ, а брови имья тонки,
Глаза зыбине, ротъ малъ, подлѣтѣла,
Возрастомъ невелика, колѣнѣна обрѣтѣла,
Любля плясакя и жараша,
И плясакя въ платьѣ стѣла, съ конѣна
Съ камешкы и съ камушкомъ,
Ю паче частникъ камей, любля имья...

Царь Василій былъ, ростомъ мать, а поворотомъ нечаль,
Сти ползельповать, окупъ и неподативъ,
Во книжечъ и китежъ и въ волкъованьяхъ ослонень.

Бояринъ Федоръ — во множествѣ учаратъ —
Роста и полнотѣ былъ средникъ,
Былъ обходительнъ, спалчивъ, нравомъ, владительнъ само,
Вожественное писанье разумать, отчасти,
Но въ замки лелей былъ знателъ,
Царямъ и боярамъ играе, аки на таблѣ,
И роду своему престолъ Московскій выгвалъ...

Тамъ видѣчь ихъ и видѣчь записалъ
Иванъ Михайловичъ Князь Катыравъ — Ростовскій.

23 августа 1919
Коктебель.

Ис'яро Михайловичъ Волошинъ
И. И. Жуковский

Стихи М. Волошина с его подписью, поверх которой надпись: «Изято при обыске 2.VI. Жуковский».



Максимилиан Волошин. Коктебель. 1926—1930.



Н. Д. Ануфриева. Фото из следственного дела. 1936.



Д. Д. Жуковский. Фото из следственного дела. 1936.

РАССЕРЖЕНО
 Писатель
 Михаил Булгаков
 Писатель
 Михаил Булгаков
 Писатель
 Михаил Булгаков

На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.

Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало и вот по какой причине: я занят. Я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из под пера выходят вещи, которые порою по-видимому остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу на чистой совести и так как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик).

22 сентября 1921 г. Михаил Булгаков

Собственноручные показания М. Булгакова с его подписью.

«На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.

Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало и вот по какой причине: я занят. Я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из под пера выходят вещи, которые порою по-видимому остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу на чистой совести и так как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик).

22 сентября 1921 г.

Михаил Булгаков»



М. А. Булгаков. 1926.

«Жоржику Понсову — любимцу. В знак дружбы. М. Булгаков. 1926 г. Москва». Фотография с этой подписью воспроизводится впервые.

204

СТАНИСЛАВСКИИ и ДАНЧЕНКО. Они уже выростают от старости и презирают все. Мне не 200 лет. Если бы я работал в чеховском театре, меня бы подсаживали, вынимали из аккордону, заставляли бы состояться в молодежь, а здесь все так плохо, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол насилие, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где наверное бы помолодел.

РАСКРЕЩЕНО
 Центральный Цех
 Маневрская 8-я часть
 Российской Империи
 Соприисл. — 1/10
 2. 28. 0. 0. 1. 31

Верно :

ПОЧ. ПАТ. С ОТДЕЛЕНИЯ СЮ. ГИТБ: (Шаваров)

4/III/.

РАСКРЕЩЕНО

Агентурно-осведомительная сводка

6-го

от-ния СПО №

№

Ма. 1935 г.

БУЛГАКОВ М. болен какими то нервным расстройством. Он говорит, что не хочет даже ходить рдяя по улицам и его прово-зят даже в театр, днем. Работает много. кончил "Черные души" для кино, "Ремизора" для кино и сейчас заканчивает пьесу для Сетиры. Подписал договор с театром Вахтангова.

Два основные мотива его настроений:

"Меня отчаянно осыпал отказ в прошлом году в виде загр-аппу. Меня определенно травят до сих пор. Я хотел начать снова работу в литературе большой книгой заграничных очерков. Я просто боюсь вытупать сейчас с советскими романами или пове-стями. Если это будет вещь не оптимистическая - меня обвинят в том, что я держусь какой то враждебной позиции. Если это будет вещь бодрая - меня сейчас же обвинят в приспособленчест-и и не поверят. Поэтому я хотел начать с заграничной книжи-она была бы тем истон, по которому мне надо шагать в литерату-ру. Меня не пустили. В этом я вижу недоверие ко мне как к миль-му мошеннику. Я меня новая семья, которую я люблю. Я ждал о женой, а дети оstarались здесь. Неужели би я остался для бы позволить себе какое нибудь безвтактивное выступление, чтобы испортить себе здесь жизнь окончательно. Я даже не верю, что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводят со мной литературные счеы и стараются мне медко папу стить.

Второй мотив:

"Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую наду создали эти два старика

СССР	СССР
Объединенное Государственное Политическое Управление.	Объединенное Государственное Политическое Управление.
Малон ордера № 2287	О р д е р № 2287
Май 7 мая 1926 г.	Май 7 мая 1926 г.
НАЧАЛЬНИКУ ВРУЧНОЙ ТЮРЬМЫ С. Г. П. У.	Выслан сопроводнику Оперативного Отдела С.Г.П.У.
Принимать арестованного	имя <i>Булгаков</i> на производств <i>Сатиры</i>
дело которого находится	<i>Судебное Управление</i>
числом за <i>35</i>	по адресу: <i>Бухарь пер. 2, 9 кв. 4.</i>
Заместитель Председателя С. Г. П. У. Начальник Оперативного Отдела	ПРИМЕЧАНИЕ. Все выданные акты в отношении данного лица подлежат изъятию на всякое время при выезде, посылке для расследования.
РАСПИСКА К ОРДЕРУ № 2287	Зам. Председателя С. Г. П. У. Начальник Оперативного Отдела
арестованного	принял
Начальник вручной тюрьмы	1926 года
ПРИМЕЧАНИЕ. Выданы расписания и расписки в выданных документах.	Справки <i>45</i>

Ордер на обыск М. Булгакова.

← Агентурно-осведомительная сводка на М. Булгакова.

«Булгаков М. болен как-то нервным расстройством. Он говорит, что не может даже ходить один по улицам и его провожают даже в театр, днем. Работает много. Кончил «Мертвые души» для кино и сейчас заканчивает пьесу для Сатиры. Подписал договор с театром Вахтангова.

Два основных мотива его настроений:

«Меня страшно обидел отказ в прошлом году в визе за границу. Меня определенно травят до сих пор. Я хотел начать снова работу в литературе большой книгой заграничных очерков. Я просто боюсь выступать сейчас с советским романом или повестью. Если это будет вещь не оптимистическая — меня обвинят в том, что я держусь какой-то враждебной позиции. Если это будет вещь бодрая — меня сейчас же обвинят в приспособленчестве и не поверят. Поэтому я хотел начать с заграничной книги — она была бы тем мостом, по которому мне надо шагать в литературу. Меня не пустили. В этом я вижу недоверие ко мне как к мелкому мошеннику. У меня новая семья, которую я люблю.

Я ехал с женой, а дети оставались здесь. Неужели бы я остался или бы позволил себе какое-нибудь безтактное выступление, чтобы испортить себе здесь жизнь окончательно. Я даже не верю, что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводят со мной литературные счета и стараются мне мелко пакостить».

Второй мотив:

«Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика Станиславский и Данченко. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы сосязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где наверное бы помолодел».



М. А. Булгаков, только что вернувшийся с допроса на Лубянке (сидит в центре), среди участников спектакля «Дни Турбиных». Московский Художественный театр. 1926.



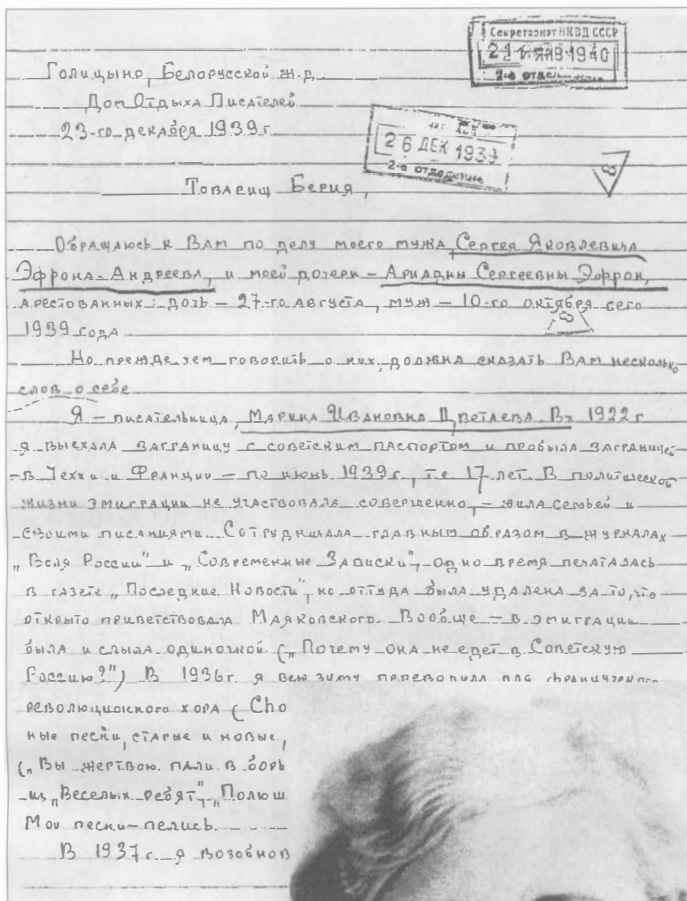
Марина Цветаева и
Сергей Эфрон.
1911.



Последний снимок С. Эфрона с
дочерью Ариадной. *Декабрь 1937.*



Ариадна Эфрон. Фото из следственного дела. 1939.



Письмо М. Цветаевой
Л. Берии. 1939.



Марина Цветаева.
Москва. 1939.



Михаил Кольцов —
«журналист номер
один». Фото из
следственного дела.
1938.



А. Н. Новиков.
Конец 1930-х гг.

Путешествие в 1921-м году

Т. Платонов
1947

Двацов и Кофенки в этот час заседали в Правлении коммуны "Красное Братство", что на вге Новоселовского уезде. Коммуна звалиа бывшее имене Каряжино и теперь обсуждала вопрос приспособления построек под нужды сами селесте - чделов коммуны. Под конец заседания правление приняло предложение Кофенкиа: оставить коммуне самое необходимое - один дом, овра и рату, а остальные два дома и прочие служби отдать в разбор соседние деревне, чтобы линее жучество коммуны не угнетало окружайа крестьян.

Затем писарь коммуны стал писать ордера на утки, выпуская лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" от руки на каждой ордере.

Все взрослые члены коммуны - самь мужчи, пять авиан и четыре девки-завимеки в коммуне определениа должности.

Поминимый перечень должности висел на стене. Все видя, согласно перечня и в порядке, были знати целиа дель обслуживание самх себя; названия же должности изменились в сторону большего уважения к труду, как-то - была заведующая коммунальниа питанием /вероятно, кухарка/, начальниа хитя /токач/, железниа мастер - он же индустриель гербового инвентаря и строительного искусства /возможно был, кузнец, плотник и прочее - в одной чин/, гаварушиа ординар коммуны /староста/, введущиа пропаганда коммуниа в индустриализованиа деревниа, коммунальниа воспитательниа пологаниа и другие обслуживае должности.

Кофенкиа достго спросил председателя

- Ну а как же

Председатель от

- В этот году

- Почему так?

- Нельзя было в

всех от должности

и так все излагали,

(X) Это глава из повести. В начале - Коммуны, как аккордовое Промышленное для обслуживания местной на предмет того - рату и Кофенки - это селесте на ступени, бывший партизан, и полевой боевик.

Машинописный экземпляр рукописи А. Платонова «Путешествие в 1921-м году» с авторской правкой.



Андрей Платонов. 1947.

М. А. Шолохов.



Дипломат и литератор
Г. А. Астахов. Фото из
следственного дела.
1940.

Св. Вешенская.
22 марта 1935.

Дорогой Станислав!

Долго всегда обмачива вероломством,
нейтральностью и пр. официальной
калечбам, ни от - злодей - кохты своих
звучков! В Берлине 2 м-я - 2
своих. Это злодей! 4 дание будет
так, ни собираюсь написать?

А но нури от все задерживая в Москве
ротом не сужки, а поном двинуя доми.
Симу как пухометни, кончи "Викни
доу". За себя передеи мент. Во-П
написал о Валентинех, но 3 мучиб-
ветно вадуржилен оладу. Умилити
мне пофрестовидитали и вшеет
"вчелавленит" пишу роман. Так-то
опо надирки будди!

Всига писал в. Майскому писому,
а беродне ремаи и без прасиов
о Гоч-но. Двесь в Гол, но ружив
кублентно у Золанд-Золанда не
до сие пр. Этоб Сухин сои-Вити-
градоб уютно не кшеи и обделает
св Г-м. Никак не пойму, почему

Письмо М. Шолохова Г. Астахову.



У Черного моря. В дни съемок фильма «Веселые ребята». Сатирик Владимир Масс (слева) и Леонид Утесов. Фото из следственного дела. 1933.



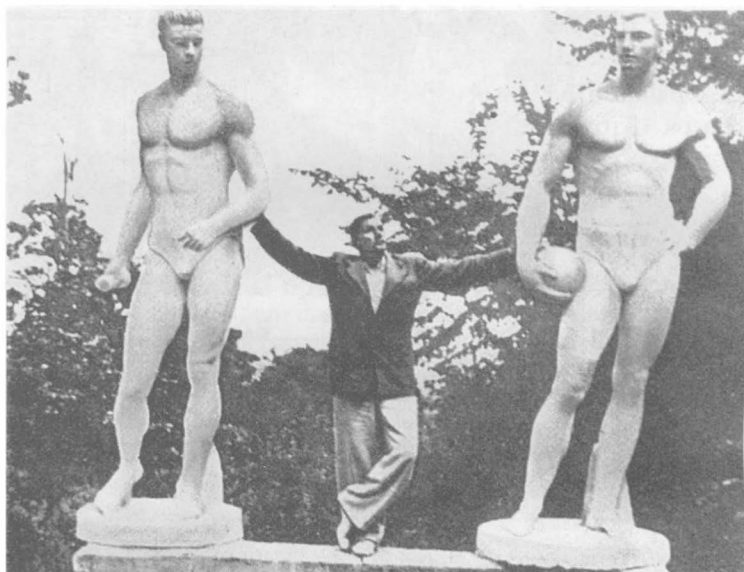
Владимир Масс. Фото из следственного дела. 1933.

Драматург Николай
Эрдман. Фото из
следственного дела. 1933.



Н. Эрдман. Шутливый
список «Кто пойдет за
моим гробом».

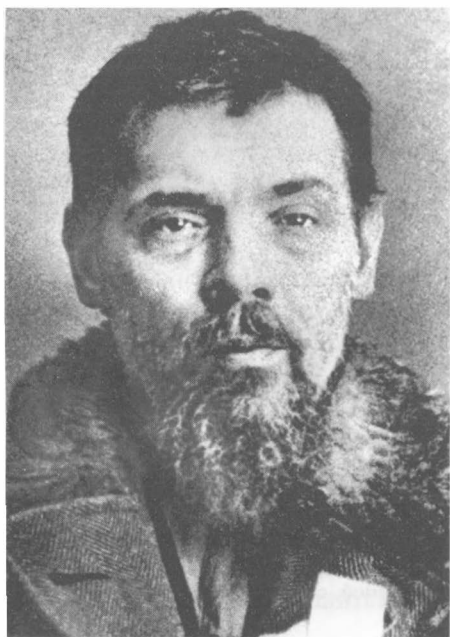
Кто пойдет за моим гробом		
Мейерхольд.	Масс.	Ильинский.
Гарин.	Эйзенштейн.	Ардов.
Александров.	Вольпин.	Барнет.
Марков.	Кирсанов.	Асеев.
Симонов.	Басов.	Бездорогов.
Алексеев.	Ярон.	Лазаренко.
Файко.	Волынский.	Левидов.
Брик.	Алексеев.	Вильнер.
Степанова.	Локшина.	Райх.
Корбут.	Безубых.	Шапкина.
Скуба.	Асеева.	Цветкова.
Свешникова.	Гухт.	Зеленая.
Енингс.	Зернишева.	Зяленая.
Елина.	Масс.	



«Самый остроумный человек» — Николай Эрдман. 1950-е гг.



Андре Мальро, Всеволод Мейерхольд и Борис Пастернак. 1936.



С. П. Бобров. Фото из
следственного дела.
1933.

Дорогой Сережа!

Приходи пожалуйста не сегодня, а завтра (8-го) вечером в 9 часов. Будут Зелинский и Динамов: (ред. Лит. газеты). Принеси, пожалуйста, рукопись "Близлежащей неизвестности", мне очень бы хотелось, чтобы она была при тебе, не предвешая того, будет ли чтение, в тот же ли вечер или в другой, и т. д. Но завести разговор о ней мне бы хотелось при Д., это одно, а другое — не знают Зина и Генр. Густ. — принеси, не забудь, пожалуйста. Приходи непременно с Марией Павловной, если свободна.

Твой Борис

Письмо Б. Пастернака С. Боброву.

«Дорогой Сережа!

Приходи пожалуйста не сегодня, а завтра (8-го) вечером в 9 часов. Будут Зелинский и Динамов: (ред. Лит. газеты). Принеси, пожалуйста, рукопись "Близлежащей неизвестности", мне очень бы хотелось, чтобы она была при тебе, не предвешая того, будет ли чтение, в тот же ли вечер или в другой, и т. д. Но завести разговор о ней мне бы хотелось при Д., это одно, а другое — не знают Зина и Генр. Густ.

Принеси, не забудь, пожалуйста. Приходи непременно с Марией Павловной, если свободна.

Твой Борис»

Белый живет в это время в подмосковном селе Кучине, его только что навестил актер и режиссер, художественный руководитель МХАТ-2 Михаил Чехов, положение которого не лучше:

«Сейчас меня очень, очень волнует М. А. Чехов: 1) измучен до психического расстройства, 2) затерзан интригами внутренними в МХАТе, где одолевает линия халтурная, 3) его в МХАТе начинают систематически травить... 4) на него косятся и “свыше” (о “Дон Кихоте” и речи не может быть, “Смерть Иоанна Грозного” разрешили с условием, чтобы Чехов в пьесе не играл). Положение его таково, что хоть уходить со сцены... М. А. сейчас имеет самый жалкий, затерзанный вид, он едва ли не изотчался... и страшно беспокоюсь, все придумывал, чем бы помочь ему. Он слишком категоричен и абсолютен для изолгавшейся действительности... Живешь в такой атмосфере, что подумываешь о новом Обществе. “Обществе спасения на водах”. Над людьми прямого пути разверзлись просто потопные хляби!..»

Отчаяние Белого все нарастает. Недаром 19 марта 1928 года он решает на всякий случай распорядиться судьбой своего творческого наследия — пишет завещание.

«Завещание Андрея Белого

В случае моей смерти я, озабоченный тем, чтобы бумаги мои, рукописи и неоконченные произведения (труд всей жизни), попали в руки людей меня знающих, — завещаю весь инвентарь бумаг и все дело разборки их и хранения следующим друзьям и близким:

1) Клавдии Николаевне Васильевой, 2) Алексею Сергеевичу Петровскому, 3) Разумнику Васильевичу Иванову, 4) Дмитрию Михайловичу Пинесу (последние двое проживают: Иванов — в Детском Селе, Пинес — в Ленинграде), 5) Петру Никаноровичу Зайцеву (Москва).

Завещаю им, по данному уговору, сортировать, хранить, если понадобится, уничтожать или, наоборот, печатать те или иные следы моей умственной, моральной и литературной жизни, а также передавать этот материал тому или другому литературному архиву. В частности: если в минуту моей смерти вышеназванные лица не окажутся в состоянии исполнить моей

просьбы о хранении и сортировке бумаг либо вследствие их отсутствия, невозможности приехать или даже кончины, то я завещаю весь материал бумаг “Пушкинскому дому” в Ленинграде; ни в каком другом архиве не желал бы я видеть этих бумаг.

Надеюсь, что эта просьба будет уважена представителями власти. Писатель, труды которого не печатались в течение последних лет, имеет право на уважение его воли, а эта воля в том, чтобы ничего не понимающие в моей литературной физиономии не свалили бы в кучу моих бумаг и не погребли бы их, ссыпав куда попало».

Писатель тревожился не напрасно: грозное будущее размечет не только листы его рукописей, но и тех, кому он доверял их. Все душеприказчики его попадут под косу репрессий. Печальная участь — неоднократные тюрьмы, ссылки — постигнет ближайших друзей Андрея Белого: и Иванова-Разумника, и переводчика Петровского, и поэта Зайцева, литературовед Пинес будет расстрелян в 1937 году.

Всем им на следствии помимо прочего инкриминировали «преступную» связь с Белым и его окружением и чтение его сочинений, у всех при обысках отбирались бумаги; возможно, таким образом и оказались на Лубянке завещание Белого и некоторые другие рукописи.

Посмертная воля его не была исполнена. В Пушкинский дом попала лишь часть его наследия, остальное рассеялось по различным архивам, а что-то, как мы видим, люди, «ничего не понимающие» в его «литературной физиономии», действительно «свалили в кучу бумаг и погребли, ссыпав куда попало». И немалую долю наверняка уничтожили, обратили в пепел.

А в 1931 году «потопные хляби» разверзнутся и над головой самого Белого. Лишь недавно были рассекречены документы, позволяющие восстановить этот трагический эпизод.

Он связан с так называемым «Делом антропософов». В начале мая агенты ГПУ заявили на квартиру, где хранился архив Белого (сам он в это время жил в Детском Селе под Ленинградом у Иванова-Разумника), и конфисковали сундук с его рукописями. При обыске в доме Петра Зайцева забрали

пишущую машинку Белого — орудие производства. А очень скоро пришли и за его женой Клавдией Николаевной.

Когда ее уводили, он бился и кричал в бешенстве:

— Почему ее, а не меня?!

«О себе не пишу, — сообщал он в письме Зайцеву, — ибо меня — нет... Как тело без души... После того как взяли ее, сутки лежал трупом; но для нее в будущем надо быть твердым... Письмо разорвите...»

Потом бросился хлопотать — отправил письмо Горькому. Рассказав о потере своего архива — результата десятилетнего труда, — писал: «Полагаю, что материал для изучения моей сложной литературно-идейной физиономии будут штудировать высокообразованные люди... разгляд моего “Дневника” поставит в известность агентов ГПУ, что между мной и Кл. Ник. — нет грани в идеологии; если приехали за ней, почему — не за мной? Если не за мной — при чем здесь изъятие моей литературной работы?»

Нетрудно догадаться, почему ГПУ его не трогало: опасались, что будет слишком много шума.

Горький обнадежил: рукописи непременно вернут.

Белый мчится в Москву, добивается встречи с Аграновым — одним из главарей ГПУ, странного «друга и покровителя» писателей. Шел — волновался: на каком языке разговаривать, до какой откровенности доходить? Вернулся окрыленный: заявление приняли, долгий, взволнованный рассказ внимательно выслушали: и о жене, и о других антропософах, и о сундуке с рукописями, и даже о трудностях с жильем. Рукописи обещали вернуть — дело не в них, а «в тех деликатных мотивах, которые с ними связаны». Дали телефон — для повторного разговора.

Агранов даже очаровал Белого. Сказал об антропософах:

— Вы сами не понимаете, как далеко от них сейчас ушли...

— Он прав! — убеждал себя Белый. — Да, кажется, он прав!

В заявлении, оставленном Агранову, Белый предлагает следователям познакомиться с отобранной у него рукописью «Почему я стал символистом», предназначенной, как он оговаривает, не для печати, а только для себя и узкого круга посвященных. И пусть они, следователи, потом решат, совместим ли тон рукописи с «опасной» политикой.

И пошла волынка! Идет июнь. Дело принципиально решено, но лицо, от которого все зависит, уехало, а заместитель неуловим. Белый виснет на телефоне, гадает: «Случилось что-то роковое в смысле архитектоники судьбы».

Июль. Клавдию Николаевну отпускают, но с подпиской о невыезде из Москвы. Остается вызволить сундук.

Белый подает еще одно заявление — в Московское управление ГПУ. Молчание. Дело ни с места.

«Я из всех “без вины виноватых” наиболее “виноватый” — сижу на свободе, — делится Белый своими переживаниями с Зайцевым, — о чем я и говорил члену Коллегии ОГПУ т. Агранову в беседе с ним, стараясь в меру сил и разума дать объяснение инциденту с арестами... Было отрадно узнать, что рукопись моя “Почему я стал символистом” по моему ходатайству изъята из сундука и прикреплена к делу... есть надежда, что приговор будет мягче, чем мог бы быть...»

Август — новое заявление в защиту антропософов, с просьбой приобщить это заявление к их делу. А 31 августа, уже отчаявшись чего-нибудь добиться, Белый пишет письмо самому Сталину. Он рассказывает о своем бедственном положении — жене запрещен выезд до окончания дела антропософов, а жить в Москве негде: «То, что я переживаю, напоминает разгром... Деятельность литератора становится мне подчас невозможной; и на склоне лет подымается вопрос об отыскании себе какой-нибудь иной деятельности, ибо каждая моя новая работа... требует с моей стороны вот уже скоро десять лет постоянных оправданий и усилий ее провести; каждая моя книга проходит через ряд зацепок, обескураживающих тем более, что участие мне в журналах почти преграждено...

Возникает горестный вопрос: неужели таким должен быть итог тридцатилетней литературной деятельности?»

Случай с женой заостряет мое положение уже просто в трагедию...»

Конечно, приходит на ум и судьба другого писателя — Михаила Булгакова, который в те же годы тоже борется за возвращение арестованных рукописей и пишет свое знаменитое письмо Сталину с просьбой о трудоустройстве, чтобы иметь средства к существованию.

Друзья запомнили фразу, которую Белый однажды бросил: — Булгаков стал режиссером МХАТа, а я пойду в режиссеры к Мейерхольду!

Вероятно, письмо возымело действие: в начале осени Клавдию Николаевну открепили от Москвы, разрешили выезжать и тогда же, после отчаянных хлопот, доводивших Белого «до сердечной боли», отдали драгоценный сундук. Отстоять друзей-антропософов не удалось — их разбросали по ссылкам.

Рукописи вернулись. Но не все. Кое-что чекисты все же оставили себе, например ту самую — «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития», которая, по мысли Белого, могла оправдать антропософов. Должно быть, содержание ее вовсе не показалось безобидным.

Вариант этой рукописи каким-то образом попал за рубеж и был напечатан в 1982 году издательством «Ардис». Однако лубянский список — машинописная рукопись с авторской правкой — и полнее, и точней.

Книга эта чрезвычайно интересна: в ней Белый прослеживает свой духовный путь на протяжении всей жизни, подводит ему итог и пытается найти себе место в советской действительности. Человек и общество — вот главная тема его раздумий. Анализируя свою эволюцию символиста, члена антропософской общины, ученика Рудольфа Штейнера, он делает более широкие выводы о месте человека в коллективе вообще, о возможности, будучи частью социального организма, сохранить свою индивидуальность, творческую независимость.

Создается впечатление, что Белый по необходимости многое не договаривал, зашифровал этот жгуче современный мотив, хотя однажды все же проговорился: «Говорю образами и притчами, потому что не все еще печати сняты мной с еще опечатанной Мудрости; еще намек — не прогляден; и не все трупные пелены сброшены с выходящего из гроба».

Эпиграфом к книге Белый берет слова из дневника Льва Толстого: «Люди, свое стремление к истине приурочивающие к существующим формам общества, подобны существу, которому даны крылья для того, чтобы летать, и которые упо-

требили бы эти крылья для того, чтобы помогать себе ходить».

Итак, что же делать крылатому человеку в бескрылом обществе? В обществе, которое все более и более превращается в послушное стадо?

Когда советскому правительству нужно было зарегистрировать Всероссийский Союз писателей, оно долго искало, к какой отрасли труда причислить писательский труд. И распорядилось зарегистрировать по категории типографских рабочих.

— Совершенно нелепо! — возмутился тогда Николай Бердяев. — Вот пример, что революция не щадит творцов культуры, относится подозрительно и враждебно к духовным ценностям...

А Белый на этот счет шутил:

— Справедливо! — и показывал средний палец руки, на котором натерлась шишка от держания ручки. — Это моя рабочая мозоль. Я и емь рабочий!

Вспомним Марину Цветаеву, которая на укоры ее в барстве восклицала:

— Это я, а не вы — пролетарий!

Да, Белый был одним из тех художников, которые на первых порах приветствовали пролетарскую революцию и ее лозунг «Вся власть Советам!».

«Когда же мне стало ясным, — пишет он теперь, в книге «Почему я стал символистом», — что средняя часть триады (совет—власть—ритм), или власть-лозунг, перерождается в обычную власть и в этом перерождении становится из власти Советов советскою властью, стало быть, властью обыкновенною, ибо суть государственной власти не в прилагательных («советская», «не советская»), а в существительном, старом, как мир, я был выброшен из политики туда, где и пребывал вечно: в антигосударственность...

...Мы же были без раковины: без уже прошлого, но и без ясно видимого будущего, в стихии настоящего, кидającego и туда, и сюда и зывающего к мгновенной, всегда индивидуальной ориентации... Жить личной жизнью в России я отвыкал; наша личная жизнь чаще всего определялась термином не: не ели, не спали, не имели тепла, денег, удоволь-

ствий, помещений, здоровья и т. д.; но это не было предметом слезливых жалоб, потому что громадное “да” осмысленно-духовной жизни с радостью преодолевало все эти “не”...»

И вот итог:

«В день 25-летия со дня выхода первой книги (в 27-м году) несколько друзей боялись собраться, чтобы собрание не носило оттенка общественного, ибо в месте “общественность” и “Андрей Белый” стоял только безвестный могильный крест... В “могилу”... меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все “истинно живые” писатели; ... “крупные” заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что само появление мое в общественных местах напоминало скандал... Я был “живой труп”; “В. Ф. А.”²¹ — закрыта; “А. О.”²² — закрыто; журналы — закрыты для меня; издательства — закрыты для меня; был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего на Арбате... с протянутой рукою: “Поддайте бывшему писателю”...

Уйдя из Москвы, я... с 25-го года переселился в Кучино. место моего всяческого выздоровления... Я хотел, чтобы в годах молчания отстоялась правда... Надо говорить правду, прослеживая ее в ее индивидуальном восстании... а это — трудно: этого не умею я еще и сейчас.

Но я учусь этому...

Я ушел в Кучино прочистить свою душу, заштампованную, как паспортная книжка, проездными визами всех коллективов, с которыми я работал; каждая виза — штамп той или иной горечи, того или иного непонимания...

Все фальшиво, насквозь фальшиво — там, где начинает действовать принцип “общества” ... партийный человек есть дробь человека, иль — антропод, аптекарский фабрикат из разных вытяжек человека (мозгового фосфора, семенных желез и т. д.). Только в раскрепощающем ритме, в вольном ветре освобождения, в робком намеке — “ассоциация” —

²¹ «В. Ф. А.» — Вольная философская ассоциация, председателем которой был Белый.

²² «А. О.» — Антропософское общество.

встает недостигнутый горизонт новой “общинной” жизни, которого в “обществе” нет и быть не может...

...Наш склероз: склероз “общественности” с его звездой — Государством...

...Установка гигантской душечерпательной машины, проводящей душевную жизнь в “общий”, но от всех закупоренный бак. При этой неправильной системе себя связывания с механизмом “общества” менее активные, менее умные, менее горячие не только не рискуют, но даже теплеют “чуть-чуть” за счет жарких и умных; а те — разрываются, откуда картина бесплодных бунтов, катастроф, до... героических смертей...

...Я сказал: “Возьмите всего меня”; мне ответили: “Мало, давай и то, что сверх сил”. Отдал — сказали: “Иди на все четыре стороны; ты отдал все и больше не нужен нам”...

...Через “бывшего человека” 1921 года тянулась, усиливаясь, меня терзающая нота; и в 1922 году воскликнулось: за что терзают меня?..

...Люди... были ценнее и лучше собственных “мировоззрений”, их облекавших в рога, бычьих морды и прочие маски; маски надетые — предрассудки... в обществе рост предрассудков — невероятен...

“Я”... становится пассивно увозимую кладью в места, куда... “Макар телят не гоняет”. Трагедия людей внутри коллективов: разезд платформ или разрыв ценных “индивидуальных” связей по воле “платформы”. “Хотел бы дружить, да... платформа увозит...”

На протяжении 30 лет я имел пышный опыт зрелища разложения утопий и коллективов; коллективы менялись, а причины разложения оставались теми же. Напоминаю себе, что действительность разрыва отношений с рядом любимых (и где-то еще любимых) друзей — не действительность охлаждения потенциалов связи от “Я” к “Я”, а — криво растущая и слепо несущая “Я” платформа; таковы мои действительные охлаждения: с Мережковскими, Блоком... с Бердяевым... со сколькими еще...

...А все — в “чуть-чуть”; в “чуть-чуть” — черта, отделяющая дела бездарные от дел гениальных (опять истина, принятая на кончике языка, то есть не принятая)...

В медном пятаке сжата сила, способная прогнать поезд по экватору четыре раза (междуатомная теплота); и такая же сжата сила в невытравленном предрассудке...

...Теоретические “чуть-чуть” упущения и “чуть-чуть” недоглядки имеют следствием не “чуть-чуть” давимые жизни, а жизни... вовсе раздавленные, как жизнь моя периода 21—23 годов, раздавленная молчанием и впустую вымотанной у меня жертвы, поступившей вместе с “интуициями” в общий “бак...”

Все, о чем говорю, есть намек и импрессия к толстому тому исследования, которое могло бы возникнуть...

...Тёма — не напишу.

Пора написаний прошла; наступает пора прочтений уже в сердце написанного; нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Но кто не имеет писем в сердце и откажется от понимания слов апостола (“вы — письмо, написанное в сердцах”), тот меня не поймет.

Мне это хорошо ведомо.

И оттого я — кончил: кончил себя в одном отношении, чтобы, может быть, начать или, вернее, продолжить себя в другом: в символическом.

Кучино. 7 апреля 1928 г.».

Начать себя в другом отношении Белому уже не довелось — впереди у него оставалось только шесть лет жизни. И хотя он продолжал неустанно трудиться и книги его выходили, ездил по стране, пытался сотрудничать с советскими учреждениями и был провозглашен персональным пенсионером, эти годы стали для него медленным удушением, со все более и более редкими попытками найти нишу в обществе, из которого он был выбит красными вождями и в котором, не желая быть «дробью человека», вынужден был стать внутренним эмигрантом.

В нем видели то полусумасшедшего витию, то ходячую реликвию, он то заблуждался и прекраснодушествовал, то притворялся и сознательно шел на компромиссы, — а это и были маски — те самые «рога и бычьи морды», которые пыталось надеть на него общество. Необходимость все

время играть, лицедействовать, для искреннего человека, поэта самоубийственная, репрессии, обрушившиеся на близких, конечно, сильно укоротили его жизнь.

Как-то на встрече в редакции журнала «Новый мир» один из государственных вождей — Валериан Куйбышев — заметил ему:

— Как жаль, что вы, товарищ Белый, не с нами!

Тут уж всего полшага до: «Кто не с нами — тот против нас!»

И вот уже «наши» писатели под пьяную лавочку передают друг другу слухок, что Белый... умер. А «Вечерняя Москва» печатает заметку об архиве «посмертных» произведений Андрея Белого... Торопят смерть, хоронят **заживо!**

А смерть и в самом деле уже подкрадывалась. Зимой 1934 года в «Известиях» появилась его фотография — впервые он был удостоен такой чести, но... при некрологе. «8 января, в 12 ч. 30 мин. дня умер от артериосклероза Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых... Творчество Андрея Белого — не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, он — создатель громадной литературной школы. Перекликающаяся с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джеймс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джеймс Джойс — ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый... перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения...»

Под некрологом — три подписи: Борис Пастернак, Борис Пильняк и Григорий Санников. Они называют себя учениками Белого и напоминают, что им написано сорок семь томов! Никогда — ни до, ни после — подобного панегирика Андрей Белый не удостаивался.

Когда через несколько лет арестуют Бориса Пильняка, это ему припомнится. Некролог тот будет вменен в вину как «антипартийный». И если бы не ранняя смерть, Андрей Белый вряд ли б рубеж 1937-го перешагнул.

«Молюсь за тех и за других...»

Они были схвачены летом 1936 года в Москве, двое друзей — Наталья Ануфриева и Даниил Жуковский. Оба обвинены в антисоветской деятельности, шли по одному делу. Соединяло их, однако, нечто совсем другое — страсть к литературе. Оба были талантливы, писали стихи, а посему позволяли себе независимость взглядов. И еще: у них был общий кумир и учитель — поэт Максимилиан Волошин.

Когда-то он говорил:

Мои ж уста давно замкнуты... Пусть!
Почетней быть твердым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой...

После обыска в НКВД попала целая груда тетрадок, рукописей и самих арестованных, и бережно хранимые ими других авторов, а среди них — машинописные копии стихов Волошина с правкой и подписями, сделанными его рукой. В основном это уже известные, много раз печатавшиеся стихотворения, хотя и здесь есть интересные варианты и разночтения. Но, как оказалось, томились на Лубянке и неизвестные до сих пор строки поэта.

«Приложенные к делу стихи Волошина у меня обнаружены при обыске 1 июня 1936 года... 45 листов разных размеров», — сообщит судьям Жуковский. Конфискованные рукописи стали главной уликой, на которой строилось все обвинение.

Молодым, образованным, одержимым поэзией людям была уготована страшная участь. Человек за человеком с русской земли люто сдирался культурный, плодоносный слой творческой интеллигенции. Раздумывая о парадоксах русской истории, Максимилиан Волошин находил разительное сходство двух политических врагов — самодержавия и большевизма: «...Так же, как Петр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед... так же, как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками: между Преображенским Приказом и Тайной Канцелярией и Чрезвычайной Комиссией нет никакой существенной разницы...»

Сначала была арестована тридцатилетняя Наталья Ануфриева, работавшая младшим экономистом в учреждении с типично советским языколомным названием Главметиз Наркомтяжпрома. За ней — двадцатисемилетний учитель математики Даниил Жуковский. Первое, на что нацеливались в НКВД, — происхождение. Если родословная Ануфриевой была вполне нейтральной: отец — инженер, мать — медсестра, — то от ее друга пахивало классово чуждым духом: сын Аделаиды Герцык, поэтессы, и Дмитрия Жуковского, бывшего дворянина, литературного переводчика, до революции — владельца книжного издательства, а после — не раз попадавшего в руки чекистов контрреволюционера.

Но это родители, а что же сами арестанты? Что натворили они?

Оба попали в тюрьму по доносу их товарища, тоже поэта, артиста театра имени Вахтангова Николая Стефановича. Чекисты вызвали автора доноса к себе и основательно допросили. Почему он сообщил в НКВД? Потому что убедился в резких контрреволюционных настроениях Ануфриевой и Жуковского. Факты? Факты последовали:

«28 апреля на квартире Жуковского на мой вопрос Ануфриевой: “Вот вы восхищаетесь Петром, построившим Петроград, почему же вы так ненавидите Сталина, перестраивающего Москву?” — она резко враждебно отозвалась о личности товарища Сталина и высказала по его адресу гнусную клевету. Тогда же Ануфриева стала восторженно говорить о Колчаке и прочла собственные стихи, посвященные ему. При этом сказала, что записывать свои стихи она боится. Смысл ее разговоров в тот вечер сводился к следующему: “Колчак и вообще белогвардейцы — настоящие герои, мученики за великие идеи. Они шли на борьбу, не считаясь с тем, есть ли шансы на победу или нет. Чем меньше шансов, тем отчаяннее надо действовать. Смерть от руки врага — это величие...” Свои высказывания она пересыпала цитатами из Шпенглера, Гумилева и Блока...

8 мая Ануфриева, при встрече, заявила, что надо твердо и непоколебимо придерживаться своих взглядов, “беречь огонь своей свечи”, как она выражалась, и не идти ни на какие примирения с Соввластью. Она сказала: “Я не могу себе найти места вообще в советской жизни. Мы варимся в собственном соку, и

даже обмен мыслями строжайше воспрещен. Жизнь идет мимо нас, а если кто хочет в эту жизнь прорваться, то его расстреливают. Такого гнета, как теперь, не было ни при Бенкендорфе, ни при Екатерине. Мы живем в полном мраке. Но я очень верю в Россию, в ее силу, верю, что она не даст без конца себя втаптывать в грязь. Надо терпеть, ждать и хранить чистоту своих взглядов. Мою ненависть к Соввласти питает неотмщенная, неискупленная могила Колчака...” Тогда же Ануфриева прочла мне четыре собственных стихотворения, посвященные Колчаку, сказав, что она эти стихи кое-кому читала и само чтение этих стихов другим расценивает как удобный способ для обмена мыслями, как “сигнализацию своими свечами другому”...

Встреча 12 мая 1936 г. Ануфриева, выбирая, куда бы нам пойти, заявила: “Наше правительство всюду рассылает своих секретных агентов, все деньги ухлопывает на шпионаж. Очень характерно. Красная Армия на втором месте, а ГПУ на первом. Это очень разумно. Внутренний враг, конечно, опасней для Соввласти, чем внешний...”

16 мая она продолжала говорить “о страшной тоске вынужденного бездействия”, что “хочется умереть на баррикадах, а баррикад нет” и что нет “вождя, ибо вождем должен быть мужчина”... То, что вы, мужчины, ощущаете как тоску, бездействие, то мы, женщины, ощущаем как ужас, бесчестие. Я не могу жить и работать с людьми, убившими Колчака. Надо смыть этот позор бесчестия. Есть несколько путей. Путь бесчестия — служить людям, убившим вождя. Другой путь эгоистического спасения — бежать за границу, оставив Россию в лапах большевиков. Третий путь — копить силы и ждать или броситься отчаянно в пропасть вниз головой, как это сделал Николаев, убив Кирова. И здесь Ануфриева стала говорить, что последний, то есть николаевский, путь есть мой рок, страшный и печальный, но неизбежный, и рассказывать о Раскольникове из Достоевского... Тогда же Ануфриева заявила, что она является горячей поклонницей Шарлотты Корде, и стала рассказывать ее биографию. Перед прощанием Ануфриева рассказала мне о зверствах большевиков в Крыму: “После занятия красными войсками Крыма был объявлен декрет об амнистии добровольно явившимся белым офицерам. По этому дек-

рету явились тысячи офицеров. Их всех забрали и тут же расстреляли, причем многих закапывали живыми в землю, отрезали им уши и т. п.”. Рассказ свой Ануфриева закончила следующими словами: “Таких вещей нельзя ни забыть, ни простить. Вы продумайте это посерьезнее, вникните в это...”»

Свидетелем и летописцем кровавых зверств коммунистов в Крыму был Максимилиан Волошин. В его коктебельском доме одно время поселился глава Крымского ревкома Бела Кун, который по какому-то странному капризу давал поэту расстрельные списки, разрешая вычеркивать одного из десяти приговоренных. Это было страшное мучение — выбрать, кого спасти. Числилось в списках и имя Волошина — его вычеркнул сам Кун...

Пронзительные, обличающие подпольные стихи Волошина тех лет доходили до Натальи Ануфриевой и были для нее образцом не только высокой поэзии, но и личного мужества. В одной из ее тетрадей, изъятых при обыске, читаем: «У М. В., переложившего мудрые вещания Достоевского в четкие и простые стихи, есть стихотворение “Русь гуляющая”. Буйствует, пьянствует Русь, а после бьется в исступлении, плачет о каких-то “расстрелянных детях”, и из самого сердца вопль:

Пусть всемирно, всесветно, всезвездно
Воссияет правда Твоя!..»

Стефанович на допросе описывает каждую встречу с Натальей, день за днем. Она говорила ему, что хотела убить какого-то видного члена советского правительства, что занималась расклейкой контрреволюционных прокламаций, но об этом узнал комсомолец, и этот комсомолец на ее глазах кем-то был убит из их преступной группы. И все упорнее подбивала его, Стефановича, стать террористом.

«Убедившись, что Ануфриева определенно обрабатывает меня для преступных действий, я счел своим долгом подать заявление в НКВД...»

Наталья Ануфриева держалась на допросах героически, бескомпромиссно. Своих взглядов она не скрывала:

— Да, я подвергала критике мероприятия Советской власти. Я доказывала, что у нас существует зажим индивидуаль-

ностей, что у нас нет свободы творчества, что произведения, не соответствующие господствующей идее (марксизм), не печатаются, и поэты и писатели этого толка не могут проявить своего таланта. Между тем своей культуры у Советской власти нет...

Следователь — старший лейтенант Новобратский — задает вопрос о терроре.

— Я высказывала отрицательное отношение к террору, как и мои знакомые...

— Кто именно?

— Я отказываюсь называть какие-либо фамилии, потому что не хочу, чтобы НКВД кому-нибудь причинял неприятности по моей вине. Я буду говорить об этих лицах в том случае, если следствие само назовет их, и тем самым я увижу, что следствие о них осведомлено.

Тогда ей приводят показания Стефановича. И вот как она передает их доверительные разговоры:

— Да, мы говорили на политические темы, довольно часто встречаясь последнее время, до ареста. Я рассказывала Стефановичу свои прошлые настроения... Во время разгрома белых я жила в Крыму и в то время была романтической поклонницей Шарлотты Корде, убившей Марата. Разгром белых ожесточил меня против Соввласти. Я считала, что моим долгом является убийство видного в то время представителя Советской власти, который, по слухам, должен был посетить Крым. Я рассказывала Стефановичу о тех переживаниях, которые я испытывала, готовясь к совершению этого убийства. Убийства этого я не совершила ввиду неприезда этого лица в Крым, а в дальнейшем это намерение у меня заглохло.

Стефанович говорил, что у него большая масса неиспользованной энергии... Я, не считая Стефановича способным на такой акт... говорила ему, что человек, совершивший теракт, должен стремиться сейчас же покончить с собой, но если это не удастся и человек этот будет арестован, то он должен на допросах молчать и никого из своих знакомых при допросах не называть... Я говорила, что убийство руководителей Соввласти, и главное — Сталина, возможно следующим образом: либо самому проникнуть в Кремль в качестве заслуженного стахановца, либо завербовать какого-либо стахановца и там

совершить убийство. На это он приводил пример Николаева, который убийством Кирова достиг только того, что пролилось много крови...

Активное сопротивление, террор — вот на чем делается акцент, следовательно пытается добыть у Натальи подтверждение того, что она подговаривала Стефановича на совершение теракта.

Что же донес Стефанович на своего друга — Даниила?

Он обвиняет Жуковского в смертных, с точки зрения НКВД, грехах. Контрреволюционно настроен, сравнивает вождя СССР с Гитлером. Был связан с арестованным и приговоренным к расстрелу поэтом Всеволодом Харузиным, возмущаясь приговором, говорил, что «он был опасен для Соввласти своей гениальностью и его контрреволюционность есть не что иное, как подлинная культура». О себе же заявляет, что не может творить и начнет писать подпольно, «так как это единственный путь в условиях СССР для действительного поэта и писателя. Ибо настоящей культуры у нас нет и, более того, ее не терпят и не прощают...».

Ярлык контрреволюционности — для большей убойности доноса, а остальное... Ведь только так и мог мыслить и переживать происходящее истинный интеллигент, несущий свет той культурной среды, в которой вырос, корневая суть которой теперь нещадно выкорчевывалась, отстаивать которую приходилось ценой свободы и жизни.

И еще Стефанович докладывает:

«Жуковский хранит у себя контрреволюционные стихотворения Волошина и читает их своим знакомым, в частности такие махровые контрреволюционные стихи, как “Северо-Восток”, “Благословенье”, “Россия” и др. Жуковский заявлял, что стихи Волошина для него — весь смысл его существования, и когда его жена Ходасевич требовала, чтобы он прекратил чтение контрреволюционных стихов в ее квартире, он, Жуковский, заявил, что скорее разойдется с ней, чем расстанется со стихами Волошина, несмотря на их контрреволюционность...»

Это уже донос на «махровую контрреволюционность» самого Волошина, но того уже нет в живых, и его арестовывают, так сказать, посмертно, путем изъятия его рукописей и учеников.

Именно о волошинских стихах особенно дотошно расспрашивал Жуковского следователь:

В о п р о с . С какой целью вы хранили у себя контрреволюционные стихи Волошина?

О т в е т . Я признаю, что хранившиеся у меня стихи Волошина являются контрреволюционными, черносотенными. Хранил я эти стихи из-за любви к ним».

Правда в этом ответе — только любовь к стихам Волошина. Первую фразу в протокол вписал следователь. Его изобличит сам арестованный. «На следствии записано неверно, что я считаю стихи Волошина контрреволюционными, я такого не говорил», — заявит он на суде.

В о п р о с . Кому вы давали эти стихотворения для чтения?

О т в е т . Никому для чтения я этих стихов не давал.

В о п р о с . А сами кому вы читали эти стихи?

О т в е т . Я действительно сам декламировал эти стихи своим знакомым...

В о п р о с . Какие разговоры происходили у вас с вашей женой Ходасевич по поводу стихов Волошина?

О т в е т . Жена требовала, чтобы я уничтожил стихи Волошина.

В о п р о с . Почему она это требовала от вас?

О т в е т . Потому что опасалась неприятностей от НКВД.

В о п р о с . Почему она опасалась неприятностей от НКВД?

О т в е т . Потому что стихи эти контрреволюционные.

В о п р о с . Какую позицию занимали вы в этом вопросе?

О т в е т . Я заявлял жене, что я скорее уйду от нее, чем расстанусь со стихами Волошина, несмотря на их контрреволюционность, так как поэзию Волошина я любил и упрекал жену в трусости...

В о п р о с . Вы пытаетесь представить себя на следствии советским человеком. Как же вы в таком случае готовы были пойти на разрыв с женой, лишь бы сохранить контрреволюционные стихи Волошина?

О т в е т . Я не знаю, что на это ответить».

Когда Жуковскому дали на подпись протокол, он увидел подтасовки следователя, искажающие истинные его ответы. «Будучи контрреволюционно настроен, я высказывал свои настроения, но я искал пути примирения с Соввластью...» И

вместо подписи под протоколом стоит: «Отказываюсь подписать».

В тюрьме с Даниилом произошел какой-то важный духовный перелом.

— Я не могу примириться с Соввластью в одном пункте: это то, что я верю в Бога.

— Когда вы начали верить в Бога?

— После ареста, три-четыре дня тому назад. Да, я уверовал в Бога уже после своего ареста.

Следователи решили сломить стойкость молодого поэта. Взяли его в кругой оборот, не щадили. Уже в июле дежурный Внутренней тюрьмы рапортовал начальству:

«Доношу, что в час 25 минут 7-го июля сего года арестованный Жуковский... начал кричать в камере № 23, лег на пол, начал кататься по камере. Когда его привели в приемную комнату, лекпом ему дал лекарство, он начал кричать: “Убейте меня!”... Арестованного посадили в изоляционную камеру».

Только в январе 1937 года следствие было закончено. Оба обвиняемых виновными себя не признали. Жуковский еще и добавил: «Прошу записать, что помимо того, что я не могу примириться с материалистическим мировоззрением, я еще объяснял своим знакомым невозможность своего полного принятия Советской власти благодаря тому, что мое мировоззрение и миросозерцание слишком наполнены прежними влияниями русской интеллигенции (в частности, периода символизма), которые мешают мне вполне безраздельно отдаться молодым зарождающимся стремлениям, причем в разговорах я высказывал совершенно определенное отрицательное отношение к этой своей старой закваске, которую сознательно пытаюсь изжить...»

Так он писал, а внутренний голос кричал совсем другое. Ведь он должен был изжить в себе — изжить, чтобы выжить, — лучшее, что у него было, то прошлое, которым он на самом деле гордился. Память об отце — Дмитрие Евгеньевиче Жуковском, блестящем издателе, выпускавшем в годы революции журнал «Вопросы жизни», который Николай Бердяев называл «новым явлением в истории русских журналов», «местом встречи всех новых течений» и в ко-

тором участвовали лучшие писатели того времени: Блок, Белый, Сергей Булгаков, Мережковский, Розанов... О матери — очень своеобразной поэтессе Аделаиде Герцык, близкой подруге Марины Цветаевой и Максимилиана Волошина. О своем родительском доме, где все его звали Даликом и где ему с детства суждено было видеть и слышать лучших мыслителей и писателей серебряного века.

Отдельные, похожие на фотографии крохи воспоминаний об этом талантливом и жадном до впечатлений мальчике сохранились в мемуарах тетки Даниила, переводчицы Евгении Герцык. Вот он со своей матерью устроился на широкой тахте: она — в сизом халате, с тетрадью и карандашом, он разрисовывает большие листы цветными лабиринтами... А вот взобрался с юной Майей Кудашевой (потом она станет известна как жена Романа Роллана) на фисгармонию, чтобы послушать поэта Вячеслава Иванова... А сколько незабываемых минут в Крыму, в Судаче, где они строили дом! Держа мальчика за руку, мать ведет его по доскам, перекинутым через ямы, и нашептывает сказку про будущий дом и про то, какая в нем будет жизнь, — сказку, которая так и останется сказкой... Наезды гостей. Бердяев с его малопонятными, но вдохновенными импровизациями и нервным тиком. Макс Волошин, нагруженный, словно букетами, новыми стихами...

После революции семья жила в большой нужде, нищенствовала, еле сводя концы с концами. Отец Даниила писал философу Льву Шестову: «Мой сын... имеет несомненный писательский талант и художественную восприимчивость. Очень тонко чувствует и любит природу, но, к несчастью, любит аффектацию. Страшно думать, что он не получит образования...»

Настоящая катастрофа обрушилась на дом, когда в 1925 году внезапно умерла мать Даниила. «Радость воплощенная ушла из жизни, — писал Шестову Дмитрий Жуковский. — Это было гениальное сердце... Если прибавить к этому ее ум и дар творчества, питающийся натурой, то приходится сказать, что это был совсем исключительный человек... Далику 16 лет. Хороший мальчик, хотя безвольный, недисциплинированный... По-видимому, имеет литературный талант. Писал и стихи. Выработал стиль... Увлекается... путешествиями. Ис-

сирующая и неизлечимая. К физическому труду не годен. Как недушевнобольной — вменяем».

Заседание суда откладывалось дважды по одной причине: из-за неявки главного свидетеля обвинения — Стефановича. Он испугался предстать перед глазами друзей, которых предал, и посылал вместо себя письма, подтверждая свои показания. Суд потребовал объяснения неявки. И Стефанович сослался на тяжелое нервное расстройство.

Суд проходил 13 апреля.

Ануфриева, отвергая свою вину, объясняет, что она вовсе не подговаривала Стефановича к террору, наоборот, остерегала и вспоминала Раскольникова как отрицательный пример. И не она, а Стефанович все время провоцировал разговоры о терроре, хотя ей это надоело. Да, в юности она увлекалась французской романтикой, готовилась к совершению теракта над представителем из центра, но это была детская мечта — теракт кухонным ножом... И если бы были все возможности совершить теракт над Сталиным, например, он был бы поставлен рядом с ней, то и тогда она бы этого не сделала...

Жуковский тоже виновным себя не признал. Подтвердил только свои слова о том, что для искусства нет свободы. Что же касается стихов Волошина, то и тут от них не отрекся. И в своем последнем слове он сказал:

— Стихи Волошина дороги мне как память о поэте, которого я знал лично. Хотя стихи Волошина не печатались, имеют религиозный оттенок, но именно они повлияли на мою психику в смысле поворота к Советской власти. Я увлекался изучением стихосложений, политикой не интересовался. В разговоре о стахановцах я говорил, что имею идеалистическую жилку, мешающую примкнуть к общему движению. Показания Стефановича о Сталине — выдумка, такого разговора не было... О фашизме говорил только он, Стефанович, что там возникает новая религия, огнепоклонство, — в ответ на мои слова, что у нас религия отмирает.

Объявлен приговор: тюрьма, восемь лет — Ануфриевой и пять — Жуковскому.

Однако и на этом суд не закончился. Осенью того же года по жалобе Жуковского состоялось еще одно заседание. На сей раз Стефановича все же заставили прийти, он страшно

вилял, стараясь и чекистам угодить, и перед друзьями обелиться, мямлил, например, что его друг Даниил, с одной стороны, несоветский, а с другой — совсем наоборот...

— Обвинение мне понятно, виновным себя не признаю, — сказал судьям Жуковский. — Чтобы я когда-нибудь вел контрреволюционные разговоры — и не могу себе этого представить. Литературу я имел, но хранение ее не считаю преступлением. Волошин свои стихи читал в Москве, в Коктебеле, даже якобы читал и в Кремле...

Такой эпизод в биографии Волошина действительно был. Он читал стихи в Кремле, на квартире Каменева, в попытке получить разрешение на их публикацию «на правах рукописи». И выбрал самые острые, те, что теперь, на суде, именовали «антисоветскими». Один из свидетелей этой сцены, музыковед Сабанеев, вспоминает, что поэт — со своей огромной фигурой, пышной шевелюрой и бородой, со своим громовым голосом — был похож на пророка Илью, обличающего жрецов. После соответствующей паузы Каменев изобразил литературного критика, пустился в обсуждение отдельных образов и выражений. О содержании — ни слова, будто его и нет. Потом подошел к столу и настроил записку в Госиздат: всецело поддерживаю просьбу поэта Волошина об издании стихов «на правах рукописи»...

Довольный Волошин распрощался и ушел. А Каменев подошел к телефону, вызвал Госиздат и, не стесняясь присутствия свидетелей, распорядился:

— К вам придет поэт Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения...

Вернемся к суду.

— Стихи от Волошина я получал в 1929—1930 годах, когда бывал у него на даче, — рассказывал Жуковский. И, как на первом суде, опять уличит в подделке следователя: — Его стихи я не считаю антисоветскими, черносотенными... Я говорил, что склоняюсь к идеализму, и пожаловался на то, что в нашей стране доминирует материалистическое мировоззрение. Желания возврата прошлого времени я не высказывал...

В результате приговор был оставлен в силе, но с отбытием наказания не в тюрьме, а в лагерях. И отправили в гибельное плавание — по кругам гулаговского ада.

Наталья после Лубянки и Бутырок пройдет через ярославскую, горьковскую и суздальскую тюрьмы и только потом попадет в колымский лагерь. Она отсидит свой срок «от звонка до звонка», а через пять лет после освобождения будет повторно осуждена по первому делу, сослана в Сибирь. Реабилитируют ее уже посмертно. Стихи будет писать до последних дней жизни, которая оборвется в 1990 году.

Жуковский уйдет из жизни намного раньше. Вместо лагеря он окажется в Орловском центре и там будет еще раз осужден. За что же теперь? Как сказано в обвинении, «среди заключенных проводил контрреволюционную агитацию, оскорбительно отзывался об органах Советской власти, извращенно истолковывал советскую конституцию».

В деле подробно излагаются эти преступления.

1 ноября 1937 года ретивый охранник с простонародной неуклюжестью докладывал начальнику тюрьмы о возмутителях спокойствия, среди которых был и Жуковский:

«Довожу до вашего сведения о том, что камеры № 1 и № 3 повседневно, систематически нарушают тюремный режим, систематически занимаются щипками, разговорами, шумом и т. д. Не дают отойти от двери, обратно шумят за весь день, не отходишь от их дверей. На первую камеру мной был написан вам рапорт, но ответу нет. Прошу принять меры».

Резолюция начальника тюрьмы: посадить в карцер на пять суток!

Вскоре — еще один сигнал, от другого стражника. Через месяц — новый рапорт, от третьего:

«Доношу до вашего сведения, что при моем дежурстве в камере № 1 з-к Жуковский все время нарушал тюремные правила... Собирая з-к по углам, восхвалял Германию Гитлера, и он же производит этим же моментом перестукивание с соседними камерами. Несмотря на неоднократные предупреждения, он все равно продолжает все эти похабные явления в своей камере».

В начале нового, 1938 года к штатным охранникам присоединяется нештатный, посаженный в камеру в качестве «наседки»:

«Жуковский продолжает в камере ругать органы Советской власти, ни за что сажают в тюрьмы невинных людей. Конституцию рассматривает как обман народа, которая выгодна только сталинскому руководству, заставляет народ заниматься доносами друг на друга».

Тугуж чаша терпения тюремщиков переполнилась! Довольно церемониться! На Жуковского заводят новое дело. 15 февраля 1938 года Особая тройка выносит приговор: расстрелять!

Дорого стоила Наталье и Даниилу любовь к поэзии! Участь учеников бывала порой горше судьбы учителей. Тем еще оставляли право доживать под присмотром властей и умереть своей смертью, в собственной постели. А кто хотел, пытался перенять эстафету творчества (на языке Натальи Ануфриевой — зажечь свечу от свечи) у поэтов серебряного века, должен был или отречься от них, или погрузиться в тюремно-лагерное небытие.

При реабилитации Жуковского в 1958 году будет указано, что его погубитель Стефанович «в настоящее время страдает шизофренией» и что «обнаруженные у Жуковского стихи поэта Волошина контрреволюционной литературой не являются». Но вот горькая несправедливость: сочинения самого Стефановича сейчас печатаются, а вот стихов его жертвы мы уже никогда не узнаем — они были уничтожены, как и их автор²³.

Наталью Ануфриеву реабилитируют только в 1991 году, как раз в те дни, когда мне в Прокуратуре удалось познакомиться с ее делом. Стихи ее, слава Богу, уцелели. Встреча их с читателями, надеюсь, уже не за горами.

Для Натальи Ануфриевой поэзия Волошина была постоянной спутницей всей жизни. В дневнике ее, изъятом чекистами, это имя возникает то и дело. Вот в этой тетради, без обложки:

²³ Автобиографический эпюд Д. Жуковского «Под вечер на дальней горе... (Мысли о детстве и младенчестве)» опубликован в «Новом мире» (1997, № 6) по рукописи, сохранившейся у родственников автора.

«М. Волошин говорит о России:

Осталась ты страной иступлений,
Страной, взыскующей любви...

Лет семнадцати или позже, не помню, у меня был афоризм: “Вера есть только высшая ступень любви”...»

Другая тетрадь:

«Я хотела поставить эпиграфом к этой вещи стихи М. В.:

Мы зараженные совестью.
В каждом Стеньке — Святой Серафим...»

Думала о Волошине Наталья часто, писала много, а вот встретила только раз.

Эта встреча описана в ее дневнике, но прежде, чем рассказать о ней, Наталья вспоминает себя в тот момент, когда на одно мгновение параболы их судеб соприкоснулись:

«Я хотела бы, чтобы эти воспоминания были проникнуты тем, чем полна была моя юность, — ритмом и лирикой...»

Это случилось в августе 1926 года... Мне было двадцать лет, и почва колебалась под моими ногами...

Прежде чем описывать свою юность, я должна описать себя. Трудно сделать это объективно. Я должна отметить здесь свою непохожесть на других людей. В ней, этой непохожести, причина всех моих несчастий, унижений и неудач и объяснение моей судьбы. Эту непохожесть отмечали и окружающие, называя меня “чудачкой”, “юродивой”, “не от мира сего”. Моя непохожесть в том, что моя внутренняя жизнь протекает в такой глубине, до которой не доносятся голоса жизни. Все, что случается со мною, случается где-то глубоко во мне, все внешнее не имеет для меня значения. Отсюда вытекает совершенная детскость, несерьезное отношение к жизни, самое серьезное отношение к мечтам... И с детства же обостренное чувство своего “я”, уже в детстве ощущающееся как бремя. Это свойство людей на последней грани культуры, таким же был Александр Блок. Это чувство, рождающее идеи обреченности, искупления, судьбы и любви к судьбе... И я тогда совершенно поверила, что искусство и жизнь не могут уживаться вмес-

те, надо выбирать что-нибудь одно. Я хотела выбрать жизнь, но жизнь отвергла меня, творчество меня покинуло. И вот тогда пошатнулся мир...»

Тем летом в Симферополь, где жила Наталья, приехал на несколько дней из своего Коктебеля Макс Волошин. Встреча произошла у родственников Натальи, с которыми он был знаком.

Когда-то Волошин видел стихи пятнадцатилетней Натальи, но ничего о них не говорил. Потом — ей уже было семнадцать — кто-то из друзей носил ее стихи в Коктебель, и Волошин сказал, что она стала писать гораздо увереннее.

Теперь она прочла ему свою поэму «Царица» — о любви прекрасной и жестокой царицы к гордому Ивану-царевичу. Тут был весь романтический арсенал: муки неразделенной страсти, пиры и убийства, светлицы и темницы, ангел и черт...

«Когда я читала, я все время внимательно смотрела в лицо Волошина, и два раза что-то дрогнуло в его лице. При словах: “О, меня ль испугал ты? Под твоею ногою испытая я сладкую дрожь... И я жду того часа с безмерной тоскою — поцелуешь меня и убьешь...” И — “У меня же для белого тела только дыба да грязная плеть...” и, кажется, еще в самом конце, но наверное я не помню.

Когда я кончила читать, он сказал, что я напрасно говорю о черте и ангеле, что, если б я умолчала о них, они чувствовались бы сильнее (в этом, конечно, он был прав). Потом он сказал, что чувства царицы совсем не от сатаны. Он сказал, что это у меня христианское — “жестокая жалость, Голгофа” и что это часто бывцает у молодых девушек. Заговорили о черте, о католицизме, потом стали собираться гости, и разговор прервался.

За чаем был у нас спор, он говорил, что не надо служить, работать, надо жить подаянием и самим давать, я спорила и говорила, что от этого могут пострадать близкие люди, которые от нас зависят. Потом Максимилиан Волошин читал стихи. О моих стихах он не сказал ничего.

Я видела его еще раза два... Там были мои знакомые поэтессы, девушки лет двадцати двух, Юля и Надя. Волошин хвалил их стихи, особенно Юлины, и просил читать еще. Но мне он не говорил ничего.

Я слышала от людей, знающих его, что это был очень чуткий человек, особенно чутко относившийся к молодым поэтам. Не знаю, почему он так со мной поступил. Он мог бы сказать, если ему не понравились мои стихи, что мне не стоит их писать, он мог бы сказать хоть что-нибудь, но он не сказал ничего и прошел мимо меня, как мимо пустого места.

Он прибавил новую обиду к той обиде, которой началось мое вступление в жизнь. Теперь, когда я вспоминаю все это, я вижу, что жизнь для меня была огромной обидой, которую я хотела преодолеть. Я не хотела быть обиженной. Я продолжала писать стихи. Я ждала необыкновенного человека, который полюбит меня. Я не хотела уступать свою любовь к жизни.

Тогда у родственников Волошин сказал знаменательные для меня слова. Он сказал, что поэт никогда не пишет о своем настоящем или прошлом, но только о будущем, и тот, кто любит, не сможет писать о любви. В тот же вечер я говорила с Юлей. Юля сказала, что больше не пишет стихов. Все знали, что Юля влюблена. Я спросила: «Потому что теперь у вас жизнь?» Она отвечала, что да и что теперь стихов не надо... Я убедилась в этом окончательно. Я совершенно поверила, что искусство и жизнь исключают друг друга...»

«Я пишу эти воспоминания для себя и для того, кто будет любить меня по-настоящему, любить меня за меня, — исповедуется Наталья. — Может быть, будет в моей жизни такой человек...»

Увы, читал эти строки следователь.

Наталья Ануфриева и Даниил Жуковский — только два имени, две судьбы. Но расправа с несущими «свет свечи» была повальной, и охота на них не прерывалась ни на миг.

В 1955 году, перед самой хрущевской «оттепелью», на Лубянке допрашивали писателя Эмилия Львовича Миндли-на, арестованного за антисоветские разговоры. Копали глубоко. Писатель был словоохотлив, и протокол допроса превратился в своеобразный мемуар. Своим учителем в литературе Миндлин называл поэта Максимилиана Волошина.

Это имя, на котором десятки лет лежало табу, скорее всего, было совершенно незнакомо новому поколению следователей. Хотя обывательская масса не знала имени поэта и при

его жизни, как, впрочем, мало что знала она и о своих новоявленных кумирах, портретами которых увешивались даже самые захолустные конторы.

Курьезный случай произошел однажды с Волошиным в Москве. Жена, потеряв его из виду в сутолоке вокзальной площади, стала звать:

— Макс! Макс!

Поблизости стояли красноармейцы. Услышав необычное имя и увидев человека с пышной седой шевелюрой и большой бородой, они встрепенулись:

— Ребята, смотрите, Карл Маркс!

Подошли к поэту, отдали честь и торжественно отрапортовали:

— Товарищ Карл Маркс! Да здравствует ваш марксизм, который мы изучаем на уроках политграмоты!

Поэт с улыбкой ответил:

— Учите, учитте, ребятки!

Итак, Эмилий Миндлин «показывал»:

«...В 1919 г. я переехал в Крым, в Феодосию, и здесь завел знакомство с обосновавшейся возле Феодосии — в Коктебеле — литературной колонией, которую возглавлял... поэт-символист и художник Максимилиан Волошин. Среди известных писателей в этой колонии были: Илья Эренбург, которого мы знали тогда только как поэта, писатель Вересаев, петро-градский поэт Осип Мандельштам, поэтесса, стихи которой мы изучали еще в школе, тогда очень известная, Соловьева-Аллегро и другие. К этой же основной группе лепились едва начавшие писать молодые люди вроде меня.

Очень велико было обаяние Волошина не только как поэта, но и широко образованного человека. На меня лично большое гипнотическое впечатление производили и такие факты, как личная дружба Волошина со всемирно известными писателями вроде Анатоля Франса, книги которого с его надписями я находил в библиотеке Волошина, и многих других.

Основное кредо Волошина сводилось к тому, что поэт-художник должен стоять над схваткой — вне политики. Именно в этом направлении в наибольшей степени Волошин и влиял

на нас — молодых. Его кредо выражено было в следующих строках:

А я один стою меж них,
В военном пламени и дыме,
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Было известно, что эту свою программу Волошин проводил и в жизни. В период, когда Крым занимался Красной Армией, Волошин на своей даче укрывал иногда белогвардейских офицеров. В период господства белогвардейцев в Крыму на даче Волошина с его помощью находили приют многие подпольщики-коммунисты...

Таким образом, основное влияние Волошина на меня сводилось прежде всего к аполитизму... Однако этим влияние коктейльской группы писателей на меня не исчерпывалось. Второе, что я, к сожалению, вывез из Коктебеля в себе, — это был довольно прочно угнездившийся и развившийся скептицизм. Скептицизм этот сводился, в общем, к тому, что отрицалась способность человека, как тогда выражались, «проникнуть в тайну бытия», отрицалась познаваемость природы и действительности и вообще сомневаться во всем считалось как бы признаком хорошего литературного тона. Все это сочеталось с известного рода эстетством, которое приводило к тому, что все мы считали только искусство реальной жизнью, а саму жизнь нереальной...»

Позиция Волошина «над схваткой» — в этом Миндлин был абсолютно прав, но вот что касается скептицизма и эстетства, тут он явно занижал образ своего Учителя.

Как раз в то время, в 1919 году, Волошин работал над большой поэмой «Святой Серафим», полной веры в Бога и человека, полной космической мощи. Перелагая в стихи житие одного из самых почитаемых русских святых, великого подвижника и исцелителя XIX века Серафима Саровского, поэт обращался не столько к прошлому, сколько к настоящему, напоминая озлобленным, одичавшим в междоусобной кровавой схватке современникам о высших ценностях. «Эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой, — говорил

он о своих сочинениях. — Поэтому же они распространялись по России в тысячах списков — вне моей воли и моего ведения».

Когда белые бежали из Крыма, он передал рукопись с одним знакомым поэтом, чтобы тот попытался опубликовать ее за границей. Потом поэма исчезла и обнаружилась вновь только в 1963 году, была опубликована, но с большими пропусками. Еще через двадцать лет издательство «Имка-пресс» в Париже выпустило в свет двухтомник Волошина (самое полное издание его стихов на сегодняшний день) — там, как сказано, поэма «публикуется полностью».

Теперь выяснилось, что долгий путь «Святого Серафима» к читателю еще не завершен. Список поэмы с неизвестными фрагментами нашелся среди бумаг Даниила Жуковского, изъятых при обыске.

Слово Волошина вышло на свободу. И теперь можно услышать строки, недостающие в прежних публикациях.

Богоматерь посылает Серафима с неба на землю: он должен воплотиться из духа в человека, спуститься к людям с миссией Божьей любви. Перед тем как ринуться на Землю, Серафим просит дать ему познать судьбу человеческого рода. И Божья Мать произносит вещее слово — гимн о высоком предназначении человека:

— Каждый дух, рожденный в тварном мире,
Воплощаясь в человеческой плоти,
Сквозь игольное ушко проходит.
Боли нет большей, чем боль рожденья:
Каждый шаг твой будет крестной мукой,
Каждый миг твой — смертью.
Смерть — рождением...
Быть рожденным значит быть извечно
Названным по имени Творцом.
Девять есть небесных иерархий.
Человек — десятая: всех меньше,
Но на нем все упование мира.
Человек — единая из тварей —
Создан был по образу и по подобию
Господа.

Единому ему дана свобода.
Ангел — преисполнен воли Божьей:
Он — лишь луч, стремящийся от солнца.
Человек подобен капле влаги,
Отразившей солнце — в малом,
Но вполне.

Божий Лик поручен человеку,
Чтобы он пронес его сквозь бездны
Мира преисподнего.
Каждый человек — темница.
Пламя, в нем плененное,

Должно проплавить,
Прокалить, прожечь, преобразить
Толщу стен слепой и косной глины.
Посмотри на этот малый сгусток
Тусклых солнц и стынувших планет:
Этих звезд морозные метели —
Только вихри пыльного потока,
Ледящего и гасящего жизни
И с собою увлекающего в бездну
Безвозвратного небытия.

Этот мир
Был создан из чистейшей
Славы Божьей!

Ни одна частица
Не должна погибнуть и погаснуть.
Божий Сын был распят на кресте
Человеческого тела, и Голгофой
Выкуплен Адам у жадной плоти.
Человек же должен плоть расплавить
И спасти Архангела — Денницу
От смертельных вязей вещества.
Я — Мария — мать и материя!
Из меня возник
И вновь в меня вернется
Земный мир, пылающий страданьем.
Я — Мария — роза всех молитв,
Память мира, целокупность твари,
Я — сокровищница всех имен...

«И, взметнув палящей вьюгой крыльев / И сверля кометным вихрем небо, / Серафим низринулся на землю», — повествует Волошин.

Воплотившись в человека — купеческого сына Прохора Мошнина, — герой поэмы принял монашество (иноческое имя Серафим), нашел себе обитель, которая звалась Саровская пустынь, — здесь он проповедовал и исцелял, сюда к нему стекались паломники со всей Русской земли.

...Стала жизнь его
 Одною непрерывной,
 Ни на миг не прекращаемой молитвой:
 «Господи Иисусе, Сыне Божий,
 Господи, мя грешного помилуй!»
 Ею он звучал до самых недр,
 Каждую частицей плоти,
 Как звучит
 Колокол
 Всей толщей гулкой меди.
 И как благовест —
 Тяжелыми волнами —
 В нем росло и ширилось сознание
 Плоти мира — грешной и единой...

Серафим Саровский говаривал: «Радость моя! Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Не эту ли миссию старался нести и сам поэт?

Те же чувства испытывал и друг Волошина по жизни и слову — Андрей Белый: «Все чаще и чаще мне начинает казаться, что старец Серафим — единственно несокрушимо-важная и нужная для России скала в наш исторический момент. Величина его настолько нужна, что у меня неоднократно являлось по отношению к нему особое неразложимое чувство — чувство Серафима, — напоминающее в меньшей степени... Христово чувство, но о другом...» А еще один поэт серебряного века, Вячеслав Иванов, заметил удивительное совпадение: чудотворный дар Серафима достиг своего пика в одно время с необычайным подъемом творческого вдохновения Александра Пушкина — знаменитой Болдинской осени (1830 год). Гений поэта и дух святого старца как бы соединились в едином порыве.

Серафим Саровский после множества духовных подвигов и чудесных деяний закончил свой жизненный путь в 1833 году. Его канонизировали как святого. Но нагрянула революция, и обитель Серафима была закрыта, а мощи его исчезли. И молитва его, звучавшая, как колокол, ушла на дно души верующих.

Церковные колокола объявят врагами социализма. Их будут сбрасывать, раскалывать и плавить по всей Руси. Главными застрельщиками и тут станут чекисты. В 1929 году НКВД примет историческое, но совершенно секретное решение «Об урегулировании колокольного звона»: «Встать на путь применения в отношении к церковному колокольному звону строго ограничительных и даже запретительных мер... В интересах широких слоев трудящихся... 1. Запретить совершенно так называемый трезвон или звон во все колокола. 2. Разрешить... звон в малые колокола, установленного веса и в установленное время...» Тогда в стране было 49 015 церквей и монастырей. Из колокольной бронзы предполагалось получить 69 660 тонн меди и 14 440 тонн олова.

Прошло семьдесят лет безбожной власти. И вот случилось чудо: в 1991 году мощи святого Серафима нашлись! И где — в фондах Музея атеизма в Ленинграде!

Обретение и перенос мощей в Серафимо-Дивеевский монастырь, близ которого когда-то обитал православный герой-подвижник, происходили при огромном стечении народа и вылились в христианский праздник — это был знак воскресения веры, религиозного Возрождения. Звонили во все колокола. И выросший за послевоенные годы в тех местах закрытый, окруженный колючей проволокой и контрольно-следовой полосой город Арзамас-16 — здесь создавалось ядерное оружие и двадцать лет работал академик Сахаров — получил прежнее историческое наименование — Саров.

Удивительное совпадение — именно в те же дни произошло обретение полного списка волошинской поэмы о святом Серафиме... Из запасников Музея атеизма и из архива сыскной службы вернулся к людям опальный пастырь.

Среди многих пророчеств Серафима Саровского есть и такое:

«До рождения антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая

всякое изображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунты разинский, пугачевский, Французская революция — ничто в сравнении с тем, что будет в России. Произойдет гибель множества верных отечеству людей; разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение церквей Господних; уничтожение и разграбление богатств добрых людей; реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе...»

И еще:

«Сей данную тебе пшеницу. Сей на благой земле, сей и на песке, сей на камени, сей при пути, сей и в тернии: все где-нибудь да прозябнет и взрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле...»

Кроме «Святого Серафима» на Лубянке томилась два неизвестных стихотворных фрагмента Волошина, которые были написаны в один день — 25 января 1923 года — и входят в цикл его философских поэм-медитаций «Путями Каина. Трагедия материальной культуры». Однако они настолько целны по содержанию и чеканны по форме, что воспринимаются как отдельные, вполне законченные стихотворения.

Первый фрагмент — из поэмы «Пролог» — о происхождении человека, портрет его — еще бездуховного, лишенного веры, забывшего свое предназначение:

Восхищенный в духе,
 Видел я ступени,
 Ведущие из бездны в высоту.
 И каждая ступень отмечена была
 Особым знаком:
 Зверем или рыбой,
 Растением, кристаллом, камнем, —
 ниже

Клубились солнца и туманности.
 И был мне голос:
 «Вот лестница, по ступеням которой
 Шел человек»...
 Он врос в материю, не возрастая ввысь,
 Он пересоздал косную природу
 По своему подобию, и мир

К нему оборотился лютым зверем,
Ощеренным свирепым двойником.
Настало время внутреннего зверя
Убить в себе и вновь сойти с ума.
Благоразумные вернутся мирно в стадо,
Безумец вновь пересоздаст себя.
Иди и возвести о том, что знаешь:
Надо,
Чтоб каждый раб был призван к мятежу.
Иди освобождать, но помни —
Правда
Должна в душе, как семя, прорасти...

И другие строки — из поэмы «Пророк», звучащие в кровавой смуте и вражде, во взаимном уничтожении тех лет глазом вопиющего в пустыне:

Люби врагов,
Молись за палачей,
Но помни, что пылающие угли
Ты собираешь на головы им:
Любовь безжалостна,
Любовь язвит и мучит,
Любовь целит,
Любовь сжигает зло.
Любовь — вся жизнь.
Апостол Павел учит,
Что если ты владеешь знаньем тайны,
Имеешь дар пророчества
И веру,
Способную сдвигать устои гор,
Раздашь именование
И плоть отдашь на муку,
Любви же не имеешь, —
Ты — ничто.

В своей дневниковой исповеди Наталья Ануфриева произнесла очень важные слова о «людях на последней грани культуры», их обостренном чувстве судьбы — как личной, так и общей, судьбы Родины. Ученики Волошина жадно впитывали его слово, но между ними и Учителем в результате исторического сдвига, землетрясения выросла трещина и, стремительно расширяясь, навсегда разделила серебряный век куль-

туры и железный, советский, век. На краю культуры они и оказались, эти юные дарования. Учитель-то остался на том берегу, а они, унесенные бездной, провалились в пропасть между двумя берегами.

Глава пятая

МАСТЕР ГЛАЗАМИ ГПУ

**За кулисами жизни
Михаила Булгакова**

«ВЫЯВИТЬ ФИЗИОНОМИЮ»

Секретный отдел ОГПУ выловил заметку, появившуюся в ноябрьском номере берлинского журнала *Новая русская книга* за 1922 год. Некто Булгаков Михаил Афанасьевич сообщал, что он затевает составление «полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами», и потому просил «всех русских писателей во всех городах России и за границей» присылать ему «автобиографический материал». Автор заметки призывал все газеты и журналы перепечатать его обращение.

Замысел, что и говорить, грандиозный! А главное — самостоятельный, неподконтрольный. Кто этот новоявленный Брокгауз и Ефрон?

За личиной самонадеянного биографа угадывался литератор: «Желателен материал с живыми штрихами», а следующая фраза: «Особенная просьба к начинающим, о которых почти или совсем нет материала», — этот акцент на молодых словно намекал, что и сам автор — новичок в литературе.

Впрочем, удостовериться во всем этом не составляло большого труда — тут же был указан адрес: Москва, Большая Садовая, 10, квартира 50.

Кончилась Гражданская война. Грозы военного коммунизма остались позади, советская власть переходила к строительству невиданной, первой в истории социалистической республики. Начали с отступного маневра — нэпа, новой экономической политики, временного возврата к частному рынку. Однако гибкость в экономике вовсе не означала идейной шаткости. Одолев внешнего врага, хозяева жизни — большевики — обратились к внутреннему. Настал черед интеллигенции, предстояло проверить ее на благонадежность, селекционировать: покорных — подчинить; от непокорных — избавиться: кого выбросить за кордон, кого, наоборот, изолиро-

вать и упрятать поглубже; а самых непокорных — к стенке, на революционном жаргоне — пустить в расход.

Затея со словарем русских писателей оказалась небезобидной. Она явно шла вразрез с установкой властей. В самом деле, вместо размежевания, разделения литературы по единственно верному, классовому признаку — на красных и белых, наших и не наших — предлагалось смотреть на нее как на единое целое независимо от государственных границ и политических взглядов.

В этом Лубянка усмотрела крамолу. На Булгакова было заведено досье. Коротенькая заметка в эмигрантском малотиражном критико-библиографическом журнале дала толчок для многолетнего надзора за автором, слежки, которая, подобно хватке удава, то сжимает, то дает перевести дыхание, но уже не отпустит до самой смерти.

Что могло узнать тогда ОГПУ о нем, этом самом никому не ведомом Булгакове? Прописался в Москве год назад, тридцати одного года от роду, женат, живет очень бедно, в коммунальной квартире, служит секретарем в литературном отделе Главполитпросвета, перебивается мелкими гонорарами, печатая фельетоны в газетах и журналах. Один из тех литературных поденщиков, которых в столице — пруд пруди. На время Булгакова оставили в покое.

Дело получило продолжение через год. К заметке из «Новой русской книги» прибавилась копия перлюстрированного ОГПУ письма из Берлина писателя Романа Гуля в Москву другому писателю — Юрию Слезкину. Гуль, который по заказу зарубежного издательства составлял литературный раздел энциклопедического словаря, вспомнив, что Булгаков затевал подобную работу, просит его — через Слезкина — прислать собранные материалы, с уверениями об их непременно возврате. «Дело-то в конце концов общее, интересное и всем нужное» (письмо датировано 21 марта 1924 года).

Неизвестно, дошла ли просьба Гуля по назначению и что стало с материалами, которые собирал Булгаков, но из биографии его мы знаем, что к этому времени свою затею со словарем он оставил и больше не возобновлял, видимо поняв ее безнадёжность.

Зато на полях письма Гуля проступает для нас другая информация. В ОГПУ приписали: «К делу Булгакова “Биографический словарь”. Гендин...»

Это имя в досье будет попадаться часто. Ибо именно ему, уполномоченному Седьмого отделения Секретного отдела Семену Гендину²⁴, поручено вести надзор за Булгаковым. И он берется за дело со всевозрастающим рвением.

Уже в мае перехвачено и скопировано письмо к Булгакову сотрудника «Красного журнала для всех» Николая Каткова с предложением адресату напечатать главы из его романа «Белая гвардия». Таким образом, выясняется, что М. А. Булгаков — не столько биограф и не только журналист, но уже и беллетрист, писатель! В литературном полку прибыло!

Вскоре досье пополнилось еще одним документом. Это тоже письмо, но не копия, а подлинник. 22 мая Константин Булгаков, двоюродный брат Михаила, сообщает ему из Киева о своем знакомстве с корреспондентом английской газеты «Дейли кроникл» Лоутоном и о том, что этот господин ищет подходящего спецкора для своей газеты в России. Советует попробовать: «Ты годишься... Не дрейфь... Вообще, пусть арапа...»

К письму приложена рекомендация для Лоутона, в которой Константин Булгаков дает характеристику своему родственнику: «Предьявитель этого письма — мой кузен Михаил Афанасьевич Булгаков... Он молодой русский писатель и уже корреспондировал в нескольких газетах и пишет в толстых журналах.

Он очень краток, но в то же время необычайно ярок и жив в описаниях и рассказах. В Москве он входит в известность. В то же время он очень энергичный человек. Вы увидите, будет ли он Вам полезен, если прочтете некоторые из его книг...»

Увы, встреча Михаила Булгакова с господином Лоутоном не произошла. ГПУ вовремя предотвратило нежелательный контакт с иностранцем. Письмо из Киева до адресата не дошло, навсегда осев в архивах Лубянки. Это была первая успешная операция Гендина в биографии своего подопечного.

²⁴ Гендин С. Г. (1902—1938) — оперативный работник и следователь ОГПУ—НКВД, инспектор Особого отдела ГУТБ НКВД, заместитель начальника Разведывательного управления штаба РККА. Расстрелян в годы репрессий.

Так Булгаков не стал корреспондентом английской газеты. А как кстати это пришлось бы ему тогда! В том мае месяце, в очередной раз доведенный до отчаяния безденежьем, нищетой, начинающий писатель признался в одном из своих писем: «Себе я ничего не желаю, кроме смерти, так хороши мои дела!»

«Разработка» Булгакова органами сыска идет по нарастающей. Следующим этапом стала агентурная слежка за ним. Наладить ее было нетрудно: литературная среда кишела донощиками. Начало положил в 1925 году неведомый нам секретный агент — имена и клички этого разряда служителей Лубянки засекречены до сих пор и в изученных нами документах отсутствуют; поэтому наречем его просто Гепеухов — словом, изобретенным самим Булгаковым.

Место действия — московская квартира Евдоксии Федоровны Никитиной, литературоведа и издательницы, устроившей у себя так называемые «Никитинские субботники» — вечера, на которых писатели читали свои сочинения. В небольшом, уютном залетесно, стих говор, хозяйка представляет гостям героя вечера — сегодняшнего автора...

А мы послушаем Гепеухова, теперь слово — ему.

Сводка Секретного отдела ОГПУ № 110:

«Был 7 марта 1925 г. на очередном литературном “субботнике” у Е. Ф. Никитиной (Газетный, 3, **ив.** 7, т. 2-14-16).

Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается “очеловечивание” последней.

При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах:

1) У профессора семь комнат. Он живет в рабочем доме. Приходит к нему депутация от рабочих с просьбой отдать им две комнаты, так как дом переполнен, а у него одного семь комнат. Он отвечает требованием дать ему еще и восьмую. Затем подходит к телефону и по № 107 заявляет какому-то очень влиятельному совработнику “Виталию Власьевичу” (?), что операции он ему делать не будет, прекращает практику вообще и уезжает навсегда в Батум, так как к нему пришли вооруженные револьверами рабочие (а этого на самом деле нет) и заставляют его спать на кухне, а операции делать в убор-

ной. Виталий Власевич успокаивает его, обещая дать “крепкую” бумажку, после чего его никто трогать не будет. Профессор торжествует. Рабочая делегация остается с носом.

“Купите тогда, товарищ, — говорит работница, — литературу в пользу бедных нашей фракции”. — “Не куплю”, — отвечает профессор. “Почему? Ведь недорого. Только пятьдесят копеек. У вас, может быть, денег нет?” — “Нет, деньги есть, а просто не хочу”. — “Так значит, вы не любите пролетариат?” — “Да, — сознается профессор, — я не люблю пролетариат”.

Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. Кто-то не выдерживает и со злостью восклицает: — Утопия!

2) «Разруха, — ворчит за бутылкой “Сен-Жюльена” тот же профессор, — что это такое? Старуха, еле бредущая с клюкой? Ничего подобного. Никакой разрухи нет, не было, не будет и не бывает. Разруха — это сами люди. Я жил в этом доме на Пречистенке с 1902 по 1917-й, пятнадцать лет. На моей лестнице двенадцать квартир. Пациентов у меня бывает сами знаете сколько. И вот внизу, на парадной, стояла вешалка для пальто, калош и т. д. Так что же вы думаете? За эти пятнадцать лет не пропало ни разу ни одного пальто, ни одной тряпки. Так было до 24 февраля, а 24-го украли все: все шубы, моих три пальто, все трости, да еще и у швейцара самовар свистнули. Вот что. А вы говорите — разруха».

Оглушительный хохот всей аудитории.

3) Собака, которую он приютил, разорвала ему чучело совы. Профессор пришел в неопишемую ярость. Прислуга советует ему хорошенько отлупить пса. Ярость профессора не унимается, но он гремит: “Нельзя. Нельзя никого бить. Это — террор, а вот чего достигли они своим террором. Нужно только учить”. И он свирепо, но не больно тычет собаку мордой в разорванную сову.

4) “Лучшее средство для здоровья и нервов — не читать газеты, в особенности же “Правду”. Я наблюдал у себя в клинике тридцать пациентов. Так что же вы думаете, не читавшие “Правду” выздоравливают быстрее читавших...” — и т. д., и т. д.

Примеров можно было бы привести еще великое множество, примеров того, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения.

Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид.

Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку.

Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга (первая ее часть) уже прочитана аудиторией в 48 человек, из которых 90 процентов — писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано, даже в том случае, если она и не будет пропущена Главлитом: она уже заразила писательские умы слушателей и обострит их перья. А то, что она не будет напечатана (если не будет), это-то и будет роскошным им, писателям, уроком на будущее время, уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, то есть как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет...

Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем, московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях “Всер. Союза поэтов ...”

9 марта 1925 г.».

Надо отдать должное старанию и цепкой памяти осведомителя: пересказывает он — с голоса автора — подробнейшим образом, успевая при этом фиксировать и реакцию слушателей. А какая прицельная точность: подсчитал и число собравшихся, и процент писателей среди них, запомнил даже номер телефона, который набирает герой повести, — на всякий случай!... И тут же анализирует, делает выводы, выдает рекомендации — прямо отдел пропаганды ЦК ВКП (б). Ценный кадр — артист своего дела!

Судя по всему, Булгаков читал у Никитиной какой-то ранний вариант повести «Собачье сердце», в геппеуховском пересказе есть разночтения с известным, опубликованным текстом. Там влиятельного сотрудника зовут не Виталий Власевич, а Виталий Александрович, номер его телефона не упоминается вовсе, партийные активисты собирают деньги для детей Франции, а не «в пользу бедных нашей фракции»,

профессор грозит уехать в Сочи, а не в Батум... Возможны тут, конечно, и ошибки не совсем уж безгрешной памяти Гепеухова. Оставим эти загадки булгаковедом.

Через две недели Гепеухов снова на посту.

Сводка Секретного отдела ОГПУ № 122:

«Вторая и последняя часть повести Булгакова “Собачье сердце”, дочитанная им 2 марта 1925 г. на “Никитинском субботнике”, вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему: очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем все более и более. Стала развратной: делала гнусные предложения горничной профессора. Но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом: на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления. Все это вывело профессора из себя, и он разом покончил с неожиданным им самим несчастьем, а именно: превратил очеловеченную собаку в прежнего обыкновеннейшего пса.

Если и подобные грубо замаскированные (ибо все это “очеловечение” — только подчеркнуто-заметный, небрежный грим) выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от бумажного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас.

24 марта 1925 г.».

Мавр сделал свое дело. С этого времени ОГПУ уже не выпускает писателя из-под жесткого контроля. Следит за его местопребыванием, сменой квартир («По делу Булгакова. Совершенно секретно... Булгаков ранее проживал по Б. Садовой ул., № 10, кв. № 50 и 29.10.24 г. переехал по адресу: Обухов пер., № 9, кв. № 4...»). Перлюстрирует и анализирует переписку, выявляя нездоровый и враждебный душок. Так, на Лубянке, несомненно, с тревогой узнали, что писатель хочет через посредника напечатать свои вещи за рубежом, и были удовлетворены, когда это не удалось. Посредник (фамилия его в

досе не указана) 2 января 1925 года сообщил автору, что все попытки «пристроить роман» оказались безуспешными, а по поводу другого произведения — повести — многозначительно остерег: «Содержание ее может быть истолковано в неблагоприятном для СССР смысле... По-моему, издавать ее вне СССР на иностранном языке не стоит. Сатира заслуживает самого осторожного обращения. Не так ли?» На копии другого письма, в котором один из московских знакомых Булгакова (в ОГПУ его подпись предположительно расшифровали как «Ю. Готовский» — возможно, однако, это был писатель Юрий Гайдовский) приглашал его 14 декабря к себе домой, на Маросейку, читать среди друзей «Белую гвардию», сотрудник ОГПУ приписал: «Так как письмо спешное, снял копию, а это направил по адресу...»

Прошедший, 1925 год стал для Булгакова последним в череде тех тяжелых лет, которые он назвал позднее «доисторическими временами». Писатель постепенно выбирался из неустроенности и безвестности. Печатался в журнале «Россия» его первый роман «Белая гвардия», вышел в свет сатирический сборник «Дьяволиада». Новое имя заметила критика, запомнил читатель. Молодой автор в полном смысле слова оперился и с надеждой смотрел в будущее.

А для его лубянского опекуна Гендина новый, 1926 год начался с неприятности.

На стол начальнику Секретного отдела Терентию Дмитриевичу Дерibasу попала агентурно-осведомительная сводка № 4 за 2 января, поступившая из Седьмого отделения:

«В Москве функционирует клуб литераторов “Дом Герцена” (Тверской бульвар, 25), где сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя: Есенин, Большаков, Буданцев (махровые антисемиты), Зубакин, Савкин и прочая накипь литературы.

Там имеется буфет, после знакомства с коим и выявляются их антиобщественные инстинкты, так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются.

Желательно выявить физиономию писателя М. Булгакова, автора сборника “Дьяволиада”, где повесть “Роковые яйца” обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии.

Вещь чрезвычайно характерная для определенных кругов общества».

Только что, 31 декабря, Москва похоронила Сергея Есенина, покончившего жизнь самоубийством. Горе для всей земли Русской! Тело поэта при несметном стечении народа пронесли через центр города. Траурный митинг у памятника Пушкину. В газетах — некрологи. Публика наэлектризована слухами и сплетнями. А лубянские служаки отмечают это по-своему — посмертным доносом! И Есенин для них — не великий поэт, а «накипь литературы»!

Старый революционер, опытный чекист Дерibas пришел в ярость. Он устраивает разгон Седьмому отделению, накладывает на донос резолюцию: «Тов. Гендину. Покойников можно оставить в покое! А в чем конкретно выражаются их антисоветские инстинкты? Вообще надо воду прекратить и взяты всерьез за работу по руководству осведомлением».

Автор скандальной сводки, надо думать, получил нагоняй, штат осведомителей был укреплен. И в «Дом Герцена», в котором в то время находился Союз писателей и сосредоточивалась публичная литературная жизнь, — тот самый знаменитый писательский муравейник, с блеском описанный потом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита» как «Дом Грибоедова», — посылаются квалифицированные агенты.

Какой-то переполох, во всяком случае, произошел на лубянской кухне, ибо отныне Гендин, а вместе с ним и булгаковское досье перекочевали из Седьмого в Пятое отделение Секретного отдела, под контроль его начальника Славатинского²⁵. Теперь и он будет читать все доносы на Булгакова. Пара глаз хорошо, а две — зорче.

И результат не замедлил сказаться. Первое же после этого публичное выступление писателя сопровождалось сразу двумя донесениями. Одно из них составил сам Славатинский, выступивший в роли Гепеухова. Он собственной персоной заявился на диспут под названием «Литературная Россия», имевший быть в самом торжественном и престижном Колон-

²⁵ Славатинский А. С. (1892—1938) — сотрудник Секретно-политического отдела ОГПУ—НКВД, заместитель начальника УНКВД по Саратовской области. Репрессирован, расстрелян.

ном зале Дома союзов 12 февраля 1926 года. Затерявшись в кипящей аудитории, внимательно слушал все от начала до конца и подкреплял память набросками в блокноте. Уходя, захватил трофеи — билет на диспут и ловко перехваченную записку из публики. В последующие дни проштудировал газетные отклики о вечере.

И только тогда, в тиши кабинета, подытожил:

«Агентурно-осведомительная сводка № 104

Отчеты о диспуте, появившиеся в “Известиях” и “Правде”, не соответствуют действительности и не дают картины того, что на самом деле происходило в Колонном зале Дома союзов.

Центральным местом или, скорее, камнем преткновения вечера были вовсе не речи т.т. Воронского и Лебедева-Полянского, а те истерические вопли, которые выкрикнули В. Шкловский и Мих. Булгаков. Оба последних говорили и остряли под дружные аплодисменты всего специфического состава аудитории, и, наоборот, многие места речей Воронского и Лебедева-Полянского прерывались свистом и недобрительным гулом.

Нигде, кажется, как на этом вечере, не выявилась во всей своей громаде та пропасть, которая лежит между старым и новым писателем, старым и новым критиком и даже между старым буржуазным читателем и новым, советским, читателем, который ждет прихода своего писателя.

Смысл речей Шкловского и Булгакова заключался в следующем:

Писателю скучно, и читателю скучно, читателю нечего читать, и он принужден питаться иностранщиной. Наша критика ищет и выращивает в своих инкубаторах новых красных Толстых. Когда даже самая скверная бактерия нуждается в бульоне для питания, наш писатель не имеет этого бульона и от литературы бежит в кино. Но... диктатура пролетариата все же для пролетарского писателя еще более опасна, чем для буржуазного, ибо последний может все же найти себе хоть какой-нибудь заработок, составляя коммерческие рекламы для трестов.

Да и вообще скучно и не для кого писать. Ехал как-то Шкловский на извозчике и заинтересовался, почему у него

такая плохая кляча. А извозчик говорит: “Кляча по седоку, а хорошая лошадь у меня на конюшне стоит”.

Вообще же наша литература похожа сейчас на фабрику резиновых галош, которая стала выпускать галоши с дыркой (понимай — пролетарскую литературу). Публика — потребитель — возмущается, а фабрикант говорит: “Помилуйте, вы обратите внимание на красивую форму галош, на их лоск”. А какое дело обывателю до формы и блеска, когда на галошах дырка!

Впрочем, вообще, разве мы можем до чего-нибудь договориться здесь? Это борьба, но не настоящая борьба, когда-нибудь нам надо побороться честно, “по-гамбургски”. А гамбургская борьба заключается в следующем: раз в год борцы, которые борются в цирках и жульничают, съезжаются в Гамбург и там, в интимном кругу, устраивают честную борьбу, на которой и устанавливаются категории и ранги борцов.

Таким образом, то, что происходит в зале Дома союзов, — это не борьба по-гамбургски.

В. Шкловский и Мих. Булгаков требуют прекратить фабрикации “красных Толстых”, этих технически неграмотных “литературных выкидышей”. Пора перестать большевикам смотреть на литературу с узкоутилитарной точки зрения и необходимо наконец дать место в своих журналах настоящему “живому слову” и “живому писателю”. Надо дать возможность писателю писать просто о “человеке”, а не о политике.

Несмотря на блестящие ответы т.т. Воронского и Лебедева-Полянского, вечер оставил после себя тягостное, гнетущее впечатление. Ничего не понял и не уразумел “старый писатель” за 8 лет и посейчас остается для нового читателя чужим человеком. Этот диспут — словно последняя судорога старого, умирающего писателя, который не может и не сможет ничего написать для нового читателя. Отсюда внутренняя неудовлетворенность и озлобленность на современность, отсюда скука, тоска и собачье нытье на невозможность жить и работать при современных условиях.

Начальник 5 Отделения СО ОГПУ Славатинский».

Рядом с этим добротным образцом фискального жанра второе донесение о том же диспуте обычного Гепеухова выглядит куда скромнее, но в сути своей подкрепляет выводы главы Пятого отделения:

«...Выступление Булгакова. Он говорит, что “надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело”. “Нужно писать о человеке”, — заключил свое выступление Булгаков.

Его речь была восторженно принята сидящей интеллигенцией, наоборот же, выступление Киршона было встречено свистом интеллигенции и бурными аплодисментами рабкоров и служащих».

«Т. Гендину о Булгакове в его формуляр», — расписался Славатинский.

Что-то нужно было делать с этим Булгаковым. Руки давно чесались. А тут и случай подвернулся. С самого верха грянуло: ударить по сменовеховцам! Сеть завели пошире...

«Пишу по чистой совести...»

Операция имела место 7 мая 1926 года.

Днем агентурной разведкой через активотделение уточнили место жительства. Прежнее — в Обуховом переулке. Выделили исполнителя — уполномоченного Пятого отделения Секретного отдела Врачева. Выписали ордер за номером 2287, скрепленный подписью начальника оперативного отдела Паукера:

«Выдан... Врачеву на производство обыска у Булгакова Михаила Афанасьевича...»

Обыска? Документ этот не так прост.

На одном листе с ордером, через намеченную пунктиром линию обреза, есть «Талон», адресованный начальнику внутренней тюрьмы ОГПУ: «Примите арестованного...» От руки вписан даже номер дела — «числить за 45», проставлена та же дата — 7 мая и подписи — Г. Ягода и Паукер. Остается только вписать фамилию — и носитель ее окажется за решеткой. Ловушка вроде бы открыта, но одно движение руки — и захлопнется!

Вечером — по испытанной стратегии чекистов действовать в темное время — Врачев отправился в Обухов переулок и, захватив в качестве понятого арендатора дома № 9 Градова, постучал в дверь квартиры № 4.

— Кто там? — донесся женский голос.

— Это я, гостей к вам привел! — бодро гаркнул арендатор.

Дверь распахнулась.

Дальнейшее известно: о том, как производилась операция, рассказала в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская, в то время жена Булгакова. Но вот что именно в точности было изъято и доставлено в ОГПУ, об этом мы узнаем лишь сейчас — из протокола обыска. Врачев явно был проинструктирован заранее: из всего вороха бумаг отобрал только «Собачье сердце» — два экземпляра, перепечатанные на машинке, три тетради дневников за 1921—1925 годы, рукопись под названием «Чтение мыслей» да еще два чужих стихотворных текста: «Послание евангелисту Демьяну Бедному» и пародию Веры Инбер на Есенина — образцы самиздата тех лет.

Операция, произведенная у Булгакова, была не единственной в Москве. По городу прокатилась целая волна обысков. Среди пострадавших оказался и Исай Лежнев, редактор журнала «Россия», в котором печатался роман Булгакова. Публикация «Белой гвардии» оборвалась: журнал скоро был закрыт, склад и магазин издательства опечатаны, а сам редактор не только обыскан, но и выслан за границу.

А 12 мая раздался выстрел, отозвавшийся громким эхом в литературных кругах. Покончил с собой беллетрист Андрей Соболев. Случилось это не где-нибудь, а на самом бойком месте — на скамейке Тверского бульвара, рядом с тем «Домом Герцена», где помещался Всероссийский Союз писателей, председателем которого несколько лет был Соболев. Это тоже давний и близкий знакомый Булгакова, поддерживавший его в черную годину, напечатавший первый из его московских рассказов. Смерть Андрея Соболева восприняли как трагическую демонстрацию.

Была ли какая-нибудь связь между серией обысков и выстрелом на Тверском бульваре — остается только гадать. Но то, что акции ОГПУ — единый замысел, несомненно. И доказательство тому мы находим в досье Булгакова, в позднейшем обзорном документе, пышно именуемом — «Меморандум». «Осенью 1926 года, — говорится там (непростительный для ОГПУ ляп — путать осень с весной), — во время закрытия лежневской «России» у ряда бывших сменовеховцев, в том числе и у Булгакова, был произведен обыск. У Булгакова были изъя-

ты его дневники, характеризующие автора как несомненного белогвардейца».

Сменовеховцы — такие, как авторы журнала «Россия», отставившего позицию честного, неангажированного издания, — были чужды политике советской власти, но сотрудничали с нею, надеясь на ее перерождение к лучшему. И репрессии против них не были каким-то самодурством ОГПУ — нет, чекисты просто претворяли в жизнь директивы последнего партийного съезда, объявившего решительную борьбу со сменовеховством. Удар по Булгакову — не исключительный акт, а часть большой охоты на независимых писателей. Цель — запугать, сделать послушными, пресечь все попытки несанкционированного общения и объединения.

Конечно, автора «Белой гвардии» записали в сменовеховцы лишь потому, что он печатал свой роман в их журнале. Сам он никогда к этой группировке себя не причислял и даже относился к ней с антипатией. Но можно считать, он на этот раз еще легко отделался! Знал бы Булгаков, какая туча повисла над его головой. Совсем недавно из секретных архивов всплыла докладная Г. Ягоды в ЦК ВКП(б), в которой тогдашний зампред ОГПУ предлагал для разгрома сменовеховцев не только произвести у них обыски, но и «по результатам обысков... возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц». Седьмым в этом списке значился Михаил Булгаков, литератор ²⁶...

Ирония судьбы: Булгаков оказался на волоске от высылки за границу — и чуть не получил то, чего не мог добиться потом всю жизнь. Как знать, быть может, он тогда и прожил бы дольше, и личная судьба его сложилась бы безмятежнее. Но вот вопрос: подарил бы он тогда миру «Мастера и Маргариту»?

«За справками обращаться в Комендатуру ОГПУ, — предлагалось в протоколе обыска, — Лубянка, дом 2, вход с Лубянской площади». Дверь гостеприимно распахнута. И Булгаков воспользовался этим адресом. Оскорбленный насилием (для него непостижимо, что сокровенный дневник может быть

²⁶ Файман Г. Лубянка и Михаил Булгаков. — «Русская мысль», 1995, № 4080, 1—7 июня.

присвоен государством и бесцеремонно открыт чужим взглядам; тогда же он дал себе слово никогда больше дневников не вести), решил действовать. Уже через десять дней, 18 мая, обратился с посланием:

«В ОГПУ

литератора Михаила Афанасьевича Булгакова

Заявление

При обыске, произведенном у меня представителями ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у меня были изъяты с соответствующим занесением в протокол — повесть моя “Собачье сердце” в 2 экземплярах на пишущей машинке и 3 тетради, написанные мною от руки, черновых мемуаров моих под заглавием “Мой дневник”.

Ввиду того, что “Сердце” и “Дневник” необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а “Дневник”, кроме того, является для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении мне их».

На Лубянке заявление кануло в Пятое отделение Секретного отдела — «т. Гендину, на исполнение». Безответно.

Спустя месяц, 24 июня, — новое послание, того же содержания, но выше — самому Председателю Совета Народных Комиссаров Рыкову. Никакой реакции — глухая стена.

И только осенью — 22 сентября — пригласили в ОГПУ. Булгаков и Гендин встретились лицом к лицу.

Проторенный миллионами путь: донос—обыск—допрос... Что дальше? Выйдет ли переступивший порог Лубянки назад, на улицу, в свою прежнюю жизнь?

Процедура допроса состояла из двух частей: сначала Булгаков собственноручно заполнил анкету и затем отвечал на вопросы по существу дела — ответы фиксировал на бумаге его визави. Непонятно только, в качестве кого он допрашивался: в протоколе записаны два слова: «обвиняемого/свидетеля», и ни одно не вычеркнуто — понимай как хочешь!

Из протокола допроса:

«...На первоначально предложенные вопросы он показал:

...Год рождения — 1891.

Происхождение — сын статского советника, профессора Булгакова... Род занятий — писатель-беллетрист и драматург...

Имущественное положение — нет.

Образовательный ценз — Киевская гимназия в 1909 г., Университет, медфак в 1916 г.

Партийность и политические убеждения — беспартийный.

Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях.

Где жил, служил и чем занимался —

...с 1914 г. до Февральской революции 1917 г. — Киев, студент медфака до 1916 г., с 1916 г. — врач;

...в Февральскую революцию 1917 г. — село Никольское Смоленской губ. и город Вязьма той же губ.; с Февральской революции 1917 г. до Октябрьской революции 1917 г. — Вязьма, врачом в больнице;

...в Октябрьскую революцию 1917 г. — то же, участия не принимал;

с Октябрьской революции 1917 г. по настоящий день — Киев, до конца августа 1919 г. С августа 1919 до 1920 г. во Владикавказе. С мая 1920 по август в Батуме в РОСТе (РОСТА — Российское телеграфное агентство. — В. Ш.), из Батума — в Москву, где и проживаю по сие время.

Сведения о прежней судимости — в начале мая сего года производился обыск.

Показания по существу дела:

Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России (подчеркнуто в ОГПУ. — В. Ш.). С Освагом (Осведомительное агентство — пропагандистский орган Белой армии. — В. Ш.) связан не был, предложений о работе в Осваге не получал. На

территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением.

В момент прихода Красной Армии я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. По выздоровлении стал работать с Соввластью, заведывая ЛИТО Наробраза. Ни одной крупной вещи до приезда в Москву нигде не напечатал.

По приезде в Москву поступил в ЛИТО Главполитпросвета в качестве секретаря. Одновременно с этим начинал репортаж в московской прессе, в частности, в “Правде”. Первое крупное произведение было напечатано в альманахе “Недра” под заглавием “Дьяволиада”, печатал постоянно и регулярно фельетоны в газете «Гудок», печатал мелкие рассказы в разных журналах. Затем написал роман “Белая гвардия”, затем “Роковые яйца”, напечатанные в “Недрах” и в сборнике рассказов. В 1925 г. написал повесть “Собачье сердце”, нигде не печатавшаяся. Ранее этого периода написал повесть “Записки на манжетах”...

«Белая гвардия» была напечатана только двумя третями и недопечатана вследствие закрытия, т. е. прекращения, толстого журнала “Россия”.

“Повесть о собачьем сердце” не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение “Повесть о собачьем сердце” вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, т. к. подпала под влияние фракции. Это произведение я читал на “Никитинских субботниках”, редактору “Недр” т. Ангарскому, и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича, и в “Зеленой лампе”. В “Никитинских субботниках” было человек 40, в “Зеленой лампе” человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание».

— Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка? — добивался нужного ответа Гендин и получил:

— Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю.

Зато на другой вопрос:

— Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке «Зеленая лампа», — Булгаков отвечать не захотел:

— Отказываюсь по соображениям этического порядка.

Гендин дал ему подписать каждую страницу протокола, что тот и сделал: «Записано с моих слов верно, записанное мне прочитано».

Были и еще вопросы. Больше всего секретного уполномоченного интересовало, почему Булгаков не пишет о рабочих и крестьянах, а только об интеллигенции и отчего у него такое злое перо. И тут допрашиваемый высказался не виляя — настолько открыто и даже резко, что Гендин тут же подsunул ему бумагу и предложил изложить свои взгляды самому. И Булгаков написал на отдельном листе (он приложен к протоколу) размашистым, решительным почерком:

«На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.

Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик)».

Документ исключительной важности! Это не фальшивка лубянских сочинителей, Булгаков сам говорит о своей жизни, откровенно и чеканно излагает свое кредо.

«Физиономия выявлена» исчерпывающе. «Несомненный белогвардеец», — как сказано в «Меморандуме».

О возвращении рукописей в протоколе ни слова. Речь об этом на допросе, конечно, шла, не могла не пойти, и, скорее всего, что-то Булгакову туманно было обещано: разберемся, мол, посмотрим, известим... Но отдавать их на самом деле вовсе не собирались: это была откровенная улика, свидетельство неблагонадежности писателя, а если прибавить сюда протокол допроса, можно крепко держать на крючке и выдернуть — на сковородку — в любой момент.

Сам же колебатель государственных устоев вовсе не собирался делать тайну из навязанного ОГПУ общения. Один из вездесущих гепеуховых донесет, что вызов Булгакова на Лубянку всюду обсуждается в московских литературных кругах, что Булгаков подробнейшим образом рассказал о допросе известному писателю Смидовичу-Вересаеву. Во время допроса ему казалось, что «сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить», в конце концов ему заявили, что «если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы», а когда он вышел из ГПУ, то видел, что за ним идут.

«Передавая этот разговор, — добавляет Гепеухов, — писатель Смидович заявил: “Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: “Ничего”, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку”...»

«Таково настроение литературных кругов. Сведения точные. Получены от осведома», — подводят черту чекисты.

Булгаков не только ничего не скрывал, но больше того — предупредил тех, кому, по его мнению, грозила опасность. Сообщил, например, на заседании литературного кружка у Зайцева: вызывали, говорили, что кружок привлекает к себе внимание и его нужно закрыть (об этом свидетельствует в своих мемуарах Зайцев).

Семен Гендин делает выписку из очередной агентурной сводки № 290 от 5 октября 1926 года:

«...Линия борьбы с гегемонией пролетарской идеологии все более и более выкристаллизовывается.

Принимает ли эта “фронта” организационные формы? Вряд ли, хотя кое-какие намеки уже попадались... Михаил

Булгаков и еще кое-кто были у Шкловского и совещались о “своем” органе. Возможно, что это совещание ничего не дало, так как шел разговор еще об одной встрече, но, насколько удалось выяснить, вторично эта группа не встречалась...

Во что выльется эта “фронда”? Трудно сказать, но, мне кажется, некоторые из этих журналистов могут свихнуться и скатиться в лагерь корреспондентов “Руля” и “Социалистического вестника” (издания русской эмиграции. — В. Ш.). Левидов замышлял... ехать за границу на пароходе Совторгфлота, минуя административный отдел Моссовета, так как он не уверен, выдадут ли ему паспорт. То же хотел сделать и Юнпроф, и Непомнящий, и многие другие.

Но несомненно одно: пора задуматься об этом “уклоне” части журналистов и литераторов и локализовать его...»

«Верно», — удостоверяет выписку Гендин. Его упругая подпись гусеницей переползает с одной бумаги на другую. Булгаковская папка растет не по дням, а по часам.

Гендин наверняка знает, что сегодня, 5 октября, в Московском Художественном театре — премьера пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Но и представить себе не может, что этот день станет едва ли не самым важным в судьбе его подопечного. Ибо, как пишут в романах, на следующее утро тот проснется знаменитым.

Успех был оглушительный, триумфальный. Имя Булгакова сразу стало известным. Атмосфера вокруг него раскалилась до предела.

«Направляюсь в ГПУ (опять вызывали)», — сообщает Булгаков 18 октября в письме Вересаеву, должно быть, желая дать знать, куда идет, если с ним что-нибудь случится.

Новый, только что назначенный начальник Пятого отделения Рутковский докладывал в этот же день:

«Вся интеллигенция Москвы говорит о “Днях Турбиных” и о Булгакове...»

В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по четыре и шесть часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу...»

Пока на Лубянке переваривают тревожную информацию, туда приходит секретный пакет от наркома просвещения Луначарского.

«3 ноября 1926 г.

ОГПУ, т. Ягоде

Мною получено заявление гражданина Булгакова, которое и препровождаю».

Заметим: не писателя — «гражданина». Наперсник талантов, садовод искусств, нарком Луначарский ничего не просит и не требует. Просто извещает — а вы уж, товарищи, сами решайте, вам видней.

О чем же заявляет неугомонный Булгаков? Да все о том же. Нет чтобы сидеть тихо — раззвонил на всю страну!

«Народному Комиссару просвещения

Заявление

...Прошу Вашего ходатайства о возвращении мне “Дневника”, не предполагающегося для печати, содержащего многочисленные лично мне интересные и необходимые заметки.

Задержка “Дневника” приостановила работу мою над романом, не имеющим никакого отношения к политике, разрушила вконец весь мой литературный план года на два вперед...

30 октября 1926 г.».

Обе бумаги совершили многоступенчатое нисхождение из кабинета Ягоды, переходя из отдела в отделение, от большего начальника к меньшему, пока не улеглись на стол главного спеца по Булгакову — Гендина, с резолюцией Рутковского:

«Просмотрите его дневники и заметки, имеющие личный характер, можно вернуть (исполните его вызов и пришлите ко мне)».

Кажется, теперь-то уж все решится!

Никаких следов визита в досье нет. Раунд закончился вничью. Рукописи не отдали, но хоть в ссылку не отправили! За чем же тогда вызывали? Попросить контрамарку на «Дни Турбиных»?

А шум вокруг Булгакова разрастается. В другом ведущем московском театре — имени Вахтангова — пошла еще одна

его пьеса — «Зойкина квартира» (печет он их, что ли?), и тоже с аншлагом.

Можно себе представить гордую ответственность скромного уполномоченного, который, с одной стороны, оказался в рабочем контакте с самими товарищами Луначарским и Ягодой, а с другой — держал в руках судьбу возникшей вдруг знаменитости.

Теперь иметь с ним дело стало опасно. Трогать его — в ореоле славы — надо поделикатней. Почешешь затылок: любая неосторожность может стоить карьеры.

Булгаков никак не может примириться с потерей арестованных рукописей. Для него это вопрос принципа, чести! Главная забота — о дневнике, ибо ясно, что оставлять его в руках чекистов опаснее всего. Борьба за его возвращение растянулась на годы. Теперь известно, какими заявлениями писатель бомбардирует Лубянку, и тон их становится все настойчивей.

18 января 1928 года обращается прямо в Секретный отдел: «Позволю себе в последний раз беспокоить Политическое Управление просьбою вернуть мне не предназначенные ни для печати, ни для сообщения кому бы то ни было мои записки.

В случае, если Государственное Политическое Управление не пожелает удовлетворить мою просьбу, прошу известить меня о том, что дневник мой возвращен мне не будет».

Не дождавшись ответа, он возобновляет свои попытки — на этот раз через Горького. Ощувив поддержку, оформляет доверенность на получение рукописей на имя жены Горького — Екатерины Павловны Пешковой, возглавлявшей Политический Красный Крест. «О рукописях Ваших я не забыла, — пишет Булгакову Екатерина Павловна, всегда готовая помочь попавшим в беду, — и два раза в неделю беспокою запросами о них кого следует. Но лица, давшего распоряжение, нет в Москве. Видимо, потому вопрос так затянулся. Как только получу их, извещу Вас».

Лицом, давшим распоряжение, был, по всей вероятности, не кто иной, как Ягода, ибо именно к нему Булгаков адресуется в конце того же года (12 ноября):

«Так как мне по ходу моих литературных работ необходимо перечитать мои дневники... я обратился к Алексею Максимовичу Горькому с просьбой ходатайствовать перед ОГПУ о возвра-

щении мне моих рукописей, содержащих крайне ценное лично для меня отражение моего настроения в прошедшие годы.

Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его успехом увенчалось и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся.

Я прошу ОГПУ дать ход этому моему заявлению и дневники мои мне возвратить».

Судя по интонации, Булгаков почти уверен в успехе — нужно только подтолкнуть чекистов, напомнить о себе...

Но над ним уже снова сгустились тучи. И вскоре грянул гром с политического олимпа — сокрушительная критика самого Сталина. Писатель попал в жестокую опалу. Все его пьесы были сняты со сцены, публикации запрещены. Тут и Пешкова, и Горький уже были бессильны помочь.

И вдруг, когда он меньше всего этого ожидал, его вызвали в ГПУ и наконец дневник вернули — 3 октября 1929 года, через три с половиной года после изъятия!..

Вновь открывшиеся материалы лубянского архива позволили проследить все перипетии борьбы писателя за свои рукописи. Дальнейшая почти мистическая судьба дневника была нам уже известна. Автор сжег сокровенную исповедь, оскверненную полицейским вторжением, но остался под арестом ее «двойник»: оказалось, Гендин и его коллеги, прежде чем вернуть тетради, сняли копию. А нынешние архивисты КГБ спустя шестьдесят лет извлекли ее на божий свет. Это была одна из первых рукописей, освобожденных из лубянского заточения²⁷.

Подтвердилось пророчество из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»: рукописи не горят!

«За эту пьесу следовало бы расстрелять...»

«Дни Турбиных» — самая знаменитая пьеса Михаила Булгакова. И особый сюжет в его закулисной жизни.

Лубянка узнала об этой пьесе задолго до того, как она попала на театральные подмостки. И больше того — участвова-

²⁷ Подробный рассказ об этом см.: Шенталинский В. Рабы свободы. М., 1995.

ла в ее сценической судьбе, сопровождала все время — то как молчаливый, но недремлющий конвой, то прямо вмешиваясь и прерывая действие.

Один из сигналов о новой «вредительской» вылазке Булгакова поступил в июле 1926 года, после того как Главный репертуарный комитет (он же Главрепертком, он же ГРК) — официальный орган, контролирующий театры, — просмотрев закрытую репетицию спектакля во МХАТе, потребовал серьезной перделки пьесы. Только при такой условии она могла увидеть свет рампы. Работа — дебют для молодой, обновленной труппы — была в разгаре, шла вдохновенно, в дружном контакте с автором пьесы. Потом этот период назовут весной Художественного театра: лучшая сцена страны наконец-то дождалась блестящего драматурга, а драматург — достойной его сцены.

В советском искусстве назревало большое событие. «В литературных кругах много разговоров о пьесе Булгакова “Белая гвардия” (первоначальное название. — В. Ш.), — докладывал на Лубянку Гепеухов, причастный к писательской братии. — Антисоветская часть литераторов с торжеством рассказывает, что Главрепертком “просмотрел” такую явно “белую” вещь...»

Новое заседание Главреперткома было назначено на 17 сентября, вскоре после открытия театрального сезона. МХАТ лихорадило. Перед репетицией главный режиссер Константин Сергеевич Станиславский сделал тактический ход — распорядился раздать контрамарки только своим болельщикам, сочувствующим театру. Подготовилось к схватке и ОГПУ и даже приняло в ней непосредственное участие — послало во МХАТ труппу своих полномочных представителей.

После репетиции начался другой спектакль. Его действующие лица помимо чекистов — пять сотрудников ЦК ВКП (б), театральная секция Главреперткома в лице критиков А. Орлинского и В. Блюма и в качестве статистов несколько партийных посланцев из московских райкомов. Председательствовал солидный — в галстук и очках, с профессорской бородкой, лысиной и брюшком — начальник Главлита, главный цензор страны Павел Иванович Лебедев-Полянский. Секретарские обязанности взял на себя упол-

номоченный Пятого отделения Секретного отдела ОГПУ Николай Шиваров²⁸.

Крепкая подобралась команда! Не проскочит и мышь!

Весь ход этого спектакля нетрудно себе представить, вернув с протокольной бумаги из лубянского досье в уста персонажей их речи.

Вступительное сообщение было поручено Блюму.

— Сейчас мы смотрели второй вариант постановки, в котором учтен целый ряд указаний, данных ГРК театру, — начал он. — Однако множество мест, враждебных нам, не изъято или недостаточно смягчено. Следует, например, убрать картину петлюровского лагеря, так как и для автора, и для постановщика петлюровщина — это псевдоним революции, темная, необузданная стихия...

Перечислив еще несколько «враждебных мест», Блюм нашел все же, что после вторичной переработки может получиться если не революционная, то хотя бы сменовеховская пьеса.

Прения открыл коллега Блюма — Орлинский, который усилил огонь критики:

— У Булгакова крайне идеализированы все белогвардейцы. Представьте, если бы МХАТу предложили пьесу, в которой была бы так идеализирована семья революционеров, что бы произошло? МХАТ отверг бы ее как антихудожественную! «Дни Турбиных» — пьеса не художественно-реалистическая, а грубо тенденциозная. Это апология белогвардейщины. И контрреволюционность настолько сильна, что ее не удастся смьпть никакими переделками. Кроме того, в пьесе сквозит шовинистический дух. Кто единственная отгалкивающая фигура среди белогвардейцев? Немец Тальберг!

Выступили один за другим лица из ЦК ВКП(б) — все они нашли пьесу враждебной и высказались против постановки. Ударили и по театру: МХАТ пренебрежительно относится к указаниям партийных органов. Разве допустимо пускать народ на репетицию еще не разрешенной пьесы?

— Что это за «закрывага» репетиция перед тысячной аудиторией «из своих»? — грозно вопрошал товарищ Розе. —

²⁸ Шиваров Н. Х. (1898—1940) — оперативный работник и следователь ВЧК—ОГПУ—НКВД. В 1937 году арестован, умер в лагере.

Репетиция, на которой демонстрируется сомнительная в цензурном отношении вещь? Нелегальное собрание! Мы сами прибежали когда-то к таким способам и знаем, что это такое. Овации, устроенные артистам и автору, — это политическая манифестация. Мы не можем мириться с тем, что МХАТ дает пищу мелкой буржуазии...

«Идеализация белогвардейщины», «предельная тенденциозность», «враждебность» — подобные же ярлыки навешивал и представитель ОГПУ Шиваров.

— Белогвардейцы вызывают сочувствие зрителей! — возмущался он. — И тем больше, чем лучше игра артистов! Не наша забота, товарищ Блюм, перерабатывать белогвардейские пьесы в сменовеховские. Это политическая ошибка! Сменовеховцы отнюдь не безопаснее белогвардейцев. Пьесу нужно безусловно снять!

Перепуганный Блюм бросился оправдываться: да-да, он был слишком мягок, товарищ Шиваров, конечно же, прав — пьесе не место на сцене...

Товарищи рангом ниже — посланцы райкомов — скромно молчали, солидаризируясь с мнением вышестоящих товарищей.

Товарищ Лебедев-Полянский подвел итог:

— Не стоит говорить о мелких переделках и недостатках пьесы. Мнение о ее политической вредности и недопустимости разделяется всеми выступившими. Нашей классовой правды в пьесе нет. Пьеса несомненно враждебная и, конечно, недопустима... А овации публики — это маневр театра с целью воздействовать на нас. Такая практика недопустима, я дам соответствующее административное распоряжение, чтобы это не повторялось...

— Приходится, однако, считаться с различными посторонними влияниями при рассмотрении таких вопросов, — продолжал Лебедев-Полянский, — тем более что вопрос касается первого выступления МХАТа на современные темы...

Оратор явно имел в виду поддержку пьесы наркомом проsvещения Луначарским, уже высказавшимся в печати за разрешение ее. Да и со Станиславским нельзя не считаться — корифей и слава русской сцены, мировая известность!

Искушенный в таких делах Лебедев-Полянский вносит предложение, как сказано в протоколе (дай Бог выговорить!), — «проведение которого имеет целью обеспечить снятие пьесы с постановки вопреки возможных посторонних влияний»... Говоря нормальным языком, придумал какой-то хитрый маневр. Какой?

«Постановили: исходя из единодушной оценки пьесы Булгакова “Дни Турбиных”, пьесу с постановки снять».

И опять лукаво-мудреное: «Данное постановление осуществит порядком, указанным в предложении т. Лебедева-Полянского, а именно...» — тут на самом интересном месте текст обрывается, в протоколе зияет белое пятно. Дальше, стало быть, — секрет, государственная тайна.

В чем же состояло предложение главного цензора, о котором нельзя было даже писать в документе и которое так тщательно скрывалось? Что это за тайны мадридского двора?

Переделать не пьесу, а самого автора, заставить подчиниться? Или другое, привычное в партийной практике средство — организовать общественное мнение: спустить с цепи всегда и на все готовых псов-критиков, мобилизовать печать, покатить волну негодующих собраний, разбудить праведный пролетарский гнев? Или и то и другое — комплекс мер? Судя по дальнейшим событиям, именно так.

— Если не разрешат эту пьесу, я уйду из театра, — сказал актерам после заседания бледный Станиславский. Но не опустил руки.

18 сентября театр как ни в чем не бывало репетирует.

19 сентября должна состояться генеральная репетиция, но ее отменяют.

22 сентября, понедельник. На этот день назначена фотосъемка участников спектакля — в гриме и костюмах. Сохранился снимок — автор пьесы в центре, изысканно одет, гордая осанка, руки скрещены на груди. А между тем в этот день с ним произошло экстраординарное событие, о котором мы теперь знаем из архивного досье: именно 22 сентября его в сопровождении сотрудника ОГПУ увозят на Лубянку и учиняют там допрос.

23 сентября. Сегодня решится, идет пьеса или нет. Полная генеральная репетиция с публикой. В зале — представители правительства, Главрепертком, пресса. На этот раз

Станиславский вынужден был сделать противоположный ход: накануне обращается к труппе с инструкцией — ввиду «серьезных обстоятельств» он категорически запрещает появляться в театре артистам и служащим, не занятым в спектакле. Приходит письмо от его учеников, больше похожее на соболезнование: «Сегодня, в трудный для Вас и для театра день — все мы, как один, хотим передать Вам и всему театру — нашу тревогу и нашу душевную преданность...»

Начало спектакля — публика очень холодна, потом постепенно оттаивает, теплеет, и к финалу — зал побежден.

— Пьеса, может и наверное, пойдет, — пообещал после спектакля Луначарский. И добавил: — Впрочем, пока это мое личное мнение...

Несмотря на все усилия противников пьесы, она была поставлена. 5 октября с триумфом прошла премьера.

Проглотили, но не смирились. Готовили контратаку. Тутто и обрушился на автора и на театр умело отрежиссированный шквал общественного мнения. Партактивисты и чекисты, тайные агенты и официальные критики, гласные и негласные стукачи объединились, чтобы добиться снятия спектакля. Парадокс: бешеный успех у публики — и многогласное осуждение в печати. Булгаков не успевал вырезать и развешивать по стенам, наклеивать в специальный альбом отзывы, один ругательней другого.

Как велась эта кампания, видно по материалам лубянского досье. Испытанный прием — побить писателя руками его коллег. Вот закрытая рецензия драматурга Бориса Ромашова, по видимому заказанная ОГПУ.

У него, как и у Булгакова, только что поставлена (в студии Малого театра) первая пьеса «Федька-есаул», тоже посвященная событиям Гражданской войны на юге России. Кандидатура подобрана умело: вот, мол, такой же молодой драматург и пишет о том же, но какая разница!

И Ромашов старается оправдать доверие:

«Пьеса Булгакова явилась первым опытом старого МХАТа в области современного репертуара. Опыт, должно подчеркнуть, не удался во многих отношениях.

“Дни Турбиных” пытаются дать “эпическое полотно” эпохи гражданской войны... но вместо эпического полотна

перед зрителем ряд несвязанных эпизодов... Сосредоточивая внимание на жизни Турбиных (совершенно из “Трех сестер” Чехова), автор совершает грубейшую ошибку, пытаясь показать подобным образом белогвардейщину, в розовых, уютных красках рисуя ее “героев”... Отсутствие социального подхода, стремление уйти в уютное гнездышко, спрятав голову подобно страусу, делает всю картину нарочито фальшивой и идеологически неприемлемой.

И никакой эпохи не может быть за кремовыми шторами, ибо нельзя и смешно пытаться дать эпическое полотно, не поднявшись на те колосники, откуда видны социально-классовые корни и границы революции...

МХАТ ставит эту пьесу со всеми атрибутами чеховщины. Система Станиславского возобновляется во всей своей широте (хотя сам создатель системы недавно в своей книге отказался от нее). Получается урок из давнего прошлого. И все эти приемчики натуралистической игры, виртуозное ведение диалога, истерия и т. п. производят впечатление на публику. Большое мастерство и культура несомненно налицо в актерском исполнении. Но тем хуже для спектакля. Как раз этот подход усиливает фальшивость самой пьесы...

Никак нельзя говорить о современности в этом спектакле, совершенно чуждом новому зрителю!..

Новый театр должен противопоставить подобным пьесам действительно здоровую вещь, написанную во всеоружии классового анализа событий без “турбинских” извращений».

«Здоровые вещи», стало быть, пишут такие драматурги, как Ромашов, ушедшие далеко вперед от «чеховщины» (ну и словечко для писателя!).

Доносы на Булгакова в эти дни сыпались как из рога изобилия. Из них делаются выжимки — агентурные сводки и посылаются наверх — начальству.

«От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим... Около Художественного театра стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на “Дни Турбиных” по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа, весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки...

Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса («Зойкина квартира») усиленным темпом готовится в студии имени Вахтангова, а третья («Багровый остров») уже начинает анонсироваться Камерным театром. На основании этого успеха Московское общество драматических писателей выдало Булгакову колоссальный аванс, который, конечно, не будет возвращен, если даже две остальные пьесы Главрепертком и запретит к постановке... Шумиха, поднятая в московской печати, способствовала тому, что «Зойкина квартира» в Киеве идет ежедневно при переполненных сборах...»

Сущее бедствие этот Булгаков! Уже и на Украину перекинулся. И вот что хуже всего: меры, принятые против него, дают обратный результат. Получается, что сами чекисты добавляют ему популярности.

Гепеухов, близко стоящий к театру, жалуется: «Начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву... Проведено так организованно, что не подточешь и булавки, а все это — вода на мельницу автора и МХАТа... Пьеса ничего особенного не представляет... Всю шумиху подняли журналисты и взбудоражили обывательскую массу...»

Во всяком случае, «Дни Турбиных» — единственная злоба дня за эти лето и осень в Москве среди обывателей и интеллигенции. Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением...»

Но самое интересное в подобных сочинениях, конечно, не оценки и суждения их авторов, а те, выхваченные из летящего времени, мгновения, в которых проступает сам Булгаков, с живым лицом и живой речью.

Вот он в «интимной беседе», на ужине после генеральной репетиции «Дней Турбиных», рассказывает, какую экзекуцию устроили его пьесе:

— Реперткому не нравится какая-то фраза, слишком обнаженная по содержанию. Она, конечно, немедленно выбрасывается. Тогда предыдущая фраза, а за ней и последующая становятся немыслимыми логически, а в художественном отношении абсурдными. Они тоже выбрасываются, механически. В конце концов целое место становится примитивом, обнаженным до лозунга, — и пьеса получает характер однобокий, контрреволюционный...

Вот он приходит в театр и, увидев новые цензурные сокращения в пьесе, сокрушенно спрашивает:

— Почему многие места пропущены?

И слышит ответ:

— Они именно не пропущены...

Идет спектакль. В антракте к Булгакову подходит маленький, беспокойный человек и с ходу заявляет:

— Вас за эту пьесу следовало бы расстрелять!

— А вы кто такой? — недоумевающе спрашивает Булгаков.

— Я Карл Радек!

— Простите, но я и вас не знаю и не знаю, кто такой Карл Радек...

Известному партийному деятелю, идеологу и публицисту нечем крыть. Но такое не забывается и не прощается...

8 февраля 1927 года Гендин отправился в Театр Мейерхольда на диспут, посвященный постановкам «Дней Турбиных» и пьесы Тренева «Любовь Яровая», и представил потом в ОГПУ обстоятельный отчет. По существу, вечер этот был общественным судом над Булгаковым под видом дискуссии при переполненном зале.

Председательствующий — Анатолий Васильевич Луначарский — пробовал защищать «Дни Турбиных»:

— По своему содержанию пьеса не контрреволюционна, и хорошо, что она разрешена к постановке. Нельзя требовать от квалифицированной интеллигенции, чтобы она сдала все свои позиции и сделалась коммунистической. Но из-за поднятого вокруг пьесы шума и больших споров при разрешении постановки она превратилась в запретный плод, возбуждающий всеобщий интерес...

В роли прокурора выступил все тот же Орлинский из Главреперткома — один из самых ярких хулителей Булгакова. Суть его речи — запальчивой и длинной — сводилась к тому, что «Дни Турбиных» плод не запретный, а, к сожалению, не запрещенный.

— Это белая пьеса, кое-где подкрашенная под цвет редиски, но сердцевина-то у нее все-таки белая! И все идет от этой белой сердцевины. Характерный признак пьесы — боязнь

массы. В ней нет рабочих, нет даже денщика, прислуги... Там, в этой пьесе, не хватает только хороших генералов, чтобы двинуть в поход белую гвардию...

«Совершенно неожиданно и любопытно было выступление Булгакова, — записывает в отчете Гендин. — Начав с того, что с 5 октября 1926 года критик Орлинский всячески преследует его, он хитро и довольно остроумно стал защищать своих героев».

Что же ответил Булгаков на придирки своего обвинителя?

— Уступая настойчивым требованиям Орлинского, я ввел в свою пьесу следующую фразу: Лена просит Алексея позвать горничную Аннушку, Алексей сообщил, что Аннушка уехала в деревню. Что касается денщика, то его нельзя было достать в Киеве в то время даже на вес золота. А большевиков я не мог показать, во-первых, потому, что нельзя на сцену вывести полк солдат, во-вторых, пьесу надо уложить с таким расчетом, чтобы публика могла поспеть к трамваю, и, в-третьих, большевики надвигались с севера и до Киева еще не дошли...

«Любопытно отметить, — пишет Гендин, — что две трети партера аплодировали Булгакову, между тем как галерка кричала ему, что он неприкрытый враг. В антракте Булгаков собрал вокруг себя большую толпу, где продолжал идеализацию и защиту своей пьесы».

Поведение писателя поразило не только Гендина, но и матерого, выдавшего виды марксиста-полемиста Луначарского. В заключительном слове он отметил, что выступление Булгакова «носило исторический интерес». Он «очень хитро и с большой дерзостью защищал свою пьесу».

Узнал Гендин и о том, как вел себя Булгаков после вечера. Один из гепахузовых, несший караул в «Доме Герцена», удачно оказался с ним рядом за ресторанным столиком.

«Булгаков был взволнован диспутом, с которого он удрал, не дождавшись конца. Он выступил на самозащиту, так как какой-то оратор врал на него, приводя несуществующие цитаты из “Дней Турбиных”. Когда публика начала кричать, что Булгаков в театре, его попросили на сцену, и он “отругнулся”».

В общем, к спору о его пьесе (мы говорили около часу) он равнодушен. Его выводит из себя только одно — запрещение пьесы всюду, кроме Художественного театра. Он мог бы заработать громадные деньги, но... даже “Зойкину квартиру” везде запретили (хотя она и проскочила в Киеве шесть раз). Настроение, в отличие от “эмигрантствующих” писателей, менее агрессивное. Никаких выпадов против власти и никаких “метаний”. В голосе, подергивании мускулов лица (едва заметном) чувствуется, правда, какая-то злоба, не совсем от бюджета исходящая. Если враг, то сдержанный и тайный...»

Не расстреляли, как предлагал Радек, но в начале осени своего добились — пьесу сняли. Ненадолго: сторонники ее уже в октябре перетянули канат на себя, на этот раз кроме Станиславского и Луначарского почему-то подал голос «за» Клим Ворошилов. «Дни Турбиных» шли еще полтора года, пока их не сняли опять вместе со всеми другими пьесами Булгакова. «Турбины» вновь вернулись на сцену только через пять лет.

Пьеса пульсировала, то затихая, как задушенная, то вновь обретая дыхание.

«На этой пьесе, как на нити, подвешена теперь вся моя жизнь, — признался в одном из писем Булгаков, — и ежедневно я воссылаю моления судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».

«Бег» с препятствиями

В июле 1927 года, в разгар баталий вокруг «Дней Турбиных», ОГПУ узнало, что Булгаков замысливает еще одну пьесу. Беседа с другими писателями, он заявил:

— Меня считают контрреволюционером, ну так я им напишу революционную пьесу!

Вскоре он уехал в Крым, где и засел за работу.

Пьеса — она получила название «Бег» — была закончена в конце года. И тогда же в МОДПИКе (Московское общество драматургов, писателей и композиторов), в котором состоял Булгаков, разразился страшный скандал. Сигналы о нем, зарегистрированные сразу в двух отделах ОГПУ — Секретном и Информационном, — позволяют подробнейшим образом восстановить этот эпизод.

Началось с того, что в МОДПИК поступило заявление Булгакова: он покидает эту организацию и переходит в Драмсоюз (Союз драматургов). Член правления МОДПИКа Гольденвейзер тут же позвонил Булгакову, чтобы разъяснить неприятный сюрприз. Состоялся следующий разговор (изложен он в агентурной сводке столь обстоятельно, будто записан на магнитную ленту):

— Почему вы ушли из МОДПИКа? Ведь вы фигура одиозная. Ваш уход в Драмсоюз будет всячески комментировать, и имя ваше будет трепаться.

— Я это знаю. Я на это шел. Во-первых, я не могу состоять в том обществе, почетным председателем которого состоит Луначарский, не как Анатолий Васильевич, а как Наркомпрос, который всячески ставит препятствия к продвижению моих пьес, и в частности препятствовал постановке «Дней Турбиных» во Франции. Во-вторых, в правлении МОДПИКа имеются коммунисты, а они — мои враги, не могу я с ними состоять в одном обществе.

— Значит, вы намерены бороться?

— Да, я встаю на путь борьбы. Вся современная литература пишется из-под кнута, и я так не могу работать. Я знаю, что идет борьба за снятие «Дней Турбиных». Я этому всячески буду сопротивляться, и, если пьесу снимут, я буду активно бороться несмотря ни на что.

— Вы решили, значит, активно бороться?

— Да, активно. Кроме того, есть еще причина, которая побудила меня выйти из МОДПИКа. Там слишком большая демократичность. Не делается различия между старым, заслуженным писателем и молодым. Ко всем одинаковое отношение. Я даже не должен приходить за деньгами в МОДПИК, а мне их должны посылать на дом. Один из членов правления ходит в свитере, в то время как член правления должен быть одет с иголочки. И к председателю уж очень свободен доступ, а он должен быть как бог...

«Конечно, последняя причина ухода Булгакова не имеет значения, — резюмирует сводка Информационного отдела, — а главное то, что этот внутри-советский эмигрант показал свое настоящее лицо. Даже Гольденвейзера (совсем не советский человек) возмутил разговор Булгакова».

Действительно, пораженный телефонным разговором, Гольденвейзер имел неосторожность поделиться чувствами с другим членом правления — Новокшноновым (к несчастью, тем самым, который ходит в свитере), тот потребовал повторить рассказ в присутствии членов ВКП(б) товарищей Кирсона, Сольского-Панского и Полосихина, а дальше уж, как говорят, ситуация вышла из-под контроля. Кто из этих товарищей побегал в ОГПУ, не так уж важно, — должны были все, по партийному долгу.

«Уход Булгакова из общества рассматривается партийной частью правления как политический акт», — констатирует сводка Секретного отдела.

Начальство отреагировало мгновенно: потребовало усилить «разработку Булгакова». Исполнители те же — Гендин и Шиваров.

Пока знатоки стараются, «Бег» уже набирает скорость — прочитан и принят в Художественном театре. Главрепертком приходит в себя и бросается наперерез: остановить! Пьеса прославляет не коммунистов, а эмигрантов и белых генералов. К резолюции присоединяется Наркомпрос: запретить! — на Луначарского больше рассчитывать не приходится.

Но пьеса неожиданно обретает новых защитников.

Соруководитель МХАТа Владимир Иванович Немирович-Данченко, взявший в свои руки постановку «Бега», собрал в начале октября заседание художественного совета и пригласил на него вершителей театральной политики, а главное, приехавшего из Италии Горького. Пьесу — под взрывы смеха — читает сам автор, потом начинается обсуждение.

Горький добродушно заявляет:

— Никакого раскрашивания белых генералов не вижу. Превосходнейшая комедия, великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас!

Горькому вторит начальник Главного управления по делам искусств Свидерский:

— Термины «советская» и «антисоветская» — надо оставить. Такие пьесы, как «Бег», лучше, чем архисоветские. Пье-

су эту нужно разрешить, нужно, чтобы она поскорее была показана на сцене.

— Главрепертком ошибся, — дожимает Немирович-Данченко, — когда пьеса будет показана на сцене, вряд ли кто-нибудь станет возражать...

И растерявшийся Главрепертком отменил свое решение, пропустил «Бег».

На следующий же день начались репетиции.

Тем временем Лубянка накапливала очередную дозу компромата на Булгакова.

«В литературных и артистических кругах Ленинграда усиленно обсуждается вопрос о постановке новой пьесы Булгакова «Бег», — доносится из колыбели революции голос Гепеухова. — У Булгакова репутация вполне определенная. Советские люди смотрят на него как на враждебную Соввласти единицу, использующую максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией... Из кругов, близко соприкасающихся с работниками Гублита и Реперткома, приходилось слышать, что «Бег» несомненно идеализирует эмиграцию и является, по мнению некоторых ленинградских ответработников, глубоко вредной для советского зрителя...»

«Нужно выяснить через Информационный отдел о судьбе этой пьесы и помешать ее постановке», — приказывает на полях новый начальник Пятого отделения — уже третий по счету в булгаковском досье! — Гельфер.

«Замечается брожение в литературных кругах по поводу «травли» пьесы Булгакова «Бег», — перекликается с Питером Гепеухов-москвич, — иронизируют, что пьесу топят драматурги-конкуренты, а дают о ней отзыв рабочие, которые ничего в театре не понимают и судить о художественных достоинствах пьесы не могут...»

«О пьесе дать обзорную сводку», — чеканит Гельфер.

24 октября «Правда» сообщает, что «Бег» снова запрещен. И газеты, как по взмаху дирижерской палочки, начинают вопить и улюлюкать: «Ударим по булгаковщине! Разоружим классового врага в театре и литературе!» Сценарий, уже знакомый по «Дням Турбиных».

Художественный театр продолжает репетиции.

«Булгаков получает письма и телеграммы от друзей и поклонников, сочувствующих ему в его неприятностях... «К

нему приходил переводчик, предлагавший что-то перевести для венских театров»...

Захлебываются гешеуховы. Свирепеет Лубянка. Журнал «Современный театр» сообщает: «Бег» будет поставлен до конца сезона!

Наступил новый, 1929 год.

«Совершенно секретно... Булгаков рассказывает, что “делается фантастика”, пьеса запрещена, но репетиции идут... Горький поддерживал пьесу в “сферах”, кто-то (Сталин, Орджоникидзе) сказал Ворошилову: “Поговори, чтоб не запрещали, раз Горький хвалит, пьеса хороша”, — но эти слова, по мнению Булгакова, не более чем любезность по отношению к Горькому, последнего окружили поклонением, выжали из него все (поддержку режима в прессе и т. п.) и на том попросились. Горький не сумел добиться даже пустяка — возвращения Булгакову его рукописей, отобранных ГПУ».

Недавно рассекреченные партийные документы подтверждают грандиозный масштаб сражения, которое разыгралось вокруг булгаковской пьесы. Судьба «Бега» дважды — 14 и 30 января 1929 года — обсуждалась на заседании Политбюро ЦК как дело особой важности! Была создана сановная «тройка» в лице К. Ворошилова, Л. Кагановича и А. Смирнова, которая, ознакомившись с содержанием пьесы, признала «политически нецелесообразной» постановку ее в театре. Этот «приговор» был напечатан на бланке «Народного комиссара по военным и морским делам и Председателя революционного военного совета СССР»...

А в феврале грянул гром с самого олимпа: пьесу прочел Сталин. И высказал свое мнение о «Беге» и о драматурге Булгакове во всеуслышание и абсолютно в духе и стиле ГПУ: «“Бег” есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, — стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. “Бег” в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление» (письмо драматургу Билль-Белоцерковскому).

Сталин, правда, давал шанс: «Впрочем, я бы не имел ничего против постановки “Бега”, если бы Булгаков прибавил...» —

и далее шли наставления, что и как надо прибавить, — но шансом этим тот не воспользовался.

«Бег» был похоронен. Автор обречен. Другую пьесу Булгакова, «Багровый остров», вождь назвал «макулатурой». А о пьесе, которую он, как подсчитали летописцы МХАТа, посмотрел за свою жизнь не менее пятнадцати раз, отозвался так: «На безрыбье даже “Дни Турбиных” — рыба»...

В марте были сняты с репертуара все пьесы Булгакова. На Лубянке могли торжествовать: «Вот видите, как мы были правы. Не зря хлеб едим!» Критика объявила на всю страну, что с Булгаковым покончено. А в Театре имени Всеволода Мейерхольда почти ежедневно шла пьеса Маяковского «Клоп» и осмеивалось со сцены имя Булгакова, занесенное автором комедии в «словарь умерших слов»: «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков...»

Год 1929-й вошел в советскую историю как «год великого перелома». Одной из первых жертв этого «перелома» стал Михаил Булгаков. Сам он назовет этот год «годом катастрофы».

«Писатель Булгаков говорит, что занимается правкой старых рукописей и закрывает драматургическую лавочку», — шлет победную реляцию Секретный отдел.

«Бег» — любимая пьеса Булгакова, — прерванный на сцене на тридцать лет, возобновился только в 1957 году, когда самого писателя уже давно не было в живых.

По намьленному столбу

Всю жизнь Булгакова мучил один неосуществленный вариант судьбы. Еще во время Гражданской войны, скитаясь по Кавказу, он пробирается в черноморский порт Батум — его манит эмиграция. Тогда не получилось. Но постоянно сосущая ностальгия по большому миру вне границ его страны и периодически настигавшие на родине — один сильнее другого — удары, делавшие жизнь невыносимой, — все это возвращало мысли к тому же. Бежать!.. Не арестант же он?! Хоть на время вырваться из железных тисков!

Первую попытку в Москве он сделал в 1928 году: просил власти о двухмесячной поездке за границу, обосновав ее литературными делами — изданием книг и постановкой пьес.

Собирался изучать Париж — для «Бега», четвертое действие которого происходит там. Заявление подано 21 февраля, а уже на следующий день в ОГПУ поступило бдительное предостережение.

«Непримиримейшим врагом Советской власти является автор “Дней Турбинных” и “Зойкиной квартиры” М. А. Булгаков, бывший сменовеходец, — начинал издавала очередную Гепеухов. — Можно просто поражаться долготерпению и терпимости Советской власти, которая до сих пор не препятствует распространению книги Булгакова (изд. “Недра”) “Роковые яйца”. Эта книга представляет собой наглеший и возмутительнейший поклеп на Красную власть. Она ярко описывает, как под действием красного луча родились грызущие друг друга гады, которые пошли на Москву. Там же есть подлое место, злобный кивок в сторону покойного т. Ленина, что лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти оставалось злобное выражение на лице.

Как эта книга свободно гуляет — невозможно понять. Ее читают запоем. Булгаков пользуется любовью у молодежи, он популярен. Зарботки его доходят до 30 000 р. в год. Одного налога он заплатил 4000 р.

Потому заплатил, что собирается уезжать за границу.

На днях его встретил Лернер²⁹. Очень обижается Булгаков на Советскую власть и очень недоволен нынешним положением. Совсем работать нельзя. Ничего нет определенного. Нужен обязательно или снова военный коммунизм, или полная свобода. Переворот, говорит Булгаков, должен сделать крестьянин, который наконец-то заговорил настоящим родным языком. В конце концов коммунистов не так уж много (и среди них много “таких”), а крестьян, обиженных и возмущенных, десятки миллионов. Естественно, что при первой же войне коммунизм будет вымещен из России и т. д.

Вот они, мыслишки и надежды, которые копошатся в голове автора “Роковых яиц”, собравшегося сейчас прогуляться за границу. Выпустить такую “птичку” за рубеж было бы совсем неприятно».

²⁹ Лернер Н. Н. (1884—1946) — литератор, драматург, автор ряда исторических пьес.

В постскриптуме доносчик приводит еще одну фразу Булгакова о политике властей:

— С одной стороны, кричат — «сберегай!», а с другой, начнешь сберегать — тебя станут считать за буржуя. Где же логика?

«Автора этого доклада тоже смущает этот вопрос, — признается агент, озабоченный, куда бы пристроить денежки, свои тридцать сребреников, полученных за тайную службу. — Хорошо бы, если бы кто-нибудь из компетентных лиц разъяснил бы этот вопрос в газетах...»

Разумеется, Булгакова за границу не пустили.

Следующую попытку он сделал через полтора года, в июле 1930-го. К тому времени его положение резко ухудшилось: вокруг имени Булгакова кипели страсти, он стал запрещенным автором и был уверен, что как писатель уничтожен, а как человек — обречен.

Теперь он направляет просьбу на самый верх, сразу в несколько адресов: председателю ВЦИК Калинин, начальнику Главискусства Свидерскому (памятуя о его поддержке «Бега»), Горькому и — самому Сталину. И просит уже не о короткой поездке, а о разрешении выехать «на тот срок, который будет найден нужным», вместе с женой, потому что у себя на родине не в силах больше существовать.

В ответ — молчание.

Осенью возобновляет попытки достучаться. Снова пишет: секретарю ЦИК Енукидзе, Горькому — копия письма тут же попадает в досье. Как и другого письма, из Франции, от брата Булгакова — Николая, ученого-бактериолога, успевшего эмигрировать. Тот словно дразнит Михаила, изображая в красках «благородное тело старого, классического Парижа» и «хаос новых кварталов», облепивших его, «как комки грязи», «Montparnasse — кварталы бедноты, гуляк, бездельников, повес и жуликов (но и пролетариев из всех слоев и концов Земли) и Montmartre — квартал служителей искусствам (всяким, Миша, разнообразнейшим), Quartier Latin — студенческий и т. д., и т. д.»...

«Если выглянуть в окно с верхнего этажа дома, где я живу, — наслаждается Николай, — то во все стороны видно море (именно бесконечное море) домов — крыш, труб, куполов,

среди которых опознаешь более или менее известные постройки, по которым и ориентируешься в главных направлениях. Итак, наряду с интересными, классически красивыми памятниками бывшего Парижа можно встретить дом и домишко любого стиля, размера, возможности и окраски.

Для наглядности постараюсь иллюстрировать снимками, если ты это хочешь, и это можно сделать...»

Приходят письмо из Америки — предлагают поставить и напечатать «Дни Турбиных» на английском языке...

Все собирают на Лубянке, все идет в дело.

А в Москве — аресты. Причем в ближайшем окружении Булгакова, ОГПУ отправляет в ссылку друзей из питающей его «пречистенской», интеллигентской среды — художников Сергея Топленинова и Бориса Шапошникова.

Семен Гендин, дослужившийся к тому времени до старшего уполномоченного, в связи с письмом Булгакова к Сталину выполняет поручение государственной важности — составляет «Меморандум», обзорный документ о своем подопечном. Еще раз пережевывает все досье, выхватывает изюминки из протоколов, сводок, писем, агентурных записок и добавляет кое-что свежее. Получается портрет из серии «Разыскивается преступник», составленный из словесных описаний свидетелей:

«...38 лет, сын профессора... Имеет звание врача. В годы Гражданской войны примыкал к белогвардейскому лагерю...

“Собачье сердце” представляет наиболее яркий по своей контрреволюционности памфлет на Советскую власть и партию и в печати не было...

В 1923 г. ... вошел в антисоветскую нелегальную литературную группу “Зеленая лампа”... и состоял в этой группе до ее ликвидации в 1927 г.

Некоторые из своих пьес Булгаков пересылает за границу для постановки в театрах. У него есть брат — белоэмигрант, с которым он поддерживает регулярную переписку...

После снятия с постановки пьес Булгакова его материальное положение сильно обострилось, он считает, что в СССР ему делать нечего, и вопрос о поездке за границу приобретает для него весьма актуальное значение...»

Булгаков тщетно ждет ответа на свои многочисленные послания — тщетно...

И все же это только поверхность жизни, а на самой глубине, минуя опасности и невзгоды,— сокровенный писательский труд несмотря ни на что.

Это новая пьеса — «Кабала святош», о Мольере. Герой избран не случайно: Булгаков находит соответствия своей судьбе и опору для себя в образе славного французского сатирика.

11 февраля 1930 года он читал новое сочинение в Союзе драматургов. Агентурная сводка об этом мало кому известном в Москве событии, в общем, объективно, почти зеркально отражает реакцию коллег-литераторов и на пьесу, и на ее автора:

«Обычно оживленные вторники в Драмсоюзе ни разу не проходили в столь напряженном и приподнятом настроении большого дня, обещающего интереснейшую дискуссию, как в отчетный вторник, центром которого была не только новая пьеса Булгакова, но и главным образом он сам — опальный автор, как бы возглавляющий (по праву давности) всю опальную плеяду Пильняка, Замятина, Клычкова и К°.

Собрались драматурги с женами и, видимо, кое-кто из посторонней публики, привлеченной лучами будущей запрещенной пьесы. В том, что она будет обязательно запрещена, почему-то никто не сомневался даже после прочтения пьесы, в цензурном смысле вполне невинной. Останавливаться на содержании пьесы не стоит. Это, в общем, довольно известная история “придворного” творчества Мольера, гибнущего в результате интриг клерикального окружения Людовика XIV. Формально (в литературном и драматургическом отношении) пьеса всеми ораторами признается блестящей, первоклассной и проч. Страстный характер принимает полемика вокруг идеологической стороны. Ясно, что по теме пьеса оторвана от современности, и незначительный антиклерикальный элемент ее не искупает ее никчемности в нашу эпоху грандиозных проблем социалистического строительства...»

Спор расколол аудиторию на две партии. Первая (сексот называет ее «правыми») защищала пьесу как «мастерски сделанную картину наглядной разнузданности нравов и придворного раболепства одной из ярчайших эпох империализма», вторая («левые») заклеила пьесу как вредную, аполитичную, как безделушку, в которой герои — и даже король! — получились симпатичными.

Вслед за этим доносом летит еще один, от другого литератора, с которым Булгаков неосмотрительно поделился своими неудачами.

— Полное безденежье, — сказал он сексоту, — проедаю часы, остается еще цепочка. Пытался снова писать фельетоны, дал в медицинскую газету — отклонили, требуют политического и «стопроцентного». А я уже не могу позволить себе «стопроцентное» — неприлично... Что же до моей пьесы о Мольере, то ее судьба темна и загадочна. Когда я читал ее во МХАТе, актеров не было — назначили читку, когда все заняты. Но зато художественно-политический совет (рабочий) был в полном составе. Члены совета проявили глубокое невежество, один называл Мольера Миллером, другой, услышав слово «*maître*» («учитель», обычное старофранцузское обращение), принял его за «метр» и упрекнул меня в незнании того, что во времена Мольера метрической системы не было... Я сам погубил пьесу! Кто-то счел ее антирелигиозной (в ней отрицательно выведен парижский архиепископ), а я сказал, что пьеса не является антирелигиозной...

Прошло всего полмесяца после того, как слова эти достигли ушей ОГПУ, — и предсказание Булгакова сбылось: пьеса его была к представлению запрещена.

Булгаков мучительно обдумывает варианты спасения. Несовместимость с советской жизнью для него уже совершенно ясна. Как вырваться? Кому еще писать заявления? И приходит к выводу: разрешить его головоломку может только один человек. Взгляд скользит по уступам несокрушимой властной пирамиды, от самого подножия, куда он скинут, — к вершине, обстоятельства вновь и вновь толкают его на прямой диалог с «кремлевским горцем».

Собственно, они уже встречались, и не раз. Тогда, когда вождь приходил в Художественный театр смотреть его пьесу. Считалось даже, что Булгаков — его любимый драматург. Странно любил, по-сталински, — любовью насильника, ломая через колено...

Но до сих пор они следили друг за другом, вели диалог на расстоянии: писатель — устами своих героев, а Сталин — че-

рез своих идеологов и жандармов, и это истощало их отношения, делало ненужными личные свидания.

Пора поднять забрало, нарушить дистанцию!

28 марта Булгаков пишет свое знаменитое письмо Правительству СССР, и по тону, и по смыслу обращенное именно к Сталину. Один экземпляр посылает через ОГПУ — чтобы дошло наверняка. Это не просто личное послание, а, по существу, документ большой общественной важности, манифест независимого художника, доведенного до отчаяния, до последней грани существования. Он, Булгаков, как сатирик в Советском Союзе немислим, поскольку немислима сама сатира, все его произведения запрещены, на работу никуда не берут, он лишен средств к жизни и обречен. А посему просит решить его судьбу: или дать какую-нибудь работу, или приказать «в срочном порядке покинуть пределы СССР».

Теперь Булгаков готов к любому повороту событий. Прежде чем отправить письмо, он сжигает свой заветный труд — первый вариант романа о Мастере и Христе, видимо опасаясь репрессий и повторного обыска.

Между тем страну потрясает внезапное трагическое событие: 14 апреля застрелился Владимир Маяковский. И может быть, по прихоти рока именно этот выстрел поторопил Сталина, заставил его обратить на Булгакова снисходительное внимание. Требовалось успокоить публику.

Уже на другой день после похорон Маяковского в квартире Булгакова раздался телефонный звонок: «С вами будет говорить товарищ Сталин...»

Пересказывать разговор подробно нет смысла, он широко известен. Тысячу раз повторяя его потом в своей памяти, Булгаков будет сокрушаться, что сплеховал, растерялся, застигнутый врасплох гелосом с вершины власти.

— Что, может быть, вам действительно нужно ехать за границу, мы вам очень надоели? — спросил Сталин.

И Булгаков, вместо того чтобы подтвердить свою просьбу, вдруг сказал:

— Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне родины существовать не может...

— Я тоже так думаю, — удовлетворенно подытожил Сталин. — Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами...

— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.

Выбор был сделан. Вождь продемонстрировал внимание к литературе и трогательную заботу о писательской судьбе. Булгаков получил вместо заграницы работу на родине — должность режиссера-ассистента в Художественном театре.

Потом он будет проигрывать множество других возможных вариантов этого разговора, проклинать себя за робость, за малодушие, сочтет свой ответ одной из главных ошибок в жизни — все напрасно, шанс был единственный и больше не повторится. И как знать, может быть, зря он сокрушался: подсознание неожиданно для него самого подсказало ему как раз правильное, спасительное решение — еще неизвестно, что сделал бы с ним Сталин, ответ он по-иному. Ведь жизнь Булгакова, как и миллионов других подданных советской державы, была всецело в руках его собеседника. И порхать булгаковской душе было предписано только в пределах этой державы.

О необычном разговоре вскоре узнали на Лубянке — писатель не делал из него секрета. По Москве сразу пошли толки, поползли слухи, событие обсуждалось на все лады, много лет, постепенно превращаясь в легенду. И все версии оседали в лубянском досье.

Так, в одной агентурной записке говорилось:

«...Булгаков по натуре замкнут... Ни с кем из советских писателей он не дружит... Характер у него настойчивый и прямой... Приводят интересный случай с его карьерой. Когда запретили “Дни Турбиных”, не стали печатать его трудов, он написал письмо в ЦК товарищу Сталину, примерно такого содержания:

“Дорогой Иосиф Виссарионович!..

Я писатель, и мои произведения не печатают, пишу пьесы — их не ставят. Разрешите мне выехать из СССР, и я даю слово, что никогда против СССР — моей родины — не выступлю, иначе Вы всегда сумеете меня моим письмом разоблачить как проходница-подлеца!”

Через несколько дней он был вызван в Кремль и имел беседу со Сталиным, после чего он получил работу в Первый МХАТ литератором-режиссером...»

Элементы мифа налицо: никакого слова Сталину Булгаков не давал и встречи в Кремле не было, просто каждый информатор проигрывал эту сцену по-своему, в меру своего разума и испорченности.

У Булгакова, так же как и у Маяковского, был револьвер. И он, по воспоминаниям жены писателя Елены Сергеевны, после разговора со Сталиным бросил эту опасную вещицу в пруд у Новодевичьего монастыря — от греха подальше. Решил, в отличие от Маяковского, жить.

Ажиотаж вокруг случившегося долго не утихал. Летом, когда писатель уехал в Крым и засел за работу — инсценировку «Мертвых душ» Гоголя, — вдруг пришел вызов в ЦК партии, весьма подозрительного вида. И хорошо, что Булгаков ему не поверил. Это был «дружеский розыгрыш» Юрия Олещи. Трагедия одного писателя стала для другого лишь поводом к неуместной хохме.

А Булгакову было вовсе не до шуток. Вакуум вокруг него, как вокруг прокаженного, все разрастался. Истинные, надежные друзья исчезали. Осенью арестовали и выслали из Москвы еще одного очень близкого ему человека — филолога Павла Попова. Да и положение его самого после разговора со Сталиным мало изменилось. Разве что определили на службу, дали прожиточный минимум. Как был, так и остался опальным автором, и сцена, и печать были для него закрыты.

Он еще не закончил свои «Мертвые души», а враги уже вели подкоп под пьесу, готовили исподволь ее провал. Едва в печати мелькнуло известие о том, что Художественный театр собирается ставить «Мертвые души», как Секретно-политический отдел ОГПУ получил соответствующий предостерегающий сигнал и направил его высшему начальству:

«...Булгаков известен как автор ярко выраженных антисоветских пьес, которые под давлением советской общественности были сняты с репертуара московских театров. Через некоторое время после этого советское правительство дало возможность Булгакову существовать, назначив его в

Художественный театр в качестве помощника режиссера. Это назначение говорило за то, что советское правительство проявляет максимум внимания к своим идеологическим противникам, если они имеют культурный вес и выражают желание честно работать.

Но давать руководящую роль в постановке, особенно такой вещи, как “Мертвые души”, Булгакову весьма неосмотрительно. Здесь надо иметь в виду то обстоятельство, что существует целый ряд писателей (Пильняк, Богдашевич, Буданцев и др.), которые и в разговорах, и в своих произведениях стараются обосновать положение, что наша эпоха является чуть ли не кривым зеркалом николаевской эпохи 1825—1855 годов. Развивая и углубляя свою абсурдную мысль, они тем не менее имеют сторонников среди части индивидуалистически настроенной советской интеллигенции.

Булгаков несомненно принадлежит к этой категории людей, и поэтому можно без всякого риска ошибиться сделать предсказание, что все силы своего таланта он направит к тому, чтобы в “Мертвых душах” под тем или иным соусом протаскать все то, что когда-то протаскивал в своих собственных пьесах. Ни для кого не является секретом, что любую из классических пьес можно, даже не исправляя текста, преподнести публике в различном виде и в различном освещении.

И у меня является опасение, что Булгаков из “Мертвых душ”, если он останется в числе руководителей постановки, сделает спектакль внешне, может быть, очень интересный, но по духу, по существу враждебный советскому обществу.

Об этих соображениях я считаю нужным сообщить Вам для того, чтобы Вы могли заранее принять необходимые предупредительные меры».

«Меры» были приняты: «Мертвые души» не увидели сцены ни в этом, ни в следующем, ни в последующем сезоне...

Свое состояние в канун нового, 1931 года Булгаков выразил в стихотворном наброске, недвусмысленно названном «Funérailles» («Похороны»):

В тот же миг подпольные крысы
Прекратят свой флейтный свист,
Я уткнусь головой белобрысою
В недописанный лист...

«Подпольные крысы» — не просто поэтический оборот, а те вполне реальные гепеуховы и их вожак с Лубянки, которые стерегли и травили его всю жизнь и от «свиста» которых могла избавить одна только смерть.

Что он постоянно живет под их жадным, зловещим надзором, для Булгакова давно не секрет. Как и то, что его переписку читает кто-то еще, кроме адресатов. Создается впечатление, что он начинает намеренно вносить в свои письма кое-какие ловкие обороты (например, брату за границу), рассчитанные именно на такой посторонний взгляд, чтобы повлиять на события в свою пользу. А порой с неистребимой фантазией комедиографа даже дурачит своих соглядатаев, сочиняет целые истории, устраивает настоящие мистификации в жанре черного юмора.

Иначе не объяснишь, например, такое сообщение, поступившее от «источника», со слов литератора Лернера, начальнику СПО ОГПУ Агранову:

«Лернер рассказывал Вашему источнику, что Булгакову определенно зажимают глотку. И он уже сам знает — что бы он ни написал, его не напечатают.

Тогда Булгаков пошел на хитрость.

Он представил новую пьесу «Блин», будто бы написанную каким-то рабочим. Все шло как по маслу, и пьеса прошла уже все инстанции и мытарства.

Но... Булгаков в самый критический момент проговорился об этом, поднялась буча, и пьеса была провалена...»

Откуда взялась эта умопомрачительная история, вполне в духе булгаковских рассказов, неизвестная ни одному его биографу и явно пародирующая его истинную ситуацию? Похоже, без участия самого Михаила Афанасьевича тут не обошлось. Слегка пофантазировал, пошутил где-нибудь в писательской компании, а там пойдет само, можете не сомневаться, донесут куда следует. Кушайте мой «Блин» на здоровье! Вы не пускаете мои пьесы на сцену, ну что ж, я буду ставить их в жизни, с вашим участием!

В мае 1931 года Булгаков делает еще одну попытку докричаться до Сталина — направляет ему просьбу о заграничном отпуске. В черновом варианте начинает с того, что

просит вождя быть первым своим читателем (вспоминается николаевская эпоха, когда сам царь стал цензором новых произведений Пушкина), но отбрасывает этот пассаж — слишком опасная аналогия. И пишет заново. Он откровенно называет себя одиноким волком на широком поле советской словесности, волком, который ныне вконец затравлен. Ему, Булгакову, «привита психология заключенного». Вывод: «Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться. Ключ в этом». «Неужели я до конца моей жизни не увижу других стран?» Он напоминает Сталину его же собственную фразу, сказанную по телефону: «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу?..»

Другими словами, одинокий, затравленный волк просится погулять в лес, чтобы отдышаться, прийти в себя — до осени...

И в конце свое, ставшее уже идефикс, желание — встретиться, лично поговорить, как тогда предлагал Сталин: «Писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам...»

В ответ — гробовое молчание. И чем дольше оно длится, тем все сильнее Булгаковым овладевает беспокойство, переходящее в отчаяние. Теперь он уже действительно серьезно болен — нервное переутомление, неврастения, с припадками бессилия, страха и тоски, вплоть до того, что он уже не может выйти на улицу.

А ответа не было.

И тут еще внезапная новость — Евгений Замятин получил разрешение уехать за границу. Тоже после письма Сталину. Чем взял? Тем, что Горький ему помогал? Или написал лучше?

Так, в бессильном метании, в угасании надежд, прошел этот год.

А в начале следующего, 1932-го вдруг забрезжил свет. Случилось это после того, как Сталин в очередной раз осчастливил Художественный театр своим посещением. Посмотрев спектакль и расслабившись, спросил между прочим:

— А что это «Дней Турбиных» у вас не видно?

Гром среди ясного неба! И завертелось...

Своджа Секретного отдела ОГПУ № 181:

«21 января 1932 года во Всероскомдрам³⁰ зашел Булгаков. На вопрос о разрешении постановки его пьесы сказал: “Я потрясен. Сейчас буду работать так, как и раньше. В настоящее время я утром работаю над “Мольером”, днем над “Мертвыми душами”, а вечерами над переделкой “Дней Турбиных”. Играть в пьесе буду я сам, так как со мной могут выкинуть какой-нибудь новый фортель и я хочу иметь твердую профессию”».

«Актера», — добавляет для ясности «источник».

Булгаков не лукавил, когда говорил, что впрягся сразу в три упряжки. И что сделался актером — тоже правда, хотя собирался играть не в «Днях Турбиных», а в «Пиквикском клубе», по Диккенсу, — роль судьи. И вскоре сыграл — совершенно блестяще!

Он отдался на волю судьбы, вернее, вошел в русло большой работы. Кроме прозаической книги о Мольере и доработки «Мертвых душ» (получено разрешение и на эту постановку) заканчивал новую пьесу — «Адам и Ева» и там выдернул наконец из себя язвящее жало социального вождения заключительным пассажем, обращенным к одному из героев: «Ты никогда не поймешь тех, кто организует человечество... Иди, тебя хочет видеть генеральный секретарь!»

Пусть этот персонаж вместо него отправляется к генсеку. С автора хватит! Место автора — за кулисами. Автору некогда, он захвачен романом о Мастере и Христе, погубленном было собственными руками, воскрешает его из пепла, пишет заново.

Между тем неистощимая на выдумки жизнь затевает с ним еще один сюжет: посылает навстречу ему нового персонажа, имя которого рифмуется с ОГПУ — Бенабу, господина Сиднея Бенабу. Дело пахнет шпионажем...

В Секретно-политический отдел ОГПУ летит служебная записка из Особого отдела:

«Секретно

В Москве проживает прибывший по делам Главконцескома³¹ британский подданный Бенабу Сидней, являющийся, по нашим данным, агентом “Интеллидженс сервис”.

³⁰ Под этим диким сокращением значился Всероссийский комитет драматургов.

³¹ Главный концессионный комитет.

В последних числах марта с. г. Бенабу устроил у себя вечер в честь приглашенного им драматурга Булгакова. О проведенном в присутствии Булгакова вечере Бенабу старается никому не говорить, предупреждая об этом и своих знакомых.

Просьба сообщить, имеются ли у вас какие-либо компрометирующие сведения о Булгакове, его связях и окружении, а также не является ли он вашим секретным сотрудником».

Лихой поворот темы! Как жаль, что сам Булгаков ничего об этом не знает, — должно быть, не упустил бы случая развить сюжет, потешиться. Одни подписи под документом чего стоят — Правдин и Чертов!

Увы, на этом архивный сюжет обрывается, остается неизвестным, что отвечивал в Особый отдел — отдел Секретно-политический.

Зато жизнь дарит Булгакову еще одну встречу с иностранцем. И не с кем иным, как с самим Эдуаром Эррио, экс-премьером Франции, симпатизирующим СССР. Об этом со слов мужа рассказала Елена Сергеевна Булгакова в своем дневнике.

Художественный театр. Дают «Дни Турбиных». В первом ряду партера — высокие гости во главе с Эррио. Он в восторге от спектакля. В антракте зовут автора. Поздравления. И вдруг неожиданный вопрос:

— Были ли вы когда-нибудь за границей?

— Никогда.

— Но почему?

— Нужно приглашение, а также разрешение советского правительства.

— Так я вас приглашаю!..

Звонки прерывают разговор. Спектакль продолжается.

А на дворе своя, суровая действительность: арестован еще один близкий друг Булгакова, драматург Николай Эрдман. «Ночью М. А. сжег часть своего романа», — записывает Елена Сергеевна. Сейчас Булгакова если бы куда и послали, то совсем не в ту сторону, в какую поманил его Эррио.

Знакомый партиец спросил его однажды:

— А вы не жалеете, что в вашем разговоре со Сталиным вы не сказали, что хотите уехать?

— Это я вас могу спросить, жалеть мне или нет. Если вы говорите, что писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым — на родине или на чужбине?

Другой коммунист, дальний родственник Михаила Афанасьевича, сказал на ту же тему иначе:

— Послать бы на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился...

— Есть еще способ — кормить селедками и не давать пить, — прокомментировал Булгаков.

В марте 1934 года Сталин вновь осчастливил своим визитом МХАТ. И опять спрашивает, между прочим, о Булгакове: как он, работает ли в театре? Это возрождает новые надежды — Булгаков делает еще одну попытку прорваться в большой мир, подает прошение о двухмесячной заграничной поездке вместе с женой. Просит поддержки у Горького. На этот раз можно было, казалось, рассчитывать на успех. Уже заполнили анкеты, получили заверения чиновников: дело ваше решено, есть распоряжение, скоро получите паспорта. Уже сыплются поздравления. Итак, Париж! Бонжур, господин Мольер!..

— Значит, я не арестант, — ликует Булгаков, — значит, увижу свет!

Потом — отсрочка за отсрочкой. Но вот курьер от Художественного театра покатыл за паспортами, привозит целую грудку — всем артистам, кто подавал заявления, всем... Булгакову — отказать...

На улице, когда они с женой вышли из театра, ему стало плохо. Добрались до ближайшей аптеки, уложили на кушетку, дали сердечные капли...

И вновь — черная полоса: нервный срыв, боязнь пространства, одиночества, смерти.

Оскорбление, обида были так велики, что не выдержал, еще раз написал Сталину, рассказав все, что случилось, прося о заступничестве.

Ответа он, конечно, не дождался. И все же спустя год снова подал заявление на заграничную поездку — чтобы получить отказ. Надеяться больше было не на что.

И как обычно у Булгакова, боль и беда жизни через творчество вытесняются на страницы рукописи. В тетради романа появляются черновые записи главы «Ночь». Мастер и Сатана-Воланд летят на черных конях над землей. Внизу сверкает

огнями неведомый город. «Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ», — говорит Мастер.

И дальше, в черновике главы «Последний путь», Воланд навсегда определяет судьбу Мастера:

« — Ты награжден... Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил... Я получил распоряжение. Преприятное. Так вот, мне было велено... велено унести вас...»

На этом фраза обрывается.

«Уносят» в могилу... Или на небеса.

«Булгаков болен каким-то нервным расстройством, — доносит на Лубянку 23 мая 1935 года секретный агент. — Он говорит, что не может даже ходить один по улицам, и его провожают даже в театр, днем. Работает много, кончил “Мертвые души” для кино, “Ревизора” для кино и сейчас заканчивает пьесу для Театра сатиры. Подписал договор с театром Вахтангова.

Два основных мотива его настроений:

“Меня страшно обидел отказ в прошлом году в визе за границу. Меня определенно травят до сих пор. Я хотел начать снова работу в литературе большой книгой заграничных очерков. Я просто боюсь выступать сейчас с советским романом или повестью. Если это будет вещь не оптимистическая — меня обвинят в том, что я держусь какой-то враждебной позиции. Если это будет вещь бодряя — меня сейчас же обвинят в приспособленчестве и не поверят. Поэтому я хотел начать с заграничной книги — она была бы тем мостом, по которому мне надо шагать в литературу. Меня не пустили. В этом я вижу недоверие ко мне, как к мелкому мошеннику.

У меня новая семья, которую я люблю. Я ехал с женой, а дети оставались здесь. Неужели бы я остался или позволил себе какое-нибудь бестактное выступление, чтобы испортить себе здесь жизнь окончательно. Я даже не верю, что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводят со мной литературные счета и стараются мне мелко пакостить”.

Второй мотив:

“Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика — Станиславский и Данченко.

Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не двести лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где, наверное бы, помолодел”».

А преследовали его уже буквально на каждом шагу. Однажды, рассказывает Елена Сергеевна, в светлую минуту решила куда-нибудь пойти развлечься. Сели наудачу в автобус, а он возьми и остановись у ресторана «Националь» — вот туда и забрели. Вдруг навстречу — здарсьте! — шофер, который возит одного знакомого американца. Подозрительно любезен, желает приятного аппетита, предлагает после отвезти домой.

Дальше — больше.

В ресторане дикая скука, но еда вкусная. Тут входит какой-то дурно одетый молодой человек, вальяжно, как к себе домой. Заказал бутылку пива, но не пьет, уставился, не спускает с нашей парочки глаз.

— По мою душу, — сказал Михаил Афанасьевич.

Расплатились, вышли. Оглянулись: молодой человек, свежившись с лестницы, следит за ними в упор. Они — на улицу, а он, раздетый, — мимо, шепнув что-то на ухо швейцару. Должно быть, хотел зафиксировать, не уедут ли на какой-нибудь иностранной машине...

В метро хохотали: вот черт понес! Захотели съесть котлету де-воляй!

В феврале 1936 года во МХАТе наконец-то была поставлена пьеса о Мольере, с громадным успехом. Но радость была короткой. Началась привычная газетная атака. Налетели по-кавалерийски, с неодобрительными отзывами братья-писатели — Олеша, Всеволод Иванов, Афиногенов. Не прошло и месяца после премьеры, как разгром завершила «Правда» статьей «Внешний блеск и фальшивое содержание». Статья без подписи, редакционная, стало быть выпущенная по указке Сталина. Автор «пытается... проташить реакционный взгляд на творчество художника как “чистое искусство”»...

— Конец «Мольеру»! — сказал Михаил Афанасьевич. В тот же день спектакль сняли с репертуара. Нахлынули друзья, все в один голос:

— Пишите письмо самому! Оправдайтесь! Покайтесь!

В чем? Хватит с него! Не будет он больше писать!

«После статьи в “Правде” и последовавшего за ней снятия с репертуара пьесы Булгакова, — изводил бумагу доносчик, — особенно усилились как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам М. Булгаков находится в очень подавленном состоянии, у него вновь усилилась его боязнь ходить по улице одному, хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения оттого, что его пьеса, которая репетировалась 4, 5 года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя (снята и другая его пьеса — “Иван Васильевич”, которая должна была пойти на этих днях в Театре сатиры), он боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьесы, в частности уже принятую Театром Вахтангова — “Александр Пушкин”, и, конечно, не последнее место занимает боязнь потерять свое материальное благополучие. В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает: “Неужели это действительно плохая пьеса?” — и обсуждает отзывы о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена (подавление поэта властью). Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: “А разве в “Мольере” есть политический смысл?” — и дальше этой темы не развивал. Также замалчивает Булгаков мои попытки уговорить его написать пьесу с безоговорочной советской позиции, хотя, по моим наблюдениям, вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой-то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но это он сделать боится, видимо считая, что это “уронит” его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с “кающимися и подхалимствующими”. Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы (в “Багровом острове”, “Мольере” и “Алекサンドре Пушкин-

не») — противопоставления свободного творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которой он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого руслу текущей жизни».

Этого Гепеухова, пожалуй, можно вычислить, назвать настоящим именем. Донос датирован 14 марта. А накануне, 13-го вечером, к Булгаковым заявился гость — Эммануил Жуховицкий и, как всегда, испортил настроение своими неприятными расспросами.

Этот назойливый, хлопотливый человек уже несколько лет крутился возле Булгакова и появлялся обычно вместе с иностранцами, в странной роли то ли ненадежного литературного агента, то ли переводчика, то ли просто советчика.

Булгаков не любил его, сразу начинал нервничать.

— Не то вы делаете, Михаил Афанасьевич, не то! — вразумлял Жуховицкий. — Вам бы надо с бригадой на какой-нибудь завод или на Беломорский канал. Взяли бы с собой таких молодцов, которые все равно писать не могут, зато они ваши чемоданы бы носили...

— Я не то что на Беломорский канал — в Малаховку не поеду, так я устал, — отмахивался Булгаков.

— Вы несовременный человек, Михаил Афанасьевич!

Жуховицкий исчезал, а потом неожиданно звонил с кинжальным вопросом:

— Что вам пишут из Парижа?

Или брался хлопотать за Булгаковых о разрешении в соответствующих органах на заграничную поездку. Или принимался уговаривать Михаила Афанасьевича написать заявление, что тот принимает большевизм. Он явно упивался второй своей ролью, причастностью к скрытым рычагам жизни, не просто стучал — идеологически обрабатывал:

— Вы должны высказаться, должны показать свое отношение к современности...

О тайной миссии Жуховицкого Булгаковы не только подозревали — были в ней уверены, числили его в своем «домашнем ГПУ». В конце концов не выдержали, отлучили его от дома, но он снова влез. Почему-то пришел поздним вечером, ближе к полуночи, злой и расстроенный («Ну, ясно, потрепали его здорово в учреждении», — записала в днев-

нике пронизательная Елена Сергеевна). И начал с угрозы, явно внушенной ему: Булгаков должен написать агитационную пьесу, иначе его «Дни Турбиных» снимут.

— Ну, я люстру продам, — усмехнулся Михаил Афанасьевич.

«Словом, полный ассортимент: расспросы, вранье, провокация», — комментирует Елена Сергеевна. Чтобы как-то от него отделаться, Булгаков ушел в свой кабинет, взял бинокль и начал разглядывать луну.

Можно было бы, вероятно, вычислить и других стукачей, но нет охоты. Кто они? Как говорил Осип Мандельштам: «Не все ли равно. Не этот, так другой».

Работать во МХАТе, родном когда-то для Булгакова театре, где он теперь стал белой вороной, было для него уже невыносимо, и он принял другое приглашение — поступил в Большой театр, на должность либреттиста.

Круг близких для него к тому времени еще больше сузился — до тех, кто помещался в свете семейного абажура. Еще весной чекисты арестовали Николая Лямина, филолога, знатока европейской литературы, в квартире которого Булгаков читал все свои новые сочинения и которого называл лучшим своим другом. «Уничтожь Макины письма», — шепнул Лямин жене, прощаясь. А летом в стране началось — с процесса над Каменевым и Зиновьевым — то, что получило потом название Большого террора, — массовая вакханалия арестов, кровавая мясорубка, повальная жатва смерти.

И дом давно уже не был безопасной крепостью. 7 ноября, в день Октябрьского праздника, к Булгаковым пришли какие-то гости. Шел обычный разговор, но содержание его тут же легло на стол оперуполномоченного ОГПУ Шиварова в виде агентурного донесения:

« — Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалованье, — говорил в этот день Булгаков, — пока еще не гонят с места, и надо этим довольствоваться. Пишу либретто для двух опер — историческое и из времени гражданской войны. Если опера выйдет хорошая — ее запретят негласно, если выйдет плохая — ее запретят открыто. Мне все говорят о моих ошибках и никто не говорит о главной из них: еще с 29—30-го года

мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не тревили: и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять, и ее сразу снимают. А для того, чтобы придать этому характер объективности, натравливают на меня подставных лиц.

В истории с “Мольером” одним из таких людей был Олеша, написавший в газете МХАТа ругню. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет все, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили-кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творческую пустоту.

Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и волновали. Ну, был процесс — троцкисты, ну, еще будет — ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли. Об испанских событиях читал всего три-четыре раза. Мадрид возьмут, и будет резня. И опять-таки если бы я вдохновился этой темой и вздумал бы написать о ней — мне все равно бы этого не дали.

Об Испании может писать только Афиногенов³², любую халтуру которого будут прославлять и находить в ней идеологические высоты, а если бы я написал об Испании, то кругом закричали бы: ага, Булгаков радуется, что фашисты победили!

Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен. А может быть, я дурак и мне это уже сказали и я только не понял...»

Хронологически это последний из документов лубянского досье Булгакова, которые мне удалось увидеть. Были на-

³² Афиногенов А. Н. (1904—1941) — известный драматург, автор пьесы «Салют, Испания!».

верняка и другие — слежка за писателем шла до конца его жизни, — но их или уничтожили, или еще не нашли. Но и этого достаточно для нашего рассказа,

Булгакову оставалось жить три года, четыре месяца и три дня. Впереди его ждал фанатичный одинокий труд, тяжкая болезнь, всеискупляющая любовь жены, редкие удачи и всплески радости, новые столкновения с сильными мира сего, удары и неизбежные компромиссы.

Противостояние бесчеловечной власти, диалог со Сталиным продолжались до смертного часа и даже после — устами булгаковских героев. Когда однажды Елена Сергеевна заметила мужу по поводу какой-то рукописи:

— Опять ты про него... — Михаил Афанасьевич ответил:

— Я его в каждую пьесу буду вставлять!..

Понятно, почему при допросе еще одного друга Булгакова, Сергея Ермолинского, следователь орал на него:

— Вы не знаете, в чем ваше преступление?! В пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью так называемого писателя Булгакова, которого вовремя прибрала смерть!..

Кажется, весь мир ополчился против художника, чтобы остановить его перо. Все голоса, зазвучавшие из лубянского досье, клеймили и осуждали.

Но был там один голос, который выбивался из хора, единственный голос «за», который в конечном счете перевесил все, голос, который не только восхищался и оправдывал, но и утверждал правоту писателя — перед лицом будущего.

Голос друга

Зовут этого человека — Софья Сергеевна Кононович. В самый отчаянный момент в жизни Булгакова, в год 1929-й, который он сам назовет «годом катастрофы», когда были запрещены все его пьесы и он, став проклятым писателем, был подвергнут общественной травле, эта двадцативосьмилетняя женщина — скромный библиотекарь Политехнического музея в Москве — обратилась к нему с письмом. Письмо было перлюстрировано и стало добычей ОГПУ. Имя отправителя

и адрес там, разумеется, жирно подчеркнули и, вероятно, приняли надлежащие меры.

Неизвестно в точности, получил ли это многостраничное исповедальное послание Булгаков, но мы сегодня можем его прочитать. Приведу его в возможно большем объеме — оно того стоит.

Поводом для письма явилась статья о Булгакове в «Литературной энциклопедии» — официальная оценка писателя («...апофеоз белого героизма... реабилитация прошлого... не сумел понять... эпигонство... юмор дешевого газетчика...»), с волчьим билетом под конец, абсолютно в стиле ОГПУ: «Весь гворческий путь Булгакова — путь классово враждебного советской действительности человека. Булгаков — типичный выразитель тенденций “внутренней эмиграции”».

Со всем этим Софья Кононович решительно не согласилась:

«Многоуважаемый Михаил Афанасьевич!

Давно хочется написать Вам, да все не могла начать... Думать о Ваших произведениях невозможно без мыслей о большом, о России и, следовательно, в конечном счете и о собственной жизни.

Вас хвалят и ругают. Есть худшее — Вас нарочито замалчивают, Вас сознательно искажают, Вас “вытерли” из всех журналов, Вам приписывают взгляды, которых у Вас нет. Последнее, впрочем, не только враги, но и почитатели. Возвращая мне “Белую гвардию”, один сослуживец заметил: “Хорошая вещь, но очень ясно, по какую сторону баррикады стоит автор”. Не думаю, что это было верно. Ваши произведения выше тех небольших преград, которые называются баррикадами и которые сверху кажутся такими маленькими. Не могу без сердечного движения, без трепета, не укладывающегося в мои грубые и слабые слова, вспомнить сон Алеши Турбина и эти слова: “Для меня вы все одинаковые, все в поле брани убиенные”. Эти слова рождают чувство глубокой и светлой благодарности к тому, кто их написал...

Не могу похвастать хорошим знанием современной литературы. Но не думаю, что ошибусь, если скажу, что между Вами и всеми прочими писателями расстояние неизмеримое.

Разумеется, главным образом шкурный страх пред большим талантом и заставляет упрекать Вас в “монархизме”, “черносотенстве” и бог ведает еще в чем. Впрочем, тут есть и многие другие, быть может, еще более глубокие причины, о которых не стану распространяться...

Вообще, мне кажется, что Вас будут читать и читать, когда уже нас давным-давно не будет, и даже розовые кусты на наших могилах засохнут и погибнут, это первое, второе еще важнее. Русская литература, после великих потрясений, должна сказать свое великое и новое слово. Думается, это слово скажется или Вами, или кем-нибудь — кто пойдет по пути, Вами проложенному. Потому что манера Ваша есть нечто новое и настоящее, нечто соответствующее темпу нашего времени...

Мысль не успевает и не хочет, и не должна успевать, оформить впечатление и образы; мелькая, соединяясь и скрещиваясь — они дают тот воздух, дыша которым дышишь современностью, но не ежедневной, а в художественном преломлении, чуешь и чувствуешь не только ее поверхность, но и те взволнованные волны вопросов, которые под этой поверхностью мечутся.

То, что есть в Ваших произведениях своего, кроме своей, особенной манеры, — выражаясь схематически: их содержание (в противоположность форме) тоже так разнообразно и глубоко, что я и думать не могу охватить его. Ведь я пишу не критическую статью и, следовательно, не имею права быть неискренней и повторять общие места...

К Вашим произведениям. Один из важных вопросов, ими поднимаемых, — вопрос о чести и тесно связанный с ним вопрос о силе, сильном человеке, о тех требованиях, которые в этом отношении предъявляются главным образом к мужчине, — где граница между трусостью и естественным страхом за свою жизнь? Впрочем, такая постановка вопроса по-женски пассивна. У Вас — больше: когда человек должен и может быть активен, во имя чего и как обязан он бороться? Дело тут не в “рецепте”, не в указании идеала и пути к нему — дело тут в огромном вопросе, поставленном один на один самому себе, вопросе о праве на самоуважение, о праве гордо носить голову. До какой степени может дойти унижение? Ответ — в

“Дьяволяде”. И последняя эта фраза — “Лучше смерть, чем позор” — новым светом озаряет весь трагикомический, фантастически-реальный путь героя, и видишь ясно, что в его унижении — гордость и в пассивности — активность (хотя бы в отказе от “удобного” выхода из тупика)... Русский героизм не похож на французский, слишком трудна и спутанна, слишком непонятна была всегда наша жизнь... В том-то и беда, что с одной стороны — практическое, жизненное, а с другой — знания, культура, высота духа. И моста нет...

Но не обо всем будешь говорить, да и кончать пора. Хочется пожелать — нам прежде всего, — чтоб Вы писали и печатались, чтоб голос Ваш доходил до нас. Тяжкая вещь — культурная разобщенность, отсутствие спаянного общества, разрозненность и подозрительная враждебность людей. Грустное, грозное, трудное время.

Между прочим: мне б не очень хотелось, чтоб Вы кому-нибудь мое письмо показали. Разумеется — какой тут секрет. Но когда пишешь для одного — не хочется, чтоб читали другие...

9 марта 1929 г.».

Пусть это письмо прозвучит как запоздалое поминальное слово над могилой Михаила Булгакова. Все-таки главным в его жизни было — не диалог с вождем, а разговор с читателем. Он получился, и этому не смогли помешать ни Сталин, ни его ОГПУ.

Глава шестая

**МАРИНА,
АРИАДНА,
СЕРГЕЙ**

Марина Цветаева — вечный упрек людям: как вы могли так жить, рядом с ней? И не помогли, не удержали на земле, лишили и самой нищенской доли. Поэта без легенды не бывает, но и без реальной человеческой судьбы тоже. И эта «реальная» Цветаева по-прежнему загадочна и неуловима. Часть ее архива — не случайно — была закрыта дочерью Ариадной до 2000 года.

В темных недрах НКВД, лубяньских архивах, отпечатались следы ее судьбы, открываются материалы о самой мрачной — последней — поре ее жизни. Некоторые из них уже увидели свет, стали достоянием читателя. Но многое все еще остается в тени. Открытие Цветаевой продолжается.

В июне 1939 года Марина Цветаева вместе с четырнадцатилетним сыном Георгием (Муром) вернулась из эмиграции. Родина встретила ее мачехой — не как поэта и полноправную, законную гражданку, а как подозрительную белогвардейку, жену провалившегося в Париже советского агента...

У человека несколько ступеней на пути к правде, и первая — обычно отрицание, нежелание верить. Цветаева — жена чекиста?! Когда-то слухи об этом вызвали резкий протест, отторжение — немислимо: Маринин Сережа Эфрон, лебедь из белой стаи, — советский шпион! Теперь это знают все. А Марина? Когда узнала она?..

Муж и дочь Ариадна приехали в Москву двумя годами раньше, теперь вся семья была в сборе. Не надолго — чуть больше двух месяцев подарила им судьба до катастрофы. Приближение ее Цветаева предчувствовала — недаром ее называли «колдуньей»: еще когда очутилась на пароходе, увозившем ее в Россию, сказала: «Теперь я погибла...»

И первая весть на родной земле — обухом: сестра Анастасия в концлагере.

Сразу после приезда отправились в Болшево, на дачу НКВД, которая была выделена под жилье переправленным из Парижа после провала агентам — Эфрону и супругам Клепининым.

Семнадцать лет назад, когда Марина уезжала в эмиграцию, в одном купе с ней оказалась дама из ЧК. Уезжала с чекисткой и вернулась к чекистам и жить стала в казенном доме. Пришлось таить свое присутствие, жить инкогнито, остерегаться каждого действия и слова, чтобы не повредить близким. Спустя год, в дневнике, Цветаева вспомнит об этих днях так: «...Неуют... Постепенное щемление сердца... Живу без бумаг, никому не показываясь... Обертон — унтертон всего — жуть... Болезнь С. Страх его сердечного страха... Полны руки дела... Погреб: 100 раз в день. Когда — писать? ...Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться...»

А в августе начались события, о которых Цветаева скажет: «(Разворачиваю рану, живое мясо. Корочке:) 27-го в ночь отъезд Али. Аля — веселая, держится браво. Отшучивается... Уходит, не прощаясь! Я — что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается! Комендант (старик, с добротой) — Т б к — лучше. Долгие проводы — лишние слезы...»

«Муха в паутине»

Уже рассвело, когда черная «эмка» увозила ее, она оглянулась и увидела сквозь слезы: крыльцо и тесно сбившихся на нем родных, растерянных, бледных, — машут руками. Не могла и подумать, что прощается навсегда...

Петлю на этот дом накинули давно и вот начали стягивать.

Двадцатисемилетняя журналистка и художница, восторженная сторонница советской власти, приехавшая из Парижа, чтобы вместе со своим народом строить социализм, была объявлена французской шпионкой. Показания на нее дал ее давний знакомый, журналист Павел Толстой, арестованный чуть раньше: «Я был связан по шпионской работе с Эфрон

Ариадной Сергеевной, сотрудницей журнала “Ревю де Моску”...»

Первый, пробный, допрос, проведенный старшим следователем лейтенантом Н. М. Кузьминовым, не дал ничего — все обвинения Ариадна отвергла. Неделю ее не трогали, а потом взяли в оборот.

О том, что происходило с ней на Лубянке, сама Ариадна скажет только через пятнадцать с лишним лет, в своих заявлениях властям (они тоже сохранились в деле):

«Когда я была арестована, следствие потребовало от меня:

1) признания, что я являюсь агентом французской разведки, 2) признания, что моему отцу об этом известно, 3) признания в том, что мне известно со слов отца о его принадлежности к французской разведке, причем избивать меня начали с первого же допроса.

Допросы велись круглосуточно, конвейером, спать не давали, держали в карцере босиком, раздетую, избивали резиновыми “дамскими вопросниками”, угрожали расстрелом и т. д.».

В другом заявлении она добавляет: не только угрожали, но и проводили инсценировки расстрела. На все просьбы предъявить хоть какие-нибудь доказательства ее вины, дать очную ставку со свидетелями преступления следовала брань. Если сам нарком, товарищ Берия, интересуется твоим делом и подписал постановление на арест — никакой надежды для тебя нет, выход один: признать себя виновной.

В документах следствия вся эта подноготная суть, конечно, скрыта. Но по всему видно, что на первых порах Ариадна держалась стойко — допросы в течение семи дней, иногда по восемь часов подряд, закончились без результата. Тогда-то к ней и применили более сильные меры — посадили в карцер, инсценировали расстрел. Потом, измученную, снова привели к следователям, дали бумагу и приказали: не хочешь говорить — пиши!

И она пишет, подробно, чистосердечно рассказывает о себе, с самого детства, о матери, об отце, об их тяжелой, нищенской жизни в эмиграции:

«...С 1925 по 1929 г. мать продолжала сотрудничать в эмигрантских изданиях и более или менее регулярно зарабатывала

литературным трудом. Однако с 1929 года ее положение начало становиться все более трудным. За все свое пребывание за границей она не примкнула ни к одной политической группировке и вообще не принимала участия в политической жизни эмиграции. В последний приезд Владимира Маяковского в Париж она, по просьбе редколлегии “Евразии”, выступила в этой газете с приветствием Маяковскому. Это ее выступление вызвало возмущение в эмигрантских кругах, и печатать ее стали неохотно...

После закрытия “Евразии” нам некоторое время жилось материально очень трудно. Отец время от времени получал случайную работу (был одно время статистом в кино), мать зарабатывала тоже нерегулярно, я прирабатывала на дому вязанием...»

1931 год. Сергей Эфрон опасно заболевает — это уже третье возобновление туберкулезного процесса. Настроение в доме тяжелое.

Однажды Ариадна с отцом остались дома вдвоем. Он лежал на постели, ему было плохо. Он попросил дочь сесть рядом на кровать, обнял, погладил по голове и вдруг расплакался.

«Я очень испугалась, — вспоминает в показаниях Ариадна, — и начала плакать тоже... Он сказал: “Я порчу жизнь тебе и маме”. Я решила, что он мучается тем, что нам живется трудно материально и что он не может этому помочь, и стала утешать его и говорить, что живется нам совсем не хуже, чем другим, и что материальное положение наше хотя и тяжелое, но не до такой степени, чтоб приходить из-за него в отчаяние.

Тогда папа сказал: “Ты еще маленькая, ты ничего не знаешь и не понимаешь. Не дай тебе Бог испытать когда-нибудь столько горя, как мне”. Я ему на это сказала, что горя, конечно, было немало, но что, наверное, потом будет легче и все тяжелое пройдет. Папа сказал мне, что для него жизнь может пойти только хуже и труднее, чем было раньше. Я думала, что весь этот разговор был связан с заболеванием отца, и сказала, что когда он поправится и сможет работать, то все, несомненно, пойдет лучше. Тогда папа опять повторил о том, что я маленькая и ничего не знаю, о том, что он боится, что погу-

бил жизнь своей семьи, и прибавил: “Ты ведь не знаешь и не можешь знать, как мне тяжело, я запутался, как муха в паутине, и пути мне нет”.

Потом сказал мне, что я должна учиться и работать, стараться пробить себе дорогу в жизнь, стать настоящим человеком, что я слишком пассивна и недостаточно думаю о своем будущем, о своей жизни. Потом прибавил: “А не лучше ли было бы, если бы я оставил вас и жил бы один?” Это меня испугало, и я сказала, что ни в коем случае он не должен делать этого, что мы одна семья и что нам вместе легче все переносить. Тогда он спросил, люблю ли я его. Я сказала, что, конечно, да. Он задумался и прибавил: “И твоя мать очень любит меня, и мы с ней много прожили. Я не знаю, что мне делать с собой и со всеми вами”. После этого он попросил не рассказывать об этом разговоре матери, чтобы не волновать ее, я обещала и действительно не рассказывала...»

Вскоре Эфрон уехал лечиться в Савойю, в пансион «Chateau d'Arcine», близ швейцарской границы. Ариадна навестила его и с месяц прожила там. Он по-прежнему был в депрессии, несколько раз порывался начать с ней какой-то серьезный разговор — как она поняла, об уходе из семьи, разводе с матерью, что ей было совершенно непонятно: ведь отец с матерью всегда жили в согласии и дружбе и очень любили друг друга.

Но в Париж Сергей Яковлевич вернулся окрепший и бодрый. Казалось, все его душевные терзания отступили вместе с болезнью, он перешел какой-то важный рубеж, — да и внешне жизнь его круто изменилась.

«Постепенно мне становилось все более и более очевидным, — пишет Ариадна, — что отец, а также его товарищи по евразийской группе ведут какую-то секретную работу. Отец стал часто отлучаться из дому, а иногда уезжал на несколько дней. Определенной работы у него, равно как и у его товарищей, не было, однако люди как-то продолжали существовать. В доме появились советские газеты, журналы, беседы между отцом и его товарищами велись на советские темы. Антисоветские выступления белоэмигрантской прессы подвергались в моем присутствии неоднократной резкой критике.

Поведение этих людей, разговоры неоднократно наводили меня на мысль, что они ведут большую работу для Советского Союза. Со временем я смогла определить, кто из них на каком участке работает, кто с кем связан, а также, как кто относится друг к другу. Таким образом, я узнала, что часть этих людей связана с французскими кругами, часть — с белоэмигрантскими. Про отца мне стало известно, что он ведет руководящую работу в Союзе возвращения на Родину, а потом, что эта его явная работа служит лишь прикрытием для работы секретного порядка. Я неоднократно обращалась к отцу с просьбой привлечь меня к своей работе, но он каждый раз либо отводил разговор, либо отвечал мне отказом, мотивируя это тем, что работа очень опасная, что я слишком молода, что работать так, как работает он, — значит всегда рисковать жизнью...

Лично моя жизнь в этот период складывалась очень неудачно... Дома тоже не ладилось, возникали споры и трения между мной и матерью... Через некоторое время мне удалось через знакомых найти работу медсестрой в зубохирургическом кабинете. На почве этой работы мы окончательно поссорились с матерью. Она была решительно против того, чтобы я поступила на работу, ей была постоянно нужна моя помощь дома, и она сказала, чтобы я выбирала: или жизнь дома, или работа. “Но если выберешь работу, то между нами все конечно”. Я выбрала работу. Работа была трудная, совсем не по специальности, первое время только училась там, на месте, денег никаких не получала, работала часов по двенадцать в сутки, из дома уходила рано, возвращалась поздно, ссоры и споры с матерью продолжались...

Этот период моей жизни в эмиграции был для меня самым тяжелым. Моя попытка самостоятельно работать окончилась плачевно... Хозяин, проэксплуатировав меня некоторое время, воспользовался моей болезнью, чтобы выставить меня на улицу. “Возвращаться” домой (хотя фактически из дома я не уходила и все это время продолжала жить в семье), признаваясь самой себе и другим в том, что мать была права, я не хотела. Мне было уже около 20—21 года, а я оказывалась неспособной жить самостоятельно и зарабатывать если не на семью, то хоть на себя самою...

Выхода я себе не видела и решила умереть. Написала классическую записку ко всем вместе и никому в отдельности и, воспользовавшись отсутствием домашних, открыла на кухне газ. Но домой случайно вернулся отец, которого я не ждала, выволок меня из кухни в полубессознательном состоянии, привел меня в чувство, и тут у нас произошел разговор...

Отец мне сказал, что то, что я чуть не сделала, глупо и могло бы быть непоправимым, что стыдно в моем возрасте, когда все впереди, считать, что жизнь кончена. Потом сказал, что его жизнь гораздо тяжелей, чем моя, что он, однако, живет. И что если уж у кого и должны быть причины желать смерти, то у него, а никак не у меня. Я ему ответила, что ему жаловаться нечего, что он живет, как он хочет, ведет большую работу на свою страну, а что мне он в этой работе отказывает, что у меня нет даже этого...»

Но не для того следователи дали в руки Ариадны перо, чтобы она делилась с ними своими переживаниями. Им было нужно совсем другое. И вот в ее показаниях появляются туманные, сбивчивые, явно надуманные места:

«Во время этой беседы, которая продолжалась довольно долго, отец мне сказал, что его положение тяжело и безвыходно тем, что в СССР он лично никогда вернуться не сможет. На мой вопрос, загладил ли он свои прежние проступки против Советской власти всей своей работой на Советский Союз, он мне ответил, что своих проступков он загладить не может, что он запутался так, что выбраться ему невозможно, и что в своих действиях он не волен, что именно поэтому он отказывал мне неоднократно в моей просьбе принять участие в его работе на Советский Союз. Когда я попросила его уточнить, он сказал мне, что вынужден работать не только на СССР, что принужден он к этому силой и что выйти из этого положения он не может, что он находится в крепких руках. На кого он работает помимо СССР он мне не сообщил. Это известие меня очень поразило, так как я всегда считала, что отец работает только на Советский Союз.

Тогда отец сказал мне, что для меня есть только один путь, единственно правильный, а именно — вернуться в Советский Союз, начать там новую жизнь, забыть о том, что у меня было, работать только по специальности, серьезно, не разбрасыва-

ясь. Что я должна забыть о происшедшем сегодня разговоре и никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не говорить об этом. Я спросила его, не подвергнусь ли я опасности, если вернусь в СССР. Но он мне сказал, что нет, что он известен как советский работник... и что бояться мне нечего, что единственное... чего он хочет для меня, — это счастья и покоя...»

При этом разговоре отец пообещал достать Ариадне советский паспорт и посоветовал вступить в Союз возвращения на Родину, что она вскоре и сделала. Далее Ариадна сообщает о том, что она почти не представляла себе, в чем состоит секретная работа ее отца, однако «впоследствии обнаружилось, что часть людей, связанных с отцом, в свою очередь, связана с иностранными разведками, я решила, что и у отца то же самое и что “так надо”... Однажды мне удалось обнаружить, что велась слежка за сыном Троцкого — Седовым, и уже незадолго до моего отъезда в СССР — о том, что посылаются люди в Испанию. Это последнее дело, ввиду его большого масштаба, очевидно, было трудно конспирировать соответствующим образом...».

Отец выполнил обещание: Ариадна получила советский паспорт и в 1937 году смогла вернуться на родину. Перед отъездом отец сказал ей, что он мечтает отправить вслед за ней и ее младшего брата, если удастся договориться об этом с мамой, но что они сами — он и Марина — наверное останутся в Париже.

Не прошло и года, как вдруг Сергей Эфрон с группой его товарищей по секретной работе появился в Москве. Свой приезд он объяснил дочери провалом одного очень крупного дела, в результате которого они должны были бежать, а ряд лиц был задержан французской полицией.

«Крупное дело» — это так называемое дело Рейсса, убийство советского разведчика Игнатия Рейсса (Порецкого), перебежавшего на Запад и заявившего открыто в печати о своем разрыве со сталинским режимом. Именно из-за провала агентуры после этого убийства Эфрону и пришлось спешно покинуть Францию.

Несмотря на весь «комплекс мер», попытки — физические и моральные, — следствие не получило от Ариадны никаких конкретных показаний о ее антисоветской деятельности.

Шпионаж же ее отца, конечно, налицо — но какой! — в пользу Советского Союза! Смутные фразы о работе «на других» еще не доказательство.

Ничего «подозрительного» в поведении своего отца на родине Ариадна не замечала. Больше того, он был единственным из всей сбежавшей из Парижа «группы провала», кто досконально исполнял все распоряжения о конспирации даже и тогда, когда для этого не было повода: не встречался ни с кем из своих прежних знакомых, а с коллегами по секретной работе — только с разрешения НКВД.

27 сентября разъяренный Кузьминов и его подручный, младший лейтенант А. И. Иванов, тащат Ариадну на решающий допрос. Сколько он продолжался, в протоколе не указано. Что на самом деле говорила своим палачам измученная Ариадна, мы тоже никогда не узнаем — перед нами только состряпанная следователями бумага, под которой ее вынудили подписаться. Ясно, что черновиком для протокола послужили ее собственноручные показания, «творчески» переработанные и дополненные тенденциозными формулировками и обвинениями.

При этом следователи сделали попытку втянуть в преступную цепочку отец — дочь и Марину:

«...В о п р о с . Только ли желание жить вместе с мужем будило вашу мать выехать за границу?»

О т в е т . Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно встретила приход Советской власти и не считала для себя возможным примириться с ее существованием...

В о п р о с . Состояли ли ваши родители в белоэмигрантских организациях, враждебных СССР?

О т в е т . Да, моя мать принимала активное участие в издававшемся за границей журнале «Воля России», помещая на страницах этого журнала свои стихи...»

Вот все, что удалось выжать из Ариадны о преступлениях ее матери.

— А теперь покажите, какие мотивы побудили вас вернуться в СССР?

— Я решила вернуться на родину, — отвечает Ариадна. — Я не последовала цели вести работу против СССР...

Это ее последний правдивый ответ на допросе. Мы можем только представить себе, что за ним последовало. Но

далее в протоколе идет фраза, которой столько добивались следователи:

«Я признаю себя виновной в том, что с декабря месяца 1936 г. являюсь агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу...»

Наконец-то! Признание было вырвано, следователи могли торжествовать: на полях протокола против этой ключевой фразы стоят ликующие восклицательные знаки.

И дальше следствие уже покатилося в заданном направлении. Одна ложь потянула за собой другие. Сломленная пытками девушка больше не сопротивлялась — подписывала все, что от нее требовали. Ведь мало признать себя виновной, надо еще доказать это. Тут опять пошли в ход ее собственноручные показания.

В них Ариадна вспоминала о своем сотрудничестве в парижском журнале «Франция — СССР», дружбе с его редактором Полем Мерлем, который предложил ей перед отъездом в Советский Союз стать собственным корреспондентом журнала. Этот Поль Мерль должен был сразу показаться Лубянке лицом подозрительным.

— А вы не боитесь ехать? — спросил он Ариадну в последнюю встречу.

— Чего мне бояться?

— Ну вы же знаете о тех судебных процессах, которые происходят в Москве. Можно себе представить, с каким недоверием встретят там человека, прибывшего из-за границы. Я боюсь, вам там трудно будет устроиться... Кстати, о процессах: отчего это все обвиняемые признались — вот что я не могу понять. Люди идейные, борцы, вдруг не только подтверждают свои преступления в суде, но и раскаиваются. Я не понимаю, что с ними всеми сделали на следствии. Если бы их били и мучили, то велики были бы шансы на то, что они разоблачили бы это во время суда. У нас говорят, что их загноготизировали, но это уж слишком глупо звучит. Неужели следствие велось таким образом, что обвиняемые искренне признались в своих преступлениях против советской власти?..

Как в воду глядел редактор, напутствуя неопытную сотрудницу! Теперь-то она уж смогла бы ответить ему. И счастье

француза, что он жил в Париже. Ибо следствие велось «таким образом», что и он сам, не ведая того, стал преступником.

Протокол допроса Ариадны бесстрастно повествует:

В о п р о с . Как вы были привлечены для шпионской работы в пользу французской разведки?

О т в е т . К сотрудничеству с французской разведкой я была привлечена Полем Мерлем незадолго до моего отъезда в Советский Союз.

В о п р о с . Кто такой Поль Мерль?

О т в е т . Поль Мерль формально является редактором журнала «Франция — СССР».

В о п р о с . А в действительности?

О т в е т . А в действительности, хотя прямо он не говорил, мне стало ясно, что Мерль является резидентом французской разведки...»

Вот так вербует французская разведка — не говоря, что она разведка. И вот что интересует французскую разведку: материалы об антисоветских настроениях выдающихся работников советского искусства, театра и других представителей советской интеллигенции, о жизни и работе отдельных заводов и колхозов... Никаких конкретных примеров шпионской деятельности Ариадны следователи, при всем их воображении, придумать не смогли. Да, видимо, и не пытались — зачем? По блестящей формуле советского правосудия, признание обвиняемого — царица доказательств!

Зато на том же допросе они получили подпись Ариадны под еще одним крайне важным для них показанием, возникшим в протоколе неожиданно, без всякого наводящего вопроса:

«Не желая скрывать чего-либо от следствия, я должна сообщить о том, что мой отец Эфрон Сергей Яковлевич, так же как и я, является агентом французской разведки...»

Доказательства? Снова берутся и препарируются в нужном духе ее собственноручные записи — сцены разговоров с отцом во время его болезни и когда он спас ее от газа. Лирику долой, остается фраза: «Отец ответил, что своих преступлений перед Советским Союзом он искупить никогда не сможет, что он работает не только на СССР, но и на других...» — и получает в протоколе допроса такое продолжение:

«В о п р о с . На кого именно он работает?

О т в е т . Отец не сказал, но для меня и без того ясно, что речь идет о французской разведке...»

Опять, как и с Мерлем: не сказал ничего, но и без того ясно...

Истинную подоплеку истории сотрудничества с парижским редактором Ариадна раскрыла много лет спустя в заявлении Генеральному прокурору — оно подшито в той же папке следственного дела и, по существу, перечеркивает всю обвинительную его часть:

«Под давлением следствия я была вынуждена оговорить себя и признать себя виновной в шпионской связи с французским журналистом Полем Мерлем... Несмотря на то что мои показания являлись сплошным вымыслом, они удовлетворили следственные органы, что явилось лишним доказательством того, что органы не располагали никакими компрометирующими меня материалами. На самом же деле знакомство мое с этим журналом сводилось к следующему. Незадолго перед своим отъездом в СССР я получила от тов. Ларина, секретаря Союза возвращения на Родину (организация эта являлась одним из замаскированных опорных пунктов нашей контрразведки в Париже и финансировалась нами), предложение сделать несколько переводов и очерков по материалам советской прессы на темы литературы и искусства в журнале “Франция — СССР”, и Ларин познакомил меня с редактором этого журнала Полем Мерлем. Указанную выше работу я выполнила, и она была напечатана в журнале. Поль Мерль, узнав от меня о моем скором отъезде в СССР, предложил мне быть корреспондентом этого журнала в Советском Союзе. Свое согласие я дала лишь после того, как Поль Мерль, обратившийся по этому вопросу в советское посольство в Париже, получил официальное разрешение от тогдашнего полпреда (кажется, это был тов. Майский)...

Являясь членом семьи работника советской разведки, я постоянно поддерживала связь с органами НКВД через работника этих органов Степанову Зинаиду Семеновну. Я немедленно, тотчас же по приезде в Москву, поставила ее в известность о своей связи с журналом “Франция — СССР” и

просила проинструктировать меня о дальнейших взаимоотношениях с ним. Она согласовала этот вопрос и сообщила, что руководство не рекомендует мне работать в журнале “Франция — СССР” и поддерживать связь с его сотрудниками, ввиду того что органы не располагают о них достаточными данными и не находят возможности в данное время заняться их проверкой. Таким образом, я, не отправив во Францию ни одной корреспонденции, связь эту по указанию органов порвала еще в начале 1937 г. и с тех пор ничего не знаю ни об этом журнале, ни о его сотрудниках.

Несмотря на мои неоднократные просьбы, следствие категорически отказалось допросить Степанову, которая могла подтвердить мою невиновность, и приложить ее показания к моему делу. Так же и официальное разрешение нашего полпредства на мое сотрудничество в журнале “Франция — СССР”, изъятое у меня при обыске и находящееся в материалах следствия, оказалось “утраченным” и к делу приложено не было.

Применяя указанные выше недозволенные методы следствия, следователи Кузьминов и другие выколотили из меня ложные показания против моего отца. Несмотря на все давление следствия, я тотчас же отказалась от этих показаний и требовала прокурора, а последний зафиксировал мой отказ только много времени спустя, т. е. тогда, когда показания эти сыграли свою роль при аресте моего отца...»

В других заявлениях властям Ариадна дополняет:

«На протяжении всех лет своей разведывательной работы отец пользовался доверием и уважением своего руководства, как за границей, так и в СССР. Но с приходом Берии в органы НКВД отношение к отцу и к приехавшим с ним товарищам резко изменилось. Все прежнее руководство было арестовано, а новое занялось раздуванием вражды, сплетен, склок среди этой небольшой, недавно сплоченной и дружной группы людей, натравливая их друг на друга, собирая у одних ложные, компрометирующие сведения о других и т. д.

Так, помню, т. Клепинин-Львов, живший вместе с нами в Болшеве, стал расспрашивать моего отца, не был ли тот дворянского происхождения, много ли у него было недвижимого имущества до революции, и старался добиться утвердитель-

ных ответов. Отец же, никогда не бывший ни дворянином, ни капиталистом, был удивлен и удручен таким “допросом”. Этот небольшой случай припомнился мне, когда я, арестованная в августе 1939 года, находилась под следствием и меня наряду с другими дикими и ложными вещами заставляли сказать об отце один день — что он был дворянином, другой день — евреем, третий — капиталистом и пр.

Кто именно из бериевского руководства ведал этой группой людей, и в частности моим отцом, мне неизвестно, хотя некоторых из них я видела, провожая больного отца на свидание с ними.

Так, запомнился мне небольшого роста худощавый армянин или грузин средних лет, приходивший на свидание с отцом в гражданской одежде, но с оружием. Он присутствовал при моих первых допросах и задавал мне вопросы вроде: “А сколько человек ваш отец продал французской разведке?” Потом следователь сказал мне, что это — один из заместителей Берии...

В те годы мне, человеку тогда молодому и малоопытному, невозможно было разобраться в истинных причинах моего ареста и ареста отца. Я знала, что обвинения были ложными, была убеждена, что об этом не могли не знать органы НКВД, но не могла понять, кому и для чего все это было нужно. Только разоблачение Берии дало мне на это ответ.

Я упоминаю здесь о деле отца, потому что думаю, что именно оно являлось причиной и объяснением моего дела. Я была арестована без малейших серьезных данных, с тем чтобы, признав свою вину, скомпрометировать отца, с тем чтобы, дав против него под давлением следствия ложные данные, помочь Берии уничтожить целую группу советской разведки. Это также является доказательством того, что следственные органы не располагали фактическими материалами против моего отца, иначе они не нуждались бы в ложных показаниях...»

Ариадна верно определила причину своего ареста — она была нужна НКВД лишь как орудие против ее отца. И теперь они могли отправиться в Болшево за следующей жертвой.

А что делалось тем временем на большевской даче?

Осень. Там наступила осень. С хмурого неба зачастил холодный, беспросветный дождь.

Все немногие свидетели жизни Сергея Эфрона в Болшеве говорят о какой-то резкой перемене в нем: замечали то затравленный взгляд, то нервные срывы с рыданиями, то каменное оцепенение...

8 октября — день их рождения, и Марины, и Сергея: ей — сорок семь, ему — сорок шесть. Было не до праздников. Полтора месяца в семье ждали чуда: вот распахнется калитка — и появится улыбающаяся Аля...

10 октября, рано утром, калитка распахнулась... Вежливые истуканы в форме, ордер с подписью Берии, кавардак обыска, какие-то формальные подписи, вещи первой необходимости в рюкзачок. На прощание Марина осенила Сергея широким крестным знаменем...

В постановлении на арест фигурировали показания все того же Толстого, что он был завербован во французскую разведку ее резидентом — белоэмигрантом Эфроном, и, конечно же, быстро пущенное в ход «признание» Ариадны.

Обычная процедура на Лубянке — фотографирование, отпечатки пальцев, заполнение анкеты: «Эфрон Сергей Яковлевич, литератор, место службы — был на учете НКВД, беспартийный, русский...»

В это же утро следователь — тот же Кузьминов, что вел дело Ариадны, — подверг арестованного изнурительному допросу. Эфрон подробнейшим образом изложил свою биографию. Не скрывал, что боролся против большевиков в годы революции и Гражданской войны, потом бежал с армией генерала Врангеля за границу. Оказался в Праге, перебрался с семьей в Париж и там вступил в группировку евразийцев.

— Каковы были программа и установки евразийцев? — спрашивает Кузьминов.

— Я вступил в левую группу евразийцев в 1927 году... Вначале это была попытка создания фашистско-русской идеологии, а впоследствии организация стояла на позициях «советы без коммунистов». Та группа, к которой принадлежал я, в 1928—1929 годах совершенно разочаровалась в этих взглядах и стала на советскую платформу. При этом мы старались использовать евразийскую печать для советской пропаганды в эмиграции...

— Следствие вам не верит, — говорит Кузьминов. — Какие у вас отношения с дочерью?

— Дружеские, товарищеские...

— Что вам известно об антисоветской работе вашей дочери?

— Мне об этом ничего не известно.

— А какую антисоветскую работу проводила ваша жена?

— Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю жизнь писала стихи и прозу. В некоторых своих произведениях она высказывала взгляды несоветские...

— Не совсем это так, как вы изображаете. Мы знаем, например, что в Праге ваша жена активно участвовала в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?

— Да, это факт. Она была эмигранткой и писала в эмигрантские газеты, но антисоветской деятельностью она не занималась.

— Непонятно. Белоэмигранты в своих изданиях излагали тактические установки борьбы против СССР. Что может быть общего с ними у человека, не разделяющего этих установок?

— Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела...

Попытка замешать в дело Цветаеву не удалась.

— Следствие вам не верит, — допрос прерывается.

На следующий день Эфрона переводят в Лефортово — тюрьму, которой следователи пугали неподдающихся арестованных и откуда те редко выходили живыми. Каждый день его водят на допросы (об этом свидетельствует справка, данная тюремным начальством), но протоколов их в деле нет, что может значить только одно: выбить нужные показания следователи не могут. А состояние их подопечного уже таково, что приходится проводить медицинское освидетельствование.

Начальник санчасти Лефортовской тюрьмы военврач Яншин пишет заключение:

«Арестованный Эфрон, 46 лет, высокого роста, правильного телосложения... страдает частыми приступами грудной жабы, хроническим миокардитом, в резкой форме неврастенией, а поэтому работать с ним следственным органам можно при следующих обстоятельствах: 1) дневное занятие и непродолжительное время, не более 2—3 часов в сутки; 2) в

спокойной обстановке; 3) при повседневном врачебном наблюдении; 4) с хорошей вентиляцией в кабинете».

24 октября Эфрона помещают в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы. И оттуда, прямо с больничной койки, снова тащат на допрос к Кузьминову. Предъявив обвинения, следователь получает прежний ответ:

— Я не виновен. Ни с какой разведкой иностранного государства связан не был.

Допрос прерывается привычной фразой:

— Вы говорите неправду, следствие вам не верит...

Цветаева с сыном Муром оказались без средств, в неизвестности — как, чем жить? Днем собирают хворост для печи — дров нет. Ночью она не спит, прислушивается, вздрагивает: теперь придут за ней... Что тогда будет с Муром? Надвигается зима. Весь их багаж — все теплые вещи, отправленные из Парижа, застряли на таможне, а получить не удастся. Как пережить зиму без самого необходимого, кто поможет?

Багаж — это не просто вещи, там ее рабочие тетради, книги, прерванный труд, — ее внутренний дом, последнее убежище.

Тогда она и пишет свое первое письмо на Лубянку.

«В Следственную часть НКВД

При отъезде из-за границы в Союз я отправила свой багаж по адресу дочери, так как не могла тогда точно знать, где поселюсь по возвращении в Москву.

По прибытии сюда я в течение двух месяцев еще ни имела паспорта и поэтому не могла получить багажа, пришедшего в начале августа с. г.

В соответствии с указанием таможни я получила от моей дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон, доверенность на принадлежащий мне багаж. Но получить его я тоже еще не могла из-за отсутствия у меня свидетельства с пограничного пункта, которого у меня не имелось, так как я, с сыном 14 лет, ехала специальным пароходом до Ленинграда.

Было возбуждено соответствующее ходатайство о выдаче мне необходимого документа. В это же время, в конце августа, была арестована моя дочь, и багаж оказался, по-видимому, задержанным на таможне.

Я живу за городом, наступает зима, ни у меня, ни у сына нет теплой одежды, одеял и обуви, и пока что нет возможности приобрести таковые заново.

Настоящим ходатайствую, в случае если невозможно сейчас получить всего мне принадлежащего багажа, о разрешении на получение мною из него самых необходимых мне и сыну вещей, без которых я не вижу, как мы перезимуем.

О Вашем решении по этому вопросу очень прошу поставить меня в известность.

Марина Цветаева.

Ст. Болшево-Северной ж. д. Поселок Новый Быт, дача 4/33.

31 октября 1939 г.».

Когда письмо попало в НКВД, его передали помощнику начальника следчасти старшему лейтенанту А. К. Шкурину — тому, кто руководил следствием по делу Сергея и Ариадны Эфрон. Ему не до цветаевского багажа: идут непрерывные допросы и не ясно еще, понадобятся ли этой женщине теплые вещи — не займет ли она вскоре камеру по соседству с мужем и дочерью. Из материалов дела видно, что Павел Толстой дал повод НКВД арестовать не только Ариадну и Сергея, но и ее, Марину. Вот его собственноручные показания:

«...Эфрон (Ариадну. — В. Ш.) я знаю еще по Парижу. Когда я уезжал в 1933 г., Эфрон была еще почти девочкой, ей было тогда только около 16—17 лет, но она уже ярко выражала свои антисоветские настроения, вместе с матерью (женой Сергея Эфрона, довольно известной поэтессой Мариной Цветаевой). Марина в настоящий момент находится в Париже, по паспорту эмигрантки, и убеждений самых махровых монархических. Пусть это не покажется странным, но ни Эфрону, с его троцкистской, ни Марине, с ее монархической идеологией, не мешают как будто исключаящие взаимно друг друга точки зрения: они прекрасно уживаются друг с другом, так как они оба, в конечном счете, стремятся к одному — возврату к прошлому. Но в 1937 г. мне это еще не совсем было ясно, и поэтому, когда я узнал, что в СССР в скором времени приезжает Аля Эфрон, я был несколько озадачен, т. к. хорошо знал Алины и Маринины взгляды, бывая часто у Эфронов...

Если я не ошибаюсь, в ноябре—декабре прошлого года, встретившись со мной, Аля рассказала мне в первый раз о том, что она разошлась в убеждениях со своей матерью и стала бывать среди знакомых ее отца, но в то же время и не отказывалась видиться с друзьями своей матери, в частности с известным белогвардейским писателем Иваном Бунинным...

К <...> Эфрона Марина Ивановна относилась отрицательно (вычеркнутые в этой фразе слова, вероятно, касались его просоветских взглядов или службы в НКВД. — В. Ш.). Она пользовалась известностью как поэтесса... Мне известно также, что она сохранила дружбу с советскими писателями Борисом Пастернаком и Михаилом Булгаковым. Последнему Марина Цветаева послала в подарок мундштук из слоновой кости в память “Дней Турбинных”.

Что касается ее политических убеждений, то у нее как у поэта, особенно у женского поэта, был, по-видимому, полный хаос в голове. Я помню, что в “Правде” Д. Бедный выступил со стихами, в которых осмеивал поэтессу Цветаеву, которая пишет поэму о расстреле Николая II... С другой стороны, она кроме Пастернака и Булгакова переписывалась с А. М. Горьким, о котором отзывалась очень хорошо... Ее положение как поэтессы, которая живет поэзией, заставляло ее печатать ее произведения в разнообразных белоэмигрантских изданиях и поддерживать отношения с целым рядом лиц из среды белоэмигрантов. Она также, как мне известно, была дружна с бывшим евразийцем Д. Святополк-Мирским, литературным критиком...»

А в Болшеве, пока Цветаева ждет ответа на письмо, события идут своим ходом. В красный праздник Октября черная машина опять останавливается у калитки — снова топот ног, стук в дверь, обыск, — на этот раз увозят Николая Андреевича Клепинина. В тот же день была арестована в Москве его жена Антонина Николаевна и ее сын Алексей Сеземан.

И Марина не выдерживает: спешно собравшись и захватив лишь то, что можно унести с собой, бежит вместе с сыном в Москву, скитаться по людям. Вон из этого проклятого места!

Станция Болшево, поселок Новый Быт... Даже название звучало издевательски для ее слуха! Слово «быт» было ненавистным, а Болшево аукалось с большевиками, которых она называла врагами русского языка. Жизнь поэта — сплошная

метафора. Весной Цветаева заедет сюда за вещами и увидит еще один сюжет из бреда: дом захвачен какими-то незаконными жильцами, вещи разворованы — и гроб стоит: повесился — в ее комнате! — начальник местной милиции... И снова кинется прочь!

А багаж из Парижа Цветаева получит, но только летом следующего года.

«Исправьте, пока не поздно»

Аля могла рассказать Павлу Толстому о своей последней встрече с «известным белогвардейским писателем Иваном Бунинным» — встрече, которая поразила, запала в душу.

— Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия... Куда тебя несет?.. Тебя посадят...

— Меня? За что?

— А вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь верблюжьи пятки!..

— Я?! Верблюжьи?!

А на прощание:

— Христос с тобой, — и перекрестил. — Если бы мне столько лет, сколько тебе, — пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы, — и пропади оно все пропадом!..

Как это все было странно слышать там, в нестерпимо жаркий июльский день, на Côte d'Azur. Арест? Стриженная голова? Верблюжьи пятки? Она смеялась над чудачеством старика. Теперь сбывалось...

В следствии Ариадны установилась своеобразная рутинна. Два месяца одно и то же: весь октябрь и ноябрь младший лейтенант Иванов — теперь она отдана в его руки — вызывает ее и заставляет писать собственноручные показания: об эмигрантских организациях в Париже, о всех знакомых в Москве. Потом, на этой основе, «творит» протоколы допросов и снова вызывает — подписывать. Ариадна пытается снять свои показания на отца, просит встречи с прокурором — все напрасно, от нее просто отмахиваются.

Из лубянских записей Ариадны встает в подробностях жизнь ее семьи на большевской даче, жизнь странная, призрачная, больше похожая на домашний арест.

В самом деле, вроде бы и с в о н, наконец вернулись на родину — и засекречены, их как бы и нет, даже сменили фамилии: отец живет под придуманной чекистами кличкой Андреев, Клепинины — Львовы. Разрешено встречаться только с родными, но и с ними о многом, например о причине приезда отца со товарищи, говорить запрещено. Но, с другой стороны, обо всем и обо всех надо докладывать специально представленным для контроля энкавэдэшникам. Замкнутая скорлупа с единственным открытым выходом — на Лубянку.

Чудовищные слухи о все новых арестах, страхи и подозрения, оглядка и слежка — совершенно уродливая жизнь, в которой и люди становятся ненормальными. Дезориентированные и запуганные НКВД, они не знали, как себя вести, играя порой двойную и тройную роль. В таких условиях проявляется все худшее в человеке — на это и расчет.

Ариадна, ослепленная верой в коммунистические идеалы и в справедливость советской власти, верой, замешанной на страхе — за себя, за отца, мать, брата, — полная уважения к органам безопасности — ведь и ее отец, высший авторитет, был чекистом! — честно сообщала приставленной к ней Зинаиде Степановой о всех фактах расконспиривования или других подозрительных случаях, убежденная, что беды от этого не будет, а вот если не сказать, тогда, конечно, беда. А случаи такие возникали буквально на каждом шагу. От неумения освоиться в этой двусмысленной обстановке, от боязни проштрафиться, а иногда и от чрезмерного усердия люди совершали неловкие поступки и только вредили друг другу.

Ариадна рассказывает о случае, происшедшем, когда Эфрон бежал из Парижа и внезапно оказался в Москве. «Решив успокоить маму насчет благополучного приезда отца, я написала ей по почте письмо, составленное, как мне казалось, настолько в законспиривованной форме, что могла понять только мать. Однако мать, получив это письмо, пожаловалась начальству отца в Париже на мою неосторожность, и я получила за это в Москве выговор от Степановой Зинаиды Семеновны, сотрудницы НКВД, с которой мы были все время связаны. Всем лицам, приехавшим из Парижа в это время, было предложено через Степанову пользоваться для переписки с

оставшимися во Франции родными дипломатической почтой, а также было запрещено переписываться обычным путем...»

Нетрудно понять, что вся переписка, шедшая через НКВД, подвергалась там строжайшей цензуре, а кроме того, была еще одним способом следить за обитателями болшевской дачи.

Другое происшествие касается возвращения Цветаевой в Москву, которое по приказу НКВД должно было держаться в тайне. И вот на следующий день после приезда матери Ариадне в редакцию позвонил ее приятель, литератор Эмиль Фурманов, и сказал, что он уже знает обо всем от их общего друга — Алексея Сеземана (сын Нины Клепининой), — и, больше того, успел сообщить новость другим литераторам... «А между тем, — пишет Ариадна, — Сеземану было известно о том, что о приезде моей матери можно будет рассказать только по получении точных директив НКВД... В конце концов Алексей Сеземан настолько разболтался, что на него было заведено дело в НКВД и Клепининым, отчиму и матери, было сказано, что если он не прижмет язык, его арестуют. Клепинины вызвали Сеземана на дачу в Болшево и там пропесочили...»

Этот эпизод, подробно изложенный Ариадной, типичен для царящей в Болшеве атмосферы страха и подозрительности. Припертый к стенке Алексей — можно посочувствовать двадцатидвухлетнему парню, который если и сболтнул лишнее, то, разумеется, без всякого умысла, просто по доверчивости, — сначала отрицает все. Тогда зовут Алю. Тут Алексей во всем признается и добавляет:

— Ну и что, Фурманов — мой лучший друг, у меня от него секретов нет.

И про Эфрона он тоже рассказывал Фурманову, ему можно доверять, у него у самого «брат в НКВД работает».

«Об этом разговоре я в свое время сообщила Степановой», — спешит добавить Ариадна.

Кто работает на НКВД, а кто нет — в самом деле было невозможно понять, все так или иначе оказались затянуты в эту липкую паутину. Аля пришла к выводу, что не только брат Фурманова, но и сам он связан с органами, и, уж совсем переходя в своих показаниях на язык чекистов, глубокомысленно замечает: «Если этот человек действительно является сотруд-

ником НКВД, то работу его и жизнь его необходимо организовать таким образом, чтобы она не привлекала внимания со стороны. Если же этот человек связи с НКВД не имеет, то несомненно, что и он сам, и те люди, среди которых он встречается, могут представить исключительный интерес...»

Бедная молодежь! Мало того, что во всех своих действиях она была стеснена, — паучьи щупальца органов проникали глубоко в сознание, уродуя его на всю жизнь!

Ариадна со своей натурой — цветаевски-максималистской и эфроновски-рыцарской — никак не могла приспособиться к реальностям советской жизни, которую издавала слишком идеализировала. В компании своих молодых друзей, таких, как Алексей Сеземан или Эмиль Фурманов, она чувствовала себя белой вороной, и это ее мучило. Ее считали Ариадну старомодной и советовали ей не церемониться, найти какого-нибудь парня и «жить как все».

«В спорах на эти темы, — исповедуется Ариадна, — они часто доводили меня до слез, я уходила, хлопнув дверью... И опять через некоторое время начиналась та же пропаганда. Били меня по чувствительным местам: мол, мои взгляды на любовь мелкобуржуазны, брак как таковой не существует, люди сходятся и расходятся — иногда на ночь, иногда на месяцы, редко на долгий срок. “Ты чудачка, все наши товарищи на тебя косо смотрят, ты держишь себя не по-товарищески, не по-советски, как заграничная штучка”. Мне всячески внушалось, что тот стиль жизни, в котором живут они, — это и есть стиль жизни всей страны, всей молодежи и что если я веду себя иначе, то я оказываюсь чужим, враждебным человеком.

Фурманов посмеивался и над моей работой, над тем, что я пересиживаю положенные часы, что я стараюсь делать больше и лучше, чем полагается по моим служебным обязанностям. “У нас литераторы так не поступают, — говорил он мне. — Надо быть круглой идиоткой, чтобы сидеть в редакции дни и ночи за четыреста рублей в месяц. Да и что твой журнал, никто его не знает! Нужно выдвигаться, писать рассказы на советские темы, печатать их в журналах, получать большие деньги...” На мои возражения, что советской жизни я не знаю, он мне советовал “выдумывать так, чтобы было похоже”. Весь

энтузиазм, всю радость моей работы... окружающие старались осмеять и разбить... Доходило до того, что я действительно начинала сомневаться в своей правоте, думала, а вдруг в самом деле вести себя иначе, чем эти люди, прожившие всю жизнь в Советском Союзе, — это и быть мелкобуржуазной? Но все же я должна сказать, что за все это время я не позволила себе ничего такого, за что могла бы впоследствии стыдиться...»

В конце концов, сообщает Ариадна, отношения с Фурмановым кончились тем, что он вдруг предложил ей стать его женой — и получил отказ. После этого их общение сошло на нет. А «парня» она в Москве все же нашла — и влюбилась всерьез! Этот самый близкий ей человек — журналист Самуил Гуревич; последние месяцы ее перед арестом были озарены короткой и яркой вспышкой счастья. Увы, потом, много лет спустя, откроется, что и он совмещал свой журнализм с сотрудничеством в НКВД, и он в свой час падет жертвой этого ненасытного Молоха...

Впрочем, опять же личные переживания Ариадны мало интересовали следователя и, запечатлеваясь в ее записях, в протоколы допросов не попадали. Зато старательно выуживался любой компромат на других интересующих Лубянку лиц. Например — что известно Ариадне о писателе Илье Эренбурге?

И она выложила все, что знала, каким видели его русские парижане:

«...Эренбург никогда не был эмигрантом, хотя много и часто бывал за границей, и главным образом в Париже. Говорили, что в последние годы Эренбург чаще был и дольше жил в Париже, чем в Советском Союзе. И правда, в Париже Эренбург был фигурой чрезвычайно популярной. Он сотрудничал во французской коммунистической прессе, часто выступал публично, делал доклады и т.д.... Эренбург вел в Париже очень богемный образ жизни, говорили о том, что серьезно он не работает, пишет статьи и очерки, только когда ему их заказывают, что с утра до вечера и с ночи до утра он сидит по кафе в какой-нибудь пестрой компании. Много было толков и разговоров о средствах, на которые он живет и живет хорошо. Об Эренбурге вообще редко кто отзывался как о совет-

ском писателе, еще реже как о советском человеке. Его считали по стилю, по духу, по образу жизни своим, не то эмигрантом, не то французом, во всяком случае, типичным представителем парижской богемы. И мало убедительными казались на этом фоне для тех, кто знал Эренбурга, его советские высказывания; публичные и печатные выступления. Общим впечатлением было, что человек “примазывается” и к Франции, и к Советскому Союзу. “Ласковый теленок двух маток сосет”. Сама я, проходя по бульвару, видела Эренбурга на террасе то одного, то другого кафе, то в одной, то в другой компании неизвестных мне людей. Сам по себе этот факт, понятно, нисколько не является преступным... Об антисоветской деятельности Эренбурга я не слышала ничего...»

Видя, что больше уже ничего выудить из Ариадны не удастся, следователи оставили ее в покое — на целый месяц.

В это время в Бутырской тюрьме старший следователь Кузьминов ожесточенно добивался показаний от отца Ариадны. На допросе 1 ноября тот обстоятельно рассказал о евразийской организации. Упомянул и о масонах, к которым внедрился по заданию НКВД.

Кузьминов прерывает его:

— В том-то и дело, что вы, являясь секретным сотрудником НКВД, не только не помогали последнему, но использовали свою связь с органами в своих антисоветских целях!

— Я работал честно, никакой антисоветской работы не проводил.

Кузьминов заходит с другого конца:

— Почему же вы скрывали от органов НКВД лиц, ведущих антисоветскую деятельность?

— Такие лица мне не известны.

Кузьминов подсказывает: а Клепинины, ваши соседи по болшевской даче?

— Я сообщал устно НКВД о том, что я Клепининой не доверяю. Также я сообщал и о Клепинине, что он на почве пьянства много болтает...

— Какие антисоветские разговоры вела Клепинина?

— Мне трудно вспомнить все... Ну, что в СССР плохо живется, нет продуктов, ничего нельзя купить. Что люди, из-

дающие советские газеты, безграмотны, бескультурны. Превознося при этом европейскую культуру, она резко выступала против происходящих в стране арестов, говорила, что существует эксплуатация, что восьмичасовой рабочий день — фикция, а конституция — ширма, за которой скрывается диктатура отдельных лиц. Клепинин соглашался с ней, а подчас и сам вел подобного рода разговоры. Кроме того, я должен также сообщить, что они оба, являясь секретными сотрудниками НКВД, разглашали это посторонним лицам...

— Следовательно, устанавливаем, что вы, будучи секретным сотрудником НКВД, не сообщали о случаях антисоветского проявления со стороны Клепининых.

— Я ограничился устным сообщением, о котором сказал выше...

Ариадна приводит в своих показаниях и такие возмущенные слова Нины Клепининой: «В НКВД перебили друг друга, и не знаешь, на кого опираться. И какие в конце концов гарантии, что Берия будет лучше Ежова?..» А Николай Клепинин однажды, в присутствии Ариадны, разразился грубейшей бранью в адрес Сталина. Испуганная жена тут же осадила его...

Видно, что обитатели болшевской дачи при всей своей советскости уже начали прозревать, меняли свои взгляды и понимали, что попали в безвыходную ловушку.

Нет сомнения, что Кузьминов, добываясь показаний, применял к своему подследственному все те физические и моральные истязания, которые испытала и Ариадна, а может быть, и более жестокие. О том, что он явно переусердствовал, говорит тот факт, что в праздник Октябрьской революции, 7 ноября (в этот день арестовали Клепининых и Алексея Сеземана), Эфрон снова оказался в психушке Бутырской тюрьмы «по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство».

Медицинская справка, составленная 20 ноября, гласит:

«...В настоящее время обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене, и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство

невероятного страха и ожидания чего-то ужасного. По своему состоянию (острое реактивное душевное расстройство) нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию».

Комиссия, осмотревшая больного через два дня, пришла к выводу:

«...Заключенный Эфрон находится в реактивном состоянии, выражающемся в общей подавленности, угнетенном настроении, неправильном толковании окружающего, слуховых галлюцинациях угрожающего характера, зрительных иллюзиях, некритическом отношении к ним и бессоннице... Отмечаются выраженные явления вегетативного невроза. Нуждается в лечении в психиатрическом отделении Бутырской тюрьмы в течение 30—40 дней и последующем переосвидетельствовании».

Никакого переосвидетельствования не было, Эфрона держали в психушке еще полмесяца и снова потащили к следователям. Теперь ему уготовили новое испытание — очную ставку с человеком, давшим на него обвинительные показания, — с Павлом Толстым. Какое значение придавалось этой очной ставке, видно хотя бы по тому, что на нее Кузьминов пригласил военного прокурора И. Антонова. Предполагалось, что теперь-то они «расколют» этого неуступчивого Эфрона.

Вначале Толстой послушно подтвердил свои показания: да, Эфрон в 1928 году привлек его к евразийской организации, а позже — для шпионажа в пользу французской разведки.

— Вы говорили Толстому о необходимости примкнуть к евразийской организации? — спрашивают Эфрона.

— Евразийской организации к тому времени не существовало, и подобные разговоры я вести не мог.

— Что ж, по-вашему выходит, что Толстой говорит неправду?

— Да, я объясняю это тем, что Толстому, видимо, изменила память.

Вопрос Толстому:

— Какие задания вы получили от Эфрона перед поездкой в Советский Союз?

— Я получил от него два задания: вступить в контакт с остатками троцкистской организации и собирать шпионские

сведения, которые должен был передавать французской разведке.

— Если я до сего времени полагал, что Толстому изменила память, то сейчас я должен сказать, что это ложь, — прокомментировал Эфрон.

— Он говорит, что это ложь, — лепечет Толстой. — Я даже получал от него совершенно конкретные задания. Я получил указания о том, что должен держать контакт с домом Алексея Николаевича Толстого... — (Дядя Павла — известный официальный советский писатель, впоследствии многократный сталинский лауреат).

И что бы дальше ни говорил Толстой, как бы ни старались следователь с прокурором, Эфрон отвечал твердо:

— Я абсолютно отрицаю все, что сказал сейчас Толстой.

— Все показания Толстого отрицаю совершенно.

— Антисоветских разговоров с Толстым я не вел, а, наоборот, всячески старался вырвать его из белой среды...

Очная ставка ни к чему не привела. Протокол венчает такая многозначительная фраза Толстого, сказанная на прощание:

— Сергей Яковлевич, и я в первое время говорил о том, что я чист, как кристалл, а потом понял, что нужно сознаваться, и советую вам это же сделать...

В Москве Цветаевой деваться некуда. Сначала они с Муром приютились у сестры Сергея Эфрона Елизаветы Яковлевны, в перенаселенной коммуналке в Мерзляковском переулке. Обратилась к Фадееву, секретарю Союза писателей, — тот с жильем отказал, не нашел и комнатушки. Направил через Литфонд в Дом творчества писателей в Голицыне, опять за город, но и там, в самом Доме, разрешили только столоваться, два раза в день, а места для нищей белоэмигрантки, жены и матери врагов народа, не нашлось — пришлось снять комнату в частном доме. И за все надо платить, все на птичьих правах. Марина живет в ореоле черной славы — литераторы чураются ее, как прокаженную, в лучшем случае поглядывают жалостливо, не многие отваживаются на общение.

И она еще находит силы бороться за тех, кому сейчас всего горше, — за мужа и дочь. Затемно ездит в город в промерзшем

поезде и часами простаивает в очередях — передать деньги для Али, во внутреннюю тюрьму Лубянки, и Сергею в Бутырки. Не раз писала она и письма властям в защиту своих близких — но какие, кому? — считалось, что письма эти не сохранились.

И вот одно из них — перед нами.

На конверте надпись: «Народному Комиссару Внутренних Дел СССР тов. Л. П. Берия от писательницы Марины Цветаевой».

«Голицыно, Белорусской ж. д.

Дом Отдыха Писателей

23 декабря 1939 г.

Товарищ Берия,

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, *Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева*, и моей дочери — *Ариадны Сергеевны Эфрон*, арестованных: дочь — 27-го августа, муж — 10-го октября сего 1939 года.

Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я — писательница, *Марина Ивановна Цветаева*. В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей — в Чехии и Франции — по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно — жила семьей и своими писаниями. Сотрудничала главным образом в журналах “Воля России” и “Современные Записки”, одно время печаталась в газете “Последние новости”, но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще — в эмиграции была и слыха одиночкой. (“Почему она не едет в Советскую Россию?”) В 1936 году я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Revolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними — Похоронный Марш (“Вы жертвою пали в борьбе роковой”), а из советских — песню из “Веселых ребят”, “Полюшко — широко поле” и многие другие. Мои песни пелись.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я, вместе с 14-летним сыном Георгием, 18-го июня 1939 г., на пароходе “Мария Ульянова”, везшем испанцев.

Причины моего возвращения на родину — страстное устремление туда всей моей семьи: мужа — Сергея Эфрона, дочери — Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничего.

При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

Если нужно сказать о происхождении — я дочь заслуженного профессора Московского Университета, Ивана Владимировича Цветаева, европейской известности филолога (открыл одно древнее наречие, его труд «Осские надписи»), основателя и собирателя Музея Изящных Искусств — ныне Музея Изобразительных Искусств. Замысел музея — его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними — одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию — труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для Музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва — все бесчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским Курсам и Консерватории и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея).

Моя мать — Мария Александровна Цветаева, рожд. Мейн, была выдающаяся музыкантша, первая помощница отца по созданию Музея и рано умерла.

Вот — обо мне.

Теперь о моем муже — Сергее Эфроне.

Сергей Яковлевич Эфрон — сын известной народвоолки Елизаветы Петровны Дурново (среди народвоольцев «Лиза

Дурново”) и народовольца Якова Константиновича Эфрона. (В семье хранится его молодая карточка в тюрьме, с казенной печатью: “Яков Константинович Эфрон. Государственный преступник”.) О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней и в книге Степняка “Подпольная Россия”, и портрет ее находится в Кропоткинском Музее.

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать — в Петропавловской крепости, старшие дети — Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон — по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра, — два побега. Ему грозит смертная казнь, и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергеем Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже, — кончает с собой ее 13-летний сын, которого в школе задразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней “Юманите”.

В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в Московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. — 1920 г.) — непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех, кого мог, — забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара — у него на глазах, —

лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. — «В эту минуту я понял, что наше дело — не народное дело».

— Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных? — Сергей Эфрон это в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился — он из него ушел, весь целиком, — и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

Но возвращаюсь к его биографии. После белой армии — голод в Галлиполи и в Константинополе и, в 1922 г., переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет — кончать историко-филологический факультет. В 1923 г. затевает студенческий журнал «Своими путями» — в отличие от других студентов, ходящих чужими, — и основывает студенческий демократический Союз, в отличие от имеющих монархических. *В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.).* С этого часа его «полевание» идет неуклонно. Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе Евразийцев и является одним из редакторов журнала «Версты», от которых вся эмиграция отпшатывается. Если не ошибаюсь — уже с 1927 г. Сергея Эфрона зовут «большевиком». Дальше — больше. За «Верстами» — газета «Евразия» (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда выступавшего в Париже), про которую эмиграция говорит, что это — открытая большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются: правые — левые. Левые, возглавляемые Сергеем Эфроном, скоро перестают быть, слившись с Союзом Возвращения на Родину.

Когда, в точности, Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой — не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю — около 1930 г. Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстной неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном достижении, от малейшего экономического успеха — как сиял! («Теперь у нас есть то-то... Скоро у нас будет то-то и то-

то...») Есть у меня важный свидетель — сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слышавший.

Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек — на глазах — горел. Бытовые условия — холод, неустроенность квартиры — для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах — целое перерождение человека.

О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего: — «Mais Monsieur Efron menaît une activit□sovi□tique foudroyante!» («Однако господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!») Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе Возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю — это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог.

Все кончилось неожиданно. 10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в парижскую Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала, а именно: что это самый благородный и бескорыстный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании — не преступление, что знаю его — 1911 г. — 1937 г. — 26 лет и что больше не знаю ничего. Через некоторое время последовал второй вызов в Префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка, и меня опять отпустили и уже больше не трогали...»

Знала ли Марина о секретной работе мужа? Вот вопрос, который задают все, от которого не уйти.

Этой стороной жизни он с ней не делился — реакцию при ее резком неприятии большевизма и чекизма нетрудно было предвидеть.

Неприятие было — раз и навсегда. В охваченной лихорадочной революцией голодающей Москве 1919 года она читает свои

новые стихи в присутствии наркома просвещения Луначарского с нескрываемым вызовом:

Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства...

Скажет потом: «Жаль, что ему... а не всей Лубянке».

А от гонорара за выступление — 60 рублей — публично откажется: «Возьмите их себе (на 6 коробков спичек), я же на свои шестьдесят рублей пойду поставлю свечку у Иверского за окончание строя, где так оценивается труд».

Видимо, на первых порах в Париже она только догадывалась о какой-то хитрой конспиративной службе Сергея, не ведая, как далеко все зашло, сознательно глуша в себе подозрения, беззаветно доверяя мужу: значит, так надо! Слишком невыносимой была бы вся правда.

Разразившаяся вдруг катастрофа — провал и бегство Эфрона в связи с делом Рейсса — окончательно открыла глаза. Страшный удар судьбы надломил, сокрушил Цветаеву. Но не мог ничего изменить в их отношениях с мужем: она была обречена на эту любовь, не зависящую от земных испытаний, ниспосланную, как и поэтический дар, свыше. «Его доверие ко мне могло быть обманутым, мое доверие к нему — никогда», — сказала она французской полиции. И пошла за мужем дальше — на последний, гибельный край. Пошла не вслепую, без всяких иллюзий — она, поэт, который видел сны наяву, оказалась трезвее и зорче всех! — сознавая, что это дорога на тот свет. Отправилась на родину, понимая: «Здесь я не н у ж н а, там я — н е в о з м о ж н а...» Вернулась, хотя еще десять лет назад знала: «России — нет, есть буквы: СССР, — не могу же я ехать в г л у х о е, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: б у к в ы н е р а з д в и н у т с я...»

Раздвинулись — чтобы проглотить.

И все же не могла иначе. Потому что есть нечто сильнее — и места, и времени, и инстинкта самосохранения. Потому что еще раньше, в двадцатилетней давности, в кровавый год революции, поклялась Сергею: «Главное, главное, главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления... Если Бог

сделает это чудо — оставит Вас в живых, — я буду ходить за Вами как собака!»

Перед отъездом в Москву, перечитав эти давние строки, она написала рядом на полях: «Вот и пойду как собака!..»

Вернемся к письму Цветаевой Берии.

«С октября 1937 г. по июнь 1939 г. я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической почтой, два раза в месяц. Письма его из Союза были совершенно счастливые — жаль, что они не сохранились, но я должна была их уничтожить тотчас же по прочтении, — ему доставало только одного: меня и сына.

Когда я 19-го июня 1939 г., после почти двухлетней разлуки, вошла на дачу в Болшеве и его увидела — я увидела *больного* человека. О болезни его ни он, ни дочь мне не писали. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде в Союз, — вегетативный невроз. Я узнала, что он эти два года почти сплошь проболел — пролежал. Но с нашим приездом он ожил — за два первых месяца ни одного припадка, что доказывает, что его сердечная болезнь в большой мере была вызвана тоской по нас и страхом, что могущая быть война разлучит навек... Он стал ходить, стал мечтать о *работе*, без которой *изныл*, стал уже с кем-то из своего начальства сговариваться и ездить в город... Все говорили, что он действительно воскрес...

И — 27-го августа — арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя, Ариадна Сергеевна Эфрон, первая из всех нас уехала в Советский Союз, а именно 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения на Родину. Она очень талантливая художница и журналистка. И — абсолютно лояльный человек. В Москве она работала во французском журнале “Ревю де Моску” (Страстной бульвар, д. 11) — ее работой были очень довольны. Писала (литературное) и иллюстрировала, отлично перевела стихами поэму Маяковского. В Советском Союзе себя чувствовала очень счастливой и никогда ни на какие бытовые трудности не жаловалась.

А вслед за дочерью арестовали — 10 октября 1939 г., ровно два года после его отъезда в Союз, день в день, — и моего мужа, совершенно больного и истерзанного ее бедой.

Первую денежную передачу от меня приняли: дочери — 7-го декабря, т. е. 3 месяца, 11 дней спустя после ее ареста, мужу — 8-го декабря, т. е. 2 месяца без 2-х дней спустя ареста...

7-го ноября было арестовано на той же даче семейство Львовых, наших сожнтелей, и мы с сыном оказались совсем одни, в запечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Я обратилась в Литфонд, и нам устроили комнату на 2 месяца, при Доме Отдыха Писателей в Голицыне, с содержанием в Доме Отдыха — после ареста мужа я осталась совсем без средств. Писатели устраивают мне ряд переводов с грузинского, французского и немецкого языков. Еще в бытность свою в Болшеве я перевела на французский ряд стихотворений Лермонтова — для “Ревю де Моску” и “Интернациональной Литературы”. Часть из них уже напечатана.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его — 1911 г. — 1939 г. — без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто его не обвинил в подкупности, и коммунизм его объясняли “слепым энтузиазмом”. Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати (— «Как, на этой кровати спал г-н Эфрон?»), говорили о нем с каким-то почтением, а следователь — так тот просто сказал мне: — «Г-н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться...»

А *ошибаться* здесь, в Советском Союзе, он не мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал.

Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Это — тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни — особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет *не оправданным*.

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы, — проверьте доносчика.

Если же это ошибка — *умоляю*, исправьте, пока не поздно.
Марина Цветаева».

По штампам, отметкам и сопроводительным документам ясно, что это письмо было получено в секретариате НКВД 26 декабря, пролежало там почти месяц, до 21 января 1940 года, и было передано все в ту же следчасть «для приобщения к след-делу» — помощнику начальника Шкурина.

Никакой резолюции Берин на письме нет, возможно, ондаже его не читал.

«И лучшего человека не встретила»

Новый, 1940 год начался для Ариадны очной ставкой с Алексеем Сеземаном — следствие применило к ней тот же прием, что и к отцу. Впрочем, тут обошлось без драматических коллизий: молодые люди подтвердили показания друг друга, покаялись в антисоветских разговорах — и их развели по камерам.

Другая очная ставка (о ней Ариадна вспоминает в своем позднейшем заявлении прокурору) проходила куда напряженней, может, потому и протокол ее не был подшит к делу.

«Во время моего следствия мне однажды дали очную ставку с одним из товарищей отца, Балтер Павлом Абрамовичем. Я хорошо знала этого человека, но при очной ставке еле узнала его, в таком состоянии он был. Очная ставка проходила под непрерывный оглушительный крик следователя, обрывавшего каждую попытку Балтера что-то сказать “не согласованное” со следователем, каждую мою попытку что-нибудь спросить или опровергнуть. И, однако, вымыслы Балтера о моем отце и обо мне были настолько нелепыми, что удалось их разоблачить, несмотря на такую обстановку. Я знала Балтера как честного, порядочного человека, и мне было ясно видно, до какого состояния он был доведен...»

У Ариадны продолжают требовать все новых показаний. Теперь на сестру матери — писательницу Анастасию Цветаеву, к тому времени уже арестованную и отправленную в лагерь. Ариадна виделась с ней в Москве только несколько раз и больше всего была поражена тем, как встретила ее тетка:

«...До ареста А. Цветаева вела себя очень осторожно, и эта настороженность доходила у нее до смешного. Я припоминаю, как она перепугалась, когда я посетила ее в первый

раз, вместе с этим до чрезвычайности была удивлена тем, что у меня хватило смелости приехать в СССР в тот момент, когда здесь иностранцев много арестовывают. В последующие мои посещения ее она всякий раз спрашивала меня, видел ли кто из соседей, как я к ней шла, или не следил ли за мной кто на улице. При этом она рассказывала мне, что за ней все время следят из НКВД и что в этом она несколько раз уже убеждалась...»

Ни о каких антисоветских настроениях или действиях Анастасии Цветаевой Ариадна не знала и сказать не могла.

Через месяц ее заставили писать показания на коллег — сотрудников журнала «Ревю де Моску». Раскритиковав работу редакции, она рассказала, как пыталась «бороться за журнал» и натолкнулась на инерцию — так все там были перепуганы и деморализованы, — не в силах ничего изменить. Что же не нравилось Ариадне в работе журнала?

Положим, выходит номер, посвященный советской науке. В оглавлении в слово «наука» («science») вкралась опечатка и повторяется столько, сколько само слово, то есть раз десять. Это уже выглядит не просто опечаткой... Конечно, наборщик, не владеющий французским, может ошибиться, а усталый корректор — проглядеть. «Но как должен был отнестись к такому факту читатель, — недоумевает Ариадна, — не должен ли он был рассматривать это как проделки врага? Толкуют о науке, а сами этого слова не могут правильно написать по-французски! Хороша наука!» Возмущенные сотрудники потребовали от редактора перепечатать четыре полосы журнала, чтобы не посылать такого позора за границу. И что же? Несмотря на все это, ничего исправлено не было, французский читатель получил брак.

Особенно негодует Ариадна на то, что редактор Кобелев не отвечает на письма читателей. А тот говорит ей:

— Ну знаете, с заграницей сейчас вести переписку — дело рискованное, сейчас же попадешь в шпионы. Да и кто их знает, этих французских рабочих, пишет, что он рабочий, а на самом деле, может быть, фашист!..

И вообще, считает Ариадна, сама не подозревая, что занимается антисоветской пропагандой, периодика, которая выпускается в СССР для иностранцев, — продукция никуда не

годная, а зачастую и вредная. Взять хотя бы формат. «Формат большой и неудобный... В этом смысле мы должны многому учиться у наших врагов! Фашистские пропагандные издания по внешнему виду вполне подходят для назначенных целей. Их и покупают, и сворачивают, и в карман кладут...» А бумага, псевдомеловая, так называемая «экспортная!» Никуда не годная бумага! «Бумага эта делается на рыбьем клею и обладает чудовищным запахом, ничем не вытравимым. Легко можно представить, какого пропагандного успеха достигает журнал, от которого воняет как из помойной ямы. Те несчастные французские читатели, которые пробовали собирать комплекты “Ревю”, письменно умоляли редакторов не печатать журнал на такой бумаге, ибо — либо комплект выноси из комнаты, либо сам в ней не живи... Не стыдно ли печатать на вонючей бумаге о наших достижениях, не слишком ли выгодна такая пропаганда для наших врагов? Чья же вина?..» И, наконец, сам материал, содержание. «Материал подбирался непродуманно, с бору по сосенке. В редакционной работе рьяное участие принимали ножницы и банка с клеем, составлялись винегреты из передовых “Правды”, подвалов “Известий” и репортажей “Вечерки” — то есть из тех материалов, которые Франция получает по воздушной почте на другой день и месяца через три после этого опять читает в “Ревю де Москву». Таким образом, информация приходила после того, как все французские газеты уже откликнулись на это. Такая пропаганда, такая информация — только козырь в руках наших врагов. Особенно возмутительными являлись подобные факты по отношению к речи товарища Сталина...»

Что же, неужели не понимала Ариадна, жалуясь на своих коллег в НКВД, чем это чревато? Не понимала — ее опять подводила простодушная праведность, незнание советской жизни с ее узаконенной лживостью, двойной моралью. Никакого злого умысла тут не было, а только неумение жить в тех правилах игры, которые ей предлагались и которые ее коллеги давно усвоили. Они-то, будучи советскими, пытались, кто как может, остаться людьми, а она, будучи хорошим человеком, изо всех сил старалась стать советской.

И при всем том, добавляет Ариадна, отношения с сослуживцами у нее были вполне нормальными. «Ни личной зло-

бы, ни особой личной приязни я к ним не испытывала». Парадокс заключается еще и в том, что тот же редактор Кобелев, как выясняется, был секретным сотрудником органов, так что Ариадна жаловалась НКВД на сам НКВД...

Только в марте следователь Иванов, уступив настойчивым требованиям Ариадны, зафиксировал в протоколе допроса ее отказ от показаний на отца — и то в туманных выражениях: «Я хочу обратить внимание следствия на ту часть моих показаний, где речь идет о моем разговоре с отцом, Эфроном, который у меня якобы состоялся с ним перед моим отъездом в Советский Союз, там я показала неправду. Такого разговора с отцом у меня не было...» В сущности, эта поправка ничего уже не могла изменить в ходе следствия.

В это же время начальство решило выделить материалы на Ариадну из группового следственного дела № 644 (восьми объемистых томов), куда уже были втянуты кроме Эфрона и Толстого и другие секретные сотрудники НКВД, работавшие во Франции, — Николай и Нина Клепинины, Эмилия Литгауэр (арестована 27 августа 1939 года) и Николай Афанасов (арестован 29 января 1940 года), — и в дальнейшем вести отдельно. Видимо, ее преступления выглядели уж слишком легковесными даже с точки зрения дубянского законника.

Все же 15 мая Ариадне было объявлено так называемое постановление о предъявлении обвинения: измена родине и антисоветская пропаганда. Последовали новые допросы, и тут она, кажется уже сломленная и покорная после сокрушительных атак следствия, вдруг обрела неожиданную твердость — стала отвергать предъявленные ей обвинения — сначала в антисоветчине, а затем и в шпионаже. Когда взбешенный Иванов снова начал потрясать показаниями Толстого (ничего другого против нее и не было), она отчеканила совсем как ее отец:

— Из тех разговоров, которые у меня были с Толстым, у меня о нем сложилось мнение как о человеке морально и политически разложившемся, большом аферисте. Как выясняется сейчас, он еще и клеветник...

Следствие, по существу, было провалено.

Чтобы хоть как-то слепить обвинение, Иванов наспех пытается связать его с делами других арестованных, сле знакомых и даже вовсе не известных Ариадне. Но она все упорно отвер-

гает. Это не мешает Иванову объявить следствие законченным: 16 мая он составляет обвинительное заключение, в котором повторяет все фальсифицированные признания и записывает: «Эфрон виновной себя признала». Подлог был столь очевиден, что против этой фразы на полях документа вырос чей-то жирный вопросительный знак — синим карандашом.

Иванов явно опростоволосился со своей подследственной, не предвидел, что к ней вернется второе дыхание и способность к сопротивлению. Но это уже ничего изменить не могло. На следователя работала вся государственная машина, а она не поворачивала вспять.

Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру для передачи по подсудности.

А в Бутырской тюрьме начальники Иванова — Кузьминов и Шкурин — по ночам продолжали «обработку» Эфрона. Теперь его сводят на очной ставке с Николаем Клепининым, уже сломленным и подписавшим все, что ему навязали. Происходит то же, что и в сцене с Толстым: Клепинин доказывает, что Эфрон — французский шпион, а тот это наотрез отрицает. Следователи пытаются то запутать Эфрона, на разные лады подталкивая к желаемому ответу, то поймать на каких-нибудь оговорках и мелочах. А он все время возвращает разговор к тому, что работал в Париже на СССР, ну, например, пользовался советской помощью при издании газеты «Евразия».

— Непонятно, с каких это пор Советская власть, по-вашему, должна была оказывать помощь белогвардейцам в издании такого органа, который направлен против нее? — иронизирует следователь.

«Дурак!» — комментирует эти слова на полях кто-то из начальников, читавших протокол допроса. Пробольшевицкий дух этой газеты известен. Следователь явно дал маху, вот и получил по носу. У переутомленных лубянских служак тоже сдают нервы!

Очная ставка продолжается. От Клепинина требуют фактов и доказательств работы Эфрона как французского агента, а он говорит:

— Я был завербован Эфроном в советскую разведку в середине 1933 года... Целью этих вербовок была возможность

получения советского гражданства, на что мне Эфрон прямо и указал...

По словам Клепинина, Эфрон перебрасывал людей в Советский Союз не для строительства социализма, а наоборот, — для его сокрушения.

Далее Клепинин сообщил нечто еще более таинственное:

— В конце 1934 года я узнал, что Эфрон входит в состав масонства. Я узнал также, что русская масонская ложа состоит из целого ряда виднейших представителей различных белоэмигрантских группировок и является филиалом иностранных разведок. Меня удивило не то, что Эфрон туда вошел, а то обстоятельство, что масоны приняли его в свой состав, так как в это время в Париже было широко известно о контакте Эфрона с полпредством и Союзом возвращения и ходило много слухов о его связях с советской разведкой.

На мои расспросы Эфрон сообщил, что масоны знают об этих контактах, но именно это обстоятельство заставляет их им дорожить, потому что в план масонства входит проникновение в Советский Союз, установление связи с оставшимися там тайными масонами, сотрудничество с теми тайными членами, которые занимают сейчас руководящие посты в партии и правительстве, восстановление капитализма и буржуазно-демократического строя, а в связи с этим выход масонства из подполья...

— Я ничего не понимаю, — ответил на это Эфрон. — Я не представляю, что Николай Андреевич говорит такое без задней мысли... Я ставлю прямой вопрос: был ли я связан, по его мнению, с какими-либо разведками?

— Да! — говорит Клепинин. — Я уже показал о твоих связях с французской разведкой через масонов.

— Тогда еще один вопрос: Ты сказал, что долго отсутствовал, и вместе с тем ты знаешь все больше меня. Откуда ты все это узнал?

— Из других источников... — отвечает Клепинин.

— У меня, к сожалению, никаких вопросов нет, — заканчивает спор Эфрон.

«Другими источниками», ясно, были не кто иные, как сами следователи, подробно наставлявшие несчастного Николая Андреевича, как «расколоть» его бывшего товарища.

Сколько душевных терзаний и крушений духа стоит за пожелтевшими страницами протоколов, сквозь которые, кажется, вот-вот брызнут слезы и кровь! Что же на самом деле происходило в лубянских камерах и кабинетах, какие лютые страсти и сцены здесь разыгрывались, до каких пределов бесчеловечности доходил человек? Всей правды об этом мы уже никогда не узнаем.

Перед тем как проститься и уйти, Николай Андреевич Клепинин вдруг обратился к Эфрону с такими, совсем не протокольными, словами:

— Сережа, дальше заператься бесполезно. Ты меня знаешь хорошо, я хорошо знаю твою работу. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно. У тебя единственный выход — это признаться во всем. Рано или поздно все равно ты признаешься и будешь говорить...

Клепинина уводят, Эфрон остается. Следователь напоминает ему о его заявлении, направленном наркому внутренних дел Берии после ареста его дочери и Эмилии Литкауэр, в котором он ручался за их политическую честность головой.

— Вы подтверждаете это заявление?

— Подтверждаю полностью.

И в кабинет тут же вводится еще одно действующее лицо — Эмилия Литкауэр.

— Вам известно сидящее перед вами лицо?

— Да, это мой товарищ и друг Эмилия Литкауэр, — говорит Эфрон.

— Да, это мой друг Эфрон Сергей Яковлевич, — говорит Литкауэр. И снова тот же сценарий — она послушно повторяет вбитую во всех арестованных версию НКВД: да, были евразийцами, да, внедрились потом — она во Французскую компартию, он в советскую разведку, — да, перебрасывали людей в СССР и перебросились сами, и все это с единственной целью — шпионить в пользу Франции.

— Как видите, уже третий сообщник изобличает вас, — обращается следователь к Эфрону. — Может быть, вы в конце концов прекратите запирательство?

— Если мои товарищи считают меня шпионом, и Литкауэр, и Клепинин, и дочь, — отвечает он, — то, видимо, я шпион и под их показаниями подписуюсь.

Следователи ушам своим не верят.

— Вы не только пытаетесь скрыть свои шпионские дела, но и пытаетесь спровоцировать следствие. Что значит ваше заявление, что «я подписуюсь, что я шпион»?

Эфрону делается плохо — он просит прекратить допрос.

— Вы готовы дать показания? — продолжает следователь.

— Я не могу отвечать.

— Не объясните ли нам, почему Эфрон проявляет такое упорство? — следователь обращается к Литауэр.

— Очень просто, — говорит она, — дело в том, что мы с Сережей еще задолго до ареста договорились не выдавать друг друга. Он мне говорил, что считает меня твердокаменной, и я была о нем такого же мнения.

— Как видите, рухнули ваши планы на сговор! — торжествует следователь.

— Никакого сговора не было, — возражает Эфрон. — Но я верил Литауэр на все сто процентов...

— Почему же вы не хотите говорить правду?

— В моем положении единственный выход — это давать показания.

— В чем вы признаете себя виновным?

— Я признаю себя виновным в той же мере, как и мои товарищи признают себя и обвиняют меня.

— Называйте вещи своими собственными именами и говорите конкретно! На какие разведки вы работали?

— Я ничего не могу сейчас сказать... Мне говорить нечего...

И дальше в протоколе появляется долгожданная для следователей фраза:

«Моя вербовка произошла в 1931 году. В конце своей деятельности во Франции я обнаружил, что работаю не только на советскую разведку, но и на французскую. Я действовал в связи с масонами, а вся масонская организация в целом и является органом французской разведки...»

Под этими словами стоит подпись Эфрона. Откуда она взялась? Заставили подписать силой? Или подделали? Все может быть. Но то, что дело тут не чисто, выдает следующий вопрос:

— Вы признаете себя виновным?

— Я все расскажу, но хочу еще раз поговорить с Клепининым.

Вводят Клепинина.

— В чем ты меня обвиняешь, скажи прямо? — спрашивает Эфрон. Клепинин пространно повторяет свои показания.

— Теперь вам ясно? — спрашивают Эфрона.

— Мне ясно.

— На какие разведки вы работали?

— Пусть на это ответит Клепинин. Я прошу отложить дальнейшие показания...

— Отложим, только скажите, на какие разведки вы работали?!

— Я работал на те же разведки, на которые работала и группа моих товарищей...

Так напечатано в протоколе. Но вот что важно: подписывая документ, Эфрон исправил эту фразу, переделал все на единственное число: «Я работал на ту же разведку, на которую...» — то есть подчеркнул, что вся группа работала на одну разведку — советскую.

Еще одна перестановка действующих лиц: Клепинина удаляют и заменяют на Литауэр. И не отпускают уже доведенно до припадка Эфрона, несмотря на его просьбы.

— Последний раз предупреждаем — будете говорить правду?

— Я говорю правду. Я состоял в организации, которая была связана с иностранными разведками, но шпионом я не был.

— Он занимался, как и я, шпионской деятельностью, — по команде следователей заводит сказку про белого бычка Литауэр.

— Я ничего не скрываю... Я не могу говорить... — повторяет Эфрон.

— Вы на всем протяжении очной ставки пугаете и провоцируете следствие. Вы же сегодня признали себя виновным. В каком случае вам можно верить?

— И в том, и в другом. Пусть меня изобличают...

— Сережа, — говорит на прощание Литауэр, — еще раз советую во всем признаться. Я говорю это тебе как друг...

Можно представить себе досаду и злость Кузьмина со Шкуриным — какой промах! Почти добились своего, почти доломали, так потрудились — и все зря. Почти попалась птичка — и выпорхнула.

Видимо, этот поединок опять подкосил Эфрона, уложил на больничную койку — в следствии его наступил перерыв на целых полтора месяца.

Однако и на последовавших в феврале и марте допросах он стоял на своем, не уступал позиции. Отрицая все обвинения и против себя, и против его друзей, напоминал о своих заслугах перед советской властью:

— Я антисоветской деятельностью не занимался, а был сотрудником НКВД, работал под контролем соответствующих лиц, руководивших секретной работой за границей...

— Характер вашей конспиративной работы с советскими учреждениями нас меньше всего интересует, — откровенно заявляет ему следователь. — Будучи сотрудником НКВД, вы в то же время являлись шпионом иностранных разведок.

— Это неправда. Прошу прервать допрос, я плохо себя чувствую...

Подпись его все более искажается, становится похожа на каракули. Допрос часто прерывается — видимо, он уже физически не выдерживает этой пытки, превращающей его в безжизненное тело. Тем не менее через несколько дней — новый допрос, и все повторяется со всевозможными вариациями.

— Вы лжете и будете изобличены в этом!

— Все равно. Пусть изобличают...

— Почему вы скрываете связь с иностранными разведками?

— Я не скрываю, а отрицаю это.

— Думаете, вам удастся уйти от ответственности?

— Я принимаю ответственность за всю мою прошлую жизнь, но не могу принять на себя ответственность за то, чего не было...

Он не только отрицает обвинения против себя — ни разу не уступил нажиму следствия и не дал обвинительных показаний против своих товарищей. А когда речь зашла о его дочери, попросил очную ставку с ней. Но возможности увидеть Ариадну и что-нибудь узнать о ней Эфрону не дали: вдруг это вдохнет в них новые силы?

Маленькая, но характерная деталь: следователь (на сей раз это был приставленный к Ариадне Иванов), упрекая Эфрона во лжи, всюду в протоколе пишет это слово — «лож» — без мягкого знака, такие вот грамотеи служили на Лубянке!

В апреле Эфрона опять переводят в Лефортовскую тюрьму и там бросают на него свежие силы — лейтенанта Н. В. Копылова, который тоже не шадит своего подследственного: один из его допросов продолжался без перерыва тринадцать часов! И снова не все оформлялось протоколами: в справке Лефортовской тюрьмы указано не меньше десятка допросов, о которых в деле Эфрона не осталось никакого следа.

Теперь требуют показаний о тех эмигрантах, которых Эфрон завербовал для работы в советской разведке, это в основном члены Союза возвращения и Французской компартии. Среди них, на переднем плане, те, кто принимал участие в деле Рейсса.

Тут ему действительно было что рассказать.

Вот только несколько характеристик:

«...Смиренский Дмитрий Михайлович — сын священника, работал под моим руководством... В 1939 г. приехал в Советский Союз, в результате того что был провален делом Рейсса. Французские и швейцарские власти привлекали Смиренского в связи с убийством Рейсса к уголовной ответственности и посадили в тюрьму, в которой он просидел около года, после чего из-под стражи был освобожден и выслан из Швейцарии... Он принимал участие в предварительной подготовке дела Рейсса, в самом акте Смиренский участия не принимал... Мне это известно от ряда лиц, которые были прямо или косвенно замешаны в это дело, — от Клепининых и Кондратьева...»

«А. Чистоганов — выполнял работу по внешнему наблюдению за Седовым (сын Троцкого), но провалился и был замечен им. Седов обратился к французской полиции, которая задержала его, допросила и отпустила. Ввиду того что Чистоганов обнаружил за собой жесткое наблюдение французской полиции, то с ним навремя была прекращена всякая связь. Через год Чистоганов снова начал выполнять отдельные поручения по выяснению каких-то адресатов...»

«Де-Судьяр... Я сообщил о состоявшемся моем знакомстве с Де-Судьяром своему руководству, которое предложило постепенно обрабатывать его в советском духе. После неоднократных встреч с Де-Судьяром я его и привлек для секретной работы с НКВД, на которую он пошел очень охотно... Де-Судьяр вербовался как француз, носивший аристократическую

фамилию, политически не скомпрометированный, занимавший ответственное место в коммерческом предприятии. Предполагалось получить через него информацию о фашистской организации «Железный крест», связанной с русскими бело-гвардейскими группами...»

Всего Эфрон называет около тридцати человек, которых он привлек с 1932 по 1937 год в Париже к секретной работе для НКВД. Среди них есть те, сотрудничество которых с Лубянской уже несомненно, степень «причастности» других неясна и требует еще доказательств.

Называет Эфрон и представителей советской разведки — Жданова, Смирнова, Азарьяна и Кислова, последний непосредственно руководил работой Эфрона...

Картина впечатляющая! Париж в это время буквально кишел советскими агентами. И каким умелым ловцом человек оказался Сергей Эфрон, сколько пользы принес НКВД, и делал это искренне, убежденно, не за страх, а за совесть! Именно ему и было поручено заместителем начальника Иностранного отдела НКВД Сергеем Михайловичем Шпигельгласом руководство группой, готовившей устранение Рейсса. Об этом есть свидетельство в письме Ариадны в прокуратуру 28 июня 1955 года. Она предлагает допросить старую знакомую Эфрона Елизавету Хенкину, которая «хорошо помнит, как и кем проводилось задание, данное Шпигельгласом группе, руководимой моим отцом, как и по чьей вине произошел провал этого дела...».

На допросах Копылов, долбя как попугай, все пытался выжать из своего подследственного какой-нибудь компромат на названных лиц, однако и на сей раз всякую антисоветскую или шпионско-враждебную деятельность их Эфрон отрицал:

— Я говорю правду. Я могу ошибиться в ответе, потому что память мне может изменить, но сознательной неправды я не говорил и говорить не буду.

Конечно же, на Лубянке прекрасно знали, кто такой Эфрон на самом деле. В досье есть справка о его секретной работе:

«В 1931 г. Эфрон был завербован органами НКВД, работал по освещению евразийцев, белоэмиграции, по заданию органов вступил в русскую масонскую ложу «Гамаюн». В те-

чение ряда лет Эфрон использовался как групповод и активный наводчик-вербовщик, при его участии органами НКВД был завербован ряд белоэмигрантов, по заданию органов провел большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых. В начале гражданской войны в Испании Эфрон просил отправить его в республиканскую Испанию для участия в борьбе против войск Франко, но ему в этом по оперативным соображениям было отказано.

Осенью 1937 г. Эфрон срочно был отправлен в СССР в связи с грозившим ему арестом французской полицией по подозрению в причастности к делу об убийстве Рейсса. В Советском Союзе Эфрон проживал под фамилией Андреев на содержании органов НКВД, но фактически на секретной работе не использовался. По работе с органами НКВД Эфрон характеризовался положительно и был связан во Франции с б. сотрудниками Иностранного отдела НКВД Журавлевым и Глинским».

Судьба почти всех советских разведчиков — руководителей Эфрона оборвалась рано, еще до его ареста. В 1937 году, когда Ежов подверг чистке Иностраный отдел НКВД, многие из них были расстреляны в тех же самых застенках.

Дополнительный свет на агентурную работу Эфрона проливает данное в 1956 году при его реабилитации свидетельство старого, почетного чекиста В. И. Пудина:

«С 1935 по 1938 г. я работал в Иностранном отделе НКВД и занимался разработкой активных белогвардейских организаций за рубежом... Организация евразийцев была создана в 20-х гг., являлась малочисленной, активной антисоветской деятельности не проводила, а поэтому ей очень мало уделялось внимания и активной разработки по линии борьбы с ней не велось... В 1938 г. я в школе ИНО НКВД читал лекции об антисоветских белоэмигрантских организациях и о методах борьбы с ними. В своих примерах я даже не приводил как антисоветскую организацию евразийцев...

В Иностранном отделе НКВД не было никаких данных о принадлежности Клепининых и Эфрона к агентуре иностранных разведок, работавших против СССР, поэтому работники нашего отдела возмущались арестом этих лиц. Мне не известно, чтобы руководители отдела в официальном порядке ста-

вили вопрос о необоснованности ареста этих лиц... Клепинины-Львовы и Эфрон по работе как агенты нашей разведки характеризовались только положительно».

В те же дни в прокуратуре допросили в качестве свидетеля Е. А. Хенкину-Нелидову, парижскую подругу семьи Эфрона и его коллегу по секретной работе. Она дала Сергею Яковлевичу восторженную характеристику:

«Эфрон был очень умный, порядочный человек, он принадлежит к числу таких людей, которые за идею готовы пойти на все, которые не могут кривить душой, играть двойную игру. При встречах Эфрон говорил мне, что очень сожалеет о своих ошибках в прошлом, сожалеет о том, что служил в Белой армии и вообще не понял сразу Советскую власть... Я чувствовала, что Эфрон окончательно порвал с прошлым, сложившиеся у него новые взгляды на жизнь были если не в полной мере марксистскими, то, во всяком случае, очень близкими к этому. В своей работе Эфрон доказывал, что его слова о любви к родине и об удовлетворенности происходящим в СССР являются не просто словами. Эфрон много работал в Союзе возвращения на Родину, принося большую пользу в смысле завоевания симпатий членов Союза к советской стране. Эфрон также очень много сделал как неофициальный сотрудник наших органов. Об этом мне стало известно от работников советского консульства, отдельные поручения которых я выполняла. Личность Эфрона может охарактеризовать также то, что антисоветски настроенные белоэмигранты отрицательно относились к Эфрону, называя его “ренегатом” и т. д. Такое отношение со стороны врагов Советской власти говорит о том, что Эфрон был другом Советской власти. Я старый человек, повидала многих людей, научилась в них разбираться. Я твердо заявляю, что Эфрон — один из немногих, за которых я могу поручиться чем угодно. Эфрон действительно честный человек, а свои прошлые ошибки он не только не скрывал, но и бичевал себя за них, стараясь в какой-то мере загладить свою вину перед советской страной».

В начале июня в следствии по делу Эфрона решено было поставить точку. Совершив круг по московским тюрьмам, он снова очутился на Лубянке: Следователь Еломанов составляет

соответствующий протокол, Эфрон, «ознакомившись с материалами дела, дополнить следствие ничем не имеет». Подписывается он с трудом, как ребенок, большими неровными буквами.

А потом в деле идет протокол еще одного допроса от 9 июня — документ неожиданный и очень странный, одним махом разрубающий для следствия все узлы. Эфрон с первого же вопроса заявляет: «Да, я являлся агентом французской разведки...» — показывает, что был завербован масонами, в частности неким Петром Бобринским, и получил задание — «установить знакомство с советской колонией и приближать к себе русских эмигрантов»...

Так что же — все-таки сломали? Вряд ли. Внимательное изучение этой бумаги приводит к выводу: перед нами — фальшивка. Подпись Эфрона настолько искажена и трудноузнаваема, что или была поставлена им в невменяемом состоянии, или вообще другим лицом. А может быть, добыта заранее, на чистом листе: текст «признания» и подпись не стыкуются, слишком разнесены...

Сомнения рассеивает следующий документ в деле — постановление о продлении срока следствия: «...Эфрон С. Я. является резидентом французской разведки, виновным себя не признал... принимая во внимание, что следствие еще не закончено... возбудить ходатайство о продлении срока следствия...»

В ежедневной борьбе за жизнь, в постоянной заботе — достать денег, еды, дров, керосина, — в изнурительном переводе, изводе себя на чужие стихи, в тревоге и боли за близких, в холоде, унижении и страхе прошли зима и весна в Голицыне.

Теперь и отсюда гнали. Цветаевой предложили освободить комнату. И снова встала проблема: куда деться? И опять — чужой дом, временное пристанище. Нашлись добрые люди — искусствовед Александр Георгиевич и художница Наталья Алексеевна Габричевские, — на лето, пока будут в Крыму, предложили пожить в своей квартире.

Поселились, как пишет Цветаева в своей рабочей тетради, «в комнате Зоологического музея — покой, то благообразие, которого нет и наверное не будет в моей... оставшейся жизни...».

В этом доме она и пишет свое третье письмо в НКВД.

«Москва, 14 июня 1940 г.
Народному Комиссару Внутренних Дел
тов. Л. П. Берия

Уважаемый товарищ,

Обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 27-го августа 1939 г. находится в заключении моя дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, и с 10-го октября того же года — мой муж, Сергей Яковлевич Эфрон (Андреев).

После ареста Сергей Эфрон находился сначала во Внутренней тюрьме, потом в Бутырской, потом в Лефортовской и ныне опять переведен во Внутреннюю. Моя дочь, Ариадна Эфрон, все это время была во Внутренней.

Судя по тому, что мой муж, после долгого перерыва, вновь переведен во Внутреннюю тюрьму, и по длительности срока заключения обоих (Сергей Эфрон — 8 месяцев, Ариадна Эфрон — 10 месяцев) мне кажется, что следствие подходит — а может, уже и подошло — к концу.

Все это время меня очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован больным (до этого он два года тяжело хворал).

Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия (5-го июня, на Кузнецком, 24), сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания.

Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после двухлетней разлуки успела побыть со своими совсем мало: с дочерью — два месяца, с мужем — три с половиной, что он тяжело болен, что я прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила.

Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимое свидание.

Марина Цветаева.

Сейчас я временно проживаю по следующему адр.:
Москва, улица Герцена, д. 6, кв. 20. (Телеф. К-0-40-13)».

Судьба и этого послания та же, что и предыдущих: его отправляют в следчасть и замуровывают в канцелярскую папку — без ответа.

Прежде всего бросается в глаза «вы» — по отношению к наркомму — уже с маленькой буквы. Обращение не к личности, как в первом письме, — а к безликому учреждению. И — достоинство при очевидном отчаянии! «Лучший человек» — главному палачу про его жертву — при всеобщем гипнозе страха, когда самые близкие люди отрекались друг от друга. «Лучший человек» — несмотря ни на что, уже давно зная о двойной жизни Сергея и роковой роли в постигшей их семью участи.

Жажда подвига, романтический склад души, самоотверженное служение — в этом они были похожи. Только служили разным богам. Она — поэзии, он — политике. Она звала: летим? А он ходил по земле, ему была нужна внешняя точка опоры, заемная социальная идея: сначала Белое движение, потом евразийство и, наконец, — русский коммунизм. «Идеалист, влюбленный в пятилетку» — как кто-то его назвал. А дети — Ариадна и Мур — разрывались между отцом и матерью и больше всего хотели обрести независимость, встать на собственные ноги и тоже на земле... «Союз одиночеств» — как говорила Ариадна.

Маринины одиночество и обреченность были особого рода. Максимализм поэта требовал невозможного. Она изнемогала от быта, мелкой обиденности, которая держала ее в тисках. От того, что возможность близости с каждым — и своим, и чужим — была исчерпана, а она, жаждущая обновления любви (этим — жила!), всем мешала, казалась старой. От фатального разлада с враждебной ей современностью — ее высокое поколение уходило из жизни, а она оставалась — «одна за всех... противу всех».

Она несла на себе дар поэтического служения, кроме груза сегодняшнего дня. И этой ноши с ней разделить не мог никто. Даже собственные дети — судили ее и осуждали. И отец казался им добрым и милостливым, а мать — неудобной и неуживчивой. Она, которая наполняла жизнь высшим смыслом, делала ее значительной, оправдывала перед лицом вечности.

«Ты — уцелеешь на скрижалях»

Суда Ариадна так и не дождалась. Особое совещание при НКВД 2 июля 1940 года без нее, заочно решило: «заключить в исправительно-трудовые лагеря сроком на восемь лет».

Из Бутырской тюрьмы ее взяли на этап и забросили далеко на Север, в один из концлагерей, затерянных на снежных просторах республики Коми. Вся ее судьба будет смята и безнадежно изуродована. Много лет спустя она скажет о себе: «Я прожила не свою жизнь...»

Участь отца навсегда останется в ней незаживающей раной. Много позднее, после лагеря, из сибирской ссылки, она, прося прокуратуру о его реабилитации, скажет: «Писать об отце “вообще” — это значит написать целую книгу... Все было дико, несправедливо, лживо, никому не нужно, все шло от клеветы и вело к расстрелу. Я очень прошу Вас со всей беспристрастностью и справедливостью разобраться в деле отца. Пусть это будет не скоро — но пусть это будет!..»

Следствие по делу Сергея Эфрона протянется еще целый год после осуждения Ариадны, и, поскольку об этом времени в его досье нет ни слова, зияющий провал, — можно догадаться, что он так и не сдался до конца. 6 июля 1941 года он и его содельники встретились в зале заседаний Военной коллегии Верховного суда — чтобы проститься уже навсегда и произнести свое последнее слово, которое мы только теперь смогли услышать.

Эмилия Литauer и Николай Клепинин признали себя виновными и просили сохранить им жизнь. Нина Клепинина признала только то, что была участницей «контрреволюционной» организации «Евразия», и сказала: «Ожидаю справедливого решения суда». Николай Афанасов заявил: «Шпионом против СССР я не был». Павел Толстой виновным себя не признал и полностью отверг свои показания, данные на предварительном следствии: «Эфрон-Андреев для шпионской работы в пользу французской разведки никогда меня не вербовал».

И, наконец, сам Сергей Эфрон, его последнее слово:

— Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза. Прошу объективно рассмотреть мое дело...

Исход же для всех был один: «Подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу».

Афанасова казнили 27 июля, Клепининых и Литлауэр — 28 июля, Толстого — 30 июля. Сергея Эфрона переводят в камеру смертников Бутырской тюрьмы и держат там до середины октября 1941 года.

Немцы подступили к Москве, в столице царил паника. Сталинские палачи спешно очищали тюрьмы, повально уничтожая «врагов народа».

Последний документ в деле Сергея Эфрона:

«Акт

16 октября 1941 г. мы, нижеподписавшиеся, привели в исполнение приговоры о расстреле 136 (сто тридцать шесть) чел., поименованных выше сего...» Первым в этом списке стоит Сергей Эфрон.

Марина опередила Сергея. Не выдержала пытки жизнью, ушла сама... Петля, брошенная Советской родиной на них на всех, — первой стянется на ней.

Сын Георгий погибнет на фронте через три года.

Ариадна вернется из лагеря, снова будет арестована, отправлена в ссылку в Сибирь, опять вернется и до самой смерти в 1975 году посвятит себя поэзии матери — работе над ее рукописями, изданию ее книг.

В Бутырках, в тюремном бреду, Сергею чудились голоса. Кто-то говорил, что его жена умерла. Он слышал название стихотворения, известного только ему и ей.

А Марина, собирая свой последний сборник, так и не увидевший свет, хотела открыть его стихами, посвященными «лучшему человеку», которого встретила, даже пометила: «NB! Это стихотворение прошу на отдельном листке».

...Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала имя...

Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Не проданное мной! в н у т р и кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

Глава седьмая

ОХОТА В РЕВЗАПОВЕДНИКЕ

**ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ И СЦЕНЫ
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Журналист номер один

Самый популярный советский журналист тридцатых годов, автор остроумных, злободневных фельетонов, которыми зачитывалась вся страна. Создатель журналов «Огонек» и «Крокодил». Депутат Верховного Совета, член редколлегии «Правды» и членкор Академии наук. Кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Человек, фанатично преданный Сталину и славящий Сталина, поставивший свое перо на службу его режиму. Всегда в движении и в центре событий, и, по ленинским заветам, — не только пропагандист, но и организатор: по его почину озеленялись города, открывались чайные на месте пивных, организовывались первые беспосадочные авиаперелеты. И еще — герой гражданской войны в Испании, чей «Испанский дневник» вдохновлял на мировую революцию наших отцов, бесстрашный интербригадовец, выведенный Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол» под псевдонимом Карков:

«...Карков, приехавший сюда от “Правды” и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании». И еще: «... а Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать... Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие... Ему никогда не надоедало думать о Каркове».

«Ненависть и отвращение, — говорил в романе Карков, — вызывает у нас двурушничество таких, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники. Мы презираем и ненавидим их...»

Этот человек — его имя Михаил Ефимович Кольцов — был арестован 14 декабря 1938 года и заклеен как троцкист, террорист, агент французской, немецкой и американс-

кой разведок. Теперь он стал объектом презрения и ненависти — враг советского народа.

Пожалуй, роковой час пробил для него годом раньше, когда он, вернувшись из Испании, был принят Сталиным и членами Политбюро. Кольцов рассказал об этой встрече своему брату — художнику Борису Ефимову.

«Беседа в Кремле продолжалась больше трех часов, но на прощание Сталин вдруг начал чудить.

Он встал из-за стола, прижал руку к сердцу, поклонился...

— Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

— Мигель, товарищ Сталин.

— Ну так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. Всего хорошего, дон Мигель. До свидания.

— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул и произошёл какой-то странный разговор.

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

— Есть, товарищ Сталин, — удивленно ответил я.

— Но вы не собираетесь из него застрелиться?

— Конечно, нет, — еще более удивляясь, ответил я, — и в мыслях не имею.

— Ну вот и отлично! Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель!»

«И знаешь, — продолжал свой рассказ Кольцов, — что я совершенно отчетливо прочел в глазах Хозяина, когда он провожал меня взглядом? “Слишком прыток...”»

Чем объяснить столь резкое охлаждение вождя к своему вчерашнему любимцу и доверенному лицу? Сейчас стало известно о доносе на Кольцова генерального комиссара интербригад в Испании Андре Марти, который обращал внимание товарища Сталина на «серьезные обстоятельства... граничащие с преступлением»: Кольцов-де вошел в контакт с троцкистами, питает давние симпатии к их вождю, к тому же «гражданская жена» Кольцова Мария Остен — агент германской разведки... (Сопельняк Б. «Вы не собираетесь застрелиться?» Огонек, 1995, № 13).

Впрочем, кому доступно распутать клубок роковых превратностей судьбы? Может быть, гибельная мина под твою жизнь закладывается в самую безмятежную, счастливую минуту?

«Очень хочется жить... когда к жесткой окоченелой хмурой земле подкрадывается весна и знаешь, что это будет еще не раз, всегда, всегда...»

Эти строки написал еще никому не известный, юный, начинающий журналист Миша Фридлянд, только еще примеряющий к себе псевдоним «Кольцов». Шел 1919 год. Позади была революция, впереди — целая жизнь...

О «деле» Кольцова сейчас известно уже немало. Но одно из обвинений, предъявленных ему, до сих пор оставалось скрытым, хотя эта часть следственного дела, может быть, и есть самая важная для его литературной памяти. Речь идет о страницах творчества, которые сознательно исключались из биографии и им самим, и близкими, и исследователями — потому что они нарушали канонический облик партийного журналиста номер один, пламенного борца за коммунизм, не отвечали политической конъюнктуре.

В этом сфабрикованном «житии» первая его публикация датируется 1920 годом, первой газетой, где он напечатался, называется «Правда». И дальше уже идут неумеренные восторги, вплоть до: «Кольцов учил народные массы...»

На самом деле творческая биография его началась раньше. «С начала 1917 г. Кольцов сотрудничал в петроградских журналах. В летних номерах “Журнала для всех” помещен ряд его статей с нападками на большевиков, на Ленина. В 1918—1919 гг. сотрудничал в газете ярко выраженного контрреволюционного направления “Киевское эхо”», — констатирует постановление на арест Кольцова, утвержденное верховным жандармом Берией и верховным прокурором Вышинским.

Далее приводятся отрывки из кольцовских статей того времени. Например:

«Мне довелось видеть первые китайские советские отряды. Просторные казармы у Воробьевых гор. Ряды винтовок, низко стриженные головы. Коммунистические воззвания на стенах. Портрет Ленина. Косые глаза. Высокий, визгливый, азиатский смех.

Это очень остро и неслыханно — сочетание восточной “победоносной” экзотики с дальнобойным, железобетонным европейским коммунизмом.

Так же буднично и старательно, как мыли по утрам желтые красноармейцы свои жесткие круглые головы, — пошли они (неумолимые, наступающие китайцы) теперь на Волгу, на Украину, стреляют в черные незнакомые дома, опустошают курьни незнакомых и ненужных богов...»

(«Китайские будни» — «Киевское эхо», 3 февраля 1919 года.)

Несоветского Кольцова никто не знает. Контрреволюционные газеты при советской власти уничтожались, и если уцелели где-нибудь в спецхране, то чудом и в считанных экземплярах. Те злополучные статьи, копии которых сохранились в следственном досье, до сих пор не дошли до современного читателя. И жаль! Ибо в них — яркое свидетельство очевидца и участника нашей кровавой истории, написанное талантливым пером профессионала.

«Киевское эхо», 13 января 1919 года:

ЖАЛОСТЬ

1

В одном из переулков за думой, пониже Софиевской площади, легла умирать третьего дня лошадь.

Хозяин уже отпустил ее в последнее путешествие. Высокий, похожий на пирамиду воз с пивными и лимонадными бутылками отпрягли и увезли на новых свежих конях.

Вокруг тела лошади, на ржавом, ноздреватом снегу кто-то скупно посыпал соломы около морды, бросили горсточку грязновато-мелкого овса. Лошадь лежала беспокойно. Ее коричневый, бугристый живот с присохшей грязью вздымался часто и судорожно. Жесткая шерсть густо вспотела. Только глаза смотрели спокойно, она разглядывала свои ноги, мокрую гушу мостовой и вывеску портного вдалеке.

Стояли люди. Уходили, приходили. Смотрели лошади в глаза. Господин с портфелем. Швейцар с парадного. Гимназисты. Мужики. Дама, высокая и милая, в каракуле, с румянцем.

Подошли двое солдат. Старший — горбоносый, с широкими бровями, другой — тяжелый и, кажется, добрый, младший — низенький, с нагайкой. Они смотрели на лошадь долго и раздумчиво. Потом маленький встрепенулся и помахал нагайкой.

— Жалко скотину очень, ее расстрелять надо бы... мучается...

Швейцар с парадного отнесся к предложению сочувственно. В толпе же возникли разногласия. Мужики и гимназисты одобрили предложение. Дама в каракуле попробовала возражать, но швейцар огрызнулся :

— Жалости в вас, барыня, нету. Лошадь, можно сказать, из сил выходит. Ее безотлагательно прикончить надо.

Она замолчала и пугливо пошла вниз, быстро постукивая по тротуару маленькими ботами.

Высокий солдат слушал спор мечтательно и спокойно. Потом он оглядел всех и нараспев протянул: «Д-да...» Лошадь смотрела на него мутно и безучастно. Он отошел и вынул большой, с деревянной ручкой, револьвер. Толпа расступилась. Кухарка с визгом юркнула в подъезд.

Солдат выстрелил два раза, потом посмотрел на револьвер и дал еще один выстрел. По улице шархнулись извозчики — батюшки, стреляют...

Лошадь неожиданно и жутко завозилась на грязном снегу. Низенький солдат потрогал ее нагайкой. Из соседнего дома испуганным шагом выкатился член домовой охраны, близорукий и глупый студент. В чем дело? Что за стрельба?

— А это, господин Комаровский, лошадь мучается. Жалко ее очень... Живая еще, стерва.

Валяй дальше. Студент бережно вынул браунинг и стал рядом с солдатом. Они выстрелили коротким залпом. Потом еще. А ну-ка, я еще разок... Для верности. Лошадь уже не двигалась. Толпа стала расходиться.

2

Мой случайный знакомый, веселый рыжий авантюрист, побывавший в самых страшных переделках нашей революции, рассказывает:

— Ведут меня эти, знаете, красноармейцы, пять человек... И чувствую, совсем ясно чувствую и вижу, что не доведут они меня до места назначения. Понимаю, что ликвидировать меня по дороге. Нюх у меня такой выработался, как в романах пишут: запах смерти. И не то, чтобы на меня злы были... Нет, здесь что-то другое. Их пятеро с винтовками, я один и безоружен, да еще молчу. Им неприятно,

тяжело. Стыдно немножко вести меня. А это самое страшное. Я иду, смотрю на них и чувствую, что еще пять минут и совсем одержит их жалость, прикончат они меня у забора. И начал я через силу последними словами ругаться. Самыми распоследними. Теперь мне даже про себя вспомнить их стыдно. Царя ругал, офицеров... Потом Троцкого, всех комиссаров... Женщин, евреев, мать свою собственную последними словами унизил. И чувствую, что дело к лучшему. Солдаты озлились, разошлись, ожили... Стали свирепые у них лица, и я уже не боялся: не было на них этой истошной муки, тоски, этой черной жалости — жалости, от которой человек убить способен. Довели до штаба благополучно.

3

Когда в Великороссии расстреливали Розанова, Меньшикова, монаха Варнаву, повторялось одно и то же.

Семи осужденных или сами расстреливаемые ползали у ног красногвардейцев, плакали, рвали на себе волосы, умоляли о пощаде и жалости. И в этих случаях расстрел был особенно жестоким и потрясающим. Жестокость эта не от бесчувствия, а именно от мутной, истошной, тоскливой жалости.

Как странно, что московский Петерс, отныне легендарный, расстрелявший несколько тысяч человек... как странно, что когда его самого солдаты повели на расстрел, он тоже валялся в ногах, кричал и плакал о помиловании. Разве не чуял он, неуязвимый от слез и молений человек, твердых законов человеческого милосердия и человеческой жестокости?..

У этого Петерса я был в Москве: мне нужно было разделиться за фельетон о чрезвычайке, напечатанный в одной из московских газет. Я провел в кабинете на Лубянке пятнадцать жутких и душных минут. Но запомнилась из них надолго одна.

Мы вышли на улицу. Петерс поежился на весеннюю слякоть и стал натягивать на большие руки перчатки. Старые, истертые лайковые перчатки.

Пальцы были на концах продраны и неумело, одиноко, стариковски подшиты толстыми нитками. Так зашивают свои вещи неприятные хмурые холостяки, живущие в прокисших, низких, злых мебелирашках.

В эту минуту мне стало жалко Петерса.

На Лубянке с Кольцовым обходились лгто. Уже на первом допросе, где он отрицал всякую вину, следователь Кузьминов зловеще предупредил :

— Вы скрываете свою предательскую, антисоветскую деятельность. Об этом мы будем вас допрашивать, приготовьтесь!

Месяц у него выбивали показания — безуспешно. На ночном допросе 21 февраля 1939 года Кольцов сказал:

— Повторяю, что вражеской деятельностью против Советской власти я не занимался. Не считая статей 1919 года, обвинение против меня — клевета или оговор. Как писатель и журналист я работал со всей преданностью партии и Советской власти. Этой работе я отдавал все свои мысли и силы...

— Какие статьи вы имеете в виду? — спросил следователь.

— Я имею в виду несколько статей, написанных мной в период моего сотрудничества в буржуазных газетах...

— Что это за буржуазные газеты?..

— «Киевское эхо», «Вечер», «Наш путь», «Вечерняя газета», «Почта» и вечерний выпуск «Русской воли». Издавались в Петрограде, Москве и Киеве. По своему содержанию имели антисоветский характер... Я в них от случая к случаю печатал отдельные статьи и репортерские заметки... за все полтора года... около тридцати... Частью на театральные и бытовые темы, в других же содержались политические высказывания, в том числе антисоветские. Например, о посещении Петерса в Чрезвычайной комиссии в Москве...

— Вы, будучи коммунистом, принимали участие в антисоветских газетах и печатали там антисоветские статьи. Вы подтверждаете это?

— Да, я это подтверждаю и не отрицаю в этом своей вины.

— Следовательно, вы, являясь членом ВКП(б), фактически вели борьбу против партии?

— Я это отрицаю. Борьбы с партией я не вел, злостный характер мои статьи не носили, хотя я и сейчас, через двадцать лет, не снимаю с себя вины за несколько написанных мною антисоветских статей.

В марте, после десятков допросов, уже сломленному пытками Кольцову дали бумагу, заставили писать собственноручные показания.

«Начав работу в Наркомпросе под руководством А. Луначарского, я был восхищен его “свободными” либерально-примиренческими взглядами в отношении целого ряда враждебных советскому государству фактов и явлений и, в частности, его благодушным отношением к буржуазной литературе и прессе, даже если они нападали на Советскую власть. Характерным для моей личной психологии того времени было мнение, что можно одновременно работать в советских органах и нападать на эти же органы на столбцах буржуазных газет, еще существовавших в этот период. Подобные взгляды не оставались только взглядами. На практике в 1918—1919 гг. я принимал участие в буржуазных газетах и даже поместил в них несколько статей антисоветского содержания, выражая свое раздражение по поводу репрессий, которые Советская власть применяла к своим врагам. В этот период, приехав в командировку для кино съемок советско-украинских переговоров в Киеве, я приобщился к атмосфере местной буржуазной печати и, начав с заметок и фельетонов “нейтрального” содержания на общие темы, дошел до враждебных антисоветских высказываний. Описывал “душные минуты, проведенные в чрезвычайке” и прочие клеветнические небывлицы о советской жизни...»

Собственноручные показания эти следователь набитой рукой превращал в протоколы допросов (чем, собственно, кроме пыток, и ограничивалось «мастерство» следователей)...

Кольцов провел на лубянской Голгофе больше года. 1 февраля 1940-го он предстал перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР, возглавляемой судьей-палачом Ульрихом.

— Я ни в чем не виноват, — заявил он. — Все мои показания вымышлены в результате пятимесячных избиваний и издевательств надо мной. Лишь отдельные страницы и отдельные моменты реальны... Да, в 1918 году я действительно был настроен против большевиков и писал статьи против них. После же отошел от этого и в последующие двадцать лет только честно работал...

И вот последнее слово подсудимого:

— За все время жизни в Советском Союзе я никакой антисоветской деятельностью не занимался и шпионом не был. Показания мои родились из-под палки, когда меня били по

лицу, по зубам, по всему телу. Я был доведен следователем Кузьминовым до такого состояния, что вынужден был дать показания о работе в любых разведках, дать показания на невиновных. Все это можно проверить, и материалы дела не подтвердятся... Все мои показания — выдумка и вымысел, все они нелогичны и легко могут быть опровергнуты...

Единственное, что не отрицал Кольцов, это то, что в пору юности он написал несколько антибольшевистских статей, но после стал активным участником Гражданской войны и этот проступок загладил. О его прошлом грехе партия и правительство знали, как и его безупречную работу потом...

Суд управился за двадцать минут. Приговор гласил: расстрел. На следующий день Кольцова не стало.

Падение кремлевского фаворита потрясло литературные круги — у всех еще в памяти его горячий доклад о сталинской конституции в Дубовом зале Союза писателей — ведь это было за несколько часов до ареста! Расползались слухи, домыслы, передавались невероятные подробности... Не случайно в то самое время у Михаила Булгакова в набросках его последней, так и не осуществленной пьесы появляется эпизод, как будто взятый из жизни знаменитого журналиста. Перед героем, все-таки сильным человеком, внезапно возникает Сталин.

— У тебя револьвер при себе? — спрашивает он.

— Да.

— Дай мне.

Сталин держит некоторое время револьвер на ладони. Потом медленно говорит:

— Возьми. Он может тебе пригодиться.

Вскоре всех потрясает известие об аресте всемогущего человека: он враг...

Перо Кольцова было талантливо само по себе и с одинаковым успехом могло бы служить любому режиму. Во второй древнейшей профессии это, впрочем, не редкость. И сейчас множество служителей прессы совершили кульбит, обратный кольцовскому: из советских превратились в антисоветских.

Но вот парадокс! Старые фельетоны Кольцова, извлеченные из лубяньских хранилищ, звучат теперь вполне злободневно. Может, потому, что наши времена во многом похо-

жи на ту смутную пору. Русская мафия, новые русские, терроризирующие нашу страну и пугающие весь мир своей зверской хваткой, оказывается, вовсе даже не новые...

Вот один из «лубянских» фельетонов Кольцова:

«НИКАКИХ ДВАДЦАТЬ»

1

... Кто этот холодный и настойчивый враг, так нагло врывающийся в наши квартиры, хватающий на улице за горло, прилежно сваливающий наши безгласные трупы на свалки и в мори?

Где его лицо? Его разбойничьи берлоги? Социальное положение? Имя?..

Совершенно ясно и неоспоримо. «Никаких двадцать». Так зовут того, кто заставляет нас высиживать зимние вечера дома.

2

В старые времена для «преступного элемента» в каждом городе имелись особые кварталы...

Теперь не надо ездить и искать преступников и убийц в их кварталах.

Выйдите на главную улицу, пройдитесь по Крещатику. Ваш враг с вами. Он проходит мимо вас рядом с вашим плечом.

Он сидит рядом в трамвае, обгоняет вас на извозчике. Загляните в кафе. Он занял все столики. Вам негде сесть. Он любезничает с продавщицей, он шумит в ресторане, он богат и научился щедро давать на чай.

Придите в театр, он и тут. Он наполнил верхние ярусы, опускается на нижние, уже готов волной захлестнуть партер.

Вы хотите его узнать. Это довольно трудно. По одежде он одет не хуже вас.

Его нелегко отличить, он не хуже нас с вами. Пока он молчит. Но вот он заговорил: «А раньш... Яшка, не дрефь... Пустил я ему юшку из носа... Манька деньги забрала, халера... Вроде Володи... Пошли хлопцы в минниатор... Никаких двадцать...» И уже перед нами лицо его, низколобое и неподвижное, тяжелая скуластая маска. Холодные, пронизывающие и вместе с тем незрячие глаза.

Он ходит между нами, и говорит, и ругается без стеснения. Чего ему бояться. Он сам и его словечки даже в моде.

— А раньше.. .

Что это значит? Ничего. Бессмысленное сочетание бессмысленных слов. Но оно гуляет по всем улицам, громко раздаётся в кинематографах и паштетных. Звенит у нас в ушах повсюду. Глухое мычание городского дикаря. Пьяная отрыжка уличной черни.

3

— Никаких двадцать.

Раньше он был неприхотлив. Косушка водки и сушеная вобла.

Теперь у него появились привычки и вкусы, требования к жизни. Помилуй бог, какие строгие! Он создал целый кодекс для содержателей ресторанов и публичных домов. Он диктует свои желания захудалым кинематографам и уличным издателям...

Ни в чем не проявляется так лицо киевской черни, как в ее женщинах и отношении к ним.

«Никаких двадцать» с женщинами горяч, жесток и беспощаден.

Он берет от них, что ему надо, жадно, хищно, по-звериному и платит всегда злом, насмешками, позором и грязью.

Он требует покорности рабьей и молчаливой.

Дашка, не ломайся!

А последние счета с любимым существом подводит на Лукьяновских пустырях, обогащая высокую груду трупов в университетском морге.

4

И так он гуляет между нами, спокойный и уверенный, наглый и требовательный, как у себя дома.

Мы привыкли к нему, миримся, спокойно и почти равнодушно слушаем за ухом его «никаких двадцать» и «а раньше», не протестуем.

Мы не думаем бороться с ним, все так в порядке вещей...

А ведь он, этот большой «Никаких двадцать», — самое страшное в нашей жизни.

Это он за пятнадцать месяцев утопил Россию в крови и слезах.

И взбунтовавшиеся солдаты, и рабочие, и крестьяне — все это войдет в свои берега, все скоро вернется к порядку и труду.

Городская чернь — никогда.

Пока она существует, она будет опасна и при всех режимах, и при всех право порядках.

У большевиков «Никаких двадцать» служил в комиссарах. Носил фронтовой френч. Беспощадно расстреливая буржуев, носил золотые кольца на всех десяти пальцах заскорузлых рук.

У «самостийников» он был не менее свиреп, подстерегая и старательно уничтожая сторонников ненужной ориентации.

В эпоху реакции он будет усердно служить «в союзе», устраивать погромы и топтать изнасилованных девушек тяжелыми сапогами.

Для нас, «жителей» и «обывателей», он опаснее всяких диктатур, ибо он сам диктатура и сам террор, причем террор постоянный, не страдающий от политической погоды и перемены режимов.

Те грабежи и убийства, о которых мы читаем петитом в городской хронике, — только маленькое временное занятие, он отдыхает теперь, ненасытный «Никаких двадцать». Отдыхает и растет, все увеличиваясь в размерах среди соблазнов и удовольствий нашего жутко веселого житья. Он гуляет между нами, не обращая на нас никакого внимания... Но пусть на горе нам прорвется какая-нибудь плотина, сломается что-нибудь в непрочных механизмах, охраняющих наши тела и спокойствие, и опять мы увидим у своих лиц близко-близко озверелую маску городского дикаря, горилл в пиджаке, необузданной и дикой черни.

(Газета «Вечер», 6 декабря 1918.)

Смени дату на сейчас и печатай — к несчастью, не устарело!

«За погибель Сталина!»

Этот немыслимый тост прозвучал 1 декабря 1939 года в самом центре Москвы на Тверском бульваре, дом 25, где жили писатели. В те дни вся страна и все прогрессивное человечество готовились отметить шестидесятилетие гения всех времен и народов. За торжественными речами, громом оваций,

гимнами, здравницами и лавиной газетных славословий одинокий голос прозвучал тоньше комариного писка. Но Лубянка его услышала.

Через два дня после невероятного происшествия секретный агент по кличке «Богунец» донес о застолье трех писателей — Андрея Платонова, Андрея Новикова и Николая Кауричева:

«1 декабря 1939 г. к писателю Платонову зашли Новиков и Кауричев, принесли с собой водки, предложили выпить. Первый тост Новиков предложил за скорейшее возвращение сына Платонова (осужден на десять лет в лагеря). Второй тост сказал Новиков:

— За гибель Сталина!

Платонов закричал:

— Это что, провокация? Убирайтесь к черту, и немедленно!

Кауричев ответил:

— Ты трус. Все честные люди так думают, и ты не можешь иначе думать...»

Откуда мог все это узнать «Богунец», если разговор происходил втроем, без посторонних? Явно со слов кого-то четвертого, тем более что, как выяснилось из последовавшего расследования, все происходило не совсем так и даже не на квартире Платонова...

Дав слынуть юбилейным торжествам, чекисты взялись за дело.

Первым вызвали Андрея Платонова, в самый канун новогодней ночи — 31 декабря. Дали бумагу и потребовали чистосердечно рассказать о случившемся. Скрывать что-либо было уже бессмысленно. И опасно. Скандал выплыл наружу. Осталось одно — сказать правду. И Платонов взял перо.

«В конце ноября или в начале декабря сего года в квартире писателя А. Н. Новикова состоялся следующий факт. Нас было трое: А. Н. Новиков, Ник. Кауричев (тоже писатель) и я. Новиков и Кауричев были довольно сильно пьяными. Во время шумного разговора, который вели между собой Новиков и Кауричев, вдруг я слышу возглас Новикова: “За гибель Сталина!” Я подумал, что ослышался, переспросил. Тогда

Кауричев встал со стула и, прохаживаясь по комнате, начал говорить мне, чтобы я не притворялся, ведь мой сын арестован и у меня не может быть хорошего политического настроения.

Я ответил, что за это, что сказал Новиков, пить не буду никогда, что без Сталина мы все погибнем, что, наконец, я не такой глупый и темный человек, чтобы свое глубокое несчастье (арест сына) переносить на свое отношение к Советской власти.

Тогда мне Кауричев сказал, что он меня насквозь видит — по моим произведениям. Я сказал, что мои произведения — дело публичное, общественное, в них все открыто. Пить за предложенный тост я категорически отказался. Разговор обострился. Я опрокинул свою рюмку и ушел домой не попрощавшись.

Это событие меня озадачило, встревожило, я не ожидал таких страшных слов от своих знакомых, я решил, что они нарочно провоцировали меня.

До этого я ничего подобного не слышал ни от того, ни от другого, хотя иногда слышал ироническое отношение к тому или другому политическому факту, но это было мелкое раздражение обывательского характера, я не придавал значения таким обстоятельствам.

Кауричева я знаю мало, Новикова больше. Я не замечал между ними особой дружбы, основанной на общих принципах. Их отношения — отношения людей, связанных выпивкой. Это известно не только мне. В прошлом Новиков был, как известно, в литературной троцкистской организации “Перевал”.

Прошлого Кауричева я не знаю, кажется, он был учителем. Обычно он подчеркнуто энергично высказывался в правильном советском духе, исключая очень редкие случаи обывательского характера и того страшного случая, о котором я сказал выше, где он, Кауричев, разделил, видимо, слова Новикова.

Вообще же как тот, так и другой избегали говорить на политические темы. Обычно разговор шел о тех или других конкретных литературных произведениях, причем в пьяном состоянии это принимало иногда нечленораздельную форму.

31 декабря 1939 г.

Платонов.

Принял — оперуполномоченный 5 отделения 2 отдела ГУГБ НКВД младший лейтенант ГБ Кутырев».

Перед нами не оригинал, а машинописная копия заявления Платонова, без его подписи. И трудно в той многослойной фальсификации, которую представляют собой лубянские дела, восстановить в точности происхождение документа. Возможно, что от Платонова потребовали объяснения не чекисты, а какое-нибудь другое начальство, литературное или партийное, — на документе сверху написано: «Копия в НКВД». В заключении прокуратуры, сделанном спустя много лет после происшедшего, говорится: «Не заслуживает доверия приобщенная к делу копия заявления Платонова в НКВД, так как в Учетно-архивном отделе КГБ никаких материалов Платонова не имеется».

Нет материалов — неудивительно, уничтожали тоннами, и не раз. Так или иначе, но то, что Платонов дал объяснения, письменные или устные, и суть их — это не вызывает сомнений. Документ говорит сам за себя.

Новикова арестовали в январе.

Главное обвинение: «В последнее время... на сборищах в кругу своих близких людей высказывает террористические настроения против руководителей партии».

Дело Андрея Новикова, даже на фоне той фантазмагии, страшной и нелепой, которой полны лубянские досье, поражает своей абсурдностью. Следователи немало потрудились, чтобы превратить пьяную болтовню в солидное преступление. Были перерыты дела других арестованных писателей, хоть как-то, шапочно знакомых с Новиковым, — все пошло в ход, превратилось во вредительство, троцкизм, терроризм.

Вот характеристика, данная Новикову его коллегой, писателем Никифоровым, 23 февраля 1938 года:

«...Новиков Андрей — человек простой, рыхлый и флегматичный, но с замыслом. На стене его кабинета красовались когда-то Троцкий в шинели и Радек с трубкой, потом эти портреты исчезли. Разговор Новикова всегда путанный и витиеватый, он

редко находится в трезвом состоянии. Начиная разговор, он дает понять, что никто ничего не понимает, кроме его одного. Он так и говорит: “Как ты не понимаешь, чудак, одни приказывают, а другие стараются: кулака раскулачили и у последнего мужика штаны отобрали, ну чего ты еще хочешь?” А. Новиков считает себя сатириком и очень дружит с А. Платоновым. Они глядят на окружающее с иронической улыбкой и хотят ничему не удивляться, давая всему насмешливое объяснение, и не только в разговорах, но и в произведениях. Хозяин (Сталин) не любит, если кто особенно выделяется, заявляет Новиков, этих людей он или удаляет, или понижает. Достаточно прочесть “Причины происхождения туманностей” А. Новикова, чтобы судить о мировоззрении и идеологии его...»

Пригодились и старые доносы стукачей. Агент «Белецкий» еще в 1935 году сообщал о «резких антисоветских настроениях» Новикова.

— Какая сейчас литература? — говорил тот. — Нет у нас литературы, это и понятно, когда настоящая мысль ушла куда-то вглубь и литературы настоящей быть не может...

Новикова лубянские умельцы обработали быстро. На третьем допросе он уже признавал себя виновным во всем, что ему навязывали. Особенно подробно рассказывал он о своей дружбе с Андреем Платоновым.

— В чем состояло ваше сближение? — спрашивает следователь.

— С Платоновым я познакомился еще в 1922 году, когда я работал редактором газеты «Рабочий путь»... С 1938 года мы, я, Кауричев и Платонов, стали встречаться более часто, бывать друг у друга на квартирах и при этих встречах систематически вели антисоветские разговоры.

— Какие антисоветские разговоры вы вели?

— Наши беседы, как правило, начинались с критики... Мы говорили, что руководство литературой нужно отдать целиком в руки писателей, чтобы не было в этом вопросе партийного влияния, что политика Советской власти ограничивает размах творческих способностей писателей, то есть заключает их в определенные рамки...

Платонова мы считали лучшим писателем и критиком. Платонов по своей натуре очень скрытный человек и в раз-

говорах свои взгляды высказывал двусмысленно; если он над чем-либо смеется, то его не поймешь, то ли он этим смехом осуждает это явление или же сочувствует ему. Подобно этому он пишет свои произведения, то есть двусмысленно.

Особенно близко с Платоновым я сошелся после того, как был арестован органами НКВД его сын. Наши встречи, как правило, сопровождались пьянкой. Присутствуя при наших разговорах, Платонов разделял нашу точку зрения и высказывал свои антисоветские настроения...

17 января следователь Адамов подошел к главному преступлению Новикова:

— Вы далеко не все рассказали. Говорите прямо: антисоветские разговоры вы еще вели?

— В конце ноября — начале декабря 1939 года, точно не помню, я и Кауричев выпивши пришли с вином на квартиру к Платонову. В процессе разговора за рюмкой водки Кауричев как будто начал говорить, что писатель Иван Катаев, арестованный органами НКВД, очень хороший человек и арестован ни за что.

Платонов не любил Катаева, а поэтому сказал, что ваш Катаев — дерьмо. У меня вот сидит сын. После этих слов Платонова кто-то из нас предложил выпить за возвращение его сына, а затем провозгласил тост за здоровье Троцкого.

Платонову произнесенный тост за Троцкого не понравился, он демонстративно вылил на пол все вино и, насколько я помню, нас выгнал из квартиры.

В другой же раз, примерно в конце декабря 1939 года, мы пили у него на квартире. Я предложил тост «За смерть Сталина!». Этот тост Платонов и Кауричев поддержали. Все эти контрреволюционные высказывания и тосты являлись, конечно, результатом нашего враждебного отношения к Советской власти и руководителям ВКП(б)...

Дальше в лес — больше дров. На последующих допросах Адамов заставил Новикова «признаться» уже не просто в антисоветских взглядах:

— Значит, вы проводили совместную вражескую работу?

— Да, проводили.

— Какую антисоветскую работу вы проводили?

— Мы, по существу, представляли антисоветскую группу...

Платонова вели к аресту.

В это же время допрашивали и арестованного уже Николая Кауричева. Он по-своему изложил злосчастную историю с юбилейным тостом:

— Я помню случай, когда в кабинете Новикова в его квартире мы выпивали, когда Новиков произнес тост «За гибель Сталина», а потом пили за здоровье Троцкого...

— Кто присутствовал у Новикова кроме вас, когда произносились такие вражеские тосты?

— Кроме меня и Новикова был еще Платонов.

— Жена Новикова в это время была дома?

— Я этого не помню...

Жена Новикова? Не был ли это тот самый четвертый человек, который все слышал? Слышал, а потом мог поделиться своим возмущением от безобразной сцены с кем-нибудь из друзей или подруг. Так все дошло до агента «Богунца» и затем стало достоянием Лубянки. Впрочем, все это только версия. Возможно, и другая. Судя по многочисленным доносам «Богунца», рассыпанным в других делах, это лицо — само из писательского сословия. Могло оно проживать в том же самом флигеле «Дома Герцена», литературного муравейника на Тверском бульваре, и просто-напросто все подслушать. А если учесть, что Платонов с Новиковым жили через стенку, легко объяснить и путаницу с квартирами, допущенную в доносе...

На очной ставке и Новиков, и Кауричев подтвердили свои террористические намерения по адресу Сталина. Пьяная болтовня уже выглядела как подготовка к величайшему покушению.

Дело состряпано. В качестве вещественного доказательства к нему была приложена повесть Новикова «Причины происхождения туманностей», вместе с рецензией критика Гурвича, написанной по заказу НКВД и обвиняющей автора во всех смертных грехах: «...Можно сказать, что автор в этом произведении сам себя уничтожил... Он как бы повторяет действия своего героя... он кончает жизнь самоубийством... Не удался смех Андрею Новикову...»

После четырех месяцев следствия наступил длительный застой — об узнике словно забыли. Пошел уже второй год заключения. За это время у Новикова открылся легочный процесс с сильным кровохарканьем. Он обращается с пись-

мом к Сталину — просит снисходительного прощения: «...Не помня того, произносился ли мною этот тост, я в то же самое время не могу отрицать его. Я был бесчувственно пьян...»

Проходит еще полгода. Новиков торопит разрешение своей участи, пишет прокурору: «...Как художник я мыслю образами, а масштабов деятельности государственных людей я понимать, признаться, не умею... В связи со своей болезнью я хотел бы знать свою судьбу в дальнейшем, так как мне идет уже пятьдесят третий год...»

Письмо заканчивается странно-жутковатым постскриптумом: «31 марта 1941 года мною открыт закон вечного движения. Подробности я описал в двух письмах моему следователю Адамову. 4 мая 1941 года он вызвал меня по означенным письмам, — мы набросали схемы — и он сказал мне, что будет доложено. Не имея других возможностей о заявлении своих прав на открытие, я прошу Вас ознакомиться с копиями означенных писем и иметь их в виду...»

Никаких других следов «открытия» Новикова в его досье нет.

Гадать о своей судьбе ему оставалось уже недолго. Через несколько дней, 8 июля, состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда. Новиков был краток:

— Я признаю себя виновным, что произносил антисоветский тост и высказывал антисоветские измышления. Обвинение во вредительстве я категорически отрицаю. Группа, участником которой я являлся, была легального порядка, так что предъявленное мне обвинение считаю неправильным. Преступление совершил я по пьянке...

«Приговоренный к высшей мере наказания — расстрелу, прошу о помиловании... — еще одно заявление Новикова, написанное неровными крупными буквами в те же дни председателю Президиума Верховного Совета СССР Калинин. — Я происхождения батрацкого, сын батрака, сам начал работать батраком. В революции я чуждым человеком не был».

Новиков был расстрелян 28 июля. Кауричев чуть раньше — 9 июля.

«В революции я чуждым человеком не был...» Это последние слова Андрея Новикова, долетевшие до нас из темных недр Лубянки.

Он вырос в бедняцкой семье, в воронежской деревне, окончил четыре класса школы и, чтобы прокормить семью, пошел работать — был молотобойцем, землекопом, дровосеком, грузчиком. Началась Первая мировая война — стал солдатом. В 1917 году вступил в партию большевиков, устанавливал Советскую власть. Редактировал коммунистические газеты и журналы — сначала в провинции, потом в Москве, писал в огромном множестве очерки, статьи и заметки. А в 1929 году заявил о себе как яркий писатель-сатирик. Повесть Новикова «Причины происхождения туманностей» вызвала целую бурю: критика обвинила писателя в очернительстве и клевете на советскую действительность. Пришлось заступаться за него даже Горькому. И в самом деле это было незаурядное литературное событие — одна из первых книг, показывающих смертельную болезнь бюрократизма, разраставшегося по стране. Следом за ней пошли роман «Ратные подвиги простаков», «Повесть о камарницком мужике», серия рассказов — и все они вызывали споры и интерес, не оставляли читателя равнодушным.

Сейчас этот писатель, самородок из крестьян, несправедливо забыт. «Без меня народ неполный», — говорил Андрей Платонов. Без Андрея Новикова наша литература неполна. После гибели писателя изъятые у него рукописи были возвращены вдове и уничтожены ею из страха перед новыми бедами.

Когда-то, еще в самом начале литературного пути Новикова, Андрей Платонов предупреждал своего друга и земляка в письме: «Наша жизнь — как льдинка под знойным солнцем. Не спеши ее сосать: растает сама...»

Больше семи десятилетий существовал, по точному определению Андрея Платонова, «Революционный заповедник имени Всемирного Коммунизма». И все это время в нем шла охота, облава на людей, отмеченных умом и талантом.

Как загадочные «черные дыры» во вселенной поглощают целые звезды, планеты, а с ними, как знать, и некие обитаемые миры, неведомые цивилизации — так и зловещая пасть Лубянки заглатывала миллионы человеческих жизней и ненасытно требовала все новых жертв. Там исчезали не только

люди, но и плоды их труда. Не все безвозвратно погибло, и то, что было когда-то для гонимых властью писателей горестной потерей, становится для нас теперь счастливой находкой.

Андрея Платонова оставили на свободе, но все время держали под контролем, за творчеством следили, за рукописями охотились.

К «Техническому роману» Андрея Платонова, обнаруженному в лубяньских хранилищах, сегодня можно прибавить еще одну его работу.

Эта рукопись перекочевала в Секретно-политический отдел ОГПУ из редакции журнала «Красная новь». На первом листе — надпись писателя Всеволода Иванова, ведавшего тогда отделом прозы в журнале: «Ф. Раскольникову. По-моему — интересно». «Я против печатания», — распорядился тут же Раскольников, главный редактор «Красной нови», и поставил дату — 11 февраля 1928 года.

Рукопись (машинопись с авторской правкой чернилами), озаглавленная «Путешествие в 1921 году», представляет собой, вероятно, часть будущего романа Платонова «Чевенгур» или его варианты. В ней есть страницы, которые отсутствуют в опубликованном тексте романа. Нужно ли говорить, как драгоценны эти осколки творений Мастера? Особенность его стиля в том, что он пишет притчами, строит повествование как сплошную вереницу притч, скрепленных между собой внешним сюжетом и внутренними переживаниями героев. Отдельные сцены, таким образом, будучи фрагментами единого целого, приобретают и некую законченность, самостоятельную ценность.

Прочитаем же те страницы «Чевенгура», которые остались неизвестны.

«Это глава из повести, — поясняет на полях рукописи Платонов и дает краткую характеристику основных героев: — Дванов — коммунист, командированный губисполкомом для обследования губернии на предмет борьбы с разрухой. Копенкин — его случайный спутник, бывший партизан, “полевой большевик”».

Добавим к ним еще одного персонажа, тоже действующего в сочинении Платонова — товарища Пашинцева, рыцаря

«Революционного заповедника имени Всемирного Коммунизма». Перед нами традиционная русская «тройка», три богатыря, три «сироты земного шара», скнтающихся в стихии революции.

Ближе всех самому автору — Дванов, самодельный философ, претворяющий мечту в действие и тоскующий от недостатка добра и любви на земле.

«...Дванов мог в живых образах представить мысли когда-то читанных философских книг. Он вспомнил фразу: “В темной долине истории гремит сверкающий поток человечества; и кто нам докажет, что нет живой органической связи между людьми: ведь два друга, встречаясь, вдохновляются и пылают сдвоенным сердцем, а при виде множества людей в нас встает сила радости!” {Нельзя доказать уму что-либо против непосредственного чувства, мы знаем, что всемирная дружба сбудется, что вредные пространства между телами людей все больше заполняются веществом теплоты, а история близка к своему контрапункту — коммунизму, то есть соединению противоречий в симфонию. Близок час, когда люди будут вдохновляться на жизнь и творчество лишь силой дружбы и взаимного прикосновения...} ³³

Дванов вообразил сверкающий поток льющегося беспощадного металла, проедающего мягкое русло земной долины. Он стремится в узкой теснине, все углубляясь и роя вперед далекое направление. Поток от своей работы не охлаждается, а нагревается о встречные сопротивления, и неизвестен предел его возрастающей мощи.

Дванов видел, что в таком потоке, в этих сложенных дружеских усилиях людей нельзя погибнуть и быть забытым. Дванов успокоился и запел песню от полной удовлетворенности:

Есть в далекой стране
На другом берегу,
Что нам снится во сне,
Но досталось врагу...»

³³ В фигурных скобках даны вычеркнутые в рукописи слова.

Скитаясь верхом на коне под «великорусским небом» в «глухой глубине» своей страны, Дванов останавливается у старинной барской усадьбы с величественной колоннадой...

«...Дванов грустно вздохнул: скоро ли мы будем строить и писать так же глубоко, кратко и торжественно, как здесь — в оазисе феодализма. Он снова оглядел колоннаду — шесть стройных ног целомудренных женщин. В него вошли покой и надежда, как всегда бывало от вида замкнутого искусства.

{Страшно одно, что эти прекрасные неживые ноги — чужие. Или это обязательно — чтобы искусство всегда не вполне понимало жизнь; чтобы оно вело себя как девушка перед речью опытной женщины — жизни. Дванов знал, как слушает девушка объяснение женщины о любви: понимает, но не разделяет ощущения, ибо девушка обращает свою жизнь в свое обаяние, а не в размножение. Искусство подобно девушке: оно питается жизнью, но жизнь для него лишь сырье, а не смысл, — это сырье перерабатывается во что-то другое, где безобразно-живое превращается в бесчувственно-прекрасное.

Такими отделились в Дванове эти колонны — над зимней степью и над революцией.

«Что же нам останется? — думал Дванов. — Может быть, даже не искусство, а живой человек, любимая или товарищ, увиденный как-то снова — не с лица, а в действии и дружбе. Нам не обязательно искусство. Возможно, что искусство вырастает, когда проходит уважение между людьми... Черт его знает — ничего не известно: рано еще...»

Но все-таки хороша белая колоннада!

— Нет, и нам нужны будут такие вещи, — сознался себе Дванов. — Впереди науки в мир мчится мечта — и падает мертвой: эти колонны, как трупы мечты. Такое искусство — хорошее, и нам потребуется.}

...Дванов с любопытством счастливого потомка рассматривал эту феодальную Атлантиду, размытую потоком революции».

Удивительно устроен русский человек — он живет не в настоящем, а в прошлом или будущем, то есть как бы вовсе не живет или живет в мифе, в сказке, а не в правде жизни. И все время производит операции со временем в своем сознании.

«...Дванов, оставив беседу, сел писать письмо другу в губернию.

{“Дорогой и далекий товарищ, — писал Дванов. — Я еду по пустынным и сказочным местам. Как хорошо и странно — жить сейчас, а сознавать настоящее, как прошлое. Тогда из будущего все нам покажется чистым и чудесным, потому что революция проходит. Что случилось нового? Пиши скорее — даю адрес. Как живет Крашенина — есть ли слух от нее? Что делаешь ты и Геннадий, и все наши ребята? Шумилину скажи — я действую. Еще скажу главное: по-моему, сознание нового человека надо воспитать на чувстве настоящего как прошлого. Иначе говоря, сдвинуть его в будущее — тогда, посмотри, как выйдет хорошо среди людей. Вся мелочность и досада бытовой жизни сразу исчезнет. Мы будем видеть не один день, а целое обилие времени и предметов — и разве пожалеем в таком богатстве что-нибудь малое...”}

И долго не мог окончить письма, увлекшись мысленным разговором с другом».

Судьба сталкивает Дванова с другим фанатиком революции, «одиноким рыцарем коммунизма» Пашинцевым.

«...Дванов знал, что революция борется не только с классовым противником, но и внутри себя, сама с собой, — одновременно преодолевая себя и внешнего врага. Он понял Пашинцева и его искреннее отчаяние, — он увидел, что Пашинцев обречен. Дванов представил себе время, которым однажды и навсегда был очарован Пашинцев. Это первые месяцы после октября семнадцатого года — месяцы особого энтузиастического, страстного коммунизма, охватившего отчаянные умирившие массы солдатского и рабочего народа. Тогда верилось, что близок теплый день всемирной дружной жизни. Но скоро эта вера превратилась лишь в поверье, а в Пашинцеве она стала алчным суеверием. Годы гражданской войны спрессовали революцию и сделали ее беспощадной военной силой.

В революции осталось больше стойких сухожилий и меньше испаряющейся влаги вдохновения.

Революция идет, как комета, накаляясь о сопротивление будущего, а позади оставляет гаснущий хвост шлака из по-

бежденных событий и отработанных людей. Но Пашинцев — не шлак революции: что-то непрерывно горит в нем, но горит мучительно, отдельно от общего костра.

Дванов не все понимал...»

А Пашинцев меж тем думал свою одинокую думу.

«...О чем он думал? Ни о чем. Он не думал, а желал: сесть на единственную кобылу заповедника и уехать самому вдаль — основывать лучшую жизнь и новые страны, тягаться с природой и людьми в ревностных схватках, наполнить провалы и скорби жизни своим избыточным чувством симпатии к ней.

— Строже надо! — предупредил себя Пашинцев. — Нельзя нестись по полю вырванной травой.

Он попоил худую безнадзорную кобылу и поехал в село — сгонять крестьян в помещичью усадьбу, чтобы они добровольно освоили высокие урожайные земли.

На дороге он не раз хотел повернуть коня в засасывающую бездорожную степь, но кобыла знала дорогу и не верила узде — она шла только на деревню.

Бродяжке, что-то неясно обещающее сердце боролось в Пашинцеве с его здравым разумом.

Он оглянулся на Ревзаповедник: и ему понравились колоннада и здания — не как архитектура, а как факт ужившейся там революции. Пашинцев заторопил кобылу в деревню: теперь он не хотел бросать своего дела.

Если бы его спросить, почему он одолел свое колебание, Пашинцев бы не ответил.

Про это не сказал бы и Дванов, торопившийся увлечение народа революцией превратить в строительный факт. Дванов много размышлял над Копенкиным: его стесняло то, что такой одутловатый средний мужик, как Копенкин, действовал в революции не от здравого смысла, а от нудной бесчувственной мечты — любовной веры в мертвую Розу Люксембург. Пашинцев тоже ходил в революции с обольщением, смутным самому себе, а не вполне сознательно. Для них обоих революция не убеждение, а безотчетное самочувствие. Дванов это одобрял, но считал такое состояние непрочным и опасным.

Сейчас он опять ехал рядом с Копенкиным по снежной дороге и понимал, почему в зимней России мир называется белым светом. Дванов заволакивался думами в такт шага своего коня...

Он спросил:

— Товарищ Копенкин, за что ты любишь Розу Люксембург — ведь это же блажь?

Копенкин этого сам не знал и ответил приблизительно:

— Кто ее знает, сам мучаюсь... Не за то, чтоб жениться...

— Так. Но скажи как-нибудь: за что?

— Не как-нибудь, а прекрасно скажу. Видишь ты, хоть я и коммунист, а сроду ни программы, ни правил, ничего не читал. А через товарища Розу Люксембург мне все почудилось определенным... Увидел ее портрет и заволновался: вот, вижу, красивая женщина страдала, а ты дураком живешь, тут же мне так стыдно получилось, и я полюбил ее выше своего ума... В малолетстве меня к вере тоже не поп приучил, а бабушка сказкой о Николае-чудотворце. Понял ты меня?

— Теперь понимаю, — сказал Дванов, разгадав слова “выше своего ума”. Это означало другое, чем полагал сам Копенкин: вместо познания революции умом Копенкин полюбил сердцем Розу Люксембург. Так для него легче, а результаты одинаковые — Роза Люксембург для Копенкина есть та же революция, переведенная в женский влекущий образ, строивший вдового Копенкина с его крестьянского двора».

Вот и еще одна черта русского человека — он живет не умом, а сердцем. Отсюда все его странности, все роковые неизбежности судьбы — отдельной, личной и общей, национальной.

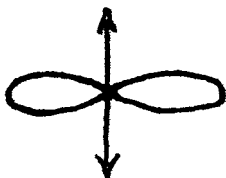
Прошлая Россия — «феодалная Атлантида, размытая потоком революции». Ее искусство — колоннада прекрасных, но неживых женских ног над заснеженной стелью. Настоящая Россия — Ревзаповедник имени Всемирного Коммунизма. Искусство новой эпохи — каким же будет оно?

Коммуна решает на своем заседании поставить памятник революции. «Главное, фигуру надо придумать», — озабоченно говорит председатель.

«Дванов нарисовал на бумаге фигуру. Он подал изображение председателю и объяснил:

— Лежащая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства».

Так выглядит эта сцена в романе «Чевенгур». Лубянская рукопись Платонова добавляет к ней и саму фигуру, начертанную рукой автора:



«Памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру».

Трудная любовь

В истории советской литературы только один человек стал и сталинским, и нобелевским лауреатом — Михаил Александрович Шолохов. Тут как-то совпало: призвание и признание, симпатия власть имущих и читательская любовь. Но вот странное дело — примешалась к этой бочке меда ложка дегтя. На главное, эпохальное творение Шолохова, роман «Тихий Дон», легла тень: подозрение в плагиате — и не рассеялась до сих пор. Этот читаемый и почитаемый за свои книги писатель был одновременно и презираем — за недостойные речи с высоких трибун, призывы к расправе над инакомыслящими. И, начав блистательно, юным гением, как-то постепенно увял: второй свой роман испортил лживой концовкой, а последний растянул на десятилетия, да так и не окончил.

За внешним благополучием скрывалось духовное нездоровье. Трагедия, которую переживал народ, не могла не коснуться его — раздробила сознание, привела к раздвоению, острому внутреннему противоборству между художником и цензором, к паясничанью и пьянству.

С тех пор как Сталин в 1929 году объявил Шолохова знаменитым писателем нашего времени, тот перешел под его личную опеку, стал неприкасаемым. На нас это табу уже не

распространяется. Теперь мы можем смотреть на писателя без возвеличивания и оханвания, непомсрной хвалы и хулы, без розовых или черных очков.

Кто был на виду у всех, был на особом виду у Лубянки. То в одном, то в другом следственном деле современников Шолохова, то мимоходом, то пристально — его имя... Обнаружились даже его письма, и могут быть еще бог весть какие сюрпризы.

Но уже и сегодня новые открытия в секретных архивах дополняют биографию Шолохова фактами, которые до сих пор скрывались, добавляют к его портрету штрихи, которые старательно стирались.

«Виновным себя не признаю, как не признавал и на предварительном следствии... Меня оклеветали... Я совершенно ни в чем не виноват», — эти слова произнес на суде дипломат и журналист Георгий Александрович Астахов. Как польский шпион и участник антисоветского заговора он был осужден к пятнадцатилетнему заключению и погиб в одном из северных лагерей в возрасте сорока пяти лет.

Это земляк и друг Шолохова. В его следственном деле и нашлись письма к нему знаменитого писателя.

Конечно же, никаким врагом народа Астахов не был. «Он принадлежит к породе чудаков, которые встречаются иногда среди людей науки; он и был бы, вероятно, незаурядным ученым по восточным вопросам, если бы все сложилось иначе. У него ясный, светлый ум, большая внутренняя дисциплинированность и, наряду с этим, какая-то несуразность, нескладность в повседневных делах...» ...Каким диссонансом звучит этот естественный голос среди бездушной лубянской канцелярщины! Голос жены Астахова Натальи, обратившейся с заявлением в НКВД, чтобы как-то повлиять на участь мужа: «Астахов... исключительно честный, органически неспособный ни в крупном, ни в мелочах обмануть то доверие, которое ему оказывалось...»

По своим взглядам это был типичный советский человек. Когда-то он со всем пылом молодости участвовал в сокрушении старого мира и его культуры.

Это тот самый Астахов, который в 1920 году во Владикавказе был непримиримым оппонентом Михаила Булгакова в публичном диспуте о Пушкине. «Пушкина он обработал на

славу», — вспоминал Булгаков в «Записках на манжетах». Астахов — редактор партийной газеты «Коммунист», пролеткультовец — действительно тогда отличился. В своем докладе на вечере, проходившем в летнем театре Владикавказа, он говорил о Пушкине: «И мы со спокойным сердцем бросаем революционный огонь его полное собрание сочинений, упоывая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся».

Словесный бой с Булгаковым надолго запомнился и его противникам. В лубяньское досье Астахова попало шутовое «Личное, доверительное, совершенно секретное послание» ему в стихах от товарища лихих революционных лет поэта Константина Юста. «Громил Булгакова наш Цех со всею силой, — пишет Юст. — Свершилась наша казнь. Сожжен лакейский Пушкин. Пусть воеет Слезкин. Пусть скулит БеМе...» (БеМе — несомненно, Булгаков Михаил, а Слезкин — его приятель, тоже литератор). Впрочем, шутку Юста не уничтожили, а оставили в деле совсем по другой причине. Выразительно, несколькими красными чертами выделен выпад на самого товарища Сталина: «Как мог ты ожидать от пылкого грузина коммунистических — не дел, хотя б уж фраз!..»

Конвейер — несколько десятков допросов. Астахов отчаянно сопротивляется. В его досье — целая серия заявлений в ЦК партии и наркомку внутренних дел Берии.

10 марта 1940 года: «...Арест и содержание в тюрьме еще не надломил меня морально... Но если из меня сделают “тряпку”, как сулит следователь, то, даже реабилитированный, я буду не работником, а тенью работника. Прошу не допустить этого. Я этого не заслужил».

1 апреля: «...Следствие говорит мне, что моя преступность считается доказанной, что “скорее мир перевернется, чем поколеблется эта уверенность”. Факт ареста приводится как доказательство моей преступности. Я не могу принять эту точку зрения...»

12 мая: «...Поскольку я преступлений не совершал, дать показаний не могу — меня обвиняют в записательстве, борьбе со следствием и предвещают усиление репрессий, начало которым уже положено переводом меня из НКВД в военную тюрьму

Лефортово, говорят, что решено меня “сломать”. Я прошу вникнуть в это дело и указать мне выход. Повторяю, что признать себя шпионом и заговорщиком не могу, т. к. это означало бы ложь и самооговор. Что же мне делать?.. Я прошу не милости, а лишь возможности доказать свою невиновность».

18 мая: «В ночь с 14 на 15 сего месяца следователи избili меня резиновыми палками... Я... не смогу нести ответственность за показания, которые могут быть добыты таким способом, ибо под влиянием боли, к которой я не привык, я могу наговорить вздор, от которого впоследствии пришлось бы отрещиваться. Если это избивание было первым и последним, я готов забыть о нем как о ночном кошмаре, но следователи заверили меня, что за ним последуют другие — более сильные... “Вам не на кого надеяться”, — говорят мне следователи. Когда я говорю, что надеюсь на советское правосудие и в первую очередь на НКВД, это встречается ироническим смехом и глумлением...»

Лаврентий Павлович, я верю в Вашу чуткость и заботу о людях. Я не верю, что мой голос прозвучит впустую. Излишне говорить, какой прилив бодрости и энергии дало бы мне Ваше внимание, имея которое я с радостью забыл бы обо всех испытаниях последнего года. Простите за неряшливость и неотделанность этого заявления. Трудно писать».

29 мая: «...Как доказано событиями — я обеспечил полную тайну переговоров с Германией 1939 г., решивших участь стран, в шпионаже на которых меня обвиняют. Прошу не упускать это из виду...»

Астахов напоминает о советско-германском договоре, в заключении которого он как советник полпредства в Берлине активно участвовал и даже был принят Гитлером. Не это ли секретное задание впервые столкнуло его с Берней, о чем он тоже вспоминает теперь: «Позвольте обращаться к Вам не только как к Наркому, но и как... к человеку, под наблюдением которого... мне пришлось работать короткий отрезок времени. Все же Вы имеете обо мне какое-то наглядное представление, почерпнутое не только из неведомых мне донные материалов... Когда мне говорят, что вопрос о моей виновности безусловно решен еще перед арестом, я не могу этому поверить...»

7 января 1941 года: «...Мне говорят: дайте показания в преступной деятельности. Иначе — беспросветная режимная

тюрьма и усиление репрессий... Мне говорят, что будут применены такие меры, после которых я показаний не дать не смогу. Но что это значит? Кроме того пути, на котором я стою, передо мной есть лишь путь самооговора и клеветы, путь вражеский и антисоветский...

Следствие объявляет преступными мои книжки по Востоку, в том числе и книгу о Турции, целиком состоящую из перепечатки статей, помещенных главным образом в "Известиях" и "Правде" в 1922—24 гг. Даже мои юношеские стихи о ВЧК (1918 г.), за которые я в 1920 г. удостоился бешеной ругани тифлисской белой прессы, именуется "белогвардейщиной". Я не поэт и не защищаю их литературную ценность, равно как отдельные слова (цитирую ниже), но невольно спрашиваю: на что же мне надеяться со стороны следствия, когда дойдет до анализа более сложных фактов, связанных со спецификой зарубежной работы, в ходе которой мне приходилось к тому же не раз конфликтовать с работниками органов?..

Мне хотелось бы написать т. Сталину — не для lamentаций и полемики со следствием, но для освещения некоторых моментов моей дипломатической работы (особенно за последний период в Германии) с копией Вам. Есть ряд моментов, которые надо зафиксировать даже вне зависимости от вопроса о моем деле...

Приложение (по памяти)

ВЧК

В ночной тиши среди Лубянки
Через туман издалека
Кровавым светом блещут склянки,
Алеют буквы: ВЧК.

В них сила сдержанного гнева,
В них мощь раскованной души,
В них жуть сурового напева:
"В борьбе все средства хороши!"

Чарует взор немая сила,
Что льют три алых огонька,
Что массы к битве вдохновила,
Чем власть Советская крепка.

К чему сомненья и тревога?
К чему унынье и тоска?
Когда горит спокойно, строго
Кровавый вензель: ВЧК.

Стихи (акrostих) были написаны в декабре 1918 г. под впечатлением соответственно иллюминированного здания ВЧК, где мне приходилось бывать по делам. Как Вы помните, это был разгар интервенции, гражданской войны и террора».

Все эти призывы к справедливости и милосердию, подкрепленные стихами, дальше следственного дела не пошли, улеглись там безответно. Как и набросанный тем же пером и теми же чернилами рисунок, отобранный у Астахова и приобщенный к делу как «антисоветский» документ.

Из тюремного окна смотрит на нас перечеркнутый железной решеткой с острыми шипами несчастный всклокоченный человек. Из глаз струятся слезы, выливаясь наружу двумя ручьями. И надписи: сверху — «...ская тюрьма», справа — «Некто в пятилетнем заключении источает слезы раскаяния и горестных воспоминаний о минутах пережитого счастья» и слева — «О, горе мне, грешнику сушу, добрых дел за собой не имущу! — Свящ. писание, гл. 5, стих 40».

Вот здесь-то, рядом с рисунком и стихами, и лежали письма Шолохова. Зачем их «пришили» к делу? Компромат — связь писателя с врагом народа. Четыре письма, еще одно по каким-то причинам было уничтожено вместе с целой грудой рукописей и документов как «не относящееся к делу».

Судя по письмам, Шолохов и Астахов в тридцатые годы были очень близки, дружили семьями, не раз встречались и постоянно переписывались. Писатель ласково называет своего друга-дипломата Егорушкой, усиленно зазывает к себе в станицу Вешенскую, на Дон.

Письма короткие и носят большей частью бытовой характер — должно быть, Шолохов боялся доверять почте более серьезные мысли, оставляя их до встречи. Да и некогда ему было в это время: поглощен был своим романом «Тихий Дон».

Первое письмо написано 22 марта 1935 года, после возвращения из заграничной поездки, где он встречался с Астаховым (тот работал тогда советником полпрества в Лондоне):

«Дорогой станишник!

Донцы всегда отличались вероломством, непостоянством и прочими отрицательными качествами, но ты — злодей — pokrыл своих земляков! В течение двух месяцев — ни строчки. Это здорово! И дальше будет так или соберешься написать?

Я по пути от вас задержался в Москве ровно на сутки, а потом двинул домой. Сижу как проклятый, кончаю “Тихий Дон”. Газеты терпят меня, чтобы написал о впечатлениях, но я мужественно выдерживаю осаду, учиненную мне корреспондентами, и вместо “впечатлений” пишу роман. Так-то оно надежнее будет!..»

Осенью того же года Шолохов пишет еще два письма Астахову, продолжая зазывать к себе в гости. Сам он ехать никуда не может, так как привязан к дому четвертой книгой «Тихого Дона». «Но уж как-нибудь увидимся! Вольной птицей буду, когда развяжусь с книгой. Летом почти не работал, а теперь приходится наверстывать...»

Последнее — совсем короткое — письмо датировано 24 октября 1939 года. Снова надежда на скорую встречу — на этот раз в Москве.

Состоялась ли эта встреча, неизвестно. Дипломатическая карьера Астахова в это время оборвалась — он был уволен из Наркомата иностранных дел, а вскоре и арестован. Лубянка — Лефортово — Сухановская пыточная тюрьма, лагерь — таков теперь маршрут и конец его странствий.

А за месяц до ареста Астахова был расстрелян человек, в следственном деле которого по прихоти судьбы отпечатался еще один эпизод жизни Михаила Шолохова.

«Теперь хочу довести до сведения следствия о заслуживающем особого внимания обстоятельстве интимной связи Хаятиной-Ежовой с писателем Шолоховым...» Шолохов — любовный соперник кровавого наркома Ежова? Что за бред! Если бы такое написал какой-нибудь сочинитель, мы бы толь-

ко усмехнулись: мели, Емеля!.. Но жизнь фантастичней любой выдумки.

Пришедший на смену Ежову новый нарком внутренних дел Лаврентий Берия заканчивает кампанию по ликвидации своего предшественника и его окружения. В кровавый омут попадает сотрудница Иностранной комиссии Союза писателей Зинаида Фридриховна Гликина, обвиненная в том, что она, завербованная женой Ежова Евгенией Соломоновной Хаютиной-Ежовой, занималась вместе с ней шпионажем в пользу иностранных разведок.

Гликиной предложено подробно изложить все, что она знает о вредительской деятельности вчерашнего сталинского любимца, державшего всю страну в своих «ежовых рукавицах».

И Гликина старается, пишет многостраничные показания — целую тетрадь. Шпионскую свою деятельность она отвергает.

«...Не намерена, однако, представиться совершенно безгрешной и признаю себя виновной в том, что, будучи в курсе антипартийной деятельности Н. И. Ежова, я благодаря своим близким отношениям к жене Н. И. Ежова и лично к нему вследствие безграничной преданности им, скрывала все известное мне в этой части и никому об этом не сообщала. Теперь же, хотя и с опозданием, я считаю своим долгом довести до сведения следствия обо всем, что мне в этой части известно.

Может возникнуть вопрос — что общего у меня с Ежовым? Откуда мне могут быть известны факты его разложения и разврата? Я объясню это.

Познакомилась я с Н. И. Ежовым в 1931 г., когда он женился на Евгении Соломоновне Хаютиной. С Хаютиной же я знакома и находилась в приятельских отношениях издавна. Вместе с ней я училась в Гомеле, а затем часто встречалась в Ленинграде и с 1924 г. в Москве.

До начала 1935 г., несмотря на то что я нередко посещала квартиру Ежовых, отношения мои с Н. И. Ежовым были обычными. Затем между мной и Ежовым установились хорошие отношения. Этому способствовало то обстоятельство, что я в то время развелась со своим мужем... и Хаютина-Ежова предложила мне поселиться в их квартире. Таким образом, приятельские мои отношения с Хаютиной-Ежовой постепенно переносились и на Н. И. Ежова.

Моя исключительная близость с Хаютиной-Ежовой, частое посещение их квартиры дало мне возможность быть до деталей в курсе личного быта Ежова. В силу этого еще в период 1930—1934 гг. я знала, что Ежов систематически пьет и часто напивается до омерзительного состояния... Ежов не только пьянствовал. Он, наряду с этим, невероятно развратничал и терял облик не только коммуниста, но и человека. Из числа конкретных фактов разложения и разврата Ежова, известных мне в большинстве случаев со слов Хаютиной-Ежовой, помню следующие...»

Вот из этих-то бесконечных «конкретных фактов» и состоит в основном заявление Зинаиды Фридриховны. Об антипартийной деятельности — ни слова, что понятно, ибо ее не было и быть не могло у Ежова — достойного сына своей безгрешной партии. Только в конце заявления Гликина добирается до его преступлений:

«...Некоторые лица, в том числе и я, не имевшие никакого отношения к органам НКВД, осведомлялись от почти всегда пьяного Ежова о некоторых конспиративных методах работы Наркомвнудела... Ежов неоднократно рассказывал о существовании Лефортовской тюрьмы, что там бьют арестованных и что он лично также принимает в этом участие. Присутствовавший при этом Фриновский (заместитель Ежова. — В. Ш.) подобострастно хихикал. Ежов в моем присутствии рассказывал также о технике приведения в исполнение приговоров в отношении осужденных к расстрелу. В хвастливом тоне... заявлял о своем личном участии в расстреле осужденных...»

После назначения Л. П. Берии заместителем Наркома Внутренних Дел Союза ССР Н. И. Ежов начал почему-то волноваться и нервничать. Он стал еще сильнее пьянствовать и часто выезжал на работу только вечером. В разговоре со мной по поводу назначения Л. П. Берии Хаютина-Ежова заметила: «Берия очень властный человек, и вряд ли Николай Иванович с ним сработается...»»

Разделавшись с Ежовым, Гликина переходит к своей закадычной подруге:

«Являлась ли Хаютина-Ежова подобна Н. И. Ежову в разложении и разврате или было наоборот, но факт тот, что она

не отставала от него...» Перечислив трех ее законных мужей и вереницу именитых любовников, Гликина называет имя Шолохова. И тут, вероятно, по указке следователя задерживается надолго, дает подробнейшие показания: «Теперь хочу довести до сведения следствия о заслуживающем особого внимания обстоятельстве интимной связи Хаютиной-Ежовой с писателем Шолоховым...»

Вижу предостерегающий жест: ну к чему это? Зачем нам подробности личной жизни знаменитости, еще не удаленной от нас исторической дистанцией, еще не забронзовевшей, не ставшей памятником?

Так как же быть? Что делать, если перед тобой — достоверный документ: спрятать подальше от глаз, снова засекретить, оставить для потомков? На сколько — десять, пятьдесят, сто лет?

Думается все же — обнародовать. Потому что здесь заслуживает внимания вовсе не «обстоятельство интимной связи», а тот беспредел, с которым государство вторгалось в жизнь человека, присваивая его себе без остатка. И тут не спасали ни броня наркомовского мундира, ни громкая писательская слава.

«Весной 1938 г. Шолохов приехал в Москву и по каким-то делам был на приеме у Ежова, — дает показания Гликина. — После этого Ежов пригласил Шолохова к себе на дачу. Хаютина-Ежова тогда впервые познакомилась с Шолоховым, и он ей понравился. Хаютина-Ежова также вызвала у Шолохова особый интерес к себе. На этом, пожалуй, и закончилась их первая встреча.

Летом 1938 г. Шолохов снова был в Москве. Он посетил Хаютину-Ежову в редакции журнала «СССР на стройке», где она работала, под видом своего участия в выпуске номера, посвященного Красному казачеству. После разрешения всех вопросов, связанных с выпуском номера журнала, Шолохов не уходил из редакции и ждал, пока Хаютина-Ежова освободится от работы. Тогда он проводил ее домой. Из разговоров, происходивших между ними, явствовало, что Хаютина-Ежова нравится Шолохову как женщина. Однако особая интимная близость между ними установилась позже. Кстати сказать, Ежов был осведомлен от Хаютиной-Ежовой в том, что ей нравится Шолохов.

В августе 1938 г., когда Шолохов опять приехал в Москву, он вместе с писателем Фадеевым посетил Хаютину-Ежову в редакции журнала. В тот же день Хаютина-Ежова по приглашению Шолохова обедала с ним и Фадеевым в гостинице “Националь”.

Возвратившись домой поздно вечером, Хаютина-Ежова застала Ежова, который очень интересовался, где и с кем она была. Узнав о том, что Хаютина-Ежова была у Шолохова в гостинице “Националь”, Ежов страшно возмутился. В связи с этим случаем мне стал известен один из секретных методов органов НКВД по наблюдению за интересующими его лицами. Я узнала о существовании, в частности в гостинице “Националь”, специальных аппаратов, посредством которых производится подслушивание разговоров между отдельными людьми, и что эти разговоры до мельчайших деталей фиксируются стенографистками.

Я расскажу сейчас, как все это произошло.

На следующий день после того, как Хаютина-Ежова обедала с Шолоховым в “Национале”, он снова был в редакции журнала и пригласил Хаютину-Ежову к себе в номер. Она согласилась, заведомо предчувствуя стремление Шолохова установить с ней половую связь.

Хаютина-Ежова пробыла у Шолохова в гостинице “Националь” несколько часов...

На другой день поздно ночью Хаютина-Ежова и я, будучи у них на даче, собирались уже было лечь спать. В это время приехал Ежов. Он задержал нас и пригласил поужинать с ним. Все сели за стол. Ежов ужинал и много пил, а мы только присутствовали как бы в качестве собеседников.

Далее события разыгрались следующим образом.

После ужина Ежов в состоянии заметного опьянения и нервозности встал из-за стола, вынул из портфеля какой-то документ на нескольких листах, обратившись к Хаютиной-Ежовой, спросил: “Ты с Шолоховым жила?” После отрицательного ее ответа Ежов с озлоблением бросил его в лицо Хаютиной-Ежовой, сказав при этом: “На, читай!”

Как только Хаютина-Ежова начала читать этот документ, она сразу же изменилась в лице, побледнела и стала сильно волноваться. Я поняла, что происходит что-то неладное, и

решила удалиться, оставив их наедине. Но в это время Ежов подскочил с Хаютиной-Ежовой, вырвал из ее рук документ, ударил ее этим документом по лицу и, обращаясь ко мне, сказал: “Не уходите, и вы почитайте!” При этом Ежов бросил мне на стол этот документ, указывая, какие места читать.

Взяв в руки этот документ и частично ознакомившись с его содержанием, с таким, например, местом: “Тяжелая у нас с тобой любовь, Женя”, “уходит в ванную”, “целуются”, “ложатся” и — “женский голос: — Я боюсь...”, я поняла, что этот документ является стенографической записью всего того, что происходило между Хаютиной-Ежовой и Шолоховым у него в номере и что это подслушивание организовано по указанию Ежова.

После этого Ежов окончательно вышел из себя, подскочил к стоявшей в то время у дивана Хаютиной-Ежовой и начал ее избивать кулаками в лицо, грудь и другие части тела. Лишь при моем вмешательстве Ежов прекратил побои, и я увела Хаютину-Ежову в другую комнату. Через несколько дней Хаютина-Ежова рассказала мне о том, что Ежов уничтожил указанную стенограмму.

В связи со всей этой историей Ежов был сильно озлоблен против Шолохова, и когда Шолохов пытался несколько раз попасть на прием к Ежову, то он его не принял.

Спустя примерно месяца два с момента вскрытия обстоятельств установившейся между Хаютиной-Ежовой с Шолоховым интимной связи Ежов рассказывал мне о том, что Шолохов был на приеме у Л. П. Берии и жаловался на то, что он — Ежов — организовал за ним специальную слежку и что в результате разбирательством этого дела занимается лично И. В. Сталин. Тогда же Ежов старался убедить меня в том, что он никакого отношения не имеет к организации слежки за Шолоховым, и поносил его бранью...»

Если бы отношения Шолохова и Ежова ограничивались только этой историей, может быть, не стоило бы ее и трогать: что ж, любовь или флирт — дело частное.

Но архив КГБ преподнес нам и другие свидетельства поединка писателя и палача — отнюдь не интимные. Так что

Сталину приходилось разбираться не с их любовной интригой, как говорит Гликина (вряд ли вождь даже знал об этой интриге), а с вещами куда более серьезными. У Ежова были основания не только ненавидеть, но и бояться Шолохова.

Той самой весной 1938 года, о которой рассказывает Гликина, Шолохов приехал в Москву по неотложному делу — привез письмо самому Сталину. И это было уже не первое письмо. Шолохов обвинял возглавляемый Ежовым НКВД.

Эти обвинения приведены в обнаруженной в лубянском архиве докладной записке члена Комиссии Партийного Контроля М. Ф. Шкирятова (май 1938 года):

«В своем письме на имя товарища Сталина тов. Шолохов выдвигает против работников НКВД Ростовской области ряд обвинений, которые в основном сводятся к следующему.

1. Группа работников УНКВД Ростовской области создала и продолжает создавать ложные дела на честных и преданных Советской власти людей. “Сотни коммунистов, посаженных врагами партии и народа, до сих пор томятся в тюрьмах и ссылках” (из письма т. Шолохова).

2. В органах НКВД Ростовской области к арестованным применяются физические насилия и длительные допросы, толкающие арестованных на путь оговаривания невинных людей и приписывания себе преступлений, ими не совершенных. “Надо покончить, — писал т. Шолохов, — с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным”.

3. Против Шолохова подбирались ложные материалы и распускались провокационные слухи с единственной целью его скомпрометировать. “В такой обстановке, какая была в Вешенской, невозможно было продуктивно работать, но и жить безмерно тяжело. Туговато живется сейчас. Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги” (из письма т. Шолохова).

В своем письме т. Шолохов требовал... привлечь к ответственности работников УНКВД по Ростовской области, повинных в этих преступлениях. Тов. Шолохов писал: “Надо тщательно проверить дела осужденных по Ростовской области и в прошлом, и в нынешнем годах, так как много из них сидит напрасно... Невинные сидят, виновные здравствуют, и никто не думает привлечь их к ответственности” (из письма т. Шолохова)...»

Вспомним: на дворе 1938 год, разгар большого террора. Страна оцепенела от страха. На этом фоне вызов Шолохова, брошенный органам, выглядит отчаянным по смелости поступком: все равно что подписать себе смертный приговор!

Что же затем последовало? Встреча Шолохова со Сталиным. О ней писатель поведал только после смерти вождя гостившему в Вешенской корреспонденту «Литературной газеты» Вадиму Соколову, а тот смог обнародовать эту историю только после смерти Шолохова и даже самой Советской власти, в конце 1994 года. История настолько жива и впечатляюща — журналист сделал запись сразу же, со слов рассказчика, — что хочется оставить ее как есть.

— Весной 38-го года я опять написал Сталину, — рассказывал Шолохов. — Нас всех в бюро райкома было девять человек. Двоих посадили чуть раньше, а тут еще двоих взяли. Жена, Мария Петровна, говорит мне: «Ты, Миша, следующий. Дальше откладывать нельзя. Пиши письмо и сам вези Поскребышеву (помощник Сталина). Дождись ответа в гостинице, сюда без них не возвращайся». Так и поступил: приехал в Москву, прямо на Старой площади передал, как положено, остановился в «Гранд-отеле». Жду день, жду два, неделя проходит. Телефон молчит. Тоска невыносимая, в голове прикидываю: пан или пропал? Написал все, как было: знаю обоих ребят еще по Гражданской, вместе за бандой Фомина гонялись. И вдруг уже под вечер звонок — Саша Фадеев. Не знаю, как разыскал: что же, сукин сын, от друзей прячешься или совсем заматерел? Я ему признался, зачѐм в Москве и чего дождаюсь. А он своим тенорком похохотывается: самое время поужинать, как классики советовали, в «Яре», с цыганами.

Я не сразу согласился, думаю, вдруг ответ сегодня, а я прогуляю. Но Фадеев тоже мужик настойчивый. А что, думаю, так даже и не посидим напоследок, не выпьем на дорожку дальнюю, а хотя бы и близкую, от «Гранд-отеля» до Лубянки — рукой подать. Договорились встретиться прямо в ресторане — это где нынче гостиница «Советская».

Загудели крепко. Сашу в Москве многие любили, узнавали, подсаживались, мужик молодой, хоть и седой уже, краси-

вый. Болтаем — душа нараспашку, мне даже хорошо стало, забыл про свои мысли. А тут через весь зал прямехонько к нашему столику мэтр мчится, и сразу к Фадееву: подскажи, где Шолохов, очень срочно нужно. Саша знакомит нас, а тот заикаться начал: «К те-ле-фо-ну». Шагаю к нему за загородку, трубка лежит, дожидается. Не успел к уху приложить, а оттуда громовым матом: «Где шляетесь, развлекаетесь, — Поскребышев: — Политбюро третий час с тобой разбирается! Выходи к подъезду сразу, машина уже дожидается».

Приехали в Кремль и вприпрыжку вверх, к Поскребышеву. А тот головы не поднимает: «Нализался, шут гороховый», — и подталкивает к какой-то дверце, а там ванная, и сразу под душ. Чуть не кипяток, а вроде бы полегчало. Когда Поскребышев меня из-под душа вытолкнул, чувствую, из флакончика на меня чем-то прыскает, лимоном пахнет. Я подштанники натянул, он протягивает вдруг новенькую гимнастерку с белоснежным целлулоидным воротничком. Из ванны он уже тянет к большой двери и впихивает в кабинет, который я до этого только в кино видел. Паркет блестит, ковровая дорожка от двери к столу буквой «Г». Смотрю, за столом ко мне лицом — сплошь военные. Генералы... Вглядываюсь — ни одного знакомого лица. Впрочем, одного узнал, самый маленький, без нашивок, в такой гимнастерке, как у меня. Личность знакомая, на всех стенках красовался: лисья морда среди «ежовых рукавиц». Так! Значит, и нарком здесь.

А напротив их генеральского ряда спиной ко мне штатские, двоих уже по затылку признал, наши, вешенские. Между ними стул пустой, аккуратно напротив Ежова. Сообразил: мне оставили. Грохнулся, была не была. На столе между нами и генералами — какие-то карты, раскрашенные карты.

Я прислушиваюсь, чего говорит стоящий воинский начальник и чего он карандашом по картам водит. Начинаю сообщать: речь идет о контрреволюционном заговоре белоказачков на Дону, где заговорщики решили выделиться в самостоятельную казачью республику, запаслись оружием в амбарах и переворот подготовили, как раз во время хлебозаготовок. А в будущем свои президенты рассчитывают тов. Шолохова. Меня аж подбросило на стуле.

Оглядываюсь, кому это он все докладывает? Тем, что во главе стола, за перекладной этого самого «Т». Их я уж точно по портретам узнаю, Политбюро в полном составе. Одно кресло, как мой стул давеча, пустое. А где же усатый? Только тут стал прислушиваться, кто-то за нашей спиной вышагивает, тихо, по ковру едва слышно. Заглядываю через плечо, точно он, как есть, трубочкой размахивает и шагает от перекладки до двери, потом обратно. Вдруг совсем притихли шаги, остановился как раз за моей спиной, посапывает, потягивает ноздрями. И как пророк с неба: «Говорят, много пьете, товарищ Шолохов?» А я, не вставая со страху, подбородок на кулаке, отрезал не думая: «От такой жизни запьешь, товарищ Сталин». Слышу, опять зашагал. А за перекладной не все гладко: вижу, Молотов пальцами усики разглаживает, улыбку скрывает, а Каганович с ним рядом, под стол нагнулся, будго шнурок завязывает, плечи над столом подпрыгивают. Кажется, пронесло!

Сталин к креслу подходит, садится крепко, до конца, и головой кивает:

«Что же, будем решать, товарищи». Пауза. «А вы свободны...» Все в минуту головы вывернули, смотрят, куда его палец показывает. А пальца нет! Генералы поднимаются и как по линейке, через левое плечо, к двери потянулись. А мы, вешенские, засуетились и пустились догонять, а когда поравнялись, сдержали себя, не спешили первыми в дверь выскочить, так и тянулись минуту, как гуси, углом к солнцу.

Слышу сзади тот же голос с акцентом: «Нет, вы останьтесь», — оглядываемся разом, где палец, кого возвращает. Оказалось, Ежова с генералами... А мы вмиг у Поскребышева в предбаннике. Вижу, ребятам всем — и тем, кого с Лубянки привезли, и кто из Вешенской приехал, — билеты на поезд приготовлены, а для меня записка в гостиницу с распоряжением «без срока»... Но я особенно задерживаться не стал, утром позвонил Фадееву, а днем отправился назад к Марье Петровне...

Если вспомнить, что Ежов в том же, 1938 году был отстранен от руководства НКВД, возникает вопрос: не помогло ли этому и обращение Шолохова к Сталину?

Жизнь самого Шолохова тогда уж точно висела на волоске. Есть и еще свидетельства о том, как вождь отвел от писате-

ля расправу со стороны ростовских чекистов, ссылавшихся на «приказ Сталина и Ежова». При беседе с Шолоховым в присутствии Ежова вождь спросил:

— А вы не боитесь с нами поссориться? — И даже пошутил: — Ну что, Николай Иванович, будем снимать с него кавказский поясок?..

Однако, попугав, решил иначе:

— Великому русскому писателю Шолохову должны быть созданы хорошие условия для работы.

Веселые ребята

Осенью 1933 года в Гаграх, на теплом берегу Черного моря, шли съемки фильма «Веселые ребята» — первой и едва ли не самой популярной советской музыкальной кинокомедии. Работа собрала будущих звезд экрана: артистов Любовь Орлову и Леонида Утесова, режиссера Григория Александрова, композитора Дунаевского. Комедия пережила все режимы и пользуется неизменным успехом и сейчас, в постперестроечное время.

Но вот если спросить восторженную публику, кто написал сценарий этого киношедевра, на такой вопрос мало кто ответит. За историей «Веселых ребят» кроется совсем не веселая история. Авторы сценария не только были вычеркнуты из титров фильма, но и на долгие годы отлучены от нормальной жизни, объявлены преступниками. Это потрясающий образ двойной сути советского бытия, в котором при ослепительно бодром марше колонн энтузиастов, шествующих в светлое будущее, в том же времени и пространстве двигались под лязг винтовочных затворов, матюки и лай конвойных собак миллионные колонны заключенных — в гулаговский ад, навстречу смерти. И главный режиссер этой фантазмагории, подписав днем расстрельные списки на несколько тысяч человек, в тот же вечер с удовольствием хохотал над забавными приключениями «Веселых ребят».

Перед нами — следственное дело двух сценаристов этого фильма, Николая Эрдмана и Владимира Масса, и приложение к нему, ворох рукописей, изъятых при обыске. И в этом ворохе — кипа еще неизвестных, не услышанных никем...

«Как же слово не страшно? Слово не воробей, выпустишь — не поймашь. Так вот, знаете, выпустишь — не поймашь, а за это тебя поймают и не выпустят... Ну, была не была!..»

Здравствуйте! Начнем аб ово, то есть с яйца. Карл Маркс был неизмеримо прав, когда он сказал... э... я не помню в точности, что он сказал, но я в точности помню, что что бы он ни сказал, он бывает всегда неизмеримо прав...

В чем у нас заключается идеология? В репертуаре. Репертуар бывает выдержанный и невыдержанный. Выдержанный репертуар уже нельзя выдержать, а невыдержанный репертуар уже нельзя удержать...

Советская общественность утверждает с присущей ей справедливостью, что на двенадцатом году революции развлекательные пьесы вредны пролетариату. Поэтому мы выбрали пьесу революционную, и мы твердо уверены, что на двенадцатом году революции она уже никого развлечь не сможет...» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу. Сцена к водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин»).

А осенью 1933-го, на теплом берегу Черного моря, съемки «Веселых ребят» в самом разгаре. Работа идет дружно, с радостным подъемом. Режиссер Александров дает интервью журналистам:

— Наша комедия является попыткой создания первого веселого советского фильма, вызывающего положительный смех. Для осуществления фильма мы внедряем новую форму сценария (Н. Эрдман и Вл. Масс), в которой обозрение переплетается с сюжетом и интригой...

Николай Эрдман и Владимир Масс — два талантливых остроумца, уже известных в мире искусства. Оба — на творческом взлете. В театре Мейерхольда с триумфом прошла пьеса Эрдмана «Мандат», в другом театре — мастерской Фореггера, на Арбате, — буффонады Масса. С эстрады звучат песенки, скетчи и конферансы обоих авторов. Их остроты, слетая со сцены, разносятся по московским домам и улицам, становятся ходячими выражениями.

«Когда иностранец или провинциал попадает в Москву и видит, как постовые милиционеры, читая с листа гениальную

партитуру городского движения, дирижируют своими красными палочками, он не подозревает, что в сорока минутах езды от центра Москва приседает так низко на корточки, что за ее спиной виден лес. В центре города высокие здания и широкие площади, в центре города пешеходы, наступая друг другу на ноги, все чаще и чаще думают о метрополитене. На окраине Москвы дети играют на немощеных дорогах, и гуси разгуливают по дворам как полноправные горожане. Там я родился и живу в продолжение двадцати пяти лет. Там же рождаются и живут герои моей комедии. Мать моя русская, отец немец. Учился я в Петропавловском реальном училище. С первого класса начал писать стихи. Кончив реальное училище, напечатал свое первое стихотворение и поступил в Археологический институт, но вскоре карандаш ученика и перо стихотворца сменил на винтовку красноармейца. 1919-й и 1920-й грозные и прекрасные годы провел на фронте. Во время стоянок придумывал песни, а во время походов распевал их вместе со своей ротой. Неповторимое время, когда каждому поющему казалось, что ему подпевают вся Россия. Вернувшись в Москву, присоединился к группе поэтов-имажинистов. В то время в Москве был бумажный кризис, и имажинисты писали свои стихи на стене Страстного монастыря. В ту пору голодные москвичи шли по несколько верст в изодранных валенках, чтобы наполнить нетопленный зал Политехнического музея и послушать новые наши произведения. Никто никогда не умел так слушать поэзию, как эти голодные люди. Как звонко свистели они и как бешено аплодировали! Потом я начал работать в театрах, в маленьких театрах, рожденных революцией. В них я учился трудному и радостному искусству драматурга. В 1924 году я написал свою первую большую пьесу "Мандат". Пьесу о лишних людях, которые живут "за заставой". Блестящий режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд поставил ее в своем замечательном театре, где она и идет до сих пор. После его постановки "Мандат" перевели на украинский и тюркский языки, и он прошел в 120 городах моей необъятной родины. Два года тому назад я совершил поездку по Германии и Италии, поездку, которой я обязан знакомству с прекрасными немецкими актерами, виденными мною в Берлине. Сейчас я кончаю новую пьесу, после чего сажусь за роман, для которого все это время

собирал материалы и делал наброски...» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу).

Всегда всех поражал его почерк — каллиграфический, бисерный, мелкими печатными буквами, каждая сама по себе — под стать его творческому почерку — чеканному, афористичному, колкому.

Эрдман писал автобиографию в 1927 году, это было время его триумфа. Станиславский, Мейерхольд, Луначарский, Горький восхищались талантом двадцатисемилетнего сатирика, считали его продолжателем традиций Гоголя, Сухово-Кобылина и Щедрина. Первая же пьеса Эрдмана, «Мандат», была признана вершиной советской драматургии. «Научите меня писать пьесы!» — говорил ему Маяковский.

За внешним блеском карнавала не все еще увидели глубинную суть: Эрдман разоблачал не частные недостатки людей, а самую репрессивно-бюрократическую систему. «Без бумаг коммунисты не бывают». И больше — уже и человека нет. А в новой комедии со зловещим названием «Самоубийца», которая уже пишется и будет потом скандально запрещена, главным героем станет страх.

«Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить!» — распевает главный герой «Веселых ребят». В таком настрое живут и авторы фильма. Картина обречена на успех. Улыбки не сходят с лиц. Единственная неприятная нота, ворвавшаяся в эту безмятежную музыку, — письмо, полученное Массом из Москвы от его приятельницы, актрисы Сонни Магарилы (сохранилось в следственном деле).

«Милый Владимир Захарович!

...Несколько дней тому назад была запрещена... книга о Н. Н. Акимове (известном ленинградском художнике и режиссере. — В. Ш.), запрещена в тот момент, когда весь тираж был уже готов... Книга запрещена из-за того, что в ней имеются Ваш и Николая Робертовича портреты... По требованию московского Главлита из книги должны быть изъяты не только ваши портреты... но и даже страничка, где просто есть ваши фамилии.

Это настолько отвратительная история, что комментарии не требуются, а фельетон Михаила Кольцова был бы весьма

уместен. Мне хотелось поставить Вас в известность об этом случае, так как, мне кажется, пройти мимо, не выяснив этого вопящего дела, не стоит... Мой дружеский совет: ни в коем случае не оставляйте этого дела, и если это просто переусердствовавший дурак, дайте ему по шее...

Если вы считаете нужным, сообщите эти приятные новости вместе с моими сердечными приветами Николаю Робертовичу...

Только не будьте интеллигентом и не оставьте это происшествие без выяснения...»

Почитали, обсудили, отмахнулись: глупость какая-то! Разберемся в Москве! Веселья, царившего в гагринской гостинице «Гульрипш», это не поколебало. Два остроумца по-прежнему в центре внимания, общие любимцы. По вечерам, в ресторане, за их столиком — тесная компания, взрывы смеха. Навещает гостиницу и местное начальство, вместе со всеми пирует симпатичный начальник ГПУ Геладзе — заказывает жареных куропаток, вино «Букет Абхазии», произносит тосты, катает актрис на своем роскошном автомобиле с открытым верхом...

Поздним вечером 11 октября эта самая машина подкатила к гостинице — и веселье разом оборвалось. Через несколько минут в ней сидел Владимир Масс, а по бокам — двое в черной коже, с пистолетами.

Случилось это у всех на виду.

— Владимир Захарович, куда же вы без плаща? — крикнул в окно Утесов и выбросил другу свой плащ.

Увезли Массу, а через час приехали за Эрдманом.

Если бы операторы сняли эту сцену на пленку, для фильма, то он получился бы не менее захватывающим, правда, перешел бы тогда совсем в другой жанр — политического детектива, да и название пришлось бы менять.

— А что я мог сделать? — оправдывался Геладзе, когда наутро его атаковали возмущенные артисты. — Мне ночью пришла телеграмма из Москвы — арестовать! Я же не мог не подчиниться!..

А Эрдман и Масс были уже далеко. В поезде, увозившем их в столицу, соавторов разделили: каждый сидел в отдельном купе, с вооруженным охранником у двери.

Гагры сменились Лубянкой, съемочная площадка и ресторан — тюремной камерой и кабинетом следователя, сценарий «Веселых ребят» — серенькой папкой с надписью «Дело № 2685».

Родные, друзья и знакомые Эрдмана и Масса в один голос говорят, что поводом к их аресту стал инцидент, происшедший на одной кремлевской вечеринке у Сталина. Знаменитый артист Качалов читал там своим чарующим бархатным голосом что-то из классики.

— Почитайте нам что-нибудь новенькое и интересное, — попросил Хозяин.

И захмелевший артист начал читать басни Эрдмана и Масса. Что именно, никто не помнит.

Может быть, Качалов читал вот это?

Вороне где-то бог послал кусочек сыра...

— Но бога нет!

— Не будь придира:

Ведь нет и сыра.

Или мастер художественного слова предложил высокому вниманию такое:

Однажды ГПУ явился к Эзопу.

И хватъ его за жопу!

Смысл басни сей предельно ясен:

Довольно этих самых басен.

Качалов читал, все смеялись, а потом вдруг притихли. Остановился и артист.

— Кто автор этих хулиганских стихов? — прорезал тишину отрезвляющий голос.

Советский царь шутов не любил и не держал.

Говорят, после ареста Эрдмана и Масса бедный Качалов чуть не покончил с собой, запил, приходил к родным пострадавших, предлагал денежную помощь.

На Лубянке баснописцам пришлось поработать в новом для себя жанре — жанре показаний. И здесь они получили в соавторы опытного мастера — оперуполномоченного Сек-

ретно-политического отдела Николая Христофоровича Шиварова, большого специалиста по литературным делам. Его соавторство в протоколах допросов легко определить по словарю, состоящему всего из трех слов: контрреволюционный, враждебный, антисоветский. 15 октября Шиваров допрашивал Эрдмана, в протоколе читаем:

«Я автор ряда контрреволюционных литературных произведений, так называемых “басен”, получивших широкое нелегальное распространение по Москве и другим городам Союза. Ответственность за сочинение и нелегальное распространение этих басен несу я и соавтор Владимир Масс. Мы их читали не только в кругу близких друзей, но подчас и в кругу случайных знакомых. Контрреволюционный характер многих из этих басен настолько отчетливо выражен, что они заведомо предназначались не к гласному, легальному опубликованию, а только к нелегальному распространению.

Я отчетливо сознавал политическую ответственность, которую возлагало на нас широкое распространение этих басен, и то враждебное политическое воздействие, которое они оказывали в определенных общественных кругах. Я сознавал и сознаю, что на меня ложится ответственность также и за распространение этих басен не только нами, но и другими лицами, слышавшими их от нас или получившими их от нас в списках. Оговариваюсь, что лично я давал в списках несколько басен только один раз артисту Качалову.

Наконец, сознавал и сознаю, что на меня ложится ответственность и за басни антисоветского характера, которые я сам (или вместе с Массом) не писал, но которые являлись подражанием того жанра, который мною, совместно с Массом, был создан.

К басням, которые я считал заведомо не подлежащими опубликованию в силу их контрреволюционного содержания, относятся: “Однажды наклонилась близко”, “Гермафродит”, “Самогонный аппарат”, “Девушка и цветок”.

К басням антисоветским по своему содержанию, но которые я полагал возможным опубликовать, относятся: “Мартышка и очки”, “Полено и топор”, “Верблюд”, “О цитатах”, “Бочар и липа”, “Муки творчества”, “Термометр”...»

Следователь наткнулся в бумагах арестованного на списки людей, известные фамилии которых были выстроены в столб-

цы, аккуратными шеренгами: что за организация? Долго не мог понять и не верил объяснениям...

Эрдман потом, спустя много лет, рассказывал друзьям:

— Когда-то я играл с собою в такую игру: кто придет на мои похороны. Вполне длинноватый получился список. Тогда я стал составлять более строгий список — кто придет на мои похороны в дождливый день. Получился много короче...

Я никак не мог объяснить следователю, что это за списки такие, мерзавец, вражина, вкручиваю ему, что взрослый идиот играет с собой в какие-то игры. Вызывали по списку почти всех. А тех, кто в дождливый день, — по несколько раз...

Шутки Эрдмана приобретали на Лубянке опасную остроту. Затем следователь допросил Массу.

Он, как и Эрдман, ничего не угаивал. Их ответы почти совпадают. Соавторы и здесь были едины, предпочли не сражаться со следствием, «разоружились» сразу.

«Я, совместно с Николаем Эрдманом, являюсь автором большого количества стихотворных сатирических произведений, так называемых басен... Широкое распространение этих басен, несомненно, оказывало враждебное, антисоветское воздействие на определенные общественные круги. Мало того, эти контрреволюционные басни вызвали подражание. Получили широкое нелегальное распространение контрреволюционного содержания басни, авторы которых оставались нам неизвестными, но авторство приписывалось нам...

Принимаю на себя ответственность за все здесь мною заявленное, а именно: за авторство контрреволюционных басен, за их нелегальное распространение как мною, так и другими лицами, а также за создание особого жанра антисоветской сатиры, являющегося действенным орудием для врагов диктатуры пролетариата».

Подумать только — создали целый жанр в литературе! Гордиться бы надо — и втайне наверняка гордились, — а тут приходится отречься и каяться.

На самом деле это была высокая оценка — если такая mogućая, незыблемая власть считает их опасными врагами!

На Лубянке Эрдман пережил еще одну — невероятную, классическую — сцену: свидание со своей тайной любовью —

Ангелиной Степановой, актрисой МХАТа. Бесстрашная женщина добилась встречи с ним через одного из кремлевских воротил — Авеля Енукидзе.

— Что заставляет вас так неверно и необдуманно поступать? — спросил пораженный секретарь Президиума ЦИК.

— Любовь! — был ответ.

Облава на сатириков не ограничилась Эрдманом и Массом: в те же дни, что и они, были схвачены в Москве еще два представителя того же жанра — Михаил Вольпин и Эммануил Герман (Эмиль Кроткий).

Через полтора месяца после ареста «веселые ребята» — весь цех баснописцев — были уже далеко в Сибири, приговоренные к трехлетней ссылке: Эрдман — в Енисейск, Масс — в Тобольск, Герман — в город Камень; Вольпин того хуже — заключен в концлагерь за какие-то старые счета с ГПУ.

Под первой телеграммой, которую получила мать Эрдмана из Сибири, стояла подпись неистощимого остряка — «Мамин-Сибиряк». Масс отправился на Лубянку в утесовском плаще. Теперь Эрдман спасался от морозов в шубе, подаренной ему Мейерхольдом.

Дело баснописцев положило начало разгрому смеховой культуры советского времени. Жало у сатиры вырвали. Сатириков оставили в живых, но напугали до смерти, превратили в юмористов. Платой за жизнь было призвание, талант. Отныне они будут обречены вызывать у публики только «положительный смех».

«— Ну как?

— Не то! Не то! Типичное не то!

— Почему?

— Не чувствуется!

— Чего?

— Связи.

— Какой?

— Крепкой.

— С чем?

— С главным!

— Но нам бы хотелось по существу!..

- Вам бы хотелось по существу?
- Да.
- Плохо!
- Почему?
- Не заражает.
- Чем?
- Чем-то.
- То есть как?
- Не дает.
- Чего не дает?
- Ничего не дает.
- Кому?
- Им.
- Кому им?
- Массам.
- Каким?
- Отсутствующим.
- Что же нам делать?
- Нужно драться.
- Для чего?
- Чтобы покончить.
- С чем?
- С этим!
- С чем с этим?
- С тем, что было.
- Для чего?
- Чтобы не было. Нам надо драться за то, чтобы не было того, что было, и чтобы было то, чего не было» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу).

Дальнейшая биография Николая Эрдмана — это скитания по стране: ссылка — Енисейск, Томск, потом «Минус десять» — вольное поселение с запретом жить в десяти крупнейших городах страны. Короткие незаконные наезды в Москву.

В 1938 году друг Эрдмана Михаил Булгаков сделает попытку изменить его положение — отправит письмо Сталину.

Подлинник этого известного письма хранится в следственном деле № 2685. Штампы и резолюции поместили

его путь — из Особого сектора ЦК ВКП(б) в НКВД, где оно и было похоронено.

Обращение Булгакова не помогло — вернуться в столицу Эрдману было отказано. Вышел на экраны еще один киностеллер по сценарию его, М. Д. Вольпина и Александрова — «Волга-Волга», и снова без его имени.

— Не в той стране родился и не в то время попал, — говорили про него друзья.

Калинин — Вышний Волочек — Торжок — Рязань — Ставрополь... Такова его одиссея. Когда-то он вместе с Массом изобразил легендарного грека в обозрении для Ленинградского мюзик-холла. Смеха было много. Потому что Одиссей со товарищи по велению авторов сделались их современниками — «одесситами». А потом рукопись попала на Лубянку. Попала — и пропала...

Литературное приложение к следственному делу.

Из «Одиссеи», обозрения в трех актах Гомера, в обработке и под редакцией Н. Эрдмана и В. Массы:

«Вступительное слово помощника режиссера перед закрытым занавесом:

— Дорогие товарищи! Сейчас вы увидите “Одиссею”, популярное обозрение слепца Гомера, автора нашумевшей “Илиады”. Почему нам, товарищи, близок Гомер? Потому что он умер. Я считаю, что смерть — это самое незаменимое качество для каждого автора. Живого автора у нас хоронят после каждого представления, поэтому, если он хочет подольше жить, он должен немедленно умереть. Правда, товарищи, Гомер сделал непозволительную ошибку тем, что он умер за три тысячи лет до Октябрьской революции. Этого пролетариат ему не простит. Но я твердо уверен, что, если бы он был жив, он был бы с нами и мог бы лучше других увидеть наши театральные достижения, потому что он был слепой. Я не вправе скрывать от вас, что некоторые ученые утверждают, что Гомера вообще не было... Итак, дорогие товарищи, Гомера не было. Спрашивается, почему? Потому что в жутких условиях капитализма никакого Гомера, само собой разумеется, быть не могло. Теперь же, товарищи, без сомнения, Гомер будет.

Когда — не знаю, но будет обязательно. Но так как того Гомера, который будет, нету, нам поневоле пришлось поставить того Гомера, которого не было...»

Телемак предлагает Пенелопе женихов одного за другим. Она всех отвергает. Вот один, «холостой, богатый, ответственный».

Пенелопа. Говорят, Телемакушка, он идейный.

Телемак. Идейный! Что же вы хотите, мамаша, чтобы человек совершенно без недостатков был? Идейный! Он идейный с десяти до четырех. С десяти до четырех все идейные. Всем кушать хочется. Нынче без идеологии не то что поесть, а и закусить не на что.

Пенелопа. Я, Телемакушка, не привыкла...

Телемак. А вы привыкайте. Если бы вы, мамаша, в Спарте жили — тогда дело другое. А раз вы, мамаша, в Итаке живете, то, как говорит народная мудрость, — по идеоложке протягивай ножки...

(Появляется еще один жених.)

Телемак. ...Виноват, а вы кто?

Жених. А я просто так вот, никто... человек.

Телемак. Человек... Ну хотя бы в какой-нибудь организации вы состоите или нет?

Жених. Нет, я сам по себе.

Телемак. Я вас отказываюсь понимать. Сам по себе человек ничего из себя не представляет. Сам по себе человек — это мистика».

«Вторая речь помощника режиссера перед закрытым занавесом:

— ...Кто такой, товарищи, Одиссей?.. Почему он у нас не герой? Потому что в нашу героическую эпоху героев быть не должно. Что такое герой? Герой — это оторванный от масс безответственный человек, который действует совершенно один и отвечает сам за себя. Мы решили укрупнить эту фигуру. У нас Одиссей не безответственный герой, а ответственный человек, а у всякого ответственного человека, как известно, есть секретарь, поэтому он действует не один и за него отвечает другой...»

Из речей Одиссея:

«— Сейчас мы приближаемся к неизвестной стране. Что мы можем в ней увидеть? Что она цветет. Что мы можем о ней сказать? Что она прогнила. Помните, что все, что вам понравится в этой стране, должно вызывать у вас отращивание...

(Гром.)

Прошу запротоколировать гром под видом аплодисментов...

— Товарищи! Вот уже двадцать лет, как мы выходим сухие из воды и стремимся в родную Итаку, преследуемые Посейдоном. Мы прошли между Сциллою и Харибдой, мы отбились от злобных Кикон и надули Цирцею. Для чего же мы это сделали? Чтобы достигнуть Итаки. Что есть мы с точки зрения итакизма? С точки зрения итакизма мы творцы и создатели. Что мы, братцы, создали своими руками? Мы создали своими руками разрушение Трои.

(Молния, гром.)

Прошу запротоколировать гром под видом аплодисментов».

Одиссей и «одесситы» после множества приключений убегают из Америки.

«Статуя Свободы неожиданно сходит с пьедестала и подает Одиссею руку. Факел, который она держит в другой руке, вспыхивает.

Статуя Свободы. Подождите меня. Я с вами.

Одиссей. Мадам, я к вашим услугам. (Прикуривает от факела.) Вы разрешите? Я всегда мечтал прикурить от вашего факела. Идемте, мои друзья.

Сюда я больше не езду.

Забыв всю эту лживую систему.

Идти туда, вперед, где есть намерение

Пусть на какой-нибудь, но красный уголок.

Трирему мне... трирему...»

После кораблекрушения Одиссей и его секретарь Лизистрат выходят на сцену в одних трусах, мокрые и обвешанные водорослями. В руках у Лизистрата портфель.

«Лизистрат. Уф! Спаслись! И форма спаслась, и содержание.

Одиссей. Какая форма?

Лизистрат. Человек, Одиссей Лаэртovich, это только форма, а содержание человека — это портфель. Вот оно, содержание наше. (Открывает портфель. Из портфеля течет вода.) Батюшки, одна вода...»

Представление заканчивается тем, что «корабль бюрократизма, попавший в бумажную бурю, гибнет в чернильном море. Порыв свежего ветра опрокидывает корабль».

И затем следует «общий танец физкультурного характера» — «Апофеоз».

1941-й. Фильму «Волга-Волга» присуждена Сталинская премия. А Эрдман — на войне, сапер, отступает со своей частью от немцев и, пройдя пешком около шестисот километров, сваливается в госпитале в Саратове. И там вдруг неожиданный вызов — в Москву!

Друзья похлопотали — он зачислен на новую службу. И куда — в ансамбль песни и пляски НКВД! Лучшие силы искусства, весь советский бомонд: композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Юткевич, актер Юрий Любимов, художники Вильямс и Рындин, балетмейстер Асаф Мессерер. Вот только либреттистов не хватало!

В клубе Лубянки Эрдман, худой, изможденный, вместе с так же всплывшим из небытия Михаилом Вольпиным примеряет перед зеркалом чекистскую новую шинель.

— У меня, Миша, — говорит Эрдман, — у меня такое впечатление, будто я привел под конвоем самого себя...

И поселяют их тут же, при клубе, на Лубянке.

Ансамбль песни и пляски НКВД гремит на всю страну, ездит по фронтам, театрализованные представления следуют одно за другим — «Отчизна», «Русская река» и, наконец, «Весна победная»... А нереабилитированный сценарист все это время продолжает незаконно жить в Москве под крышей НКВД, в самой пасти зверя.

— Ну кому бы пришло в голову организовать Ансамбль песни и пляски гестапо? — горько иронизировал потом Эрдман.

Однажды получают задание: создать песню о железном наркоме — Берии.

— Есть такой и тексток, и мотивчик, — шутит кто-то. — Цветок душистых прерий, Лаврентий Павлыч Берия...

— А ну-ка все отсюда — брысь! — крик Эрдмана. — Ты что, спятил?..

Право жить в Москве он получил только в 1949 году, уже после того, как Ансамбль песни и пляски был расформирован. А вскоре на экраны вышел фильм «Смелые люди» по сценарию Эрдмана и Вольпина и тоже получил Госпремию СССР. На сей раз их имена в титрах появились — это была негласная реабилитация (официальная случится только еще через полвека — в 1989 году).

Что известно о последних годах жизни Николая Эрдмана? Писал многочисленные сценарии фильмов, мультфильмов, либретто оперетт, скетчи для эстрады и цирка, инсценировал классиков для театра Юрия Любимова на Таганке. После смерти первой жены женился второй раз, потом третий. Был по-прежнему душой общества, самым остроумным собеседником. Играл на бегах, где называл себя «долгопроигрывающей пластинкой». Много пил. Говорил, что пишет пьесу. Не написал. И ничего конгениального своей молодости уже не содал. «Тот» Эрдман превратился в легенду, «этот» — прикусил язык, похоронил свой талант заживо.

Уже умирая, с больничной койки сказал Любимову, подвел невеселый итог:

— В-видимо, Ю-юра, вы были п-правы, когда втягивали меня все время в игру! Ведь, ну уж, я же долго играл на бегах, но почему-то вышел из игры в искусстве, а уж, наверное, так суждено, надо уж до конца играть.

Пьесы Николая Эрдмана «Мандат» и «Самоубийца» были впервые опубликованы уже в годы перестройки, первая книга его вышла в свет в 1990 году, через двадцать лет после смерти автора. Точно по «Самоубийце»: «В настоящее время то, что может подумать живой, может высказать только мертвый».

«Жили мы тихо, симметрично.

* * *

Нового поколения я не знаю. Старое поколение меня не знает.

* * *

Все попытки (а их было много): заработать на встречу с Тобой разбиваются в пух и прах. Красные карандаши Цензуры вычеркивают мою жизнь строчка за строчкой. Иногда мне кажется, что бумага может не выдержать и порвется.

* * *

Живем мы на этой земле, как стрелки на циферблате. Кружимся на одном месте, а время уходит.

* * *

Кто есть Пушкин? Пушкин есть зарытый в землю талант.» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу).

Поэт Мариенгоф вспоминал о разговоре, происходившем в годы революции между Николаем Эрдманом и Сергеем Есениным.

— Поотстал ты, Николаша, в славе, — говорит Есенин. — Ты приколот к памятнику «Свобода», что перед Моссоветом, здоровенную доску — «Имажинисту Николаю Эрдману»... Доска твоя все равно больше часа не провисит. А разговор будет лет на пять. Только бы в Чекушку тебя за это не посадили.

— Вот то-то и оно! — отвечает Эрдман. — Что-то не хочется мне в Чекушку. Уж лучше буду неизвестным.

Эрдман все-таки стал знаменитым — и угодил в Чекушку. С тех пор он предпочел быть неизвестным.

«Настоящие местности — душа и совесть»

«Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики, — говорил Илья Эренбург. — Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали?»

Действительно, почему?

Борис Пастернак прожил жизнь под жестким контролем и насилием власти. Гибельный удар мог последовать в лю-

бую минуту. Карательные органы не раз подводили его к этой черте — в лубяньских архивах есть тому десятки свидетельств.

Пастернака могли арестовать в 1933 году, когда был взят и отправлен в ссылку его давний друг, писатель Сергей Бобров, взят вместе с уликой — рукописью «антисоветской, контрреволюционной» повести «Близлежащая неизвестность». Среди лиц, которым он читал эту повесть и которые приняли ее «как сатиру на положение в СССР», Бобров назвал Пастернака. Мало того, Пастернак способствовал распространению повести. В деле Боброва есть еще одна улика — подлинник неизвестного письма ему Пастернака (дата не поставлена, но письмо можно отнести к периоду между днем, которым датирована повесть Боброва, и днем его ареста: 5 октября 1931 — 28 декабря 1933 года):

«Арбат, Большой Николо-Песковский пер., д. 5, кв. 9.
С. П. Боброву:

Дорогой Сережа!

Приходи, пожалуйста, не сегодня, а завтра (8-го) вечером в 9 часов. Будут Зелинский и Динамов (ред. «Лит. газеты») Принеси, пожалуйста, рукопись «Близлежащей неизвестности», мне очень бы хотелось, чтобы она была при тебе, не предрешая того, будет ли чтение, в тот же ли вечер или в другой, и т. д. Но завести разговор о ней мне бы хотелось при Д., это одно, а другое — ее не знают Зина и Генр. Густ., — принеси, не забудь, пожалуйста. Приходи непременно с Марией Павловой, если свободна.

Твой Борис».

Налицо не только знакомство с опасной рукописью, но и пропаганда ее — Пастернак хочет дать повести ход, организует чтение ее, на которое приглашается целая компания: литературные критики Зелинский и Динамов, известный пианист Генрих Густавович Нейгауз с женой, жена Боброва — переводчица Мария Павловна Богословская.

Пастернака могли арестовать в 1937 году по показаниям другого преступного писателя — Бориса Пильняка, который назвал его ближайшим другом и единомышленником. И в том

же году Пастернак отказался подписать коллективное письмо литераторов, одобряющее казнь Якира, Тухачевского и других военачальников. Зная, чем это ему грозит, он обратился через голову НКВД прямо к Сталину.

«Я писал, — вспоминал он впоследствии, — что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали».

Эта нравственная оглядка на снежные пики русской литературы вообще была свойственна Пастернаку — в отличие, положим, от его друга Маяковского, призывавшего «сбросить Пушкина с парохода современности», — не раз помогала ему в жизни, не позволяя падать.

Вождь не ответил поэту, а арест тогда, в 1937-м, предотвратила сама власть — просто взяла и поставила имя Пастернака среди других под опубликованным позорным писательским письмом.

Пастернака могли арестовать и в 1939 году по показаниям Михаила Кольцова и Всеволода Мейерхольда, судимых и расстрелянных в один день.

После многомесячных пыток Кольцов дал показания (23 марта) об особо опасных связях Пастернака с буржуазными писателями Запада. Начал он с инцидента на Международном писательском конгрессе 1935 года в Париже:

«Председательствующий на Конгрессе Андре Жид всячески демонстрировал свои восторги перед СССР и коммунизмом, однако одновременно за кулисами проявлял недоброжелательство и враждебность к советским делегатам и иностранным коммунистам. Эренбург, являвшийся уполномоченным от Андре Жида и французов, заявил от их и своего имени недовольство составом советской делегации и, в частности, отсутствием Пастернака и Бабеля. По мнению Жида и Эренбурга, только Пастернак и Бабель суть настоящие писатели и только они по праву могут представлять в Париже русскую литературу. После первых выступлений советских делегатов А. Жид заявил, что восхваление хорошей жизни писателей в СССР производит на Конгресс очень плохое

впечатление: “Получается, что писатели являются в России сытой, привилегированной кастой, поддерживающей режим в своих шкурных интересах”. На третий день Конгресса Жид передал через Эренбурга ультиматум... или в Париж будут немедленно вызваны Пастернак и Бабель, или А. Жид и его друзья покидают Конгресс. Одновременно он явился в полпредство и предъявил... такое же требование. Пастернак и Бабель были вызваны и приехали в последний день Конгресса. С Пастернаком и Бабелем, равно как и с Эренбургом, у Жида и других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. Жид говорил, что только им он доверяет в информации о положении в СССР — “Только они говорят правду, все прочие подкуплены”... Связь Жида с Пастернаком и Бабелем не прерывалась до приезда Жида в Москву в 1936 г. Уклоняясь от встреч с советскими деятелями и отказываясь от получения информации и справок о жизни в СССР и советском строительстве, Жид в то же время выкраивал специальные дни для встреч с Пастернаком на даче, где разговаривал с ним многие часы с глазу на глаз, прося всех удалиться. Зная антисоветские настроения Пастернака, несомненно, что значительная часть клеветнических писаний Жида, особенно о культурной жизни в СССР, была вдохновлена Пастернаком...»

Реакция органов на признания Кольцова была незамедлительной: «По его показаниям необходимо произвести дополнительные аресты названных им участников антисоветской организации».

Подобные же выводы сделаны и по делу Мейерхольда: «Уточнить обстоятельства его связи и привлечения к контрреволюционной организации Б. Пастернака и Ю. Олеси».

И нужные уточнения Мейерхольд дал. Правда, вскоре, едва придя в себя после истязаний, он откажется от них:

«Я не вел с Б. Пастернаком никаких разговоров... против партии и правительства... Я не вербовал в троцкистскую организацию ни Б. Пастернака, ни Ю. Олешу... ни Д. Шостаковича. Никакие задания перед этими лицами я не ставил. Группа этих писателей и музыкантов была сплочена на базе единства взглядов в области искусства, не носила на себе троцкистских влияний. Б. Пастернаку никаких заданий подбирать ан-

тисоветски настроенных писателей в троцкистскую организацию не давалось мною. Б. Пастернак никогда не говорил мне, что будто бы он вовлек в антисоветскую троцкистскую организацию С. Кирсанова и О. Брика...»

О том же Мейерхольд писал Молотову за месяц до казни: он под пытками дал показания на «троцкистов» Пастернака, Эренбурга, Шостаковича и других деятелей культуры, но когда «пришел в относительное равновесие», отказался от них как от «бредней».

Вполне возможно, что решительный отказ Мейерхольда от навязанной лжи спас Пастернака от, казалось бы, уже неминуемого ареста.

Арест готовился. И все-таки не состоялся. Не было на то верховной воли Хозяина.

Пастернака могли арестовать и позднее.

1947 год. Пастернак в это время переводит Петефи и Шекспира, работает над романом. И вдруг в газете «Культура и жизнь» статья Алексея Суркова:

«Занял позицию отшельника, живущего вне времени... Субъективно-идеалистическая позиция... Живет в разладе с новой действительностью... С явным недоброжелательством и даже злобой отзывается о советской революции... Прямая клевета на новую действительность...»

И вывод: «Советская литература не может мириться с его позицией».

Не статья — политический донос в центральной печати. Обвинение подхватывают другие газеты, Пастернака клеймят на собраниях — за «скудные духовные ресурсы... неспособные породить большую поэзию», и даже за то, что его творчество «нанесло ущерб советской поэзии».

Очередной виток травли. Пастернаку не привыкать к публичным нападкам. И как он ни уязвлен, сохраняет внешнее спокойствие, даже находит силы и время поддержать тех, кому еще хуже.

В лубянском архиве счастливо уцелел подлинник еще одного неизвестного письма Бориса Пастернака, адресованного в город Фрунзе, переводчице Елене Дмитриевне Орловской и ее другу, балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Кайсын

Кулиев в то время принял на себя добровольную ссылку в Киргизию, чтобы разделить участь своего балкарского народа, депортированного Сталиным. Как попало письмо в руки чекистов, было ли перехвачено, изъято при обыске или просто украдено, выяснить не удалось.

«Заказное

Фрунзе. Почтамт. До востребования. Елене Дмитриевне Орловской.

22 ноября 1947 г.

Дорогая Елена Дмитриевна!

Я не получил писем, о которых Вы упомянули в письме-полученном мною от Вас месяц тому назад. На это последнее я стал было тут же отвечать Вам открыткой, да раздумал отсылать ее — я слишком сомкал в ней то, что скажу Вам и здесь.

В тот же день я справился у Скосырева по телефону о судьбе стихов, присланных Вами в “Дружбу...” (П. Г. Скосырев — писатель, сотрудник альманаха “Дружба народов”. — В. Ш.). Они не появятся вовсе не вследствие Вашей “переводческой беспомощности”, как Вы говорите. Наоборот, их не напечатывают, потому что они очень или даже слишком нравятся, больше, чем позволяют сопутствующие или иные обстоятельства.

Вы очень добры ко мне и все преувеличиваете. При всем том Ваше письмо очень пронизательно и талантливо и дышит большой посвященностью во все эти большие вещи, так что мне уместнее будет выразить Вам восхищение им, чем благодарить.

Но представьте, в одном отношении Вы не ошибаетесь. Незвестно за что и с забвением всех моих недостатков и малости сделанного, мне освобождено или очищено на свете большое место, и теперь мое дело занять и оправдать его.

И хотя писание романа (мне на полгода ради заработка пришлось прервать его), хотя его писание является главным наполнением этого места в теории и идее, — на практике, в ежедневной, каждому обозримой жизни, мне приходится пока наполнять эту вакансию главным образом недоумением и страданием, да и как может быть иначе, когда так захлестывает стихия извращения и софизма, что захлебываешься. Одно хорошо, что мне не приходится и распространяться, даже если

бы меня захлороформировали трусостью. Будут говорить мои ноги и руки, так все ясно, так определенно.

Не падайте духом, не воображайте, что скучно Вам. Различие между “шумною” столицей и глушью сейчас так несущественно, так прозрачно. Везде более или менее одинаково. И ведь настоящие местности — душа и совесть, а не города. На столе письмо Ваше, и Вы тут больше, чем сотни презираемых мною лауреатов, и сейчас я с Вами обоими мыслью и душой.

У меня нет или не осталось удачных фотографий. Но одна, как бы то ни было неудачная (как еще она выйдет в репродукции!), будет отложена к книжке избранных стихов, выпускаемых “Сов. писателем”. Как только книжка выйдет, я пошлю по экземпляру Вам и К. Кулиеву (уже отпечатанный тираж “Избранного” Пастернака будет уничтожен и не дойдет до читателя. — В. Ш.). Есть ли у него и у Вас “Гамлет” в моем переводе и мои “Грузинские поэты”?

Скажите Кайсыну, что его все здесь с любовью вспоминают. Пусть он легче относится к тому, что происходит с ним. После Есенина он самая яркая встреча на моей памяти, в смысле живой очевидности таланта и прямоты его обнаружения. Он должен знать, что нынешние его злоключения такая же ничтожная и преходящая условность, какую бы могло быть его начинавшееся тогда благополучие, — подумайте, какой бред пришлось бы ему повторять, если бы он попал теперь под полный “Юпитер”!

Нет предела творческим правам большой личности, одухотворенной истинною смелостью, то есть готовностью к жертвам. История души на свете едина и всенародна, что бы там ни говорили. Ничего не пропадает, ни о чем не надо жалеть, ничего не надо бояться.

Простите, что пишу Вам так на ходу и наспех. Половину этой мазни нужно было бы выразить глаже и точнее, но когда урвать время!

Будьте здоровы и счастливы тем, что Вы с ним такие настоящие.

Как только будет что-нибудь послать, не премину это сделать.

Благословляю Вас.

Ваш Б. Пастернак».

Пастернака могли «изъять» из общества и в 1949-м, когда после разгрома Еврейского антифашистского комитета была арестована большая группа еврейской интеллигенции и развязана кампания против «безродных космополитов».

Одна из жертв — профессор, доктор филологических наук, литературный критик Исаак Маркович Нусинов 19 апреля был специально, подробно и пристрастно допрошен о Пастернаке. Следователю удалось получить несколько фактов о поэте, которых вполне хватило бы, чтобы и его причислить к сонму «врагов народа».

Нусинов сообщил, например, что Пастернак в 1941 году был приглашен главой Еврейского антифашистского комитета, артистом Михоэлсом принять участие в митинге и сначала дал на это согласие, но потом отказался. «Он сказал, — показывает на допросе Нусинов, — что считает нецелесообразным не только свое выступление на митинге, но и вообще его проведение, поскольку это может вызвать неблагоприятную реакцию в правительственных кругах Германии и в какой-то мере отразиться на судьбе евреев...»

Когда в октябре 1941 года писателей эвакуировали из осажденной немцами Москвы, Нусинов оказался в одном поезде с Пастернаком и другими литераторами — критиками Шкловским и Гурвичем. В дороге, как показал Нусинов, Шкловский и Гурвич допускали злобные антисоветские выпады против руководителей партии и правительства и возводили на них клевету. А что же Пастернак? «Пастернак хотя и отмалчивался, но из отдельных его реплик было видно, что он солидарен с антисоветскими высказываниями».

Затем судьба свела Пастернака и Нусинова в небольшом прикамском городке Чистополе, куда эвакуация забросила многих писателей. И тут враждебное лицо поэта проявилось полностью.

Он говорил о «невозможности создания большой литературы в советских условиях... сетовал на строгость советской цензуры и доказывал, что все редакторы и издатели вследствие “перестраховки” создают невыносимые условия для писателей... утверждал, что благодаря такому положению многие писатели или вовсе прекратили писать, или отписываются незначительными произведениями».

Дальше — больше. Следователь переходит от литературных взглядов поэта к политическим и тут тоже получает от затравленного узника богатую пищу.

«Пастернак считал, что к концу второй мировой войны в Советском Союзе будут проведены существенные демократические преобразования по буржуазно-парламентскому образцу, в основу которых будет положена атлантическая хартия... Только тогда станет возможным проявить свои писательские таланты не только ему, а и многим другим “молчалиникам”.

В одну из прогулок Пастернак... заявил мне, что в России, хотя и с некоторым опозданием, произошло повторение таких событий, которые давно пережиты западноевропейскими государствами... Во Франции — Робеспьер, а в Англии — Кромвель установили диктатуру, которая остановила жизнь страны, но эта их диктатура была непродолжительной и поэтому не нанесла большого ущерба народу. У нас же в России, говорил Пастернак, период диктатуры слишком затянулся и поэтому неблагоприятно отразился на росте культуры народов страны...»

Наконец, арест грозил Борису Пастернаку и уже незадолго до смерти, в начале 1959 года, когда разразился мировой скандал в связи с публикацией «Доктора Живаго» за рубежом, присуждением автору Нобелевской премии и обсуждался вопрос о лишении его советского гражданства и изгнании из страны.

Тогда сам Генеральный прокурор СССР Руденко в течение двух часов допрашивал поэта и запугивал: «Ваши действия образуют состав особо опасного государственного преступления и в силу закона влекут уголовную ответственность...»

Однако и на этот раз власти ограничились угрозой.

Всю жизнь он прожил под угрозой ареста, под прицелом недремлющих Органов.

Так все же почему Сталин не тронул Пастернака, оставил его жить? Считал, что он слишком витает в облаках, чтобы помешать земному богу? Или наоборот, так ценил его дар, что берег — в надежде, что когда-нибудь прославит его, вождя, воспевает своим пером. Ведь однажды Пастернак уже сде-

лал это — в новогоднем номере «Известий» за 1936 год, вняв просьбе Бухарина. Приятно было, конечно, назвал «гением», но как-то слишком сложно и туманно:

...И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал...

Нет, это не для масс! Пусть еще поживет, может и созреет. Оторвать такую голову — не проблема, полезней ее склонить...

Если вдуматься, в этом стихотворении Пастернак уже выразил свое отношение к Сталину: тут и загнипнотизированность идолом истории, и все-таки отстраненность, роковое противостояние «предельно крайних двух начал»...

Вообще настоящий поэт в слове раскрывает себя полностью, дает о себе откровенные «показания». И не только в стихах. «Мне о с в о б о ж д е н о... на свете большое место, и теперь мое д е л о... о п р а в д а т ь е г о», — говорит Пастернак в письме Орловской.

Не говорит — проговаривается, мысль в категориях свободы и неволи, вины и оправдания. И мыслит не за одного себя.

Указатель имен

- Авксентьев Н. Д. 173, 179
Адамов 401, 403
Агранов Я С. 44–48, 76, 200,
227–228, 310
Азарьян 374
Азеф Е. Ф. 160, 169
Айхенвальд Ю. И 194, 210
Акимов Н. Н. 430
Александров Г. В. 427–428, 437
Алексеев Ф. (Лягушка) 12, 21
Алехин А. А. 162
Ангарский (Клестов) Н. Г. 279
Антонов И. 353
Ануфрнева Н. Д. 235–240, 245,
247–251, 259
Ардаматский В. И. 103, 183
Артузов (Фраучи) А. Х. 109, 126,
81, 186
Арцыбашев М. П. 114–115, 155,
157–158
Астахов Г. А. 412–417
Астахова Н. 412
Афанасов Н. 366, 380–381
Афиногенов А. Н. 316, 320
Бабель И. Э. 10, 20, 25–28, 166,
444–445
Балахович (Булак-Балахович С.)
159, 172–173
Балтер П. А. 363
Бальзак О. де 166
Бахвалов 204, 207–209
Бедный Д. (Придворов Е. А.) 275,
345
Белецкий 400
Бенабу С. 312–313
Белозерская Л. Е. 275,
Бельй А. (Бугаев Б. Н.) 222–234,
243, 256
Белькович 161–162
Бенкендорф А. Х. 237
Бердяев Н. А. 195–198, 200–
212, 271, 219, 222, 230, 232,
242–243
Берия Л. П. 329, 339–341, 352,
355, 361, 363, 369, 378, 387,
413–414, 417, 419, 422,
440–441
Билья-Белоцерковский В. Н. 299
Бирюков П. 59, 66
Блок А. А. 166, 191–192, 222–
223, 232, 236, 243, 249
Блюм В. 286–288
Бобринский П. 377
Бобров С. П. 443
Богданов 213
Боголепов А. А. 218
Богословская М. П. 443
Большаков К. А. 270–309
Бонч-Бруевич В. Д. 25, 36, 65, 74
Брешковская (Брешко-Брешков-
ская Е. К.) 179
Брик О. М. 446
Броуд Е. 113
Буданцев С. Ф. 270, 309
Булгаков В. Ф. 39, 48, 56–59,
61–63, 65–68, 210
Булгаков К. 265

- Булгаков М. А. 10, 25–28, 228–229, 263–324, 345, 393, 412–413, 436–437
- Булгаков Н. А. 302
- Булгаков С. Н. 210, 243
- Булгакова Е. С. 308, 313, 316, 319, 321
- Бунин И. А. 345–346
- Бурцев В. Л. 160, 173, 179
- Бухарин Н. И. 451
- Ванесев А. 220–221
- Варнава, монах 390
- Васильева К. Н. 223–225, 227–229
- Версаев (Смидович) В. В. 252, 281–282
- Вильямс П. 440
- Виноградский Н. Н. 46–47, 76, 200
- Вноровский-Мищенко Б. У. 158
- Волков И. (Конек) 12, 21
- Волковыский Н. М. 218
- Волошин М. А. 235, 238, 240–241, 243–246, 248–260
- Вольпин М. Д. 435, 437, 440–441
- Воронский А. К. 272–273
- Ворошилов К. Е. 295, 299
- Врангель П. Н. 138, 341
- Врачев 274–275
- Врубель М. А. 191
- Высокомирный 34
- Вышеславцев Б. П. 210
- Вышинский А. Я. 387
- Габричевские А. Г. и Н. А. 377
- Гайдовский Ю. 270
- Гапон Г. 113
- Геладзе 431
- Гельфер 298
- Гендин С. Г. (Гудин) 122, 138, 160, 177, 265, 270–271, 274, 277, 279–283, 285, 293–294, 297, 303
- Герасимов О. 45–47
- Герман Э. Я. (Э. Кроткий) 435
- Герцык А. К. 236, 243
- Герцык Е. К. 243
- Гершуни К. А. 179
- Гете И. В. 43
- Гиль С. К. 12–19
- Гиппиус З. Н. 102, 114
- Гитлер А. 240, 247, 414
- Гликина З. Ф. 418–420, 423
- Глинский 375
- Гнилорыбов М. К. 110, 168
- Гоголь Н. В. 308, 430
- Гольденвейзер 296–297
- Гомер 437–438
- Гонкуры Э. и Ж. 165–166, 176
- Горбатов 37
- Горбунов-Посадов И. И. 66
- Горский 137
- Горький М. (Пешков А. М.) 89, 94, 194, 213, 227, 284–285, 297, 299, 302, 311, 314, 345, 404, 430
- Гоц А. Р. 179
- Гришин-Алмазов 37
- Гуль Р. Б. 172, 267–265
- Гумилев Н. С. 191, 223, 236
- Гурвич А. С. 449
- Гуревич С. 350
- Гусев 59
- Давыдов Н. 48
- Демиденко Н. И. (Иваненко) 128–131
- Деникин А. И. 33, 57, 138, 180
- Дерibas Т. Д. 59, 270–271
- Де-Судьяр (Судьяр де) 373
- Джойс Д. 234
- Дзержинский Ф. Э. 21, 38, 45, 48, 67, 73–76, 108–109, 126, 134, 138, 156, 172–173, 179–183, 185, 193, 202–203, 217
- Дикгоф-Деренгаль А. А. 108, 110–111, 113–122, 132–133, 136, 138, 141, 144, 146, 149–151, 155–157 160, 173, 180, 185

- Дикгоф-Деренталь Л. Е. 110111,
 113-116, 123-124, 130-
 136, 143-147, 149-151, 155-
 157, 159-162, 170, 173-180,
 182-183, 186
 Диккенс Ч. 312
 Динамов С. С. 443
 Долгополов 84
 Достоевский Ф. М. 110, 163, 237-
 238
 Драгуновский Я. Д. 70-71
 Дунаевский И. О. 427
 Дурново Е. П. 356-358

 Ежов Н. И. 352, 375, 417-423,
 425-427
 Екатерина II 102, 237
 Елагин 132
 Еломанов 376
 Енукидзе А. С. 43, 63, 302, 435
 Ермолинский С. А. 321
 Есенин С. А. 191, 270-271, 275,
 442
 Ефимов Б. Е. 386

 Жарновецкий 93
 Жданов 374
 Жид А. 444-445
 Жорес Ж. 159
 Жуковский Д. Д. 235-236, 240-
 248, 254
 Жуковский Д. Е. 236, 242-244
 Журавлев 375
 Жуховицкий Э. 318

 Зайцев В. (Заяц) 12, 17
 Зайцев П. Н. 225-228, 279, 281
 Замятин Е. И. 218, 304, 311
 Зелинский К. Л. 443
 Зиновьев (Радомысльский) Г. Е.
 139, 172, 217, 319, 385,
 Зубакин Б. М. 270
 Зубов 213

 Ибрагим-бек 152, 160
 Иванов 90
 Иванов А. И. 335, 346, 366-367,
 372
 Иванов Вс. В. 316, 405
 Иванов Вяч. И. 243, 256
 Иванов-Разумник (Иванов Р. В.)
 50, 224-226
 Ивановская (Волошенко) П. С.
 171
 Изгоев (Ланде А. С.) 218
 Ильин И. А. 201, 210
 Инбер В. М. 275
 Ионов (Бернштейн) И. И. 1668

 Каган А. С. 218
 Каганович Л. М. 229, 426
 Калинин М. И. 41-42, 52, 65, 67,
 141, 145, 302, 403
 Каляев И. П. 150, 158, 169-172,
 179
 Каменев Ю. (Розенфельд Л. Б.)
 66-67, 179, 202, 246, 319,
 385
 Капабланка Х. Р. 162
 Каплан Ф. Х. 11
 Капель В. О. 101
 Карсавин Л. П. 212-222
 Карсавина Л. 217
 Карсавина С. Л. 217, 222
 Карсавина Т. П. 219
 Карсавины И. Л., М. Л.
 Катаев И. И. 401
 Катанян Р. В. 183
 Катков Н. 265
 Кауричев Н. С. 397-398, 400-403
 Качалов (Шверубович) В. И. 432-
 433
 Керенский А. Ф. 101, 131, 161-
 162, 179
 Кизеветтер А. А. 210
 Кириллов А. (Сапожник) 12, 21
 Киров С. М. 185, 237, 240
 Кирсанов С. И. 446
 Киршон В. М. 274, 297
 Кислов 374
 Клепиков Ф. 131

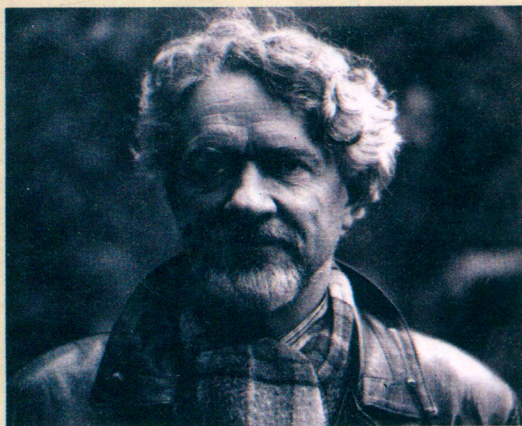
- Клепинин Н. А. (Львов) 328, 339, 345, 347-348, 351-352, 62, 366-371, 373, 375-376, 380-381
- Клепинина А. Н. (Львова) 328, 345, 347-348, 351-352, 362, 366, 373, 375-376, 380-381
- Клычков С. А. 304
- Кобелев 364, 366
- Козловский 213
- Колчак А. В. 101, 180, 236-237
- Кольцов (Фридлянд) М. Е. 385-396, 430, 442, 444-445
- Кон Ф. Я. 94
- Кондратьев 373
- Кононович С. С. 321-322
- Копылов Н. В. 373-374
- Корде Ш. 237, 239
- Корнилов Л. Г. 101
- Короленко В. Г. 31-32, 72-76, 81-84, 86-95, 165-166
- Короленко С. В. 82-83
- Кошельков Я. (Кошелек) 9, 11-12, 14, 17, 20-25, 27-28
- Красин Л. Б. 112
- Краснов П. Н. 101
- Крикман Я. П. 117
- Кромвель О. 450
- Кропоткин П. А. 357
- Крупская Н. К. 13, 54, 159
- Крыленко Н. В. 48-50, 79, 200, 203
- Ксенофонтов И. К. 49
- Кудашева-Кювилье М. П. 243
- Кузьминов Н. М. 329, 335, 339, 341, 343, 351-353, 367, 371, 391, 393
- Куйбышев В. В. 234
- Кулиев К. 446-448
- Кун Б. 238
- Куприн А. И. 100, 165-166
- Кутепов А. П. 179
- Куткин 37
- Кутырев 399
- Лапшин И. И. 213, 218
- Ларин 338
- Лебедев-Полянский П. И. 272-273, 286, 288-289
- Левидов М. 282
- Лежнев И. (Альшпулер И. Г.) 275-276
- Ленин В. И. 9-20, 24-25, 27, 33, 51-54, 59, 65, 73, 89, 91, 94, 100-101, 108, 122, 125, 148, 154, 158-160, 172-173, 193-194, 196, 218, 221, 387
- Леонтьев С. М. 45-46
- Лермонтов М. Ю. 166, 362
- Лернер Н. Н. 301, 310
- Либединский Ю. Н. 166
- Липкин С. И. 191
- Лнгауэр Э. 366, 369-371, 380-381
- Литвинов М. М. 63
- Лондон Д. 124
- Лосский Н. О. 213, 218
- Лоугон 265
- Луначарский А. В. 36, 43, 49, 57, 65, 67, 89-92, 100, 148, 283-284, 288, 290, 293-297, 301, 360, 392, 430
- Лугохии Д. А. 218
- Львов 180
- Любимов Ю. П. 440-441
- Любохоицкий 44
- Людовик XIV 304
- Люксембург Р. 410
- Лямин Н. 319
- Ляхович К. 94
- Магарилл С. 430
- Майдель В. X. 143
- Майский И. М. 338
- Макаров П. М. 170
- Маклаков В. А. 173
- Мандельштам О. Э. 252, 319
- Марат Ж. П. 239
- Марнигоф А. Б. 442

- Маркс К. 37, 56, 59, 84, 213, 252, 428
 Марти А. 386
 Мартынов 9-10, 12, 17, 20-23, 25-26
 Масс В. З. 427-428, 430-435, 437
 Маяковский В. В. 300, 306, 308, 330, 355, 358, 361, 430, 444
 Медведь Ф. 119, 185
 Мейрхольд В. Э. 229, 300, 428-430, 435, 444-446
 Мельгунов С. П. 45, 47, 50, 73-76, 79, 81, 87, 210
 Менжинский В. Р. 44, 48, 60, 62, 81, 87, 105, 109, 126, 134, 138, 148, 179, 181, 185, 197, 202-203, 224
 Меньшиков М. О. 390
 Мережковский Д. С. 166, 169, 232, 243
 Мерль П. 336-338
 Мессерер А. 440
 Милюков П. Н. 162, 173, 179, 180
 Минцлин Э. Л. 251-253
 Михайлов В. (Черный) 12, 21
 Михоэлс (Вовси) С. М. 449
 Молотов В. М. 426, 446
 Мольер Ж. Б. 163, 304-305, 312, 314, 316
 Морозов Н. А. 357
 Мосолов 356
 Муравьев 49-50
 Муравьев В. 201
 Муссолини Б. 110
 Мягков А. Г. 151, 178
 Мякотин В. А. 81-82, 85-87, 95, 210
 Мякотина В. А. 87
 Наполеон I 169
 Нейгауз Г. Г. 443
 Немирович-Данченко В. И. 297-298, 315
 Непомнящий 282
 Никитина Е. Ф. 266, 268
 Никифоров Г. 399
 Николаев 237, 240
 Николай II 102, 345
 Новиков А. Н. 397-404
 Новиков М. М. 210
 Новобратский Г. 239
 Новокшенов 297
 Нуланс Ж. 142
 Нусинов И. М. 449
 Оболенская М. Л. 36
 Оболенский Н. Л. 36
 Одинцов Б. Н. 218
 Озолина 214
 Олеша Ю. К. 308, 316, 320, 445
 Опперпут А.-Э. 104-107, 168
 Орджоникидзе Г. К. 299
 Орлинский А. 286-287, 293-294
 Орлова Л. П. 427
 Орловская Е. Д. 446-447, 451
 Осоргин М. А. 210-211
 Остен М. 386
 Отрепьев Г. 217
 Павловский С. Э. 109-111, 117, 121, 136-137, 150, 168, 174, 177
 Пасманик Д. С. 138
 Пастернак Б. Л. 234, 345, 442-451
 Паукер К. В. 274
 Педан Н. 197
 Петерс Я. Х. 16, 18-19, 73, 390-391
 Петефи Ш. 446
 Петрищев А. Б. 218
 Петровский А. С. 225-226
 Петр I 162, 235-236
 Петр III 102
 Пешехонов А. В. 210
 Пешкова Е. П. 284
 Пилляр Р. А. 121, 125-126, 128, 136, 138-139, 148, 181, 183, 185, 187
 Пилсудский Ю. 179

- Пильняк Б. А. 234, 304, 309
Пинес Д. М. 225–226
Пинкевич А. 217
Платонов А. П. 397–402, 404–406, 411
Платтен Ф. 10
Плеве В. К. 101, 150, 171
Плеханов Г. К. 170
Полосихин 297
Попов 59
Попов П. 308
Поскребышев А. Н. 424–426
Правдин 313
Прокофьева М. А. 169–170, 174
Пруст М. 234
Пудин В. И. 375
Пузицкий С. В. (Новицкий) 112, 116–121, 131–133, 138, 141, 144, 148, 150, 160, 162, 166, 182–183, 185
Пушкин А. С. 166, 256, 311, 412–413, 442, 444
Пятаков Г. Л. 93
Редек (Собельсон) К. Б. 148, 293, 399
Раковский Х. Г. 74–75, 95
Рапп Е. Ю. 197, 208
Рапп-Бердяева Л. Ю. 208
Раскольников Ф. Ф. 405
Распутин Г. Е. 217
Рахманинов С. В. 191
Ребров 60–61
Регнин В. 26
Рейли П. 124, 132
Рейли С. Дж. (Розенблум С.) 124, 132, 143
Рейсс И. (Порецкий Н. М.) 149, 334, 360, 373, 375
Рерих Н. К. 191
Ресвик В. 154, 156
Решетов 209
Робеспьер М. 450
Рогов 173
Розанов 390
Розанов В. В. 243
Розе 287
Резенталь К. Г. 20
Роллан Р. 90, 243
Ромашов Б. С. 290–291
Ропшин В. – Савинков Б. В.
Руденко Р. А. 450
Рутковский Р. А. 282–283
Рыков А. И. 277, 385
Рындин 440
Сабан 25
Сабансеев 246
Савинков А. В. 161
Савинков Б. В. (В. Ропшин) 99–187, 206
Савинков В. В. 122, 173, 178
Савинков Л. Б. 132, 143, 151, 179, 186
Савинкова А. 173
Савинкова В. В. (Руся) 132, 143, 151–152, 161, 173, 178
Савинкова С. А. 158
Савинкова (Майдель) Н. В. 143
Савкин 270
Сазонов (Созонов) Е. С. 150, 158, 169, 171–172, 179
Салтыков-Щедрин М. Е. 430
Самсонов 63, 209
Санников Г. А. 234
Сахаров А. Д. 72, 257
Свидерский А. И. 297, 302
Святополк-Мирский Д. П. 345
Седов Л. 334, 373
Сеземан А. 345, 348–349, 352, 363
Семенов С. 166
Серафим Саровский 31, 253, 256–257
Сергеенко П. А. 35–36, 42–43
Сергей Александрович, вел. князь 101, 150
Середа П. В. 36
Скосырев П. Г. 447
Скрябин А. Н. 191
Славятинский А. С. 271, 273–274

- Слащов-Крымский (Слащов) Я. А. 58–59
- Смидович П. Г. 65
- Смиренский Д. М. 373
- Смирнов 374
- Смирнов А. 299
- Соболь А. 275
- Соколов В. 424
- Соколов М. 204
- Сократ 54–55, 95
- Солженицын А. И. 72
- Соловьева П. С. (Аллегро) 252
- Сольский-Панский В. 297
- Сорокин П. А. 210
- Сосновский (Добржинский) И. (Тарновский) 112, 129–130, 136, 139, 155, 160, 164, 185
- Софья Алексеевна, царевна 162
- Сперанский 162–163, 166, 170, 180, 182–183
- Сталин И. В. 179, 228, 236, 239, 245, 299, 302–303, 305–308, 310–311, 313–314, 316, 321, 324, 352, 365, 385–386, 393, 396–398, 400–404, 411, 415, 422–424, 426–427, 432, 436, 442, 444, 446–447, 450–451
- Станиславский К. С. 191, 286, 288–291, 295, 315, 430
- Степанова А. О. 435
- Степанова З. С. 338–339, 347–348
- Степняк (Степняк-Кравчинский С. М.) 357
- Степун Ф. А. 210
- Стефанович Н. 236–240, 245, 248
- Стонов (Влодавский) Д. М. 87–90, 92, 94
- Стратонов В. В. 210
- Страхов 59
- Сулятицкий В. М. 169
- Сурков А. А. 446
- Сухово-Кобылин А. В. 430
- Сыроежкин Г. 148, 182–183, 186
- Тихомирова Е. А. 92
- Тихон, патриарх 11, 140
- Толстая А. Л. 35, 37–38, 43–53, 73, 79
- Толстая С. А. 32–33, 35, 41, 52
- Толстая (Есенина) С. А. 44
- Толстая Т. Л. 32–36, 42, 52, 66–67, 90
- Толстой А. Н. 223, 272–273, 354
- Толстой Л. Н. 31–33, 35–43, 49, 51–57, 60–61, 64–71, 87, 95, 102, 229
- Товстой П. 328, 344, 346, 353–354, 366–367, 380–381
- Толстой С. Л. 34
- Толстые И. Л., Л. Л. и М. Л. 52
- Топленинов С. 303
- Тренев К. А. 293
- Треплов 17
- Трилиссер М. А. 153–154
- Трофимов 53
- Троцкий Л. Д. 210, 224, 231, 231, 334, 373, 390, 399, 401
- Трушева И. В. 208
- Тургенев И. С. 165–166
- Тургенева А. А. 222
- Тухачевский М. Н. 444
- Тучков Е. А. 61–63, 70
- Тютчев Ф. И. 165–166
- Ульрих В. В. 130, 142, 145, 392
- Ульянова М. И. 13–16
- Уншлихт И. С. 63, 204, 209, 218
- Урицкий М. С. 73
- Успенская Т. 151
- Успенский В. 151, 186
- Утесов Л. О. 427, 431
- Фадеев А. А. 354, 421, 424–426
- Федоров А. П. (Мухин) 109, 113–114, 116–121, 124–125, 131, 136–137, 148, 160–161, 173–174, 180, 185
- Федорова О. 23–24

- Философов Д. В. 143, 150, 155,
158, 160, 179
Флоренский П. А. 195
Флоровский А. В. 210
Фомин 424
Фомичев И. 109, 114, 116-121,
137, 173-174, 180
Франк С. Л. 210
Франс А. 252
Фриновский М. 419
Фундаминский (Фондаминский)
(Бунаков) И. И. 153, 179-180
Фурманов Э. 348-350
- Харузин В. 240
Хаятина-Ежова Е. С. 417-422
Хэмингуэй Э. 385
Хенкина-Нелидова Е. А. 374, 376
Ходасевич 240
- Цветаев И. В. 356
Цветаева А. И. 328, 363-364
Цветаева М. И. 230, 243, 327-
332, 334-335, 341-346, 354-
363, 377-379, 381
Цветаева (Мейн) М. А. 356
Циллианус (Зиллиакус) К. 169
- Чабанов И. В. 12-16, 18
Чайковский Н. В. 179
Чернов В. М. 159, 179
Чертков В. Г. 38-41, 55-66
Чертов 313
Черчилль У. 100, 184
Чехов А. П. 110, 165
Чехов М. А. 225
Чистоганов А. 373
Чичерин Г. В. 73
- Шаляпин Ф. И. 191, 211
Шапошников Б. 303
Шаронов В. 221
Шестов Л. (Шварцман Л. И.) 243
Шекспир В. 446
Шешеня Л. 109, 119, 121
Шиваров Н. Х. 287-288, 297, 319,
433
- Шимкунас В. 220
Шкирятов М. Ф. 423
Шкловский В. Б. 272-273, 449
Шкурин А. К. 344, 363, 367, 371
Шолохов М. А. 411-412, 416-
417, 420-427
Шолохова М. П. 424, 426
Шостакович Д. Д. 440, 445-446
Шпенглер О. 236
Шпигельглас С. 374
Штейнер Р. 229
- Щепкин Д. М. 45-46
Щепкин Н. Н. 68-69
- Энтин 92
Эрдман Н. Р. 313, 427-437, 440-
442
Эренбург И. Г. 169, 252, 350-351,
442, 444-446
Эррио Э. 313
Эфрон А. С. 327-352, 354-356,
361-367, 369, 372, 374, 378-
381
Эфрон А. Я. и П. Я. 357
Эфрон В. Я. 357
Эфрон Г. С. (Мур) 327, 343-345,
355-356, 359, 379, 381
Эфрон Е. Я. 354, 357
Эфрон С. Я. (Андреев) 327-335,
337-348, 350-363, 336-381
Эфрон Я. К. 357
Эфрос А. М. 192
- Юнпроф 282
Юст К. 413
Юткевич С. И. 440
- Яблонский 183
Ягода Г. Г. 48, 156, 185, 274, 276,
283-284
Якир И. Э. 444
Яншин М. М. 342
Ярославский Е. М. (Губельман
М. И.) 148
Ярошенко Н. А. 128, 158



Книга Виталия Шенталинского «Донос на Сократа» посвящена судьбе русского Слова в советское время, трагическим страницам истории нашей литературы. Она продолжает тему получившей широкую известность книги этого автора "Рабы свободы" (Москва, 1995).

Основываясь на новых, бывших до последнего времени закрытыми и недоступными для общества материалах из архивов КГБ и Прокуратуры СССР, автор рассказывает о писателях, которые подверглись репрессиям либо так или иначе испытали на себе деформирующий гнет тоталитарной власти. Среди героев книги — дети и ученики Л. Толстого, В. Короленко, Б. Савинков, Н. Бердяев, Л. Карсавин, А. Белый, М. Волошин, М. Булгаков, М. Цветаева, М. Кольцов, А. Платонов, М. Шолохов, Н. Эрдман, Б. Пастернак, а также менее известные, но яркие таланты, сгинувшие на островах ГУЛАГа, выброшенные в эмиграцию. Перед читателем полное откроется «звездное небо» русской литературы XX века, книга позволит иными глазами взглянуть на многие события нашего недавнего прошлого.

Виталий Шенталинский — автор восьми книг стихов и прозы. Инициатор создания и руководитель Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России.

Книга «Донос на Сократа», переведенная на несколько иностранных языков, на русском языке издается впервые.